

ISSN 0130-7673

# НОВОБЫИ МИИР

4

---

1988

4

НОВОБЫИ  
МИИР

1988



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1988 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| ДАЛЕКИЙ СВЕТ, ДОШЕДШИЙ ИЗ-ЗА ГОР — Геворг Эмян, Маро Марк-<br>рян, стихи. Перевели с армянского В. Леонович, Эд. Бабаев, А. Гелескул | 3    |
| АЛЕКСАНДР БЕЛАЙ — Два рассказа   | 9    |
| МАРИЯ ТЕРЕНТЬЕВА — Рослый парень, стихотворение  | 47   |
| БОРИС ПАСТЕРНАК — Доктор Живаго, роман. Окончание. Публикация,<br>подготовка текста Е. Б. Пастернака и В. М. Борисова                | 48   |
| <b>ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ</b>   |      |
| ДАНИИЛ ХАРМС — «Я думал о том, как прекрасно все первое!». Публика-<br>ция и вступительная статья Владимира Глодера                  | 129  |
| <b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>  |      |
| НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ — Новые тревоги   | 160  |
| Н. Н. МОИСЕЕВ — Облик руководителя   | 176  |
| <b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>  |      |
| ВЛАДИМИР НАВОКОВ — Предисловие к «Герою нашего времени». Пере-<br>вод, комментарий и вступительное слово Сергея Таска                | 189  |
| <b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>  |      |
| ЕКАТЕРИНА МЕЩЕРСКАЯ — Трудовое крещение  | 198  |
| <b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>  |      |
| СВЕТЛАНА ОВЧИННИКОВА — Под взглядом софитов  | 243  |

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ССРС»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

|   | Стр. |
|---|------|
| <b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>  |      |
| <i>Литература и искусство</i>   | 256  |
| Е. Невзглядова. Сюжет для небольшого рассказа.<br>А. Немзер. Новый Эйхенбаум. |      |
| <i>Политика и наука</i>   | 265  |
| И. Дрейцер. Анатомия «чуда».  |      |
| <b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>  |      |
| М. СТЕПАШКИН — Важные «мелочи»  | 267  |
| <b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>  |      |
| Леонид Карасев.— Виктор Пронин. Продолжим наши игры. Повесть. Роман. ♦        |      |
| Илья Кутик.— Выходы вечности. Ассиро-вавилонская поэзия ♦                     |      |
| Владимир Огнев.— Е. Сидоров. Евгений Евтушенко. Личность и творчество         | 268  |
| <b>ПАМЯТИ МИХАИЛА ДАВЫДОВИЧА ЛЬВОВА</b>                                       | 271  |
| <b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>  | 272  |

---

---

## ДАЛЕКИЙ СВЕТ, ДОШЕДШИЙ ИЗ-ЗА ГОР



### ГЕВОРГ ЭМИН

С армянского

#### Баллада о смерти и бессмертии

Отошел под огнем и залег отряд  
На погосте между могильных плит,  
И сказал оробевший один солдат:  
— Капитан, душа у меня болит.

Капитан, я мечтал на гитаре играть,  
Я ни разу девушку не целовал,  
Тяжело в девятнадцать лет умирать...—  
А другой, посмелее солдат, сказал,

Он сказал: — И мне девятнадцать лет,  
Ну и что ж! Надо драться, а не отступать.  
Я слышал, можно смерть в бою одолеть,  
Только сжаться в кулак — и насмерть стоять...

И, от смерти не отвратив лица,  
Робкий, смелый — сжались они в кулак  
И стояли так — до конца, до конца,  
И погибли — но не прорвался враг.

И кто девушку не обнимал никогда,  
Тот гранитную обнял плиту,  
И кто имени не слышал Христа,  
Тот навеки приник к кресту.

И легли они, смертию смерть поправ,  
Не под камень легли — поверх.  
Не печалься, брат, и не плачь, сестра,  
Ибо свет для них не померк.

#### Храм Мугни́

Низкая дверь велит наклонить голову,  
И хозяйка-тьма шапку велит снять,  
Путь заградив яркому зною и гомону.  
Надо озябнуть,

опомниться,

постоять.

Столько ладана здесь благоухало веками,  
Столько вы-дох-ну-то молить,

что они,

Распластавшись по сводам, удерживают эти камни —  
Святые камни Мугни.



Зацелованы стены, как лоб дорогого усопшего,  
 Ласточка вьется под куполом словно добрая весть —  
 И сколько за все века накопилось родного прошлого,  
 Все до единого вздоха тут хранится поднесть.

Сюда

в первый раз

я пришел не сам —

меня приносили.

Праздник был, собралась вся родня.  
 В этой купели каменной грех первородный смыли,  
 Миром святым помазали крошечного меня:  
 Сморщенные ступни —

чтоб пути мои были прямы,

Руки —

чтоб не оставались праздными ни на час,

Губы —

чтобы они открывались для высшей правды,

Глаза —

чтобы незримое не укрылось от глаз.

Ох давно это было!

Ни одного-то свидетеля.

Не осталось в живых... Боже мой, никого!

И сам я тогда спросил

у безмолвной обители:

— Помнишь ли, храм святого Геворга,

ты крестника своего?

— Да,— отвечал он,— помню.

Отец твой, учитель Григор,

Был тогда пьян — от счастья ли, от вина ль.

Мать Арусяк — у нее на руках ты прыгал —

Была горда и печальна —

помню эту печаль.

А тебя, старик, по мне нарекли — Геворгом

В день Геворга святого...

Так где же твой белый конь?

Где отмщения меч?

Ты расчелся ли с ворогом?

И почему до сих пор жив дракон?

### Армения

Уж если земля — так камень один,  
 А сердце — так боль, если ты армянин.

Уж если корабль — то корабль на горе,  
 А сад и посев — на пути ледника.  
 А дом — на вулкане... И прочих т и р е  
 Несчетно:

жажда — надежда — тоска:

Простой справедливости хоть бы щепоть  
 На камни Армении бросил Господь.

\* \* \*

Средневековые писанья...  
 Велик и темен их язык,  
 Доверясь как бы осязанью,  
 Я лабиринты их проник,

Прошел сиятельный чертог  
 И в сонме строк  
 Невольно,  
 Как в стоге сена об иглу,

Средь восхвалений — о хулу  
Укальвался больно.

Следил за мыслью чернеца:  
Во имя Сына и Отца...  
Постой, постой,  
Не постигает разум мой,  
Лишь терпит вечная бумага  
Деянья зла — во имя блага.

Темна, монаси, ваша суть,  
Прекрасной Суламифи грудь —  
Поляна белоснежных лилий,  
Ягнята резвые — сосцы...  
Но сколько умственных усилий  
Истратили вы, мудрецы,  
Чтоб я все это разумел  
Как вождельенье Соломона

К собору ветхого Сиона,  
А прочего не смел.  
Вам современного злодея  
Вы фараоном нарекли  
(А что же вы еще могли?),  
О нем по должности радея.

Царю небесному хвала  
И поклонение земному...  
Мне эти игры и дела  
До отвращения знакомы.  
Все это целиком отторг  
Я, летописец, я, Геворг,  
Я, бодрствующий в изголовье  
Больного века моего,  
Отвещающий за его  
Кровавое средневековье.

*Перевел В. ЛЕОНОВИЧ.*

### Ласточка из Аштарака

Ты лети, ласточка,  
Домой в Аштарак...  
*Народная песня.*

Ласточка, ласточка,  
Вернее верного знака,  
Милая ласточка из Аштарака.

Далеко, далеко,  
Посреди пернатых ватаг,  
Не забывает она Аштарак.

Под куполом храма  
Гнездилась без страха,  
И все ж не похожа она на монаха.

Ютилась в казарме  
Где-то когда-то,  
И все ж не похожа она на солдата.

Уносят с базара  
Кто гроши, а кто барыши,  
Но базар не коснулся ее души.

И она посреди  
Разлетающихся ватаг  
Не забывает пути в Аштарак.

И в жаркой стране Мсыр,  
Где море, пальмы и песок,  
Я слышу знакомый ее голосок.

И в стране Чинмачин,  
Где б она ни витала,  
Щебечет, как дома она щебетала.

Высокие горы  
Ей преграждают путь,  
Она умеет преграды крыльями перечеркнуть.

Вот твой дом, ласточка,  
Вернее верного знака,  
Мудрая ласточка из Аштарака.

## Застольная песня

Скажем друг другу  
Доброе слово.  
Будет ли время  
Встретиться снова!

Доброе слово —  
Сердцу награда.  
Бросим в давальню  
Гроздь винограда.

Так это будет —  
Было от века, —  
Выше чиновных  
Чин человека.

Чистую скатерть  
Снова расстелим,  
Поровну, братья,  
Горе разделим.

Не поминайте  
Старые бредни,  
Тост благородный  
И не последний!

Жили мы просто  
В зной или стужу,  
Как подобает  
Честному мужу.

Перевел ЭД. БАБАЕВ.

## МАРО МАРКАРЯН

## С армянского

\* \* \*

Где молотильная доска  
Лежит, ислев наполовину,  
И дядя мой издалека  
Приходит тенью и века  
Несет, не разгибая спину,  
Там вол и буйвол у стерни  
Стоят задумчиво одни,  
Как неприкаянные дети,

Завороженно глядя вдаль,  
И в этом взгляде вся печаль,  
Какая есть на белом свете,  
А дяди смутные черты  
Еще сквозят в тени скирды,  
И все грустит, не отлетая,  
Душа, как хлеб его, святая.

## На гумне

Малиновая даль тускла,  
Улегся вол на край гумна,  
И пахнет ладаном копна,  
И снова тишь  
И снова мгла  
И серебристая луна.

Уже гумно подметено,  
Все подобрали до зерна  
И стелют белое рядно.  
А благодатная луна

И хлеб омыла, и вола,  
И грудь невестки молодой  
В ложбинке,  
Влажной от тепла, —  
И, как улыбка, расцвела  
Для всех сердец и всех судеб  
И гвари божьей и земной.  
И люди сели у стола,  
Вино и хлеб  
Деля с луной.

\* \* \*

Гургену Маари.

Я знаю — затихая навсегда,  
Ты улыбнулся горько и лукаво  
Горячности, не гасшей в холода,  
Мятежным мыслям,  
Меркнувшим, как лава,  
И женщинам  
Уже издалека,  
Не помня зла,  
Не требуя залога,  
Своей улыбкой, искрой светляка,  
Похожий на ребенка  
И на бога.

Пока тускнел и мерк земной предел  
 И в ночь ты с детской дерзостью глядел,  
 Любимец, озорник и заводила,  
 Душа прощально смерила края  
 Провала в пустоту небытия  
 И, смерив их, от нас загородила.  
 И оттого лукава и горька  
 Была твоя улыбка в то мгновенье,  
 Когда, окинув бездну свысока,  
 Ты канул в ночь и растворился тенью,  
 А нам оставил искру светляка.

### В Лорийском ущелье

Голубизна  
 Надмирна и чиста  
 И боль смутна,  
 Как ранняя звезда,  
 А под ногами мгла,  
 И где-то в ней —  
 Озноб камней  
 И гулкая вода.  
 Туман на дне  
 Селенье заволок:  
 То крикнет мать  
 Вдогонку ребягне,  
 То кликнет мать  
 Разбуженный телок,  
 Залает пес, расплачется овца,  
 И отзвуком вернется к очагу  
 Топор отца  
 В задымленном логу.  
 А над тесниной в нимбе голубом  
 И в метинах разрух и непогод  
 Поднимется грибом  
 Шатровый свод,  
 И храм  
 Подобно выжженной скале  
 Над осыпью пилонов и апсид,  
 Где тусклый лик на ржавом костыле,  
 Покинуто и косо, но висит.  
 И вдруг на Богоматери замрет  
 Далекый свет, дошедший из-за гор,  
 И улыбнется рассеченный рот  
 Как совести залог — или укор.

Перевел А. ГЕЛЕСКУЛ.

\* \* \*

Что стряслось?  
 Почему этот воздух живой  
 Так растерян и безутешен?  
 Отчего так недвижен туман над травой?  
 Кто-то сломлен,  
 Унижен,  
 Повержен.  
 Чье-то сердце сгорело,  
 Или тлеет оно  
 Одинок и тихо.

Плачет воздух — не мудрено.  
 Мы не плачем от горя и лиха.  
 Так — вздохнем  
 Над погибшим огнем...

\* \* \*

Будто матери шепот горячий,  
 И шемящий, и слышный едва —  
 Бесконечный напев колыбельный,  
 Ускользящие слова...

Ставни сорванные,  
 Сгнившие половицы,  
 Бездна света в проеме окна.  
 Жизнь по капле ушла  
 В каменистую землю,  
 И остались одни имена.

Имена  
 Да пугливое дикое эхо:  
 Позови сыновей — и в доме нежилом —  
 Или в сердце моем — отзовется все то же:  
 — Мы придем еще!  
 Мы придем!

### Деды

Народ без пастыря,  
 Земля без моря...  
 Как пережили вы глухие дни,  
 Когда горящая земля  
 Вам жгла ступни?  
 Как — уцелел — не умерли от горя?  
 Неутолимо зло.  
 Добро наивно...  
 Так что ж вам помогло  
 Столь сказочно и дивно?  
 Какую силу надобно иметь,  
 Чтоб сохранить от порчи и падения  
 Народ — в четвертом поколении  
 И впредь!

Перевел В. ЛЕОНОВИЧ.



---

АЛЕКСАНДР БЕЛАЙ

★

## ДВА РАССКАЗА

### Овца

*Лирическое рассуждение*

1

**С**олнце вставало над длинной единственной улицей поселка, над цементным заводом за речкой, над всей сырой и лесистой округой. Уже вороны, крича гораздо громче, чем казалось нужным для этих глупых птиц, тучей перелетали с крыши на крышу. Пели петухи в окрестных деревнях. Розовый дым отвесно поднимался из труб завода, клубился и вполне заменял облака на утреннем безоблачном небе.

Михаил Демьянович, маленький, жилистый, плешивый, с седыми волосами на груди под майкой, вскочил с дивана, босиком прошлепал к окну, чтобы глянуть погоду; по дороге включил репродуктор, и в соседней комнате жена и дочь заворочались, заскрипели кроватями. Михаил Демьянович запел, чтобы разбудить их окончательно; сбегал в туалет и, вернувшись, начал делать зарядку, считая вслух.

Ольга Семеновна, его жена, дрожа спросонья и кутаясь в платок, прошла мимо него в кухню.

«Дура,— подумал Михаил Демьянович.— Никак не внушу, чтобы делала зарядку. Дрожит — чего дрожит? Нет чтобы организм разогреть, это ж бодрость на весь день. Баба...»

— Как спалось, мать? — крикнул он в кухню, делая приседания и задыхаясь.

— Мне-то? Ничего. Ты-то как?

— Я, мать, человек с чистой совестью, это раз. Второе — веду правильный образ жизни и здоров. Отчего же мне плохо спать? Смешно даже спрашивать.

— Да ладно тебе... Картошку греть или яиц изжарить?

— Картошку. Она — второй хлеб. Ты ведь знаешь, я стараюсь растительную пищу употреблять. Тогда организм...

— Да ладно ты.

— Все ладишь...

Михаил Демьянович жил в семье одиноко. О нем исправно заботились как об отце и муже, но совершенно не интересовались, какой он исключительный, правильный человек. Он давно уже утратил негодование и надежду внушить жене и дочери передовой смысл жизни и жил этим смыслом сам.

Михаил Демьянович умылся в ванной, окатил себя по пояс ледяной водой — процедура, приводившая жену и дочь в ужас. Обе привыкли считать отца слегка придурковатым. Он был для них объектом традиционного родственного терпения.

В кухне он сел за стол и начал есть, без разбора посыпая все в тарелке солью.

— Да я ведь солила.

Михаил Демьянович расцвел, получив очередное подтверждение своей исключительности.

— Я ж всегда досаливаю! Где бы ни подали — знаю не пробовавши, что мне соли мало будет. Не ты одна, все удивляются: соленая же ты душа, говорят про меня...

Но Ольги Семеновны уже не было в кухне: она вышла тихо, незаметно, как и все она делала. Михаил Демьянович пробормотал с досадой: «Дура!» — и настырно продолжал думать о том, какая он соленая душа, просто всем на удивление. Таков был его удел.

Дойдя до чая, который густо заварил в жестяной кружке, Михаил Демьянович снова забылся и с улыбкой повернулся к вошедшей жене:

— Во, чифир! Все удивляются: как ты можешь такой крепкий пить? Не знаю, говорю, привык. Я, ей-богу...

Ольга Семеновна, не слушая, намазывала ему хлеб маслом, потом поглядела на его ноги.

— Ну что за носки на тебе, отец! Опять из грязного достал. Я ж новые тебе положила под самый нос.

— Носки? Носки ерунда, что ты мне носки...

Вошла, зевая, Надька — в халатике, растрепанная, с лицом слежавшимся и опухшим за ночь и от этого страшным. Налила себе чаю и стала пить, сонно уставившись в стакан. Щеки ее быстро розовели.

Сегодня Надька уезжала в Москву поступать в институт. Михаил Демьянович готовился отвезти ее на станцию.

— Давай-ка поторапливайся, Надежда. Копаеться... Машина будет в семь. Я договорился, а ты тянешь. Все знают, что я хозяин своему слову. Краснеть из-за тебя? Словом надо дорожить. Это ж...

Надька со вздохом встала, вытерла губы и, не взглянув на отца, встряхнув пышными каштановыми волосами, пошла одеваться. Лицо ее начало разглаживаться и оказалось хорошеньким, без какого-либо отчетливого выражения.

Ольга Семеновна помогала ей собираться, говоря тихо, будто сама себе, — она со всеми говорила так, боясь навязать другому свое настроение: послушают ее — и ладно, а нет — то и слов ее не было.

— Деньги тут, в кошельке. Вещи все летние. Коли поступишь и останешься там жить, тогда либо отец привезет, либо приедешь и заберешь зимнее.

Больше она не знала, чем напутствовать, и лишь положила в дальний угол кошелька бумажку с охранительной молитвой. В будущее она боялась заглядывать, это была гордыня. «Загад не бывает богат». К попыткам влиять на судьбу она относилась с опаской и жила в постоянной покорной готовности или терпеть беду, если беда, или как можно незаметнее радоваться, если радость, отдыхая на этом душой. Как почти все женщины завода, она была из местных крестьян и сохранила бóльшую часть суеверий, устояв против сарказма Михаила Демьяновича. Она верила в заговоры, гаданья, толкование снов, в сглаз и средства от него. Надька на это посмеивалась, но было местечко у самого сердца, куда насмешка никогда не доходила.

Перед уходом мать и дочь в молчании уселись под вешалкой на чемодан. Михаил Демьянович дожидался демонстративно стоя, заложив руки в карманы.

Московский поезд на их станции считай что не останавливался — притормаживал, ждал минуту-две и сразу трогался. Михаил Демьянович и Надька стали у края платформы, поглядывая в ту сторону, откуда он должен был появиться.

— Что ж, Надежда, учеба — великая вещь. Я вот, например, хоть и не имел такой возможности, но постоянно занимался самообразованием. Ты же знаешь, я всегда с книжкой или с газетой. И вот — в заводе меня ценят. А иначе чем бы я был? Растительным человеком, больше ничем. Также и политически нельзя отставать: что делается за рубежом, у нас в стране... Вдруг разговор какой с образованным человеком... там ведь и профессора будут и доценты, понимаешь... а ты не в курсе. Позор!

— Ладно, ладно.

— Все ладишь...

Надька с нетерпением смотрела на подходивший поезд. Ее ждала еще одна неприятность — прощальный отцовский поцелуй, нелюбимый с детства, с отъездов в пионерлагерь: крепкий, в губы, слюнявый и колючий. Отец был для нее родственным ничто, говорящим и делающим сплошные странности; так, что-то обязательное, но неинтересное.

Вытерев после поцелуя губы, Надька влезла в вагон и приняла от отца чемодан. Поезд тут же тронулся.

Михаил Демьянович проводил взглядом последний вагон и углубился в обдумывание ждавших его на заводе дел. У него всегда было такое чувство, что без него в заводе что-то остановится; а вот без его баб ничто нигде не остановится... С этими мыслями он пошел назад к машине и уже ждал от Надьки писем из Москвы как информации из первых рук о том, что поделявает столица и какие там слышны внутри- и внешнеполитические новости.

Надька сидела у окна в своей парадной шерстяной зеленой юбке, в туфлях на высоком каблуке, в блузке, натянувшейся на большой мягкой груди, — она была пышка. Теперь она совсем проснулась и глядела круглолицей симпатягой. Глаза у нее были светло-карие, выпуклые и незнергичные; скулы и подбородок образовывали ровный и нежный детский овал. Зубы под алыми губами были редки и некрасивы.

Биография у Надьки была правильная, благополучная, свидетельствовавшая о правильности и благополучии ее развития. Рождение; первые шаги и зубы, болезни и выздоровления, школа; октябренок, пионерка, комсомолка; редколлегия школьной стенгазеты как факт участия в общественной жизни, переписка и обмен марками со школьниками из ГДР; тройки, четверки, пятерки; самодеятельность, танцы в клубе, дискотека в райцентре; аттестат зрелости. После школы она знала, что дважды два — четыре, и еще множество столь же непроницаемых в своей ясности формул и схем из всех школьных наук, бывших ей столь же безразличными, как и дважды два — четыре. Сокровенным и непреходящим настроением Надьки была убежденность в своей главности для мира и напряженное ожидание счастья как чего-то неизмеримо лучшего в сравнении с тем, что есть сейчас. Разум ее состоял из памяти, вобравшей пройденные в школе общие места, и из приобретенной способности различать эти общие места в жизни и ориентироваться по ним. Чувства были не способны выразиться словами в случаях, когда дело не касалось общих мест. Все непонятное существовало как странности. «Странный» — с оттенком превосходства — было любимым Надькиным словечком.

На людях Надька всегда была сладко испугана чудившимся ей общим пристальным вниманием к себе, которое она очень боялась не оправдать, мучительно напрягаясь, чтобы не допустить этого; и отдыхала лишь дома, без посторонних глаз.

Тех знаний и того развития, что Надька получила в школе, ей за глаза хватало, чтобы поступить в химико-технологический институт. Прожив в общежитии три месяца, Надька освоила город Москву с тем же успехом, как и школьную программу. Скоро она была не-



отличима от тысяч приемных детей столицы, располагавших общими местами Москвы с таким видом, будто располагают в ней всем.

На деньги, присланные Ольгой Семеновной, Надька приделалась, выдержав в одежде набор доступных ее средствам и разумению общих мест своего времени. Джинсы, купленные с рук, до блеска обтягивали ее. Накрасившись, натянув джинсы и свитер поверх несвежего белья — Надька была неряшлива во всем, чего не могли видеть люди, — она считала, что вот теперь с лихвой оправдывает общее восхищение; взгляд Надьки выражал при этом надменный панический отпор.

Отучившись семестр, Надька поехала на каникулы домой, обремененная общими местами из новых наук и успешно сдав десятка полтора зачетов и экзаменов

Дома, завернувшись в халат и хорошенько поев с дороги (Надька только тогда и ела с истинным наслаждением, когда никто не смотрел, — от души, набивая рот и глотая враспор), она тайком выкурила в туалете сигарету, улеглась на диван и начала рассказывать матери о своей студенческой жизни. Выходил полный блеск.

Ее любят. Она все время на виду. Если б захотела, была бы отличницей, но на кой ей это нужно! Отличников никто не уважает, странные какие-то... Выбирали студсовет городка. Выбрали каких-то странных... никто их не уважает. Вот ее все уважают.

— Что делается-то, — выдыхала тихий, восхищенный и стесняющийся своего восхищения смех Ольга Семеновна, понимавшая из всего сказанного только то, главное для нее, что Надька довольна. — Беда-а-а...

Надька продолжала болтать, обнаруживая, как всегда, откровения юмора и интереса в безнадежно общих местах.

Один парень пригласил девчонку на танцы, там нашел себе другую и начал с ней танцевать. Эту бросил. Она стояла-стояла как дура, потом убежала, плачет... Это же подло, правда?

Один парень занял у другого парня червонец и три месяца не отдавал, а тому жрать не на что. Наглец, да?

Одна девчонка пошла с парнем в кафе, а у него денег не хватило расплатиться. Позорище, да?

— Беда-а-а... — смеялась Ольга Семеновна лихости Надькиной болтовни.

— Отец-то как тут?

— Живет, ничего. Рубашку новую ему купила. Ругался — страсть! Деньги переводить. А сам любит... Я ушла комод перебирать, а он в зале и так и эдак ее примеряет — и с пиджаком и рукава закатает... Снял, в шкаф повесил. Я ему: что ж ты, носи. Ругается: в будни новую рубашку! Беда-а-а...

— Да, он у нас странный какой-то.

Вечером пришел с работы Михаил Демьянович. Надьке пришлось вытерпеть его поцелуй и странные какие-то вопросы: как там столица? как правительство? что нового в химической науке? каких видела зарубежных гостей? Получив ответы сплошь бестолковые, по его мнению, Михаил Демьянович подумал с привычным нетяжелым разочарованием: «Бестолочь, ничем не интересуется. А ведь всю жизнь пример перед глазами!» — и взялся за передовую в «Правде» об улучшении дел в производстве стройматериалов, то есть касавшуюся именно его, раз он работает на цементном заводе.

Дочь с матерью отправились спать.

— Анну Ивановну видела, — расчесывая волосы, сказала Ольга Семеновна будто сама себе, давая понять робкой улыбкой, что ничего такого особенного не желает сказать. — Саня из армии пишет. О тебе интересуется.

— А! С третьего класса за мной бегал... Мам, там девчонки дубленку продают за восемьсот рублей. Обещали дожждаться меня с каникул. Вещь!.. Теплая, легкая... А то это пальто — дерюга какая-то.

Ольга Семеновна посерьезнела, но опять-таки будто не в связи со сказанным.

— Отцу только молчи. Дам денег. Видела я дубленки на людях, и впрямь красота.

— Ой, мамочка!

Ольга Семеновна тихо засмеялась ее радости:

— Беда-а-а...

Между тем положение Надьки в группе, на курсе и в общежитии было самым заурядным, таким, каким оно только и могло быть и каким оно не могло казаться единственно Надьке.

Глаза ее, однако, видели и уши слышали то, что делается вокруг. Люди внимали не исключительно ей, считали красивейшими, умнейшими, талантливейшими других, другим позволяли первенствовать. Когда при Надьке восхищались кем-то, кто действительно заслуживал восхищения, она вторила с преувеличенной готовностью, но в такие минуты лгала в обиде и ярости на то неведомое, бывшее в ней, что заставляет ее мучиться ложью. Она глядела на людей, не страдающих от сознания, что они — не самые лучшие, и даже не ставивших для себя вопроса так, как он вечно стоял для нее, Надьки, и, на словах вынужденная признавать вместе со всеми, что и она — не лучшая, совершала насилие над своей душой, знавшей вопреки очевидности, что тут полная несправедливость.

Подруг у Надьки оказалось две-три, полностью согласных с ней всегда, когда она находила что-нибудь странным; да двое-трое юнцов все время вертелись в их комнате возле Надьки, сбитые с толку ее фамильярностью и вульгарностью, свойственными ей как общие места дружбы и оригинальности. Эти юнцы и были те самые рыцари без страха и упрека, которыми, как она рассказывала матери, она повелевала.

Теперь после занятий Надька редко выходила из общежития, больше лежала на койке, кутаясь в халат и натянув шерстяные чулки — она была мерзлячка. Она лежала в тупой бездонной и настырной уверенности, что сейчас ей просто не до этого, а вообще-то стоит ей вымыть голову, да накраситься, да надеть дубленку... Рыцари за просто заходили поболтать, попить чайку, говоря между собой, что эта корова, пожалуй, сгодится для постели, как они выражались, а больше ни для чего. Надька, уверенная, что заслуживает и пользуется бескорыстным поклонением, понимала их суету вокруг себя до примитивности превратно, хотя в отношении другой, наблюдая такое, давно все поняла бы. И она сводила своих рыцарей с ума тем, что не понимала (делала вид, стерва!), чего от нее хотят, на деле способная на все и ко всему готовая.

Надька мечтала о любви, но у этой сильнейшей ее мечты не было никакого лица, просто непрекращающееся смутное раздражение у сердца. Всякий раз, когда любовь очередной пары становилась явью, печальной или прекрасной, и Надьке вместе со всеми приходилось говорить об этом, ее поражала необходимость лгать, притворяясь равнодушной к тому, что любят не ее. Но стоило Надьке подумать о любви к себе кого-то одного, вот этого, о своей любви к кому-то одному — ей отчего-то сразу же становилось скудно и ничемно; при мысли о любви у нее хотя и замирало сердце, но опускались руки.

Девственность она утратила случайно, глупейшим и единственно возможным для нее образом — в порыве фамильярности; и первый ее мужчина, если можно было его так назвать, один из рыцарей,

испытал всю меру разочарования от открывшейся ему безнадежной апатии ее души и тела.

А тут еще ей ну просто до смерти расхотелось учиться, вернее, только теперь до нее дошло, что она никогда и не хотела учиться этой странной какой-то химической технологии.

Душа в своем начале бесконечна в том смысле, что она пока еще — лишь абсолютная возможность, сумма всех возможностей. Она еще не отражает мир, а смутно ощущает его как тождественное себе. Чтобы выдержать такое тождество, душе нужно быть ничем. Но чтобы жить, душе необходимо стать чем-то, приобрести качества, то есть определиться, заключиться в пределы, утратить свою бесконечность. Жизнь души в мире и есть становление, постоянная и все большая потеря возможности быть всем; освобождение от смутного тождества с миром и установление с ним отчетливой связи отличия. Когда говорят, что душа обязана трудиться, имеют в виду как раз труд и страдание становления. Результат воспитания есть то, чем стала душа и только она, а не ее общее место — память на формулы и схемы и навык ориентироваться по ним. Если душа не трудится, то рано или поздно она все равно теряет свое изначальное тождество с миром и, в тоске по этому утраченному тождеству, желает и стремится только к абсолютному: не к хорошему для себя, а к лучшему, то есть к невозможному; «лучшее» для нее существует вопреки очевидности как предмет безнадежного, невыносимо стыдного разуму, но непобедимого стремления. Так и душа Надьки продолжала оставаться ничем и осознала свое отличие от мира как невозможность явить себя ему как лучшее в нем. Вокруг Надьки такие же люди обретали цели, привычки, манеры, круг знакомств, где чувствовали себя так уютно, возлюбленных — они жили, определяясь в муках отделения себя от мира, ограничения. Надьку же все время не покидало и все ей отравляло предощущение скудости как результата утраты бесконечности своей души для того, чтобы начать жить.

С тем же чувством, с каким выслушивают на суде формально доказанную клевету, Надька слушала о себе — в группе, в деканате, в студсовете, — что она ленива, несознательна, антиобщественного поведения и т. п. Она понимала только то, что ее почему-то считают хуже всех и хотят отчислить! Но она-то знала, что лучше нее ничего быть не может, и это знание, которое она не могла внушить миру, душило ее, как душит постоянное созерцание абсурда.

Когда ее отчислили за прогулы, сборища до утра в ее комнате и за неуспеваемость, она даже почувствовала облегчение и поехала домой, обвиняя всех, кроме себя, и даже не подозревая, до чего права в своих обвинениях.

## 2

— Беда-а-а,— шептала Ольга Семеновна, слушая ужасы, рассказываемые Надькой.

Тут было все, чего вовсе не было, но что Надьке одно за другим представлялось с такой ясностью, что заставляло ее всхлипывать от жалости к себе: внезапные болезни, какие-то странные — не подыаться, а температуры нет и справки не дают; странные какие-то преподаватели и студсовет, ни с того ни с сего ополчившиеся на нее; и странные какие-то предметы, которых никто не понимает, но всем как-то повезло, а ей нет...

— Беда-а-а... Отцу-то что скажем?

— А ничего не скажем.— Надьку осенило: — Я ж осенью восстановлюсь.

Мать непонимающе и с надеждой моргнула,

— Это как же?

— Ну да, восстанавлиюсь. У нас многие так. Отдохну лето... И вообще, мам, ничего никому не говори. Приехала на каникулы — и все. Народ-то глазливый у нас... это меня кто-то сглазил! Обзавидовались, что я поступила... То-то я там все чувствовала тяжесть какую-то, ну вот давит и давит, рук не дает поднять. Сглазили, точно!

Надька стала жить у родителей с совершенно искренним убеждением — таким, какое ей и хотелось иметь, — что она осенью восстановится и все будет по-прежнему. О другом она до такой степени не могла думать, что этого другого для нее не существовало.

Спала до одиннадцати и потом долго лежала в кровати, отлеживая бока; встав, бродила по квартире, вспоминая, что же хотела сделать, но ничего не придумывая; умывалась кончиками пальцев, садилась за чай; пила чашку за чашкой и раскидывала на картах свое будущее.

Она толстела и дурнела, но видела это с равнодушием, с каким видят недостатки у других; она жила временно, пока, до случая — сейчас жила не она, а кто-то другой.

К вечеру, когда на заводе кончалась смена, Надька с трудом влезала в джинсы, накрашивалась и уходила, чтобы не встречаться с отцом, ворчавшим на неправильный образ ее жизни и без конца приводившим в пример себя, между тем как Надьке при мысли, что она хоть сколько-нибудь станет подобной отцу, хотелось наложить на себя руки.

Тяжело и неуклюже шагая, Надька шла к кому-то из подруг. Девчонки — странные какие-то — почти все успели выйти замуж. В кухне, где подруга готовила семье, вернувшись с работы, Надька покуривала и болтала без умолку, зачарованная откровениями юмора и интереса в своих студенческих воспоминаниях:

— У нас один парень ехал со свадьбы. Выпимши, естественно! Так его заловили и в милицию. Сообщили в деканат... Уже на свадьбе не выпей. Кошмар, да?.. Одна девчонка купила одеяло. Пришел ее парень, уронил сигарету и прожег. Так они из-за этого расстались навсегда. Представляешь?

Подруга не знала, что на это сказать, вежливо слушала, разрываясь между Надькой и сковородами на плите.

Потом Надька шла в клуб на танцы, где не танцевала, а высокомерно, тоскуя безотчетно от сознания, что только притворяется высокомерной, стояла в углу, глядя на юнцов, которых помниластриженными под бокс, а теперь патлатых.

Ближе к ночи с магнитофоном и гитарой отправлялись в темноту прибрежных кустов. К Надьке лезли с поцелуями и объятиями, но в ответ встречали беззлобную, безнадежную апатию, которая оказывалась непроходимее любого отпора. Ребята все как один были уверены, что Надька — та еще стерва. Такое она производила впечатление.

Надька только продрала глаза и лежала, помаргивая на слепящее солнце, бьющее в окно.

Как водилось здесь с тех пор, когда вместо поселка была еще деревня, входную дверь открыли без стука, и кто-то протопал по коридору. Надька спустила ноги с дивана, глядя на рослого сержанта в парадной форме, державшего в одной руке фуражку, в другой магнитофон; китель был расстегнут. Улыбка, которую он в предвкушении встречи нес сюда, видно, от самого подъезда, в конце концов так разрослась, что открывала уже не только зубы, но и десны и до того исказила лицо, что Надька не сразу его узнала и обеспокоенно запахнула халат до самого горла. Узнала она лишь тогда, когда

он, не справившись с улыбкой, залиvisto расхохотался от радости своего появления здесь.

— О, кто пришел!

Это был Саня Веретейкин, сосед, приехавший из армии в отпуск.

— Привет, овца! Чё лежишь-то? Всю жизнь так проспнешь.

Надька вспомнила его привычку называть девчонок овцами и сама рассмеялась. Саня тут же сел к столу. Руки у него были большие, чистые, на вид мягкие. Надька с трудом продолжала вспоминать его, игравшего на гитаре в ансамбле дорожного техникума — с кудрями до плеч и едва пробивавшимися усиками. Теперь он был коротко острижен; кожа на лице погрубела от настоящего бритья. Румянец был прежний, во всю щеку.

Улыбка продолжала лезть на его лицо, смущая и мешая говорить.

— В отпуск, что ли? — тонко, с усилием спросила Надька.

— Ага. Я ж в строительных войсках, ты знаешь? Мастером. Строили новый клуб части. Комбат говорит: сдаешь в срок — едешь в отпуск. Я сдал. Двести человек работало, считай, один управлялся... У нас там тоже ансамбль. Ребята толковые подобрались. Аппаратура даже лучше, чем здесь. Ездим по всему округу... Ты что собираешься делать? А то поехали купаться. Я на своем драндулете. Музыка вот есть. Записи, правда, старые, доармейские, но ничего. Вот слушай, как они сделали Сороковую симфонию Моцарта! Бас какой! Ритмуха!..

Саня включил магнитофон, и пока Надька в соседней комнате одевалась, слушал музыку, как всегда он ее слушал и ничего не мог с собой поделаться: заметно вздрагивая и подавляя озноб наслаждения.

Надька вышла к нему зятая, накрашенная и окаменевшая лицом от сознания, что она при параде и неотразима. Саня оглядел ее нежно, восторженно, задастую и грудастую, современную, восхищенную собой, казавшуюся ему гораздо взрослее, чем он.

«Москвич», оставшийся Сане от отца, умершего перед самым уходом Сани в армию, накалился от солнца. Саня небрежно открыл дверцу.

— Вернусь — продам эту рухлядь, «Жигули» возьму. То машина! Сейчас как раз новые начинают бегать. Под Запад.

От быстрой езды и ветра в лицо Надька разнежилась. Саня болтал с удовольствием долгожданной встречи, закладывая на петлявшем шоссе удалые виражи.

— Вчера Анатолия Палыча видел, начальника дорожного управления. Я у него до армии два месяца работал. Им в отдел кадров, оказывается, за меня из полка благодарность прислали. Так, мол, и так, ударник, грамотный специалист. Смех... Ну, Палыч в меня вцепился, как увидел: отслужишь — сразу к нам, у нас со специалистами туго. Я ж дорожник вообще-то, ты знаешь. Стройку это я так освоил, из нужды. Вот... Сто семьдесят оклад плюс премия — это мастером. Годок, говорит, покрутишься — прорабом, а там и начальником участка. А что? Кто у них там? Одни старики, я же знаю. Без образования... А я, как работать начну, сразу поступаю на заочный... Дом новый заложили в райцентре. Женишься, говорят, — квартира тебе обеспечена как молодому специалисту.

Надька шевельнулась от внезапной мысли, тут же слетевшей с языка:

— У нас в семейной общаге люди с двумя детьми есть живут в одной комнате. Ужас, да?

Саня осекся, подумал секунду.

— Я ж и говорю... Хочешь, за грибами заедем? Грибов в этом году — страсть. Я вчера буквально на полчаса у посадок остановился — считай, ведро белых. Подберезовиков, правда, десяток.

— У нас одна девчонка отравилась грибами. Из дома прислали. Чуть коньки не отбросила. Кошмар, правда?

— Гм... Да, это такое дело... Ну что, съедем здесь? Тут берег отличный. Лещи такие водятся! Я здесь половил, помню. Уха была!

Купальник стал Надьке тесен, тело выпирало из него. Она неторопливо и трусливо плавала на мелководье, то и дело вставала, пробуя дно (вода была ей по пояс), трясла телесами; маленькое круглое ее личико выражало испуг и удовольствие.

Саня отводил глаза. На него напало и не отпускало ощущение, что вместе с ним смотрит и испытывает то же, что и он, кто-то другой. Он боялся этого ощущения, смутно и томительно беспокоился, осознав именно такое беспокойство сильнейшей стороной своего влечения к Надьке. Никогда и ни к кому Саня не испытывал подобного беспокойного влечения, даже к Надьке до этой минуты.

Они сидели на траве, отдыхая. Саня выспрашивал о жизни в Москве и по-прежнему не мог поднять глаз, слушая Надькину болтовню о полном ее успехе у всех без исключения. Саня не сомневался, что это так; даже, пожалуй, Надька еще и скромничает.

— Замуж-то там, в Москве, не собралась еще? А, овца?

— Дура я, что ли? — был ответ, ничего не прояснивший и не успокоивший.

Весь отпуск Саня не отходил от Надьки. Каждое утро он появлялся на пороге сияющей и встревоженной не покидавшей его тревогой. Кричал Ольге Семеновне в кухню:

— Теща, привет!

Ольга Семеновна, боясь, что Саня заметит ее удовольствие как поощрение, тихонько смеялась, отворачиваясь:

— Беда-а-а...

Михаил Демьянович, напротив, удовольствия не скрывал, пожимая ему руку. Парень правильный. Специалист, руководитель. Политический подкован. Режим понимает, солдат же.

Надька одевалась, и они уходили на весь день. Вечерами с компанией ездили на рыбалку, варили уху в излучине их быстрой реки. Ночью, уведя Надьку от костра, Саня пытался давать волю рукам и, получая беспрекословный в своей вялости отпор, не без удовлетворения смирял свой пыл, поражаясь себе. На людях Саня был с Надькой по-жениховски обходителен. Друзья шептались со злым удивлением:

— Вот ведь стервь, как его окрутила!

И хотя такое суждение было единственно возможным при стороннем наблюдении за Надькой, это была неправда, и Саня единственный знал эту неправду. Дело было не в Надьке, а в нем. Раньше Надька существовала для него как предмет влюбленности, теперь стала предметом беспокойства, заслонившего в своей силе сам предмет; именно в свое беспокойство, а не в Надьку Саня вглядывался, перебирая все оттенки своего чувства, как делают при игре «холодно — горячо». Горячее всего становилось не тогда, когда он думал о красоте или о теле Надьки, то есть об обладании, а тогда, когда думал о необладании, о несуществовании Надьки для него одновременно с существованием ее для всех остальных. Это был страх перед безразличием другой души, ощущавшимся как непоправимая, стыднейшая неспособность собственной души отразиться в другой и так увидеть истину о себе, которую вдруг стало невозможно узнать иным образом.

Словесные мнения у Надьки вымогать было бесполезно: они могли быть ложью уже потому, что выражали бы что-то приближенно. Уезжая, Саня спросил только:

— Ты хоть вспоминать обо мне будешь, овца?

— Ну еще бы! — с готовностью ответила Надька, и понять ее каким-либо единственным образом, как всегда, было невозможно.

В конце августа Надька собралась и уехала в Москву восстанавливаться.

Мимо знакомой вахтерши, знакомым коридором, сияя и рассыпая приветики, пронеслась Надька с чемоданом и сумкой, влетела в комнату, расцеловалась со всеми, вытряхнула в общую кучу привезенную домашнюю снедь, села, раскачиваясь, на койку, на которой спала год; и только тут до нее дошло, что ни эта койка, ни комната, ни общежитие больше ей не принадлежат и она знала это с самого начала. Это ну никак не вязалось с ее настроением, и она начала доказывать, что завтра же пойдет в деканат восстановится... ведь правда? Ее друзья, между собой давно решившие, что Надьке в жизни остается только один вариант — выйти замуж (и они заранее всей душой жалели таким образом осчастливленного), украдкой переглядывались, вздыхая от ее глупости. Неужели она не понимает?

Но Надька поняла, и тут оказалось, что она, хоть ты ее застрели, ни за что не хочет ехать назад. Переночевав на пока свободной койке, Надька утром отправилась по Москве куда глаза глядят; она раньше часто видела объявления о найме рабочих по лимиту. Теперь она припоминала, что, когда ехала сюда, думала именно об этом, а не об учебе, просто забылась что-то.

— А учиться буду заочно, какая разница? — вслух сказала Надька сама себе, разглядывая стены домов.

Надьку взяли мойщицей посуды в рабочую столовую. Дали койку в общежитии. Надька перевезла сюда свои вещи и успокоилась. Написала матери, что устроилась — лучше не придумаешь: будет работать и учиться. Красота, правда?

Вставать приходилось в шесть. Надька, неисправимая «сова», мучительно не высыпалась. Страшная со сна, по-бабьи закутав голову в платок, она ехала в трамвае на работу, вздрагивая от вида замерзших стекол. В бытовке, зевая во весь рот, надевала халат и колпак, накрашивалась у обломка зеркала и шла в моечную. По транспортеру начинала ползти к ней в руки грязная посуда: было время завтрака.

Тупо и зачарованно глядя в колышущуюся радужную пену, Надька надолго забывалась в ощущении себя как единственно существа.

В таком тошнотворном оцепенении прожила она зиму. Это было оцепенение вечного ожидания, сознания временности своего положения. Она видела себя лишь в возможности быть и не хотела глядеть на то временное, чем постоянно себя ощущала. Особенно любовь она с опаской оставляла в той области, где всегда могла видеть себя прекрасной, — в возможности.

Она казалась тридцатилетней, пожившей и порочной, хотя и не жила и не знала порока, который все же есть жизнь, пусть дурная жизнь. Те, кто предполагал в ней порок, то есть зло, думали о ней не самое страшное. Душа Надьки не содержала в себе собственно зла как такового, тем более желания кому-то зла; зато любое зло мира могло беспрепятственно и незамеченно пройти через эту пустоту к кому угодно.

За год заведующая сказала с ней несколько слов; да несколько подруг, так же, как и институтские, разделявших всякое ее удивление странностями мира, было в общежитии; да несколько раз посетители, заходившие в моечную за чистыми стаканами, с любопытством заглядывали ей в глаза; да несколько ребят из соседнего общежития каждый вечер торчали в их комнате — вот все знаки внимания, какие дарил ей огромный город, вернее, какие она была способна у него вызвать.

Весной Ольга Семеновна, встревоженная молчанием Надьки, приехала проведать ее. Надька с подругами как раз ужинала.

Подруги деликатно вышли. Ольга Семеновна присела напротив Надьки и, как всегда, выжидала: радоваться ли ей встрече или не откладывая начинать терпеть огорчение — вид Надьки ей не понравился.

Надька резала хлеб, мать смиренно сидела напротив, суп дымился в кастрюльке. Надьке стало вдруг до того тошно, что хоть сдыхай.

Она живет отлично... Ее любят... начальство ценит... Посетители на нее заглядываются, специально шастают в моечную... От мальчиков отбоя нет, но на кой они нужны, дура она, что ли?.. А что? По крайней мере она в Москве, а не в их дыре... ведь правда?

Но воодушевление, какое она всегда испытывала, говоря о себе и переживая как реальность все, что было и чего не было, не приходило. Надька беспомощно взглянула на мать. Слезы потекли по щекам, застав Надьку с поднятыми руками — в одной нож, в другой кусок хлеба. Она так и плакала, забыв освободить руки и не вытирая слез.

У Ольги Семеновны все перевернулось в глазах.

— Беда-а-а... — прошептала она, боясь дотронуться до Надьки. — Что ж так-то?

Надька плакала уже навзрыд, отплевываясь от лезших в рот волос:

— Да, ты не знаешь... я не хотела говорить... Я тут все время болею. Всю зиму такая ангина, такая ангина... — Эта ангина только сейчас взбрела ей на ум, но Надька говорила о ней с искреннейшей мукой за себя, с тоскливой жалостью к себе — настоящая ангина не измучила бы ее так за год, как в несколько секунд истерзал этот ставший дорогим сердцу вымысел. — Я тут сдохну. Это разве условия?.. Поеду я домой, к черту! Подлечусь, отдохну... Там видно будет.

Она сразу успокоилась и стала есть суп, всхлипывая с дрожью облегчения. Вдруг ее озарило:

— У нас, мам, один мужик, с шестого этажа, по пьянке избил свою жену. Она кричит... Вызвали милицию, те приезжают, а она им: попробуйте троньте его! И соседям: что вы не в свое дело лезете? Дура какая-то, правда? Вот и делай после этого добро людям.

В поселке все уже знали, что Надьку выгнали из института — конечно, за дурное поведение.

Михаил Демьянович был воистину страшен сам себе, подняв бурю в стакане воды. Седой, волосатый, стоя над дочерью в майке и спортивных штанах, он потрясал кулаками и кричал на всю улицу:

— Ты не советский человек! Не комсомолка! Ты — отброс нашего общества! Тебе плевать на все — чем живет народ, государство, коллектив! Никакой сознательности... никакой социальной активности!

«Господи, чушь какая-то, — с тоской думала Надька, переживая эти тысячу раз слышанные отовсюду слова, не говорящие ее душе абсолютно ничего. — Совсем чокнутый стал».

Михаил Демьянович, впрочем, скоро замолчал, не зная, что конкретно, кроме бесконечного повторения этих слов, ему надо сделать для перевоспитания дочери; он никогда этого не знал, как не знали этого и те, кто считал себя ее воспитателями.

Надька еще сильнее, чем раньше, пристрастилась мечтать и наслаждаться мечтами как явью — это был способ стать чем-то, избежать страдания становления, способ обладать абсолютно лучшим, быть таковым. Мечтала она серьезно, всякий раз задавая наперед тему; и часами лежала, созерцая фильмы своей души.



— Беда-а-а,— вздохнула Ольга Семеновна, торопясь жить, чтобы поскорее прожить Надькину неподвижность.

В июне вернулся из армии Саня Веретейкин.

Брюки, сшитые два года назад по последней тогдашней моде, были теперь до неприличия широки; таких галстуков лопатой и длинных закругленных воротничков никто уже не носил. Но Сане было не до одежды. Волнуясь и еще издали встревоженно улыбаясь, он шел к Надьке.

— Теща, тесть, здорово!

Михаил Демьянович, отложив газету, крепко пожал ему руку.

— Отслужил? Хорош... Кто, говоришь, у вас там командующий округом?

Но Саня глядел на Надьку. Она ничуть не изменилась для него, и не изменилось его отношение к ней.

— Привет, овца! Вот, вернулся... Костюм у меня, конечно... Ничего, прибарахлимся. Две тысячи после службы на книжке имею.

Ольга Семеновна, улыбкой отводя подозрение, что она поощряет внимание Сани к Надьке, собрала в кухне на стол и ушла в спальню прислушиваться и волноваться.

Саня выпил водки, и лицо его запылало.

— Бросила я институт, Саня. Что институт? Что он мне даст? Да еще эти болезни! Я ж все время болела... большинство времени. А Москва? Ну что Москва? Большая деревня, одна давка кругом. Устала я, Сань.

— Ну так я же и говорю,— обрадовался Саня,— разве бабе... девушке то есть, это нужно? Эх ты...

Он счастливо посмотрел на нее и застыл, задумался, ссутулившись. Вдруг он двинулся на стуле так резко, что Надька вздрогнула.

— Я чё, собственно, хотел?.. Выходи за меня, а? Ей-богу, хорошо будет, вот увидишь. Пойду работать мастером, потом прорабом, да и в прорабах не задержусь, я себя знаю! Деньги будут... «Жигули» возьмем: хоть в Брянск, хоть в Москву, если надо,—никаких проблем. Поживем у матери, а там уж и дом сдадут, квартира будет... Работу тебе найдем хорошую... Ты не думай, Надь, я это не с налета говорю. Я еще до армии... я в армии, ей-богу, только о тебе думал. Смотреть ни на кого больше не могу.

Надька тщетно попыталась раскинуть мозгами в поисках причины, отчего ей вдруг при мысли, что она согласна и ей ничего больше не остается, стало так тесно, скудно, тускло существовать; вздохнула.

— Конечно,— с натугой подступался Саня к самому трудному,— если ты уже не... я имею в виду... ну, ни с кем там, в Москве... не сговорилась уже насчет этого с другим, ясно? Я не имею в виду, если случайно было с кем-то... Мало ли, ты девушка видная, я понимаю... Я это вовсе не к тому... Я к тому, что... В общем, чтобы я знал. И знал, что больше с тем у тебя ничего нет.

Глядя на его уже пунцовое лицо, Надька расчувствовалась, ей стало жалко себя и сладко от искренности, о какой ее просили.

— То, что ты говоришь, Саня, было, да. По глупости, честно! И никого я там не люблю и не любила, и глаза бы мои больше их не видели!

— Понятно,— вздохнул Саня, барабанив пальцами по столу,— понятно...— Он выпрямился.— Тогда все об этом, баста! И сам не буду, и тебе запрещаю. Ясно, овца?

Надька проводила Саню и пошла к матери, невнимательно распуская в спальне старый Надькин свитер на пряжу.

— Саня замуж зовет.

Ольга Семеновна замерла в восхищении, которое на сей раз бесильна была скрыть:

— Беда-а-а...

— А что, мам? Когда-нибудь ведь надо. Не всю же жизнь по общагам мотаться! Этот хоть парень как парень, не рвань какая-нибудь. Любит меня. Да и красивый, разве нет?

— Что ты, что ты,— шептала Ольга Семеновна,— и не сыщешь лучше-то.

— Квартиру дадут... машину купим... будем жить... А что? Ведь правда?

3

Саня жил с матерью Анной Ивановной, высокой и худой, вечно угрюмой, строгой, очень аккуратной, одетой всегда в черное старухой, и с больной сестрой Ирккой четырнадцати лет.

Перед дверью Саня помедлил, открыл ее со вздохом. Мать услышала, выглянула в коридор. Саня разделся, не поднимая глаз, и прошел в комнату к Ирке, лежавшей в кресле, укутанной в одеяло. Дебильная девочка, узнав его, залопотала радостно, пуская слюни и уже издали протягивая руку, чтобы коснуться его,— она плохо оценивала расстояния.

Саня опустил перед ней на корточки и дал дотронуться до своей головы; она, увидев рядом его блестящие глаза, попыталась схватить их, тыча пальцами ему в веки и в брови.

— Ну чего ты, Ирка? Чего ты? — спрашивал Саня с привычной машинальной нежностью.— Узнала? Узнала? Узнала... Ну что? Весело тебе? Весело ей, весело... Эх ты...

Мать молча подошла, вытерла ей губы и подбородок.

— Ужинать садись.

— Не хочу, спасибо.

— Это где же ты ел?

Саня замер и стал слышать, как бьется ее сердце. Воодушевление, которое он нес от Надьки, сразу задохнулось; он знал, что так и будет.

— Сынок...

— Опять? Я ж просил тебя, мать.

— Саня, она — дурная женщина, как ты не видишь? Я тебя прошу. Беда будет.

Саня досадливо шевельнулся, смолчал, бессильный против напоминания о существовании в нем двух точек зрения на происходящее с ним: одной, которой он придерживался бы на любом другом месте, кроме своего; и другой, появившейся вместе с беспокойством при взгляде на Надьку. Эта исключительность своего положения по отношению к Надьке пугала и мучила Саню, как всякое непроходимое отличие от других людей. Себе объяснять то, что чувствовалось и было ясно хоть таким образом, не надо было; остальным же — невозможно. Саня и не пытался.

Обычные отношения людей друг к другу, даже связанных родством,— безразличие в сравнении с тем, что бывает в любви или ненависти. Человек — единственное в мире, что способно являть своими действиями или внешностью не свою сущность, а нечто иное. Откровение любви или ненависти — момент душевного угадывания истинной сущности другого человека, которая сплошь и рядом отличается от видимой его сущности.

Надька родилась, росла и училась на глазах Анны Ивановны и была ей безразлична. С этим безразличием Анна Ивановна щекотала ее, грудную, на руках у Ольги Семеновны, гладила по голове и уго-

щала конфетой Надьку-первоклассницу, расспрашивала о делах Надьку — выпускницу средней школы.

Год назад замеченное Анной Ивановной увлечение Сани повернуло ее душу к Надьке. Саня слал письма — все о Надьке: как она там? не вышла ли замуж? Надьку же тем временем выгнали из института, она слонялась где-то зиму, вернулась побитой собакой, курила, красилась, не работала, шлялась с компаниями... Все, что Анна Ивановна до этого равнодушно знала о Надьке и за что так же равнодушно осуждала ее, не желая ей плохого, теперь породило предчувствие ненависти. При встречах, говоря с Надькой, Анна Ивановна жадно вглядывалась в нее. И она видела в откровении страстного интереса эту душу безлико зловещей. Но поскольку это было уже откровение ненависти, Анна Ивановна не могла видеть личной Надькиной невинности, вернее, признать ее невинность как оправдание.

Когда Саня, приехав домой, на следующий же день оделся во все самое лучшее и было ясно, куда он пойдет, Анна Ивановна, которую привыкли видеть угрюмой, негнушейся старухой, с невероятной живостью бросилась за Саней в коридор, обняла его гибким, сильным движением, держа у двери; глаза ее заблестели слезами юной страсти, седые волосы упали из-под платка юными прядями, голос зазвенел — так пело в ней предчувствие беды.

— Саня, не ходи к ней. Зачем тебе? Хоть раз послушай меня! Ты же не слепой, господи... Что ты хочешь сделать? Я прошу тебя... Даже за Ирку я так не просила бога, как прошу тебя: очнись! Беда будет!

Ей было невыносимо сознание того, что она больше ничего не может, потому что Саня вовсе не заблуждался и знал о Надьке все слова, которые о ней говорили; он не заблуждался, глаза его были открыты, но смотрел он не глазами. Это лишало Анну Ивановну надежды в ее мольбе, бывшей тем иступленнее. И Саня, признавая справедливость ее мольбы и в отчаянии от невозможности поступить в согласии с этой справедливостью, молил в ответ — тоже без всякой надежды:

— Мама, да что с тобой? И в письмах и сейчас... Ты не знаешь... ты же ничего не знаешь! Пусти, что ты делаешь? С ума-то не сходи, господи! Я тебя прошу.

Так было и теперь. Саня сидел подле Ирки на корточках, съезжившись по-стариковски, а седая и юная в своей страсти мать стояла над ним, и ее мольба душила его:

— Не решай ничего, сынок! Подожди!

— Молчи, мать, я уже все решил. Ясно тебе? Ты ничего не знаешь... О чем ты просишь, ну о чем? Будешь так — уйду, ей-богу, уйду. Тогда тебе лучше будет?... Смотри, Ирку как испугала!

Эх и веселился же Саня на своей свадьбе! То и дело, оттолкнув гитариста, он становился в ряд с ребятами из своего ансамбля и пел в микрофон доармейское:

Обручальное кольцо —  
Не простое украшеньё,  
Двух сердец одно решенье —  
Обручальное кольцо...

Он веселился, бесконечно вновь и вновь вспоминая, что для него необходимо и вот сбывается то, что со всех точек зрения, кроме его собственной, — абсурд.

На него глядели и о нем шептались с сожалением, косясь на Надьку, выглядевшую гораздо старше Сани, так затянутую в белое

платье, что проступали трусики, бюстгальтер и складки жира на талии. Крича поздравления, гости все до единого кривили душой. Саня это знал и был благодарен им за то, что они не любят его так же сильно, как мать, и от этого более милосердны.

Михаил Демьянович напился, что случалось с ним очень редко, и был отвратителен всем, кроме себя. Ольга Семеновна веселилась, потому что на свадьбе, да еще на свадьбе родной дочери, нужно веселиться. Она уже перетерпела, пережила то, что Анна Ивановна, которую она было пыталась начать называть свашенькой, категорически отвергнула все ее притязания на родственную дружбу. Ольга Семеновна тут же начала это терпеть, не выясняя причин. Три дня они с Анной Ивановной как чужие вместе готовились к свадьбе. Ольга Семеновна успокоилась хоть такой совместной работой; она перетерпела и пережила, потому что разве мыслимо с такой обидой продолжать жить!

Анна Ивановна, угрюмая и строгая, сидела очень прямо, ни к чему на столе не прикасаясь. Ее понимали и не лезли к ней с весельем. Под шум застолья сбывался ее ужас. Саня пел в микрофон, казалось ей, как щегол в клетке. Голосок был ловкий, ладненький...

«Странная какая-то», — равнодушно думала про свекровь Надька, исчерпывая этим всю сумму своих впечатлений от нее, включая и открывшуюся нелюбовь Анны Ивановны к ней и ее матери. От еды живот у Надьки сильно раздулся — чтобы встать, ей пришлось бы его мучительно втягивать. И она не шла танцевать. Она озиралась в поисках смысла происшедшего с ней. Мир странно сузился для нее; и что-то лучшее, как всегда, когда обстоятельства заставляли ее предпринимать что-то определенное, оставалось за его пределами, не давалось ей.

На рассвете Анна Ивановна резко очнулась возле бормочущей во сне Ирки. Услышала за стеной легкий храп. Это Саня. Рядом с ним сейчас Надька...

Анна Ивановна села на кровати, намотав на руки пряди седых волос, и бессмысленно, горестно, в оцепенении отчаяния засмотрелась на светлеющее окно, за которым уже распевали птицы. Она слышала, как в соседней комнате просыпаются, как умывается Саня, как Надька звякает чем-то в кухне. От невозможности выйти и начать с ними жить она задрожала, загнанная в угол своей жизни.

Саня, заглянув, увидел ее.

— Что ты сидишь, мать?

Анна Ивановна забыла обо всем.

— Сынок, брось ее! Она дурная, дурная, неужели ты не видишь?

— Замолчи! — громко прошептал Саня, заходя и быстро прикрывая дверь. Он так и застыл, прислонившись к двери спиной, в одну секунду увидев всю свою будущую жизнь в тени ее страдания и свое бессилие помочь ей. — Как ты смеешь... теперь-то? Ведь теперь... Ты соображаешь, что говоришь?

Анна Ивановна заплакала, продолжая сквозь слезы смотреть на окно. Рядом подняла голову Ирка, повела вокруг незаспанными блестящими глазами.

— Кормить ее надо, мама.

— Знаю. Сейчас...

— Так я тебя прошу, мать. Ради меня. Я ведь жить не смогу, если ты так будешь... Не смогу, пойми!

— Сейчас...

Происшедшее, как всякий сбывшийся ужас, казалось Анне Ивановне до такой степени незаконным, что она слегка помешалась на постоянном уверенном ожидании столь же законного прекращения

этого ужаса. Она так забывалась, что стоило Надьке куда-нибудь выйти, как ей уже думалось, что это навсегда; и всякий раз возвращение Надьки поражало ее тем, что выходило за рамки ее понимания должного. Оставаясь с Саней наедине, Анна Ивановна снова и снова умоляла с силой свежей, только что озарившей мысли:

— Саня, она дурная... не связывайся ты с ней.

У Сани от этого ум заходил за разум. Он жил между матерью и Надькой зажмурившись и сжав зубы и ежедневно ездил смотреть, как достраивается дом, где ему обещали квартиру.

А Надька смертельно заскучала. К ее жизни с замужеством прибавилась лишь необходимость жить у чужих и отказывать себе в лени, видеть изо дня в день отвратительную Ирку — Саня, когда возился с Ирккой, тоже становился ей отвратителем — да слушать бесконечные разговоры Сани о том, как отлично они заживут в райцентре в собственной квартире. Надька уже не понимала, что он видит хорошего в будущем. Ее захватило и не оставляло обычное чувство тоски от сознания, что то, на чем она вынуждена остановиться, — не лучшее, что возможно лучшее и что она не может наслаждаться, а вынуждена довольствоваться. Временами ей становилось так же тускло и до слез тоскливо, как тогда в общежитии подле матери.

Саня вглядывался в нее все чаще исподтишка и все реже — прямо в глаза. Вдобавок ко всему, что он знал до этого о Надьке, он испытал теперь и лень ее плоти и духа в ответ ему и со страхом думал о такой ее способности, как сладострастие, остающейся в ее душе открытой возможностью. Более чем когда-либо расстаться с Надькой значило для Сани насильно забыть что-то страшное о себе, что все равно останется; жить после Надьки с кем-нибудь значило бы — удовольствоваться посильным. Боязнь лишиться Надьки становилась у него тем острее, чем ошибка с женитьбой на ней становилась очевиднее разуму; без Надьки это была бы уже не ошибка, а ошибочность всего его существования.

Они гуляли вечером по берегу реки. Саня шел в молчании. Надька вдруг сказала, глядя в грязную закатную бирюзу неба на горизонте:

— Слушай, а давай уедем в Москву?

— В... что?

— Ну в Москву, не ясно, что ли? В конце концов, — брякнула она, тут же загоревшись, — должна же я доучиться! Зря, что ли, год теряла? Ну что ты здесь видишь? Тоска зеленая. А Москва — это все же Москва. Устроимся по лимиту... Ты тоже учиться будешь...

— Ты чё, овца, рехнулась? Тебе что же... плохо со мной?

— Почему с тобой? Что же ты никак не понимаешь! Я ж говорю: вместе. Мне плохо здесь... ты не можешь представить. Я тут сдохну...

Надька заплакала, она задыхалась от тоски. Саня видел, что перестанет существовать для нее сразу же, как только сделается препятствием, и у нее даже не возникнет к этому никакого отношения. И то, что сказалось, до такой степени было абсурдом, что Сане легче было смириться с абсурдом, чем осознать его как таковой:

— Ладно, овца, успокойся. Подумаем, посмотрим...

— Чего тут думать, чего? Пока ты будешь думать, я сдохну!

— Да я чё? Я не против... поедем, конечно, раз уж так...

Тут Саня представил, как он бросает мать с сестрой, работу, будущую квартиру — все, на что так рассчитывал в своей жизни, — и поразился себе. Сел в траву, горестно засмотрелся на закат.

С этого дня Надька, вновь воодушевленная, стала говорить всем и каждому:

— Мы с Саней решили в Москву ехать. Устроимся по лимиту...

Больше она ни о чем не могла думать. На здешнюю жизнь она окончательно махнула рукой, она ее доживала. Чтобы не видеть свекрови и Ирки, она целыми днями сидела то у одной подруги, то у другой. Кто-то из них и сказал ей:

— Ты слышала, твоя-то свекровь что делает? Говорит всем, что ты потаскуха, окрутила Саню, а она тебя все равно выгонит, со свету сживет.

Надьке от неожиданно обнаруженной чужой злобы даже плохо стало. Отдышавшись, она бросилась домой.

— Саня, знаешь, что она делает? — заголосила она, показывая пальцем на Анну Ивановну. Саня сидел за столом, глядя с тревогой. — Ходит и всем про меня такое говорит! Я у нее и шлюха, и беспутная, и я тебя окрутила, и она меня все равно со свету сживет... Да за это под суд! Я минуты больше здесь не останусь. Нужны вы!.. Это я-то навязывалась? И ты тоже хорош: раз так, нечего было жентиться! Это ж надо...

Она начала хватать свои вещи. Саня молча соображал, нахмурившись от усилия.

— Подожди, Надь...

Анна Ивановна схватила его за руку.

— Нет, пусть, пусть! Ты сиди, Саня. Видишь, какая она? Иди, иди-и-и! Кто ты есть-то? Шлюха и есть, одно зло от тебя, ни женой, ни матерью не будешь. Да сдохни! У парня туман в глазах, а ты и рада? У меня-то тумана нет, я-то все вижу!

— Я? Я рада? Да пошли вы! — уже с остервенением кричала Надька, надувая жилы на пухлой шее. — Завтра же ноги моей здесь не будет, целуйтесь тогда со своим Саней!

Выбежала, хлопнув дверью. Саня взглянул на мать, державшую его руку.

— Хорошо, хорошо, — лепетала Анна Ивановна с ликованием, — пусть идет. Она ж нелюдь, сынок, она погубит тебя и сама знать не будет этого, и совесть в ней не колыхнется. Да ты глянь на себя-то — разве ты такой был? Это она тебя довела, я же вижу.

— Что ж ты так, мать? — спросил Саня с вялой секундной ненавистью. — Что ты лезешь все в душу, глупая ты старуха? Что вы все... каждый в свою сторону тянете... каждый свой только принцип... — Усмехнулся беззлобно; сказал, слушая себя с равнодушным изумлением: — Добилась своего, говоришь? Рада-радешенька? Хорошо тебе стало? А я вот уеду с Надькой в Москву — лучше тебе будет? А?

— Сынок... боже мой, я так и знала! Господи, что же за горе такое, откуда? Ирочка! Братишка-то твой что хочет сделать: бросает нас. Ох, да что ж это... Ждали его, ждали... дождались... Проклятая! Он же не знает, что делает! Ирочка!..

— Замолчи! — крикнул Саня, вскакивая и слепо озираясь в обступившем его кошмаре. — Задушили вы меня. Каждый свое, каждый свое... только свой принцип выдерживает! Никто первый простить не хочет... Да вы люди? Люди или нет?

Дома Надька жаловалась Ольге Семеновне:

— Это ж надо так! За что вот она меня ненавидит? Что я ей сделала? И молчит, и молчит... А теперь, оказывается, вон как! Небось еще и сглазила меня. То-то я все время чувствую тяжесть какую-то. Не зря ее колдуньей зовут. А сны? Кошмар! Одни и те же: будто стоит она за окном, ненавистно так смотрит на меня, хочет схватить, трясет рамы... Нет уж, спасибо. Завтра же уеду, ждать нечего.

— А Саня что же?

— А что Саня? Тоже какой-то странный, не может с ней справиться. Она и его замучила. Хочет — пусть едет со мной, а нет — умолять не буду.

— Беда-а-а...

Под вечер пришел Саня, пьяный, нет ли — не разберешь. Ольга Семеновна спряталась в другой комнате и слушала.

Саня наблюдал Надькины сборы с видом помешавшегося на непосильном размышлении. Сел, не сводя с нее глаз; Надька очень прямо уселась за стол напротив.

— Чё, овца, уже собралась?

— Мы ведь, кажется, договорились. Чего тянуть? Ты думаешь, я могу здесь хоть день еще пробыть? Вы меня ославили на весь поселок...

— Надь, мне маму жалко, — сказал Саня со смыслом, что дело не в матери, а в ее ответе, в котором что-то важное открывается ему.

— А меня тебе не жалко?

Саня опять задумался; повторил уже настырнее, будто подсказывая ей что-то:

— Надя, мне маму жалко.

— Что ты заладил? Жалко — ну и живи с ней. Что ты хочешь? Чтобы я осталась? Ты сам знаешь, что этого не будет.

Он закричал, стремясь во что бы то ни стало разглядеть хоть искру своего отражения в душе Надьки:

— Надя! Мне маму жалко! Понимаешь?

— Господи! Да он рехнулся! Ну и семейка... Иди, иди, Саня, домой иди.

Саня внимательно вглядывался в Надьку, пугая ее своим взглядом.

— Да ты человек или нет? Надя...

— Мам! — истерично взвизгнула Надька, вскакивая и отбегая в угол. — Да что это с ним? Странный какой-то... Я милицию сейчас вызову!

Саня встал, продолжая вглядываться в нее, дрожавшую от страха. Покачал головой и озадаченно улыбнулся тому, что вынужден ненавидеть Надьку как причиняющую ему зло, но в ненависти своей — насиловать себя и быть бессильным в ней.

— Да ты ж нелюдь... мать-то правду говорит.

Отвернулся и пошел к двери.

Надька быстро прикрыла за ним дверь, щелкнула замком, в изнеможении привалилась к косяку.

— Ну и катись. Чокнутый какой-то. Связалась...

— Сынок...

Анна Ивановна осеклась. Саня засмотрелся на ее седую макушку.

— Эх, старая дура, что ты сделала... Что вы все со мной сделали... — Он заплакал, сев на пол тут же у двери.

Мать опустила на корточки.

— Ничего, сынок, ничего. Хочешь — ударь меня, старую. Ты не знаешь, это у тебя пелена с глаз спадает, это тебе снова видеть тяжело.

Саня заплакал сильнее, навзрыд.

— Вот так, вот так, — приговаривала Анна Ивановна, глядя его по голове.

— Она же человек, — рыдал Саня. — Человек ведь... Что ж так-то?..

Руки Анны Ивановны, гладившие его, дрожали от облегчения.

## Год и тридцать

### Сцены трудовой жизни

#### 1

В аллеях санатория ветер пахнет то обедом из столовой, то отцветающими липами, то нагретой водой пруда — смотря откуда подует: Окна корпусов распахнуты; там, за занавесками, чуть колыхающимися от сквозняков, — блаженство законного отдыха и соблазны праздных томлений.

В углу территории, расчищенной от сосен, за зеленым дощатым забором с надписью «Осторожно! Вход воспрещен!» (и для убедительности — череп со скрепленными костями) достраивается новый корпус. Там работают, изредка показываясь в грязных окнах, штукатуры. Два плотника ходят между ними, подгоняя двери и врезая замки; сварщик в жесткой робе, который чудом еще не спекся в ней, таскает за собой кабели, подваривая и обрезая последние мелочи; десяток солдат вокруг здания под наблюдением прапорщика, сидящего в тени на лавочке с ивовым прутиком в руках и в сдвинутой на затылок фуражке, засыпают траншеи и выравнивают землю там, где не достал бульдозер. Иногда мастер, зажав в зубах папиросу и глубоко засунув руки в карманы брюк, выйдет из вагончика, сощурится на солнце, войдет в корпус и побудет там, вернется на площадку и постоит над солдатами, скажет два слова разомлевшему от жары прапорщику и, выбросив и противопожарно растоптав окуроч, опять скроется в вагончике.

Утром все приезжают сюда в автобусе; обедают возле бытовок под кустами на вольном воздухе тем, что привозят с собой в банках и термосах, посылая в столовский буфет гонца за чем-нибудь вкусеньким; вечером их провожает сторож. Закрыв за автобусом ворота и отплывавшись от поднятой пыли, он идет на проходную к санаторному вахтеру и оттуда сторожит корпус, отлично видимый из окошка.

Женщины работают парами. Работа мелкая, ручная — доделки.

Одна стоит на козелке, другая внизу сеет раствор на сокол и подает; та, на козелке, выхлестывает раствор мастерком на стену и разравнивает, а кто внизу — сеет на другой сокол; так два сокола, то пустые, то полные, и гуляют вверх-вниз.

Раствор всем таскают в носилках два солдата того же отделения, что ковыряет землю во дворе.

Солдаты, таскающие раствор, оба нерусские, зовут их — язык сломаешь. В конце концов придумали им имена более или менее похожие: Бориска и Захарка. Откликаются. Оба тихи, вежливы, услужливы, но без крайностей, себя тоже уважают. Натаскают по-быстрому всем раствора полные ящики и садятся где-нибудь в уголке на корточки, чтобы их не видели, но чтобы им было слышно, если позовут, и что-то непрерывно потихоньку говорят друг другу по-своему или едят — тоже что-то свое, если недавно была посылка. Посылки приходят часто — в адрес тетя Зои, как они с ней, черти хитрые, договорились; она проклинает эту свою нагрузку, но, жалея паренчиков, возит им их ящики. В такие дни бригаде бывает угощение. Клавка однажды целый час плевалась после каких-то соленых и твердых, не приведи господи, орехов — из сыра, что ли? Остальным нравится, грызут с треском, то и дело бегая запивать водой из бачка.

Сидят едят или разговаривают, пока кто-нибудь не закричит со своего козелка:

— Бориска! Захарка! Раствор!

Они по-своему шепчут друг другу что-то вроде: шабаш, мол, по-



сидели и будет,— грузят носилки и, нагнув бритые мусульманские головы, идут на зов.

Русский оба знают нормально; когда, сев перекурить, женщины пристанут: «А как у вас это? а как то? а женятся как? а разводятся? а хоронят? а если баба гуляет?» — отвечают, снисходительно и вежливо усмехаясь.

В конторе после перехода на бригадный подряд все им высчитали и на бригадном собрании растолковали: наряды отменяются, клянчить у прораба теперь не надо, а вот если бригада выполнит в течение года тридцать тысяч метров штукатурки (это такие-то и такие-то объекты, все расписано) и не будет брака, нарушений трудовой и производственной дисциплины, случаев пьянства, приводов в милицию и попаданий в вытрезвитель, то безусловно при ритмичном выполнении всего, что написано, будет заработок не ниже, как видите, двухсот тридцати на круг, и премии, и все что хочешь. Просто, да? Красота, да? Вопросы есть?.. Почему именно тридцать тысяч, а не больше или меньше? Ну как же! Эта цифра прямо вытекает из общих задач управления, она увязана с показателями остальных бригад и отражает должную производительность, чтобы производство было рентабельно! Она выведена плановым отделом согласно экономическим законам, ясно? Вот же ваша выработка, вот бумага с научно разработанным годовым вашим планом, вот по кварталам, по месяцам, тут все расписано... Ну, что еще неясно? Спрашивайте, спрашивайте, товарищи, не стесняйтесь! Мы же для этого к вам пришли.

Поглядели по очереди в бумажку с цифрами, для порядка поспрашивали о том о сем, нежась в предупредительном, терпеливом внимании к себе начальства, переглянулись: ну что, девки, как? Ладно... Проголосовали, расписались, повесили один экземпляр над зеркалом, у которого после работы наводят красоту. И вот теперь выполняют.

В одном помещении — это будет холл, что ли? — тетя Лид, бригадир, и тетя Зой, ее заместитель, стоят на козелках, а Галька и Ларка подают им.

Тетя Лид большая, толстая, сильная, как мужик, чувствительная и нервная; слова, что всякий на производстве хозяин, понимает слишком буквально, как и все на свете она понимает буквально, но при этом она совершенно естественно, без всякого ущерба для самолюбия, преклоняется перед любым начальством, кроме разве прорабов и мастеров; сколько уже лет она решает и не может никак решить, кто же все-таки окончательный хозяин, — никаких нервов не хватает. Дня не проходит без того, чтобы она не прокляла свое бригадирство — пусть его кто хочет забирает, ей нервы дороже! — и, сколько помнят ее, все бригадир да бригадир.

Тетя Зой, ее подруга смолоду, высока, худа и костлява, руки и ноги у нее — одни жилы; заглазная кличка — Смерть. Насколько тетя Лид все понимает буквально, настолько тетя Зой во всем, что говорится и делается вокруг нее, подозревает массу разных неуловимых и потому обидных для нее смыслов, обо всех этих смыслах она порывается судить и говорит, и все зря. Это часто доводит ее до истерик, которых никто не понимает. Ее считают злой, да она и вправду всегда угрюма, ворчлива и злобно на что-то обижена вопреки своей совершенно другой сущности.

Галька и Ларка — девчонки, только год в бригаде. Их не видно и не слышно за глухо застегнутыми куртками и туго стягивающими головы и прикрывающими рты платками — одни глаза двигаются туда-сюда.

Все четверо работают как заведенные, глядя без всякого выражения на то, что под руками; изредка покажется на лице старатель-

ность при доделывании мудреного краешка — тогда вытягиваются трубочкой обсыпанные потом губы или высовывается и загибается язык.

Теть Лид и теть Зой, оставив бесформенные от надетого и пододетого зады и подавшись вперед, бросают раствор на стену одними и теми же безошибочными движениями. Через четверть часа, набросав и выровняв, сползают с козелков, со старческой осторожностью нащупывая ногами в бахилах перекладинки. Девчонки, подхватив терки, лезут затирать. Старухи, отойдя и отвернувшись от работы, открывают окно, ложатся животами на подоконник, свешивают наружу головы и, подставив ветру потные горячие лица, смотрят не интересуясь на гуляющих по аллеям; стягивают резиновые перчатки, шевелят, проветривая, пальцами, побелевшими в горячей потной духоте, как после бани; расстегнувшись, оттягивают на горле майки, чтобы и груди и животы тоже проветрить.

Девчонки трут, приоткрыв рты и уставившись на стену взглядом работы вообще, начавшейся, захватившей и подавившей мысли о ней; такими взглядами отшлифованы еще камни египетских пирамид. Трут. Лопатки ходят под куртками. Лица в брызгах раствора — не успели отвернуться, когда Бориска и Захарка вывалили им в ящик носилки. Затерли, переставили козелки дальше; опять очередь старух лезть.

Те все стоят, проветриваются, смотрят сверху на аллеи, слушают музыку. Девчонки молча взбираются на подоконник, расстегиваются. Люди вокруг отдыхают, а тут, за этим забором, как в загоне. Не то чтобы они не были в санатории, вон теть Лид и теть Зой каждое лето на море ездят, и Галька с Ларкой уже раз ездили... Но сейчас все-таки обидно.

Старухи и рады были бы еще посидеть, да уже чего-то неймет-ся, уже неподвижность опротивела. Они начинают тяжело вздыхать, натягивая перчатки.

— Затерли? — спрашивает теть Лид, хотя видит, что затерли.

Девчонки кивают, слушая музыку с аллеи.

— Ладно, Зой, полезли, что ли?

Галька, что ни делает, все молчком и отдыхает — тоже молчит, прислушиваясь ко всему вокруг и реагируя лишь ухмылками да почесываниями, которые у нее бесконечно многообразны и выразительны. Ларку — ту иногда и во время работы черт надирает лезть с разговорами. Подает теть Зое сокол и спрашивает:

— Теть Зой, это сколько уже лет вы так вот работаете?

Теть Зое отчего-то сразу кажется что-то обидное.

— Как это «так вот»? Что ты имеешь в виду?

— Ну при чем тут в виду? Я говорю, работаете сколько?

— Тридцать уже скоро, — без всякого удовольствия, подозревая, что с Ларкой — да и не только с ней, а и вообще — неуместен тон, каким изъясняются при вручении грамот, отвечает теть Зой, тут же раздражаясь. — Тебе-то что?

— И всю дорогу штукатуром?

— Штукатуром, а что тут такого? Разве ты не штукатур?

— Да я и не говорю, что тут что-то такое, просто спросила, нельзя, что ли?

Теть Зой раздражается все больше, кивает на теть Лиду, отводя впрокс на нее:

— Вон у нее тоже такой стаж, вместе пришли.

— Вместе, вместе, — отзывается теть Лид со своего козелка.

— Тридцать лет! — поворачивается Ларка к Гальке, открывшей рот на эти разговоры, но руками продолжающей делать что делает. — Обладеть, да?

— Подожди-и-и, — смеется теть Лид, орудуя мастерком и чуть

кряхтя от усилий. — Не заметишь, как про себя такое скажешь. Это — момент. Тьфу — и нету! Оглянулся — а тебя уже на черной «Волге» с юбилеем поздравлять приехали, ценный подарок привезли.

— Черта с два, — ворчит теть Зой, — будет тебе молодежь так пахать. Это мы только дуры.

И видя, что опять у нее сказалось совершенно не то, она в отчаянии отмахивается от всех разговоров.

— И-и-и! Куда денутся! Кто ж тебе что даст, если пахать не будешь? Замуж вышла — квартиру надо, родила — садик надо, квартиру получила — обстановку надо, стаж надо, выслугу надо... все надо. Куда денутся... А уж мы с тобой, Зой, на пенсию. Дожить бы только.

— А когда на пенсию уйдете, теть Лид, работать будете?

— Да провались оно, милая. Ни в жизнь.

— Многие работают.

— Да кто работает-то? Или от жадности, или кто за свою жизнь не очень-то переработался. А уж я-то... господи!

Теть Зой зло оглядывается на них. Она не верит, вот только доказать не получается, что Ларку это интересует с уважительной стороны.

— Хватит вам базарить. Ты, Лид, не очень-то... Ну, отработали по тридцатнику — думаешь, спасибо кто скажет? Нужна ты больно кому, если разобраться. Молчи!

— Это какого тебе, интересно, спасибо еще надо? — кричит, соскучившись в своей комнате, Клавка, полная, красивая заброшенной и неумелой, почти бесполезной красотой, вечно поглощенная заботами о детях, которых у нее четверо, скандалистка и матерщинница, исключительно упорная в своих мнениях. — Все ей почестей мало, блин!

— Что мало? Что мало? А много? Руки мои жалел кто?

— Как же их жалеть прикажешь? Отрубить да в музей? Чего тебе мало-то? Стонешь, стонешь... — Слышно, как Клавка, быстро бросая раствор на стену, с кряхтением придыхает. — Квартира есть, детей устроила, мебель, обстановка, машина у вас с дедом уже третья, сын машину взял — сто пятьдесят рублей оклад, гараж, дачу отгрохали... Орден тебе к юбилею дали, грамот сундук, в президиумах торчишь беспросветно — глядеть уже тошно, блин!.. И все ей мало!

— А что, не заработала я этого? За тридцать-то лет?

— Заработала, заработала. Вот и радуйся, а не стони.

— А чего радоваться? Что я такого заработала? Орден Сутулова! Ты глянь: я же сносилась вся! Я вся изношенная!

— Блин! С тобой говорить... Ну и дура, раз так.

— Да... Дура, знаю, я и есть дура. Теперь-то таких дур нету, это мы только с Лидкой...

— Да уж! Только вы! Можно подумать.

— Хватит вам, — слышится из соседней с Клавкой комнаты голос Таньки, болезненно не выносящей любого оживления возле себя из-за своих многолетних хронических подозрений, которые хуже уверенности, что ее муж, разбитной усатенький шофер на «Волге» главного инженера треста, гуляет от нее; все в ее жизни стало помехой этому страданию и делается ею механически, с каторжной наругой.

— Да эта Зойка вечно на грех наведет! На руках ее, видите ли, еще не носят.

Теть Зой плачет, надрываясь от невозможности даже самой понять свою вечную обиду, не то что высказать, — никак то, что подразумевается, когда теть Зой говорит, не прилипает к словам и не выходит наружу. Ларка подает ей сокол — теть Зой берет его, орошая слезами кучку раствора и замешивая все вместе мастерком, и опять порывается говорить, и опять видит, что говорится не то:

— Вот хоть этих мокрехвосток взять, — кивает на Ларку с Галькой, — в их годы я четыреста рублей получала, это сорок новыми, а уже семья была... а эти только пришли — и уже третьи разряды им... А я за свой третий пять лет пахала...

— А ты хотела, чтобы и они по сороковнику получали?

— Не знаю я... почему по сороковнику? При чем тут это? Я имею в виду... Я вообще говорю...

Она умолкает, сраженная этой зловредной Клавкиной логикой. Слезы каплют с подбородка на грудь, она подбирает их с губ языком, с ожесточением бросая и бросая раствор.

Бориска и Захарка, по-иноземному вежливо опустив глаза, молча носят раствор, не давая понять, что они думают об этом крике, к которому, положив инструмент, с интересом прислушиваются и оба плотника, и сварщик, севший покурить для такого случая, и солдаты во дворе, и очнувшийся от генеральски важного полусна прапорщик. Галька и Ларка пережидают, глядя в окно: орут — музыки не слышно.

Теть Зой, которой на глаза попадают Бориска и Захарка, прерывисто вздыхает.

— Что, диковато вам? Да, вот такие мы... так вот у нас... всю жизнь!

Скоро уж и обед. Все работают опять молча, таращась покрасневшими глазами, свирепо шмыгая. Бросают раствор, чуть дергаясь всем телом, подаваясь вперед и привставая на цыпочки, — шлеп! шлеп! дерг! дерг! Пот бисером. Руки ухватистые — у старух они уже и не разгибаются до конца, когда висят свободно, — ни локти, ни пальцы.

Сполоснув инструмент и попрятав по темным закоулкам, чтобы не нести в вагончик, то, что за обед могут украсть, женщины спускаются по лестнице и выходят на солнышко; идут к вагончику, привлекая ноги от бессознательной экономии движения, подставляя лица ветерку; на ходу срывают с себя куртки, нетерпеливо выворачиваясь из них, распоясываются, стягивают перчатки, мокрые изнутри от пота до того, что с них капает.

Бориска и Захарка садятся на корточки рядом у забора и ждут, когда позовут строиться на обед.

В вагончике пёкло: печки включены и палат всюю, разогревая поставленные над ними на решетку банки с едой, — борщи, лапша, котлеты и куриные ноги, вываленные в гарнире, все это уже раскалено и испаряет жирный сок на стеклянные стенки. Сиротливо белеет молочный супец диетчицы Таньки, у которой и язва, и нервы, и пониженная производительность труда (если б руки не умели работать сами, то давно уж вовсе опустились бы и Танька умерла бы от полной невозможности делать что-нибудь другое кроме как бесконечно обдумывать свое хроническое страдание — уже без всякой отчетливости, одной душевной болью) — все из-за мужа, ничего не знающего о ее страдании, отчего Танька начинает уже бояться, что несчастна она просто сама по себе и незаметно для всех рехнулась. Если нет, то откуда тогда у нее это стремление доказывать всем обратное? Никто столько, сколько Танька, не говорит о своей семье, муже... и какая же это мука — видеть, что все вокруг верят в ее семейное счастье!

Разбирают с печек банки и несут в тень под кусты, где на траве стоит стол и лавки.

Куча еды общая, но чужого не берут и своего особенно не предлагают — не пикник, а рабочий полдень. Если останется какое-нибудь яйцо или пирожок, тогда уж: девки, кто хочет? Но братства в еде нет и не может быть из-за его ясной всем неуместности как баловства.

И случайно подошедшему не скажут: садись. Время на дворе не голодное, и восторженное хлебосольство то же баловство.

Нинка, крошечная, с большой пожилой головой, костлявенькая, седая, морщинистая, густо накрашенная, выросшая одна двух сыновей и отчаянно невезучая в любви (что все, кроме нее, в общем-то, признают вполне законным), морщин которой так пока толком никто и не целовал, — Нинка, хохотливая, желчная, проказливая и всегда готовая снять с себя для другого последнюю рубашку, чего, увы, пока от нее не потребовалось, открывает свою банку и с наслаждением нюхает из нее.

— Гороховый у меня сегодня. После обеда, девки, ждите музычку.

— Фу, дура! — вздрагивает уже было открывшая рот на ложку своего унылого варева Танька. — Нашла время.

— Что естественно, то не позорно, — хлебая, наставляет ее Нинка, собрав у густо накрашенных глаз всю жуть своих морщин.

Женщины смеются над Танькой, оглядываясь на Бориску с Захаркой, приглашая их тоже повеселиться, но те только вежливо, застенчиво, непреклонно улыбаются, отводя глаза. Танька справляется с собой, проглатывает первую ложку — и дальше уже дело идет у нее без задержки.

Второе едят молча, набивая рты и с силой уминая пищу; слышатся тугие глотки; смотрят перед собой сосредоточенно, с бездумным радостным наслаждением.

Галька и Ларка быстренько выхлебали свое; наевшись, обе тут же начинают брезговать видом опустошенных мутно-жирных банок, прячут их в сумки — дома вымоют — и, крепко вытерев рты ладонями, идут к дыре в заборе: Ларке надо позвонить в город, телефон у вахтера в проходной.

— Пошли, пошли блудить, — ворчат, разнежившись, женщины. — Нейдется.

Девчонки в ответ прыскают, переглянувшись, и по очереди уходят в дыру.

Бориска и Захарка все сидят и смотрят с нейтральной вежливостью на женщин, а тех теперь, после еды, интересуется все, что перед глазами.

— Что, ребятки, обедать сейчас поведут?

Кивают.

— Милое дело, да?

Кивают.

— Скоро уж и домой небось?

Огорченно мотают бритыми головами: откуда скоро!

— Ничего... Время быстро пройдет.

— Борьк! Захарк! А хотите — с нами оставайтесь! Мы бы вас здесь женили... — Это Нинка, у нее все разговоры — женить да подженить. — Устроитесь у нас в управлении, через год на очередь на квартиру поставят. Что вы там у себя забыли? Давайте! Я б пока что кого-нибудь из вас приглубила бы... или боязно? А то я могу. А?

Нинка, не помня себя, не унимается, и Бориска с Захаркой бормочут с улыбкой вежливого отвращения:

— Дома невеста... нельзя.

— Да кончай врать-то! Невеста... — Нинка, обнаружив свою обиду, зло хохочет, давая понять, что шутила. — Скажи уж — рожи наши не те! — продолжает она в шутку.

Прижимают руки к груди:

— Невеста, клянусь.

— Брешешь, кобёл. А то я вас не знаю...

— Отважись от ребят, Нинка, им своя нация нужна — и правильно.

Радостно, согласно кивают тетя Лиде: вот именно!

В роте Бориске и Захарке завидуют: к бабам попали, в малину. Небось где-нибудь в вагончике или в темном углу...

Равнодушно мотают головами:

- Нет.
- Ври больше, чума! Нет...
- Нет. Честно.
- Ну уж! Бабы, что ли, не хочется?
- Кто баба? Это не баба. Не женщин.
- Ах ты черт! У вас в ауле только женщины!
- Почему у нас? Везде есть. Это — нет...

Поев, достают карты. Теть Лид и Танька расстилают на траве куртки, валяются на них, сонно глядят на дрожащую над ними листву и постепенно задремывают, дыша открытыми ртами.

Игра за столом идет так, будто не прерывалась с утра! То и дело привычные матери, расслабленные; распустившиеся лица, блаженное шевеление пальцами босых ног под столом.

- Сегодня в конторе дефициты давать будут.
- Знаем. Что будет-то?
- Сапоги вроде... Костюмы, что ли?.. Я деньги взяла.
- Я тоже взяла, у меня сапог нету.
- Прощлый раз кроссовки давали, брал кто?
- Теть Зой брала. Да, теть Зой?
- Взяла, а что?
- Тебе-то на кой? Спортсменка, блин.
- Она не себе, сыну.
- Сыну... Тут нашим работникам не хватило. Сыну...
- А что? Сын-то мой? Тридцать лет отпахала и права не имею?
- Да заткнись... ничего сказать нельзя. Ходи, чего спишь!
- Там, в конторе, пока мы приедем, конторские все лучшие цвета и размеры выберут.
- Ну прям!
- А как же? Ты бы работала — не выбрала бы себе?

## 2

Вахтерша уже их знает. Девчонки входят скромненько, руки по швам.

— Позвонить можно, теть Маш?

— Можно. Обождите только, мне вот-вот самой звонить должны.

Садятся, не веря, что у этой старой крысы есть с кем-то такие пунктуальные дела. Но ей в самом деле звонят; она, сняв трубку, отвечает не просто «да» или «алло», а с интеллигентным выражением: «Алоу-у-у!» — и опытно говорит о чем-то мелком, до исчезновения смысла. Видно, что это надолго.

Девчонки сидят без курток и платков, более или менее похожие на себя.

Галька дородная, довольно высокого роста, а кажется вообще длинной, с нежным румянцем во всю щеку; груди уже сейчас еле справляются со своей тяжестью; руки длинные, полные, без мышц. Коротко остриженные, высветленные волосы, как она с ними ни бьется, вечно торчат на висках и на затылке какими-то перьями, если и лежат послушно, то только сразу после мытья, а наутро опять перья по всей голове; вдобавок волосы редки. Рот она держит всегда слегка приоткрытым, будто слушает им, но на самом деле она им дышит, и выражение лица у нее чуть насморочное. В бригаде и в общаге она со своими статью и румянцем считается красавицей, о чем ей любят твердить, особенно женщины, а среди них особенно Нинка. Удобнее и ловчее всего она чувствует себя либо в домашнем, либо в рабочем, когда же прихорашивается для танцев или в кино — накрашивается, натянет выходную черную блестящую юбку и станет на

каблуки, — начинается мука вопрошания себя: хорошо ли она выглядит? В одежде у нее тогда обязательно вылезет какой-нибудь мелкий, но очень всем заметный беспорядок, то же и на лице — в углах рта или глаз, — вот стоит только отвернуться от зеркала! Красавица, красавица, устала уже это слушать, а с парнями не везет. Уже три или четыре раза, пока она здесь живет, ее обманывали; в санатории когда была с Ларкой — это не в счет, там она и знала, что обманут. Ребята в общаге, особенно бывшие с Галькой, говорят про нее со скорбью, разводя руками в праведном изумлении: «И где у мужиков глаза! Галька — такая девчонка! Все при ней, скромная, послушная, домашняя... вот на ком жениться! Пропадает...»

Говорить-то говорят, и с чувством, но себе что-то не очень-то желают такого счастья, лезут к тем, кто, по общему мнению, да и просто по справедливости если судить, Гальке в подметки не годится, хоть к той же Ларке.

Ларка смугла и худая, миниатюрна; грудки до того малы, что если поднять руки, их и не видно вовсе, что ужасно ее огорчает. Волосы черные, густые и прямые, как у индейца, и всегда будто сами собой складываются в хорошенькую простенькую прическу, тогда как у Гальки все время прическа «я упала с сеновала, тормозила головой». Ларка настолько же манерна, насколько Галька вообще лишена всякой манеры. Личико у нее бескровно-бледное, с множеством родинок в самых неожиданных местах, глаза как две хорошо вымытые крыжовины, губы красные, в мелкой сетке морщинок, будто спекшиеся. Косметика и наряды, даже самые элементарные — хоть бы просто ей снять бахилы, надеть туфли и подкрасить слегка ресницы — красят ее необычайно, а так-то, на взгляд Гальки, ничего в ней нет особенного, даже страшенькая.

Усталость от работы и отдых после нее Галька уже научилась ценить как лучшее обезболивающее от всего на свете; Ларка же никогда не выказывает усталости после работы, будто устать ей только предстоит. Галька имеет вид домашний и с удовольствием проводит свой вечер на койке в халатике под наркозом отдыха от работы. Ларка вечно где-то шастает, приходит только спать, а в выходные бывает, что и не ночует, и, возвратившись в воскресенье к ночи, зло, хмуро вспоминает что-то про себя — никогда ничего не расскажет толком. Молчит, курит сигарету за сигаретой. Галька тоже курит, даже ходит с сигаретой по коридору; Ларка курит от всех тайком. В бригаде, конечно, скрывают обе.

Считается, что они с Ларкой подружки, но это значит только то, что они из одного поселка, учились в одном классе, окончили одно ПТУ, работают в одной бригаде и живут в одной комнате. И все. Они и вместе-то только потому, что иначе людям просто дико покажется, а так-то Галька давно уже дружила бы и жила с кем-нибудь другим. Не то чтобы Ларка ей в тягость, а сама она себе в тягость при Ларке, даже при мысли о ней. Все в Ларке чем дальше, тем больше вызывает у Гальки непостижимую, как поступь таракана, обиду — и против себя же. Внешне она относится к Ларке дружески и независимо, но на самом деле все больше зависит от своего отношения к Ларке. Уйти самой? Для этого надо чему-нибудь воспротивиться — а чему? Все причины Галька чувствует в себе и пока живет с Ларкой из боязни дать понять ей свое состояние, живет ожиданием, что когда-нибудь как-нибудь Ларку унесет от нее подальше.

В санатории тоже были вдвоем, а как же? Ездили, конечно, и отдохнуть, а вообще-то за любовью, образ которой, совершенно одинаковый у обеих, непредставимый, но всегда один и тот же, сразу возникал, стоило услышать краем уха знакомую запись или сесту перед телевизором. Это было единственное, в чем Галька без натуги чувствовала себя солидарной с Ларкой и на чем отдыхала от своей

зависимости. Правда, какие-то подозрения насчет себя у Гальки и тут были, но она не хотела верить и не верила. И вот поехали в санаторий. Ларка живо нашла — себе и Гальке — не каких-нибудь парней, а ужасно мужественных, властных и любезных мужчин, с какими Галька сама, как она обнаружила, не осмелилась бы даже переглянуться. Любовь, которой обе искали, длилась десять дней по всем правилам; Ларка наслаждалась ею жадно и капризно, с пораженной Гальку отвагой — сама она никак не ожидала, что будет только мучиться недоверием к себе, не дающим ни воспротивиться, ни наслаждаться. Недавно самое напряженное место ее души оказалось самым унылым, испугавшимся и не выдержавшим своего напряжения. Когда проводили этих своих возлюбленных, Галька уже больше ничего не хотела и не могла. Теперь не то что подойти к кому-то — страшно было подумать, что к ней подойдут. И тем сильнее хотелось любви, способности наслаждаться ею; но Галька уже видела, что надо терпеть, смириться, найти, что ей доступно, и хотеть этого. Она никогда не думала, что ей придется когда-нибудь так утешать и уговаривать себя, и из санатория приехала больная этим. Женщины в бригаде, увидев ее, загорелую, посвежевшую вопреки страданию, облепили ее, тиская и разглядывая: «Ну девах! Эх и девах!.. Весь санаторий, поди, с ума свела! Небось выйдет на пляж, разденется... Эх!» Галька не знала, как заткнуть им рты. Она еле терпела этот день на работе и потом вечер до сна. Ларка заснула напротив нее, открыв маленький рот. Галька смотрела на нее, не гася лампы. Вся Галькина безнадежность исходила от этого маленького, окаменевшего во сне личика. Утомившись вглядываться в свой ужас, Галька выключила свет под утро, полежала, пока забрезжило. Тогда встала, сходила умыться, кое-как, не подходя к зеркалу, зачесала за уши волосы и стала жить и учиться равнодушию к своему отчаянию.

С Ларкой она теперь вообще боится говорить — боится проговориться, как случилось совсем недавно, после чего думала: не переживет стыда. И повод-то был пустяковый, и неожиданности никакой не было для Гальки в том, что Ларка ей сказала по секрету: уходит работать официанткой в ресторан «Олимп», уже почти договорилась. Она давно на это намекала. А Галька с привычным притворством поддакивала, что и она тоже возьмет да и уйдет куда-нибудь... может, учиться поступит... Да и без этого притворства она всегда так и думала, что это только пока она штукатур, а захочет — мало ли!.. Так что в первую секунду Галька только удивилась, хотела фыркнуть: официантка, тоже мне! Но мгновенно вспомнилась ее собственная болтовня о том, что она тоже уйдет, именно и окончательно теперь как серьезное хвостовство — что в любви, что здесь. С ней сделалась истерика слепой ревности к существованию где-то жизни без нее, знакомая с детства, когда она не могла спокойно видеть людей, уезжающих из ее поселка, — бежала за ними до автостанции, хватаясь за чемоданы и просясь исступленно с этими чужими людьми туда, куда они уезжают; им, чтобы сесть в автобус, приходилось отдиравать ее руки и сдавать ее собравшейся толпе на растерзание бесполезным утешениям. И уж ничего плохого не сделал ей ни один официант, ничего она против них не имела — и не знала, как не знала смысла своих детских истерик, что кричала Ларке, за что ее обзывала.

Старуха освобождает телефон.

— Племянница звонила, медсестрой работает.

Ларка подвигается со стулом, неумело берет трубку и, шевеля губами, набирает номер; ждет, широко открыв глаза и дыша в трубку. Щелкает. У Ларки на лице выскакивает сладкий лживый испуг, отчего она сразу хорошеет, как от косметики.

— Алё! — кричит она тонким притворным голосом. — А мне Ни-



колая Николаевича! Ой, это вы? Здравствуйте...— Раскрасневшись и выпрямившись, как на экзамене, тербя шнур и кусая губы, она слушает, с готовностью кивая: — Ага!.. Ага!.. Ладно!.. Спасибо!

Галька слушает, не подавая вида. Николай Николаевич — это тот мужик, к которому Ларка просится работать. Вроде договорились... Ну и пусть катится.

Ларка, положив трубку, довольная, тянет ее со стула.

— Пошли на травке поваляемся.

— Можно, — с натугой отвечает Галька и первая встает, будто она и сама этого давно дожидается.

Трава кипит от плотного звона кузнечиков. Ветер, наваливаясь, выдувает из нее прошлогодний неживой мусор; отплевываясь и невнимательно обирая его с себя, девчонки лежат, думают.

Галька не выдержав спрашивает, усмехнувшись в сторону:

— Что, расчет будешь брать?

— Ага.

— В деньгах-то проиграешь или выиграешь?

— Не знаю... Да черт с ними, с деньгами! Вон у тетя Зои все есть, а толку? Это жизнь, что ли? Она чувствует... детей своих небось на стройку не пустила. Ох, нет. Как подумаю... Уж сколько раз было: познакомишься с парнем, как узнает, что штукатур, сразу отношение... Я и врала уже, а сколько можно!

— Ну прям. Смотри что за парень.

— Работяга если...

— А уж тебе, блин, нужно вообще уж!..

— Работяга? Да ну... нет... что ты! — серьезно, задумчиво говорит Ларка, слушая ветер в ушах и воодушевляясь.— Я думала... Ну, вышла б замуж за такого? Без толку, опротивел бы. Гуляла б от него. Какие-то они все... между собой только годные, понимаешь? Видно, видно... и глаза, и прически, и бакенбарды, и усы... и как курят... оглядываются на тебя... Во что ни одень, чувствуется, понимаешь? Какие-то они все-таки...

Знакомая тошнота подступает к горлу; Галька, опомнившись, слатывает ее. Ларка уже опять о чем-то думает. По ее волосам неторопливо ползет паучок. Галька видит, но терпит, не желая сочувствовать Ларке; потом, сообразив, что это глупо, в целях тренировки в себе равнодушия ко всему, что связано с Ларкой, вздохнув, бережно снимает паучка и, горестно оглядевшись, пускает его подальше в траву ползать.

— Идти пора, тетя Лид орать будет.

Бориска и Захарка, пообедавшие, сидят на подоконнике, ковыряя в зубах и чвыкая. Женщины, охая, ощупывая животы, нагибаются за инструментом, доставая его из закоулков. Теть Зой, которая всегда прячет дальше всех, идет за своим ведрком в дальний конец коридора, и оттуда доносится ее голос, полный страдания:

— Ой! Вот гады! Вот сволочи!

Она появляется с ведром и мастерком.

— Чего ты, мать?

— Не могу!.. Идите гляньте, какая там куча лежит... Кто ж это успел-то?

Бригада хохочет, валясь на козелки.

— Что смеетесь? Мне туда работать переходить... Ох, поймала бы — убила б! Мастерком по роже!..

— Ой, да ладно тебе, расстоналась! Нежности какие, блин! — Нинка хватает лопату и идет с ней туда, куда злобно смотрит тетя Зой.— Под-думаешь, делов-то!

— Хоть бы раз поймать. Вот скоты! Туалет вон он рядом... нет... Прямо мафия какая-то.

Нинка возвращается, бросает лопату.

- Все. Не стони только.
- Встали, девки,— вздыхает тетя Лид.

И снова работают молча. Только изредка кашель и сплевывание или стон от усилия дотянуться и закончить дальний угол, чтобы лиш- ний раз не переставлять козелок, или на секунду кто-то запоет себе под нос. Дерг! Дерг! Шлеп! Шлеп! Каждая в провальном бездумье переживает навязчивую идею своей жизни. В голых кирпичных сте- нах, стоя на козелке среди сырости и своих непрерывных действий с раствором и мастерком, Танька гоняет и гоняет по одному и тому же кругу свое страдание, глядя и глядя сквозь него на стену, кото- рую трет и трет. Дерг! Дерг! Шлеп! Шлеп! Танька плачет без слез. без выражения плача на лице, одной только душой.

В вестибюле управления среди всякой прочей информации — о сдаче макулатуры, о грядущем торжественном собрании в честь Дня строителя, о составе комиссии по борьбе с пьянством, где зна- комые фамилии ошарашивают читающего, среди «молний» красных и черных — хвала и анафема — висит и такое известие на куске ват- мана: «Сегодня в 17.30 продажа дефицитных товаров работникам уп- равления в порядке живой очереди. В продаже: батники (ГДР), ко- стюмы жен. (Япония), сапоги жен. (Австрия). Продажа в ОТиЗе. Профком».

Съехавшиеся к вечеру со всех объектов женщины, рысью мино- вав вестибюль, заполняют коридор перед отделом труда, в дверях которого их уже ждут, но пока не пускают.

Дефицит с нарисованными фломастером ценниками разложен на столах и развешан по стенам поверх диаграмм о росте производи- тельности труда. Смежная комната начальника отдела превращена в примерочную. Молоденькая продавщица из торго, приехавшая с то- варом, высокомерно разглядывает свой маникюр, вертит тоненькое колечко на пальчике: нигде так безобразно не меряют и не приобре- тают, как на предприятиях, куда в порядке заботы о людях труда руководство торго взяло моду так вот возить благороднейшие това- ры — на разграбление.

Распоряжается всем еще не старая, но уже состарившаяся оп- рятная высокая женщина из сметного отдела с обезумевшим от забот взглядом, которую знают в основном именно как распорядителя вся- ких дележно-распределительных мероприятий. Глаза у нее бегают — не только сейчас, а и всегда: на такой должности постоянно прихо- дится перед кем-нибудь чувствовать себя лжецом и уже не бояться этого, а изворачиваться по должности.

В толпе, зажатые жесткими телами, попадают там и сям, как изюм в тесте, конторские модницы — им отдавили все ноги,— отво- рачиваясь от потных подмышек и оглушительных разговоров попо- лам с жарким дыханием. Авангард трудового народа лезет, напирает, вытягивает шеи с сознанием своего права — у конторских уксус- ные, притворно уважительные к гегемонии рабочего класса лица.

- Без воротника.
- Где ж без воротника? Стойка. Самая мода.
- Без узоров.
- Однотонные, ага. Самая мода.
- Сапоги-то почему там?
- Сто двадцать... На шпильке.
- Господи, весь аванс оставишь!
- Авансом не отделаешься...
- Ну и ладно, мне такое давно надо.
- Мне тоже.

Начинается продажа. Сапоги меряют тут же среди толпы, са- дясь на стул и постелив на пол газету. Батники (по два в одни руки)

берут не глядя, суют в сумки, хрустя упаковкой. Костюмы же — юбка, жилет, жакет, — взяв у продавщицы, несут мерить в кабинет начальника ОТиЗа, где стоят на страже еще двое из профкома.

Меряет сапоги, взмокнув от волнения, спешки и опасений, что не подойдут, Нинка. С грохотом сбросив на пол стоптанную пыльную туфлю, она, стыдясь своей голой ноги в капроновом подследнике, натягивает блестящий сапог — и толпа смыкается над ней, как над упавшей в обморок. Нинка встает со стула — одна нога в сапоге на шпильке, другая в туфле без каблука, отчего стан ее перекосялся, — и глазами, полными мольбы, смотрит не на ноги, а вокруг:

— Ну что, девки? Как?

— Ты-то как чувствуешь? Сама-то?

— Ох, бабы... Я-то? Что я-то?

— Не жмет? Не давит? Так-то — блеск. Главное, не давит?

— Нет... Да... Не пойму.

— Да бери! Если что — продашь, не заржавеет.

— Точно, беру! Фу-у-у, будь оно неладно...

Где-то возле продавщицы Клавка, хрустя оберткой батника, требует «сперва поглядеть». Продавщица, собрав остатки вежливости, объясняет: не положено, — зная, что в таких случаях слова «не положено» очень действуют. Но Клавку этим не возьмешь. Скандал вот-вот вспыхнет, но тут Танька, раскрасневшись, закусив втянутые губы, берет костюм и под конвоем профкома несет в примерочную, озираясь на Клавку, и старуху, уже набравших батников, и Нинку, держащую коробку с сапогами и без конца ощупывающую ее. Все четверо идут за ней, зная, что в одиночку выдержать такую покупку нелегко. Заходят поглядеть (не на Таньку, а на костюм) двое конторских.

Танька, то улыбаясь всеми своими золотыми зубами, то отчаянно хмурясь, стесняясь оголяться при конторских, снимает и отдает тетя Зое только кофту и, обезумев от бережности, надевает костюм поверх платья. Из костюма оказываются торчащими вниз — две ноги в пыльных мужских полуботинках, по бокам из рукавов — загорелые кисти рук с толстым обручальным кольцом на одной и с перстеньком с рубинчиком на другой, наверху — кудрявая, растрепанная при одевании прическа, кумачовое лицо, обсыпанное потом, золотые зубы и алые пылающие ушные раковины с золотыми сережками.

Конторские шепчутся:

— Нет, слишком деловой стиль... куда его наденешь? Только на работу... За двести рублей... — И уходят, не имея денег на такую глупость.

Женщины окружают Таньку, стоящую манекеном.

— Ну что, девки?

— Да стой ты, чучело. Руки-то опусти. Согни... Не тянет? С виду-то отлично.

— Да? И по мне вроде нормально. Честно, точь-в-точь!

— Невеста, — оглаживает ее тетя Лид. — Бери. Мужик-то башку не оторвет за такую трату?

— Да ты что! — Танька, счастливо улыбаясь, с двойной бережностью снимает и вешает снова на плечики костюм. — Он уже меня замучил: купи да купи себе... такое что-нибудь. Мне, мол, шапку взяли, брюки, пальто, тебе тоже надо... Узнал, что у нас давать будут, понесся, с книжки снял...

— Молодец... Ну так иди плати. В темпе только, ждем. Еще по магазинам надо, дома жрать нечего.

— Ой, девки, и у меня! Мужик скоро из дома выгонит! — смеется счастливая, что играючи шутит с таким огнем, демонстрируя отвагу необходимой женщины, Танька. Она несет костюм и деньги продавщице и с испугом следит, чтобы завернули этот самый, не спутали, и пока ей упаковывают, успевает представить и пережить

в десятках вариантов, как она при случае, намывшись в ванной и накрасившись, наденет этот ярко-синий «костюм деловой женщины», как сказано в бирке, под низ — желтый батник, на ноги — белые колготки (американские), коричневые с красным туфли на «манке», нацепит все свое золото и... боже ты мой! и...

## 3

Прошло два месяца. Бригада успешно осуществляет свой вклад в народнохозяйственный план и теперь штукатурит двенадцатизэтажный жилой дом: справятся — и долой из общих тридцати тысяч еще пять тысяч метров.

Ларке уже вот-вот уходить, и отношение к ней в бригаде потустороннее. Она всем говорит, что уходит в ремтрест — там, мол, с жильем лучше. Галька слушает эти враки, о которых они с Ларкой уговорились, с легким сердцем, уже предвидя какое-то утешение.

Танька за это время отлежала три недели в больнице с язвой — не лечение, а горькие слезы. Дети в деревне у матери, муж один, свободен как ветер... квартира пустая, безразличная к тому, кто что в ней делает... Придет проведать — ни о чем не догадаешься по его красивым веселым проклятым глазам... Господи, душу продала бы за то, чтобы знать наверняка хоть что-то! Ничему она не может верить — ни гостинцам, ни его заботливым вопросам, особенно цветам: их запах душил ее невозможностью знать, что у него было на сердце, когда он их покупал... Видела сколько раз рядом с ним в кабине каких-то баб. Боже ты мой! Бесплезно спрашивать: скажет как ни в чем не бывало, что экспедиторша. А что он парнем творил! Проклятый! Хоть бы перевернулся где-нибудь, разбился... уж как сладко она рыдала бы над ним...

Галька с Клавкой, получив в профкоме два с полтиной, положенные для посещения больных работников управления, ездили к ней, проводывали. Та все одно и то же: мой детей в деревню отвез, отдыхают на фруктах и парном молоке, красота... цветы вон каждый день возит, не знаешь, куда и девать-то веники эти... винограда припер, апельсинов, компотов югославских, ей нельзя, а он, бестолковый, все таскает и таскает — хотите, девки?

Нинка съездила в дом отдыха в Крым и вернулась с мужиком! Господи... Бегали смотреть: не бог вещь что, даже и того нет, но главное теперь — долго он у нее продержится? Вроде вещи привез к ней, в отдел кадров уже ходил — электриком устраивается. Документы в загс подали... Нинку как подменили, даже морщины уже не те, а красится — лица не видно.

Клавка получила трехкомнатную, въехала. Обстановка уже давно была куплена, все у свекрови стояло. Свобода, дети носят... Денег, денег надо теперь, девки!.. До того влюбилась в свою квартиру — скучает по ней, как по человеку, каждый день ждет конца работы, чтобы произвести очередное какое-нибудь улучшение, а утром рассказать всем.

У старух уже ничего в жизни не меняется — и упаси бог от этого.

Обедают они сейчас в столовой через дорогу. У них всегда так — кто-нибудь одна скажет: надоело с этими банками таскаться, вечно раскокать боишься, вечером мой их, наполняй, а утром спросонок забудешь того и гляди... нет, в столовой, без хлопот, милое дело! — и на следующий день все идут в столовую: и правда, девки, красота!.. А через неделю та же Танька скривит рожу: к черту, девки, эту столовую, одна изжога от этого общепита, от этих комбижиров, через час после обеда что кушал, что музыку слушал, — и, глядишь, назавтра все опять приезжают с банками.

Но сейчас все пока довольны столовой, даже Танька — суп молочный бывает ежедневно. Нинка, страстная в еде, каждый обед ее донимает: «Как ты жрешь это пойло все время?»

Не сняв спецовок, бегут через улицу, издали внюхиваясь в запахи столовой, враждебно, с отчаянием глядя на валящих отовсюду впереди них к входу.

Влетели, бегом к очереди, расталкивая локтями неторопливых мужичков, — лица при этом проказливые, чтоб проявили снисходительность. В очереди уже больше некуда пробиваться — стоят, вытягивая шеи к раздаче, глотая слюну и маскируя это кашлем. Нинка еще издали достает себе салат и ставит на поднос — начало есть.

А за столами в зале трескают, трескают... Нинка берет гуляш и в раздумье держит тарелку в руке. Аппетит режет как ножом, толкает на безумие, гуляш кажется микроскопическим. А, была не была! Нинка протягивает тарелку:

— Миленькая, котлетку сюда еще положи.

Расплачивается. Вышло больше рубля. И не жалко денег, а совесть донимает... Несет поднос в зал, глазами нашаривая места для всех.

— Давай, давай сюда! Дяденька, подвинься.

Едят быстро, жадно, густо соля, перча, намазывая на хлеб горчицу, как масло. Встали — не наелись, хоть повторай. Но отчаяние не смертельно: скоро рассосется, почувствуется сытость.

Идут назад, уже не глядя на едящих за столами; прелесть столовой поблекла, скучно. Идут в здание прямо на этаж и там, пока еще остается от обеда десять минут, рассаживаются кто где, задумчиво дыша известковой сыростью, то закрывая, то открывая глаза и без конца со вздохами их протирая. Клавка сплевывает за окно и выглядывает следом с запоздалым извинением на лице. Неподалеку у входа какое-то начальство собралось в кружок и что-то обсуждает, показывая на цоколь. Они зачарованно, бездумно умолкают, увидев плевок, провожают его глазами до земли — и опять за свое.

К вечеру устали как собаки. Только слезли с козелков — прораб:

— Привет, девоньки. Привет, тетя Лид. Как дела?

— Пока не родила.

— Нет, серьезно... Ты погоди, дело есть.

— Какое еще дело? День кончился... Идите, ладно, догоню... Ну, чего?

Прораб воздерживающимся взглядом провожает уходящих вниз женщин.

— Ты вот что, тетя Лид, ты по-новому работать думаешь? Еще когда все проголосовали: каждому по труду, долой уравниловку, — а ты продолжаешь из месяца в месяц всем своим единицы ставить. Что, неужели все у тебя одинаково работают? Сама же знаешь, что нет. И все это знают... И вообще люди разные. А мы с тобой табели со сплошными единицами сдаем. Меня уже хозсовет понимать отказывается.

— Ох, иди ты к черту, Виталька! У нас все пашут как проклятые, в сортир лишний раз не отойдем. Иди глянь — еле ноги волокут к вечеру. Разряды у них разные — вот и хватит. Что ж издеваться-то?

— Нет, не хватит. Разряды разрядами, но если кто-то в смену пятнадцать метров делает, а другой — с тем же разрядом! — восемь, то извини меня... то как же можно тому и другому одинаково получать? Разве тому, кто больше делает, не обидно?

— Не обидно. У нас по крайней мере никто не возникает.

— Привыкли. Боятся. Это ломать надо. Говорим, говорим...

— Иди тогда и ставь им сам. А у меня все они — как пальцы на

одной руке. Ладно пьянствовал бы кто, прогуливал, тогда еще... А тут-то? Кончайте вы, Виталь, давить!

— Ну и кто, скажи, нас поймет? Кто? Детский лепет это, тетя Лид. Хорошо, будем и дальше эту уравниловку разводить — сама же знаешь, что хозсовет, который сами же мы выбирали, руки поднима-ли, нам это дело прикроет. Не так?

— Голосовать-то голосовали, правильно... а кто его знал? — Тетя Лид вздыхает, свесив вдоль тела тяжелые руки.— Оно все правильно, конечно, говорилось, что по труду там и прочее... Но понимать тоже надо, Виталь. Ведь демократия, бригада решает, от нас должно ведь зависеть.

— От вас теперь и зависит. Хозсовет теперь все вопросы решает, а хозсовет — это мы сами, кого выбрали сами же! Ты же сама член хозсовета! Ты же сама принимала решение — и сама же на попятный! Сейчас не начальство, как раньше, решает, а коллектив! Вот и выполняйте решение коллектива, которое сами же единогласно приняли.

Теть Лид задумывается, машинально соскребая раствор со штанов мастерком. Да, все теперь сами же и решают, никуда не денешься... Размахивая мастерком и сшибая им по дороге со стен застывшие брызги раствора, она идет по рабочим местам, прораб за ней. Вот квартира Нинки с Клавкой. Эти пашут как черти, уже трехкомнатную кончают... Вот Зойкина с Ларкой... Вот ее с Галькой... Со вздохом заглядывает в однокомнатную — Танькину. Ну конечно: только кухня готова, да и то уголок вон не дотерт. В ванную еще и не заглядывала...

Прораб дышит в затылок.

— Ну что, тетя Лид?

— Да что, что! В общем... Черт бы вас всех побрал!.. Танька, конечно, у меня не дотягивает. Я ее уже с кем только в пару не ставила — все потихоньку жаловались. Медленно делает, что там говорить.

— То-то же! Думаешь, я не вижу? Вот и надо сделать по справедливости — снизить ей. И не бояться! Чего бояться? Все ведь справедливо! А Нинке с Клавкой повисить, согласна? Увидишь: еще больше начнут стараться!

— Больше некуда,— сурово обрывает его тетя Лид.— И так уж... господи! Ох и будет сейчас в бригаде...

— Ничего, я с тобой.

— Да ты-то, блин!.. Ладно. Да и в самом деле, если разобраться... Ох и сволочное же это дело, Виталь! Нет, хватит, ищите себе другого бригадира, а я уж что мне осталось как-нибудь доработаю, сама за себя отвечу. Не хочу, не хочу и не хочу!

— Стыдно, стыдно, тетя Лид.

— Ни черта мне не стыдно!

В вагончик она входит, накачав себя решительностью до предела. Прораб — за ней, сел в углу на лавку среди грязных ботинок и тряпья, отпихивая все это от себя и улыбаясь женщинам. Нинка стала в дверях и начала трясти свои штаны наружу, подняв над вагончиком облако пыли.

— Хорош трясти,— угрюмо говорит ей тетя Лид,— всей пыли все равно не вытрясешь... Садись. Садитесь все.

— Собрание, что ли, будет? — подозрительно спрашивает тетя Зой, уже переодетая, доедающая за столом купленный в столовой пирожок с повидлом.

— Вроде того. Деньги вон будем делить,— кивает на прораба.

— Чего их делить-то? Что заработали — наше.

— Ваше, ваше,— успокаивает из своего угла прораб и вздыхает от тяготы борьбы за новые принципы.

— Ну и вот. Сами и разделим. А ты свои дели. Теперь бригада решает, понял?

— Мои разделят, не бойся. Уже разделили... Короче, мы сейчас должны все вместе определить каждому члену бригады коэффициент трудового участия.

— Определим, не бойся. Бригада решает, рабочие. Вот и решим. У нас все пашут, пьяниц и прогульщиков нет...

— Зачем, девоньки? Зачем? Мы с бригадиром сейчас только с этажа... Да и вы сами это знаете: работаете вы неодинаково. Вот, к примеру, Клавдия с Ниной вдвоем уже почти трехкомнатную кончают, а наша уважаемая Татьяна из кухни однокомнатной никак не выберется. Это одинаково?

Танька замирает, вскрикнув душой, с ужасом обнаружившей в себе еще ресурс для страдания. До Клавки с Нинкой, собравшихся уже драть глотки, чтобы всем поровну, как было, вдруг доходит похвала, гордость краской бросается в щеки, они уже не знают, что и говорить-то.

— Короче, девки! — Теть Лид встает. — По справедливости если, то так: всем по единице... Татьяне ноль и девять десятых, Клавдии с Ниной по одной и одной десятой. Правда, они и всегда больше всех делают. Разве нет?

У Таньки уже не обида, а обморочное недоумение. Галька, забыв о Ларке, чешущей рядом волосы и держащей в зубах шпильки, смотрит на Таньку со страхом, да и все что-то перепугались, даже Клавка с Нинкой, — не надо уже и похвал этих и гордости, черт бы с ними! Все молчат, уставясь в пол и шаркая по линолеуму подошвами, под которыми с хрустом катается песок.

Теть Зой начинает давиться своей вечной несказанной обидой.

— А вот не будем голосовать! Девки, не голосуйте! Это наше дело, бригадное. Вас, начальничков, больше не спрашиваем! Хватит, наклеялись у вас по нарядам, теперь другие времена: наше определено вон в плане — сами и распорядимся!

— А я что говорю? Конечно, сами! Только по справедливости! Ты ж на собрании голосовала?

— Ну и что? Я не за это голосовала. Сроду не было у нас такого... идиотства. Я понимаю, у мужиков в бригадах — там и пьют и с похмелья приползают так, что руки не двигаются... тогда, конечно, надо снижать. А так-то что ж? Так каждого в недочеловеки записать можно! Клавка с Нинкой вон обе какие жилистые, а Танька от природы хилая — что же ей, так и ходить всю жизнь полчеловеком? А случись с тобой что? Заболей? Сколько случаев — для врачей здоров, а чувствуешь себя... Тоже полчеловеком ходить? Понимать людей надо! Я всю жизнь пахала, все производству отдала, уже еле тяну — а мне еще до пенсии пять лет. За все хорошее и мне, может, начнут скоро эти чертовы ноль девять ставить? Эдак вообще скоро станут за ворота людей выбрасывать... мало ли что с человеком может случиться! Не голосуйте, девки! И ты, Лид, тоже хороша!

— Ах, да идите вы все! Ничего не хочу, ничего! Говорю же: снимите меня с бригадиров, прямо сейчас вот и переизбирайте!

— Правильно тетя Зой говорит! — раскатисто, не хуже всех кричит вдруг Галька, чувствуя сладкую ярость неизвестно на что. — Жалеть тоже надо!

— Ого! Еще одно... производственное отношение прорезалось. Ты смотри, голос подала, тихоня!

Прораб, пробуя обратить это в шутку, привычно протягивает руку, чтобы потрепать Гальку по голове, но Галька отдергивает голову, готовая за что-то в драку, вот только пока не знает за что. Теть Зой, однако, с одобрением кивает ей, и Галька, счастливая своей злобой, жадно слушает, подавшись вперед и часто моргая от лихорадочного вни-мания. После ее крика все замолкают, глядя на нее как на что-то имеющее смысл. Прораб оглядывается в этой тишине.

— Так...— Встает и начинает ходить от Гальки к Таньке и обратно.— Значит, бригада решила продолжать уравниловку? Но учтите: бригада — это только часть коллектива. То есть обязана коллективу подчиняться. Не мне, не начальнику управления — а, по сути, себе же! Да, рабочие решают сами. И мы все выбрали орган самоуправления — хозяйственный совет. И ты, тетя Лид, и ты, тетя Зой, и Клавдия — члены этого хозсовета. Так вот: можете ставить всем поровну. Но избранный вами совет — не начальство! — имеет право не утвердить ваше решение. И так и будет! Ставьте всем единицы! Ставьте! Решайте сами! Я в конце концов в это не имею права вмешиваться здесь у вас... но как член хозсовета на хозсовете — другое дело.

Никто не отвечает. Дело-то, конечно, ясное.

— Так что, тетя Лид?

— Да что? Сказала уже что. Вот и пиши. В самом деле, девки, по труду так по труду.

— Именно! — Прораб, положив на стол бланк, не присаживаясь, заполняет графу «КТУ». — Подписывайте, совет бригады.

Тетя Лид со злым лицом, ни на кого не глядя, подписывает и, отойдя, начинает без толку копаться в своем шкафчике. Клавка дотягивается со своего места, подписывает и глядит после этого только на Нинку. Подписывает с кряхтением и тетя Зой и отряхивает руки, оттолкнув от себя бумагу. Прораб прячет ее в папку.

— Ну вот... и ничего страшного. Ты, Тань, не переживай. Мне в этом месяце тоже снизили. Помните, сварщик руку обжег, дурень? Вот за это. Так что не ты одна... Ерунда, подтянешься. Ну ладно...

Взглянул на часы, поправил перед зеркалом кепку и вышел.

Молчат. Тетя Лид вдруг швыряет куртку, обдав всех пылью.

— Нет, а что? Не так? В конце концов!

— Значит, я...— Танька медленно наливается плачем, вся, всем телом, — я у вас одна по ж... деревянная?

— Да при чем тут это, Таня? — миролюбиво говорит Клавка. — Сегодня ты, завтра я...

Но Танька знает, что Клавка врет и сама не верит в то, что такое завтра настанет. В бесприютности отчаяния она начинает суетиться, что-то перебирать и складывать в своем шкафчике, но от великой бесполезности для нее всего на свете у нее враз опускаются руки, все кучей валится из шкафчика на пол, она отшвыривает тряпье ногой.

— Ну и черт с вами! Лишайте! Подавитесь!

Нагнувшись, она бессмысленно, поднимая одно и тут же роняя другое, собирает свои тряпки.

— Ну, хорош тебе, — уже недобро уговаривает Нинка. — В конце концов на кого обижаешься-то? Если разобраться, то действительно, блин: мы с Клавкой уже трехкомнатную добиваем, а ты еще только однокомнатную, из кухни не вылезешь никак. И это всю дорогу так, нет, что ли? Обращать тебя? Надоело.

— Ты?! Ты меня обрабатываешь? Ты-то... тебе-то что не работать? Правильно: живешь одна, как колода беспризорная, семьи толком не имела, детей распахала, на шее у государства всю дорогу... Дома одна, делать нечего... что ж тебе не пахать-то? Только это и остается! А у меня семья. И детей я воспитываю по-людски, а на это сил знаешь сколько надо! Да откуда тебе знать... Вот и посчитай, от кого из нас обществу пользы больше... То-то! Подавись ты этим червонцем, поможет он тебе!

— Ты заткнись, — свирепеет Нинка, приподнимаясь, — а то за такие-то слова я тебе рожу быстро сворочу.

— Да пошла ты! И Лидка еще деловая: себе единичку, скромненько, как всем... А чего ей не скромничать? Она же бригадирских тридцатник в месяц получает, на халяву, можно сказать! Что вот она особенного за этот тридцатник делает? Раньше хоть наряды ходила



закрывать, нервы тратила... а сейчас? Мастеру сказать, чего у нас не хватает? Будто он сам не знает... А Зойка? Уж она-то... если честно, тоже еле двигается! Что, не так? А ей единица: как же, заслуженная!..

— Вот сучка! — ахает тетя Лид. — Да иди хоть завтра на мое место, бери его себе, этот тридцатник! Посмотрю я... Разве я держусь за него, за тридцатник этот?

— А то нет! Только стонешь все время: уйду, уйду. А сама с дерьмом не расстанешься! Это все говорят, спроси!

— Танюха, завязывай, — с угрозой говорит Клавка. — Ей-богу, не Лидка, так я тебе сейчас...

— Да пошла ты тоже! Я вообще уйду... Что мне? Мне за квартиру не работать, у меня все есть — и гараж выделили... теперь плевать я хотела!

— Надо же, это я-то с дерьмом не расстанусь! Это я-то на халяву?.. Ах ты сволочь! Если хочешь знать, ты давно уже всем поперек горла... терпим тебя, жалеем... И вместо спасибо...

— Да убить эту тварь! — визжит Нинка.

— Бей! У-у-у! Кочерыжка высохшая! Кляча, никому не нужная! Разведенка несчастная...

Нинка, подскочив, замахивается; ее успевают схватить, но Танька все равно падает на лавку, как от удара, несильно стукнувшись затылком о дверцу шкафа, и заходится в блаженной яростной истерике.

— Пустите, — вырывается Нинка, — я ей сейчас... Сволочь! Нашла чем попрекать! — И плачет, слабея и повисая на руках у Клавки. — Я виновата, блин, что жизнь так сложилась? Одна двоих детей подняла после этой пьяни... я виновата?!

— Я мужу расскажу, — стонет Танька, запрокинув голову, будто унимая кровь из носа. — У меня есть кому заступиться! Он не позволит...

— Скажи, скажи своему кобелю. Эдак ему за многих заступаться придется, на всех не хватит.

— Врешь! — Танька мгновенно открывает глаза. — В суд... за клевету... свидетели есть...

Теть Зой всхлипывает за столом, с удовольствием слушая капелю своих слез на клеенке.

— Я всю жизнь... тридцать лет...

— Хватит, девки! — Галька, отвернув и сморщив лицо, чтобы не поцарапали ненароком, бросается между Танькой и Нинкой. Клавка, встретив ее взгляд, передает ей Нинку, Галька усаживает ее и держит, воинственно озираясь, чтобы все оставались на своих местах. Нинка в ее объятиях, освободив только руку, доплакивает, покорно вытирая слезы.

В уголке, спрятав расческу в сумочку и щелкнув замком, зеваает Ларка; все оборачиваются на зевок как на сигнал о бесполезности дальнейшего ожесточения. У женщин не остается никакого настроения, они сидят немые, полумертвые, начиная бояться друг в друге непреклонности злобы, которую каждая продолжает изображать, уже не имея ее в сердце, на случай если у кого-то она осталась. Все бесполезно перед тем, что их связывает, вражда и дружба — все бессмысленно; огорченные и облегченные этим, они расходятся молча, будто обдумывая, а на самом деле просто нетерпеливо проживая происшедшее.

Утром, все еще вынужденные изображать на лице непреклонность, уход Ларки — ее первый день сегодня нет — не обсуждают. Дерг! Дерг! Шлеп! Шлеп! Наконец Клавка, смахнув первый пот, говорит вроде бы только Нинке, но на весь этаж:

— Ларка-то на халяву отделалась. Даже торта не купила. Воспитали, называется!

Галька, не зная, как начать разговор, толкает снизу тетю Лиду.

— Ничего подобного! Тетя Лид, она просто никак не могла... что-то там у нее срочное...— врет она с легким сердцем, как они договорились с Ларкой.— Она все мне передала. Девкам, мол, на прощание. И торт, и конфет, и водки две бутылки, лимонад... Сумку-то видели у меня утром? Так что ты зря, Клав.

— Да-а-а? Ну тогда молодец, беру свои слова обратно... Что ж, значит, гудим сегодня? Лид?

— Как все, что ты мне-то говоришь?

Женщины с интересом прислушиваются. Нинка, перестав тереть, думает, уставясь в стену, — решается.

— А пошли после работы ко мне. Моего сегодня долго не будет,— небрежно роняет она, краснея,— прописываться поедет. Я вчера такую селедку купила! Картохи наварим... Лид? Зой? Клавк? Гальк?

— Можно.

— Таньк? Да кончай ты дуться! Господи! Мало ли, что бывает! Между своими-то... Ну, ударь меня, если хочешь. Подумаешь!..

— Да не дуоюсь я. При чем здесь «ударь»? Глупости-то кончай болтать. Прямо не знаю... «ударь»...

— Тань, давай я за тебя! — кричит, хохоча, Галька.— Дать ей? С козла слетит.

— Слетишь... Ты вон кобыла какая. Тетя Лид, ну что? Может, сегодня наляжем без обеда да пораньше чуть кончим, а?

— Да можно! — вдруг с ожесточением вздыхает тетя Лид.— Давайте, ну его к черту! А то это пахать до бесконечности можно... хоть развешаться чуток. Что ж, навалились тогда, девки, без перекуров!

Все радостно умолкают; набывчившись, сжав челюсти, набрасываются на работу.

Тетя Лид согнутым запястьем протирает глаза, смотрит на часы.

— Шабаш, девки.

С козлик кто осторожно сползает задом, кто спрыгивает, матернувшись со стоном. Нинка всех торопит, помогает мыть инструмент. Голодные — без обеда — и от этого легкие и пьяные, бегут лавиной по лестнице.

В вагончике, толкаясь и напевая каждая свое лихорадочно дрожащими от предощущения удовольствия натянутыми голосами, сбрасывают штаны и куртки, оставляя их валяться с вывернутыми рукавами и штанинами, торопливо вытряхивают песок из бюстгальтеров, влезают в прилипающие платья, не глядя причесываются. Галька оделась первая, ждет с сумкой.

— В темпе, в темпе,— зудит тетя Зой, сама отставшая от всех.— Дед мой орать будет: где тебя носило?

— Ой! — прыскает Танька.— Мой тоже привяжется: где да с кем... А, пусть.

— Ревнует? — спрашивает Нинка.

— Что ты! К врачу в больнице приревновал. Такой дурак!..

У Нинки однокомнатная. На стене фотографии сыновей: один в военной форме, ефрейтор, другой — в фуражке ПТУ. Танька, сняв туфли и пройдя босиком, поджимая пальцы ног (все-таки неряха Нинка, мусору-го, мусору!), вежливо разглядывает Нинкин иконостас.

— На тебя вроде похожи. Нет?

— Какой там! Старший если немного. А младший — глаза только мой, а так — вылитый папаша.

— Как он с твоим-то? Ладят?

— Знаешь, да! Тот уже даже на родительское собрание ходил — я болела.

— Угу...

На стуле висит мужская рубашка. Нинка, счастливо нахмурившись, перевешивает ее в шкаф; говорит как ни в чем не бывало Гальке, держащей сумку:

— Ну, доставай, что там?

— Ага!

Галька выставляет на стол бутылки, торт, кулек конфет, две банки консервов, колечко копченой колбасы — все это уже не Ларкино, а ихнее, бригадное, и вызывает законную слюну; при виде общего аппетита Гальке дышится радостно и легко. Расстаралась — не остановишь.

— Теть Лид! Теть Зой! Да сядьте вы, не путайтесь под ногами! Без вас управимся. Вот торт лучше нарежьте... Ножик им, девки! Нинк, ну что? Про селедку-то не забыла? Мы-то помним, так что доставай... Клав, пошли с тобой картошку чистить. Во, Нин, музыку заведи!.. Ну, блеск, девки! Вперед!

Все ей подчиняются; старухи стонут в умилении:

— Ах ты красавица наша!

Солнце печет через окно; бригада сидит за столом как на пляже. Вспотели, оттягивают на груди майки, обмахиваются газетами. От картошки поднимается пар, селедка посыпана лучком, залита маслицем — эх! Разлили бутылку — вспомнили о Ларке.

— Ладно, — вздыхает теть Лид, подняв рюмку, — дай ей бог. Работать мы ее научили... не пропадет теперь.

— Давайте, давайте! — торопит Галька, чокаясь с теть Лидой, чтобы та не унижалась, сама того не зная, говоря так о Ларке. Первая выпивает и вскакивает, накладывает всем картошки. Доставая селедку, все с улыбками смотрят на нее, окончательно расхрабрившуюся. Теть Лид, вытерев после селедки губы, обнимает Гальку большой толстой белой рукой, всхлипывает:

— Ничего, Гальк, ничего... Эх, красотка ты наша. А, девки? А? Вот... Давно мы такими были, а? Эх, жизнь... Не бойся, Гальк, с нами не пропадешь. Замуж тебя отдадим... жильё выхлопочем... Да я сама пойду в профком, в трест! А что? За Таньку, за Клаавку, когда у них дети пошли, кто ходил? Мы с Зойкой! Да, Зой? Не бойся, Галь, все будет...

Галька растроганно улыбается в ее объятиях.

— Честно, теть Лид... девки... вы мне — вот честно! — как родные! Я вот, ей-богу, для вас — что хотите... правда! А как же? Да, девки? Это ж самое главное... да?

Разливают по второй, пьют и соловеют на жаре, улыбаются во все стороны, не попадая друг на друга разбегающимися взглядами. Нинка кладет подбородок на подставленный крепкий кулачок и, втянув воздух сквозь зубы, резко запеваёт:

Ой, мороз, мороз,  
Не морозь меня...

Остальные подхватывают:

Не морозь меня,  
Моего коня...

Вытягивая верха, с любовным задором переглядываются; восторг растёт, подпирает сердца и становится нестерпимым.

---

---

## МАРИЯ ТЕРЕНТЬЕВА



*Мария Кузьминична Терентьева, автор двух поэтических книг, вдова писателя Ивана Катаева, погибшего по ложному доносу в годы сталинского террора, разделила судьбу многих жен репрессированных, оказавшись в мордовских лагерях, где и написано предлагаемое стихотворение.*

### РОСЛЫЙ ПАРЕНЬ

Рослый парень, добрый парень,  
Ты с ружьем наперевес  
Тихих женщин строишь в пары  
На корчевку в дальний лес,

Истомленных и одетых  
Неприглядно, кое-как,  
В неуклюжих жар-жакетах,  
В деревянных башмаках.

По бокам, как ассистенты,  
Две овчарки начеку,  
Тропок траурные ленты  
На нетронutom снегу.

Вязнут ноги, наст некрепок,  
И в глазах от снега боль,  
Но кричит стрелок свирепо:  
«Поворачивайся, что ль!»

Снег и ветер в поле чистом,  
И идут, ровняя строй,  
Жены русских коммунистов,  
Как, бывало, шли на бой.

Парень русский, парень рослый!  
Лица женщин, окрик свой  
Ты, наверно, вспомнив после,  
Покачаешь головой.

Но ведь служба, долг солдата,  
Все втолковано ему:  
Если взяты — виноваты,  
Сталин знает что к чему.

Кто ж из них, зачем ночами  
Мирным сном наперекор  
Материнскими глазами  
Смотрит на тебя в упор?

1940.

---

---

---

БОРИС ПАСТЕРНАК

★

## ДОКТОР ЖИВАГО\*

Роман

*Часть четырнадцатая*

ОПЯТЬ В ВАРЫКИНЕ

1

**У**становилась зима. Валил снег крупными хлопьями. Юрий Андреевич пришел домой из больницы.

— Комаровский приехал,— упавшим хриплым голосом сказала вышедшая навстречу ему Лара. Они стояли в передней. У нее был потерянный вид, точно у побитой.

— Куда? К кому? Он у нас?

— Нет, конечно. Он был утром и хотел прийти вечером. Он скоро зайвится. Ему надо поговорить с тобой.

— Зачем он приехал?

— Я не все поняла из его слов. Говорит, будто он тут проездом на Дальний Восток, и нарочно дал крюку и своротил к нам в Юрятин, чтобы повидаться. Главным образом, ради тебя и Паши. Он много говорил о вас обоих. Он уверяет, что все мы втроем, то есть ты, Патуля и я в смертельной опасности, и что только он может спасти нас, если мы его послушаемся.

— Я уйду. Я не желаю его видеть.

Лара расплакалась, попыталась упасть перед доктором на колени и, обняв его ноги, прижаться к ним головою, но он помешал ей, насильно удержав ее.

— Останься ради меня, умоляю тебя. Я ни с какой стороны не боюсь очутиться с глазу на глаз с ним. Но это тягостно. Избавь меня от встречи с ним наедине. Кроме того, это человек практический, бывалый. Может быть, он действительно посоветует что-нибудь. Твое отвращение к нему естественно. Но прошу тебя, пересиль себя. Останься.

— Что с тобою, ангел мой? Успокойся. Что ты делаешь? Не бросайся на колени. Встань. Развеселись. Прогони преследующее тебя наваждение. Он на всю жизнь запугал тебя. Я с тобою. Если нужно, если ты мне прикажешь, я убью его.

Через полчаса наступил вечер. Стало совершенно темно. Уже с полгода дыры в полу были везде заколочены. Юрий Андреевич следил за образованием новых и во-время забивал их. В квартире завели большого пушистого кота, проводившего время в неподвижной загадочной созерцательности. Крысы не ушли из дому, но стали осторожнее.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1—3 с. г.

Публикация, подготовка текста Е. Б. ПАСТЕРНАКА и В. М. БОРИСОВА.

В ожидании Комаровского Лариса Федоровна нарезала черного пайкового хлеба и поставила на стол тарелку с несколькими вареными картофелинами. Гости собирались принять в бывшей столовой старых хозяев, оставшейся в прежнем назначении. В ней стояли больших размеров дубовый обеденный стол и большой тяжелый буфет того же темного дуба. На столе горела касторка в пузырьке с опущенным в нее фитилем,— переносная докторская светильня.

Комаровский пришел из декабрьской темноты весь осыпанный валившим на улице снегом. Снег слоями отваливался от его шубы, шапки и калош и пластами таял, разводя на полу лужи. От налипшего снега мокрые усы и борода, которые Комаровский раньше брил, а теперь отпустил, казались шутовскими, скоморошьими. На нем была хорошо сохранившаяся пиджачная пара и полосатые брюки в складку. Перед тем, как поздороваться и что-нибудь сказать, он долго расчесывал карманною гребенкой влажные примятые волосы и утирал и приглаживал носовым платком мокрые усы и брови. Потом с выражением молчаливой многозначительности одновременно протянул обе руки, левую — Ларисе Федоровне, а правую — Юрию Андреевичу.

— Будем считать, что мы знакомы,— обратился он к Юрию Андреевичу.— Я ведь так хорош был с вашим отцом,— вы, наверное, знаете. На моих руках дух испустил. Все глядываюсь в вас, ищу сходства. Нет, видимо, вы не в батюшку. Широкой натуры был человек. Порывистый, стремительный. Судя по внешности, вы скорее в матушку. Мягкая была женщина. Мечтательница.

— Лариса Федоровна просила выслушать вас. По ее словам, у вас ко мне какое-то дело. Я уступил ее просьбе. Наш разговор поневоле вынужденный. По своей охоте я не искал бы знакомства с вами, и не считаю, что мы познакомились. Поэтому ближе к делу. Что вам угодно?

— Здравствуйте, хорошие мои. Всё, решительно всё чувствую и насквозь, до конца всё понимаю. Простите за смелость, вы страшно друг к другу подходите. В высшей степени гармоническая пара.

— Должен остановить вас. Прошу не вмешиваться в вещи, вас не касающиеся. У вас не спрашивают сочувствия. Вы забываетесь.

— А вы не вспыхивайте так сразу, молодой человек. Нет, пожалуй, вы все же скорее в отца. Такой же пистолет и порох. Да, так с вашего позволения, поздравляю вас, дети мои. К сожалению однако вы не только по моему выражению, но и на самом деле дети, ничего не ведающие, ни о чем не задумывающиеся. Я тут только два дня и узнал больше о вас, чем вы сами подозреваете. Вы, не помышляя о том, ходите по краю пропасти. Если чем-нибудь не предостеречь опасности, дни вашей свободы, а может быть, и жизни сочтены.

Есть некоторый коммунистический стиль. Мало кто подходит под эту мерку. Но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич. Не понимаю, зачем гусей дразнить. Вы — насмешка над этим миром, его оскорбление. Добро бы это было вашею тайной. Но тут есть влиятельные люди из Москвы. Нутро ваше им известно досконально. Вы оба страшно не по вкусу здешним жрецам Фемиды. Товарищи Антипов и Тиверзин точат зубы на Ларису Федоровну и на вас.

Вы мужчина, вы — вольный казак, или как это там называется. Сумасбродствовать, играть своею жизнью ваше священное право. Но Лариса Федоровна человек несвободный. Она мать. На руках у нее детская жизнь, судьба ребенка. Фантазировать, витать за облаками ей не положено.

Я всё утро потерял на уговоры, убеждая ее отнестись серьезнее к здешней обстановке. Она не желает меня слушать. Употребите свой авторитет, повлияйте на Ларису Федоровну. Она не впра-

ве шутить безопасностью Катеньки, не должна пренебрегать моими соображениями.

— Я никогда никого в жизни не убеждал и не неволил. В особенности близких. Лариса Федоровна вольна слушать вас или нет. Это ее дело. Кроме того, ведь я совсем не знаю о чем речь. То, что вы называете вашими соображениями, неизвестно мне.

— Нет, вы мне все больше и больше напоминаете вашего отца. Такой же несговорчивый. Итак, перейдем к главному. Но так как это довольно сложная материя, запаситесь терпением. Прошу слушать и не перебивать.

Наверху готовятся большие перемены. Нет, нет, это у меня из самого достоверного источника, можете не сомневаться. Имеется в виду переход на более демократические рельсы, уступка общей законности, и это дело самого недалекого будущего.

Но именно вследствие этого, подлежащие отмене карательные учреждения будут под конец тем более свирепствовать и тем более сводить свои местные счета. Ваше уничтожение на очереди, Юрий Андреевич. Ваше имя в списке. Говорю это не шутя, я сам видел, можете мне поверить. Подумайте о вашем спасении, а то будет поздно.

Но все это было пока предисловием. Перехожу к существу дела.

В Приморье, на Тихом океане, происходит стягивание политических сил, оставшихся верными свергнутому Временному правительству и распущенному Учредительному собранию. Съезжаются думцы, общественные деятели, наиболее видные из былых земцев, дельцы, промышленники. Добровольческие генералы сосредоточивают тут остатки своих армий.

Советская власть сквозь пальцы смотрит на возникновение Дальневосточной республики. Существование такого образования на окраине ей выгодно в качестве буфера между Красной Сибирью и внешним миром. Правительство республики будет смешанного состава. Больше половины мест из Москвы выговорили коммунистам, с тем, чтобы с их помощью, когда это будет удобно, совершить переворот и прибрать республику к рукам. Замысел совершенно прозрачный, и дело только в том, чтобы суметь воспользоваться остающимся временем.

Я когда-то до революции вел дела братьев Архаровых, Меркуловых и других торговых и банковских домов во Владивостоке. Меня там знают. Негласный эмиссар составляющего правительства, наполовину тайно, наполовину при официальном советском попустительстве, привез мне приглашение войти министром юстиции в Дальневосточное правительство. Я согласился и еду туда. Все это, как я только что сказал, происходит с ведома и молчаливого согласия Советской власти, однако не так откровенно, и об этом не надо шуметь.

Я могу взять вас и Ларису Федоровну с собой. Оттуда вы легко проберетесь морем к своим. Вы, конечно, уже знаете об их высылке. Громкая история, об этом говорит вся Москва. Ларисе Федоровне я обещал отвести удар, нависающий над Павлом Павловичем. Как член самостоятельного и признанного правительства я разыщу Стрельникова в Восточной Сибири и буду способствовать его переходу в нашу автономную область. Если ему не удастся бежать, я предложу, чтобы его выдали в обмен на какое-нибудь лицо, задержанное союзниками и представляющее ценность для Московской центральной власти.

Лариса Федоровна с трудом следила за содержанием разговора, смысл которого часто ускользал от нее. Но при последних словах Комаровского, касавшихся безопасности доктора и Стрельникова, она вышла из состояния задумчивой непричастности, насторожилась и, чуть-чуть покраснев, вставила:

— Ты понимаешь, Юрочка, как эти затеи важны в отношении тебя и Паши?

— Ты слишком доверчива, мой дружок. Нельзя едва задуманное принимать за совершившееся. Я не говорю, что Виктор Ипполитович сознательно нас водит за нос. Но ведь все это вилами на воде писано! А теперь, Виктор Ипполитович, несколько слов от себя. Благодарю вас за внимание к моей судьбе, но неужели вы думаете, что я дам вам устраивать ее? Что же касается вашей заботы о Стрельникове, Ларе следует об этом подумать.

— К чему клонится вопрос? Ехать ли нам с ним, как он предлагает, или нет. Ты прекрасно знаешь, что без тебя я не поеду.

Комаровский часто прикладывался к разведенному спирту, который принес из амбулатории и поставил на стол Юрий Андреевич, жевал картошку и постепенно хмелел.

## 2

Было уже поздно. Освобождаемый временами от нагара фитилек светильни с треском разгорался, ярко освещая комнату. Потом всё снова погружалось во мрак. Хозяевам хотелось спать и надо было поговорить наедине. А Комаровский всё не уходил. Его присутствие томило, как давил вид тяжелого дубового буфета и как угнетала ледяная декабрьская темнота за окном.

Он смотрел не на них, а куда-то вверх их голов, уставив пьяные округлившиеся глаза в эту далекую точку, и сонным заплетающимся языком молол и молол что-то нескончаемо скучное всё про одно и то же. Его коньком был теперь Дальний Восток. Об этом он и жевал свою жвачку, развивая Ларе и доктору свои соображения о политическом значении Монголии.

Юрий Андреевич и Лариса Федоровна не уследили, в каком месте разговора он на эту Монголию напал. То, что они прозевали, как он к ней перескочил, увеличивало докучность чуждой посторонней темы.

Комаровский говорил:

— Сибирь, это поистине Новая Америка, как ее называют, таит в себе богатейшие возможности. Это колыбель великого русского будущего, залог нашей демократизации, процветания, политического оздоровления. Еще более чревато манящими возможностями будущее Монголии, Внешней Монголии, нашей великой дальневосточной соседки. Что вы о ней знаете? Вы не стыдитесь зевать и без внимания хлопаете глазами, а между тем это поверхность в полтора миллиона квадратных верст, неизведанные ископаемые, страна в состоянии доисторической девственности, к которой тянутся жадные руки Китая, Японии и Америки, в ущерб нашим русским интересам, признаваемым всеми соперниками, при любом разделе сфер влияния в этом далеком уголке земного шара.

Китай извлекает пользу из феодально-теократической отсталости Монголии, влияя на ее лам и хутухт. Япония опирается на тамошних князей крепостников, по-монгольски — хошунов. Красная коммунистическая Россия находит союзника в лице хамджилса, иначе говоря, революционной ассоциации восставших пастухов Монголии. Что касается меня, я хотел бы видеть Монголию действительно благоденствующую, под управлением свободно избранного хурултая. Лично нас должно занимать следующее. Шаг через монгольскую границу, и мир у ваших ног, и вы — вольная птица.

Многословные умствования на назойливую, никакого отношения к ним не имеющую тему раздражали Ларису Федоровну. Доведенная скукой затянувшегося посещения до изнеможения, она решительно протянула Комаровскому руку для прощания и без обиняков, с нескрываемой неприязнью, сказала:



— Поздно. Вам пора уходить. Я хочу спать.

— Надеюсь, вы не будете так негостеприимны, и не выставите меня за дверь в такой час. Я не уверен, найду ли дорогу ночью в чужом неосвященном городе.

— Надо было раньше об этом думать и не засиживаться. Никто вас не удерживал.

— О, зачем вы говорите со мною так резко? Вы даже не спросили, располагаю ли я тут каким-нибудь пристанищем?

— Решительно неинтересно. Авось себя в обиду не дадите. Если же вы напрашиваетесь на ночевку, то в общей комнате, где мы спим вместе с Катенькой, я вас не положу. А в остальных с крысами не будет сладу.

— Я не боюсь их.

— Ну, как знаете.

## 3

— Что с тобою, ангел мой? Которую уже ночь ты не спишь, не дотрагиваешься за столом до пищи, весь день ходишь как шальная. И все думаешь, думаешь. Что преследует тебя? Нельзя давать такой воли тревожным мыслям.

— Опять был из больницы сторож Изот. У него тут в доме шуры-муры с прачкою. Вот он мимоходом и завернул, утешил. Страшный, говорит, секрет. Не миновать твоему темной. Так и ждите, не сегодня-завтра упекут. А следом и тебя, горемычную. Откуда, говорю, Изот, ты это взял? Уж ложись, будь покойна, говорит. Из полкана сказывали. Под полканом, как ты, может быть, догадываешься, надо в его парафразе понимать исполком.

Лариса Федоровна и доктор рассмеялись.

— Он совершенно прав. Опасность назрела и уже у порога. Надо немедленно исчезнуть. Вопрос только в том, куда именно. Пытаться уехать в Москву нечего и думать. Это слишком сдвоенные сборы, и они привлекут внимание. А надо шито-крыто, чтобы никто ничего не увидел. Знаешь что, моя радость? Пожалуй, воспользуемся твоей мыслью. На какое-то время нам надо провалиться сквозь землю. Пускай этим местом будет Варыкино. Уедем туда недели на две, на месяц.

— Спасибо, родной, спасибо. О как я рада. Я понимаю, как все в тебе должно быть против этого решения. Но речь ведь не о вашем доме. Жизнь в нем была бы для тебя действительно немислима. Вид опустелых комнат, укоры, сравнения. Разве я не понимаю? Строить счастье на чужом страдании, топтать то, что душе дорого и свято. Я никогда не приняла бы от тебя такой жертвы. Но дело не в этом. Ваш дом в таком разрушении, что едва ли можно было бы привести комнаты в жилое состояние. Я скорее имела в виду покинутое Микулицыньское жилище.

— Все это правда. Спасибо за чуткость. Но погоди минуту. Я все время хочу спросить и все забываю. Где Комаровский? Он еще тут или уже уехал? С моей ссоры с ним и после того, как я спустил его с лестницы, я больше ничего о нем не слышал.

— Я тоже ничего не знаю. А Бог с ним. На что он тебе?

— Я всё больше прихожу к мысли, что нам по разному надо было отнестись к его предложению. Мы не в одинаковом положении. На твоём попечении дочь. Даже если бы ты хотела разделить мою гибель, ты не вправе себе это позволить.

Но перейдем к Варыкину. Разумеется, забираться в эту одичалую глушь суровой зимой без запасов, без сил, без надежд — безумие из безумий. Но давай и безумствовать, сердце мое, если ничего, кроме безумства, нам не осталось. Унизимся еще раз. Выклянчим у Ан-

фима лошадь. Попросим у него, или даже не у него, а у состоящих под его начальством спекулянтов, муки и картошки в некий, никакою верою не оправдываемый долг. Уговорим его не сразу, не тотчас возмещать своим приездом оказанное нам благодеяние, а приехать только к концу, когда лошадь понадобится ему обратно. Побудем немного одни. Поедем, сердце мое. Сведем и спалим в неделю лесной косяк, которого хватило бы на целый год более совестливого хозяйничанья.

И еще и еще раз. Прости меня за прорывающееся в моих словах смятение. Как бы мне хотелось говорить с тобой без этого дурацкого пафоса! Но ведь у нас действительно нет выбора. Называй ее как хочешь, гибель действительно стучится в наши двери. Только считанные дни в нашем распоряжении. Воспользуемся же ими по своему. Потратим их на проводы жизни, на последнее свидание перед разлукою. Простимся со всем, что нам было дорого, с нашими привычными понятиями, с тем, как мы мечтали жить и чему нас учила совесть, простимся с надеждами, простимся друг с другом. Скажем еще раз друг другу наши ночные тайные слова, великие и тихие, как название азиатского океана. Ты недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный, запретный мой ангел, под небом войн и восстаний, ты когда-то под мирным небом детства так же поднялась у ее начала.

Ты тогда ночью, гимназисткой последних классов в форме кофейного цвета, в полутьме за номерной перегородкой, была совершенно тою же, как сейчас, и так же ошеломляюще хороша.

Часто потом в жизни я пробовал определить и назвать тот свет очарования, который ты заронила в меня тогда, тот постепенно тускнеющий луч и замирающий звук, которые с тех пор растеклись по всему моему существованию и стали ключом проникновения во всё остальное на свете, благодаря тебе.

Когда ты тенью в ученическом платье выступила из тьмы номерного углубления, я, мальчик, ничего о тебе не знавший, всей мукой отозвавшейся тебе силы понял: эта щупленькая, худенькая девочка заряжена, как электричеством, до предела, всей мыслимою женственностью на свете. Если подойти к ней близко или дотронуться до нее пальцем, искра озарит комнату и либо убьет на месте, либо на всю жизнь наэлектризует магнетически влекущейся, жалующейся тягой и печально. Я весь наполнился блуждающими слезами, весь внутренне сверкал и плакал. Мне было до смерти жалко себя, мальчика, и еще более жалко тебя, девочку. Всё мое существо удивлялось и спрашивало: если так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще большее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь.

Вот, наконец, я это высказал. От этого можно с ума сойти. И я весь в этом.

Лариса Федоровна лежала на краю кровати, одетая и недомогающая. Она свернулась калачиком и накрылась платком. Юрий Андреевич сидел на стуле рядом и говорил тихо, с большими перерывами. Иногда Лариса Федоровна приподнималась на локте, подпирала подбородок ладонью и, разинув рот, смотрела на Юрия Андреевича. Иногда прижималась к его плечу и, не замечая своих слез, плакала тихо и блаженно. Наконец она потянулась к нему, перевесившись за борт кровати, и радостно прошептала:

— Юрочка! Юрочка! Какой ты умный. Ты всё знаешь, обо всем догадываешься. Юрочка, ты моя крепость и прибежище и утверждение, да простит Господь мое кощунство. О как я счастлива! Едем, едем, дорогой мой. Там на месте я скажу тебе, что меня беспокоит.

Он решил, что она намекает на свои предположения о беременности, вероятно, мнимой, и сказал:

— Я знаю.

Они выехали из города утром серого зимнего дня. День был будничным. Люди шли по улицам по своим делам. Часто попадались знакомые. На бугристых перекрестках, у старых водоразборных будок вереницами стояли бесколодезные жительницы с отставленными в сторону ведрами и коромыслами, дожидаясь очереди за водою. Доктор сдерживал рвавшуюся вперед Самдевятковскую Савраску, желтовато-дымчатую курчавую вятку, которою он правил, осторожно объезжая толпившихся хозяек. Разогнавшиеся сани скатывались боком с горбатой, заплесканной водою и обледенелой мостовой и наезжали на тротуары, стучаясь санными отводами о фонари и тумбы.

На всем скаку нагнали шедшего по улице Самдевятова, пролетели мимо и не оглянулись, чтобы удостовериться, узнал ли он их и свою лошадь и не кричит ли чего-нибудь вдогонку. В другом месте таким же образом, не здороваясь, обогнали Комаровского, попутно установив, что он еще в Юрятине.

Глафира Тунцева прокричала через всю улицу с противоположного тротуара:

— А говорили, вы вчера уехали. Вот и верь после этого людям. За картошкой? — и, выразив рукою, что она не слышит ответа, она помахала ею вслед напусту.

Ради Симы попробовали задержаться на горке, в неудобном месте, где трудно было остановиться. Лошадь и без того всё время приходилось осаживать, туго натягивая возжи. Сима сверху донизу была обмотана двумя или тремя платками, придававшими окоченелость круглого полена ее фигуре. Прямыми негнушимися шагами она подошла к саням на середину мостовой и простилась, пожелав им счастливо доехать.

— Когда воротитесь, надо будет поговорить, Юрий Андреевич.

Наконец, выехали из города. Хотя Юрий Андреевич, бывало, ездил по этой дороге зимою, он преимущественно помнил ее в летнем виде и теперь не узнавал.

Мешки с провизией и остальную кладь засунули глубоко в сено, к переду саней, под головки, и там надежно приторочили. Юрий Андреевич правил, либо стоя на коленях на дне развалистых пошевней, по местному — кошовки, либо сидя боком на ребре кузова и свесив ноги в Самдевятковских валенках наружу.

После полудня, когда с зимней обманчивостью задолго до заката стало казаться, что день клонится к концу, Юрий Андреевич стал немилосердно нахлестывать Савраску. Она понеслась стрелою. Кошовка лодкою взлетала вверх и вниз, ныряя по неровностям разрезанной дороги. Катя и Лара были в шубах, сковывавших движения. На боковых наклонах и ухабах они вскрикивали и смеялись до колик, перекатываясь с одного края саней на другой и неповоротливыми кулями зарываясь в сено. Иногда доктор нарочно, для смеху, наезжал одним полозом на боковой снеговой бугор, переворачивал сани набок и, без всякого вреда для них, вываливал Лару и Катю в снег. Сам он, протащившись несколько шагов на возжах по дороге, останавливал Савраску, выравнивал и ставил сани на оба полоза и получал нахлобучку от Лары и Кати, которые отряхивались, садились в сани, смеялись и сердились.

— Я покажу вам место, где меня остановили партизаны, — пообещал им доктор, когда отъехали достаточно от города, но не мог сделать обещанного, потому что зимняя голизна лесов, мертвый покой и пустота кругом меняли местность до неузнаваемости. — Вот! — вскоре воскликнул он, по ошибке приняв первый дорожный столб Моро и Ветчинкина, стоявший в поле, за второй, в лесу, у которого его захватили. Когда же они промчались мимо этого второго, оставшегося на прежнем месте, в чаще у Сакминского распутия, столба нельзя было

распознать сквозь рябившую в глазах решетку густого инея, филигранно разделавшего лес под серебро с чернью. И столба не заметили.

В Варыкино влетели засветло и стали у старого Живаговского дома, так как по дороге он был первым, ближе Микулицынского. Ворвались в дом торопливо, как грабители,— скоро должно было стемнеть. Внутри было уже темно. Половины разрушений и мерзости Юрий Андреевич второпях не разглядел. Часть знакомой мебели была цела. В пустом Варыкине уже некому было доводить до конца начатое разрушение. Из домашнего имущества Юрий Андреевич ничего не обнаружил. Но его ведь не было при отъезде семьи, он не знал, что они взяли с собою, что оставили. Лара между тем говорила:

— Надо торопиться. Сейчас настанет ночь. некогда раздумывать. Если располагаться тут, то — лошадь в сарай, провизию в сени, а нам сюда, в эту комнату. Но я противница такого решения. Мы достаточно об этом говорили. Тебе, а значит и мне, будет тяжело. Что тут такое, ваша спальня? Нет, детская. Кроватька твоего сына. Для Кати будет мала. С другой стороны,— окна целы, стены и потолок без щелей. Кроме того, великолепная печь, я уже восхищалась ею в прошлый приезд. И если ты настаиваешь, чтобы все-таки тут, хотя я против этого, тогда я — шубу долой и мигом за дело. И первым делом за топку. Топить, топить и топить. Первые сутки день и ночь не переставая. Но что с тобою, мой милый. Ты ничего не отвечаешь.

— Сейчас. Ничего. Прости пожалуйста. Нет, знаешь, действительно посмотрим лучше у Микулицыных.

И они проехали дальше.

## 5

Дом Микулицыных был заперт на всячий замок, навешенный в уши дверного засова. Юрий Андреевич долго отбивал его и вырвал с мясом, вместе с оставшеюся на винтах отщепившейся древесиной. Как и в предшествующий дом, внутрь ввалились второпях, не раздеваясь, и в шубах, шапках и валенках прошли вглубь комнат.

В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на вещах в некоторых углах дома, например, в кабинете Аверкия Степановича. Тут кто-то жил, и совсем еще недавно. Но кто именно? Если хозяева или кто-нибудь один из них, то куда они девались и почему наружную дверь заперли не на врезанный в нее замок, а приделанный всячий? Кроме того, если бы это были хозяева и жили тут долго и постоянно, дом убран был бы весь сплошь, а не отдельными частями. Что-то говорило вторгшимся, что это не Микулицыны. В таком случае кто же? Доктора и Лару неизвестность не беспокоила. Они не стали ломать над этим голову. Мало ли было теперь брошенных жилищ с наполовину растащенной подвижностью? Мало укрытыхщихся преследуемых? «Какой-нибудь разыскиваемый белый офицер»,— единодушно решили они.— «Придет, уживемся, столкуемся».

И опять, как когда-то, Юрий Андреевич застыл, как вкопанный, на пороге кабинета, любуясь его поместительностью и удивляясь ширине и удобству рабочего стола у окна. И опять подумал, как располагает, наверное, и приохочивает такой строгий уют к терпеливой, плодотворной работе.

Среди служб во дворе у Микулицыных имелась вплотную к сараю пристроенная конюшня. Но она была на запоре, Юрий Андреевич не знал, в каком она состоянии. Чтобы не терять времени, он решил на первую ночь поставить лошадь в легко отворившийся незапертый сарай. Он распряг Савраску, и когда она остыла, напоил ее принесенною из колодца водою. Юрий Андреевич хотел задать ей сена со дна сарая, но оно стерлось под седоками в труху, и в корм лошади не годилось. По счастью, на широком, помещавшемся над сараем и конюшней сеновале нашлось достаточно сена вдоль стен и по углам.

Ночь проспали под шубами, не раздеваясь, блаженно, крепко и сладко, как спят дети после целого дня беготни и проказ.

## 6

Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра заглядываться на со-  
блзнительный стол у окна. У него так и чесались руки засесть за бу-  
магу. Но это право он облюбовал себе на вечер, когда Лара и Катень-  
ка лягут спать. А до тех пор, чтобы привести хотя две комнаты в по-  
рядок, дела было по уши.

В мечтах о вечерней работе он не задавался важными целями. Простая чернильная страсть, тяга к перу и письменным занятиям вла-  
дела им.

Ему хотелось помарать, построчить что-нибудь. На первых порах он удовлетворился бы припоминаньем и записью чего-нибудь старо-  
го, незаписанного, чтобы только размять застоявшиеся от бездействия  
и, в перерыве дремлющие, способности. А там, — надеялся он, — ему и  
Ларе удастся задержаться тут подольше и времени будет вволю при-  
няться за что-нибудь новое, значительное.

— Ты занят? Что ты делаешь?

— Топлю и топлю. А что?

— Корыто мне.

— Дров по такой топке здесь больше, чем на три дня не хватит. Надо наведаться в наш бывший Живаговский сарай. А ну как там есть еще? Если их осталось порядочно, я в несколько заездов перетащу их сюда. Займусь этим завтра. Ты просила корыто. Представь, попало где-то на глаза, а где, — из головы вон, ума не приложу.

— И у меня то же самое. Где-то видела и забыла. Верно где-ни-  
будь не на месте, оттого и забывается. Но Бог с ним. Имей в виду, я  
много воды грею для уборки. Оставшееся постираю кое-что для себя  
и Кати. Давай заодно и всё свое грязное. Вечером, когда уберемся и  
уясним ближайшиe виды, все перед сном помоемся.

— Сейчас соберу белье. Спасибо. Шкафы и тяжести везде от стен  
отодвинуты, как ты просила.

— Хорошо. Вместо корыта прополощу в посудной лохани. Толь-  
ко очень сальная. Надо отмыть жир со стенок.

— Как печка протопится, закрою и вернусь к разборке остальных  
ящичков. Что ни шаг, то новые находки в столе и комодe. Мыло, спич-  
ки, карандаши, бумага, письменные принадлежности. И открыто на  
виду такие же неожиданные. Например, лампа на столе, налитая ке-  
росином. Это не Микулицынского, я ведь знаю. Это из какого-то дру-  
гого источника.

— Удивительная удача! Это всё он, жилец таинственный. Как  
из Жюль Верна. Ах, ну что ты скажешь в самом деле! Опять мы за-  
болтались и точим лясы, а у меня бак перекипает.

Они суетились, бросаясь туда и сюда по комнатам, с несвободны-  
ми, занятыми руками, и набегу натыкались друг на друга или налета-  
ли на Катеньку, которая торчала поперек дороги и вертелась под нога-  
ми. Девочка слонялась из угла в угол, мешая уборке и дулась в ответ  
на замечания. Она зябла, и жаловалась на холод.

«Бедные современные дети, жертвы нашей цыганщины, маленькие  
безропотные участники наших скитаний», — думал доктор, а сам гово-  
рил девочке:

— Ну, извини, милая. Нечего ежиться. Вранье и капризы. Печка  
раскалена докрасна.

— Печке, может быть, тепло, а мне холодно.

— Тогда потерпи, Катюша. Вечером я вытоплю ее жарко-прежар-  
ко во второй раз, а мама говорит, к тому же искупает еще тебя, ты  
слышала? А пока на вот, лови. — И он валил в кучу на пол старые Ли-

вериевы игрушки из выхоложенной кладовой, целые и поломанные, кирпичики и кубики, вагоны и паровозы, и разграфленные на клетки, разрисованные и размеченные цифрами куски картона к играм с фишками и игральными костями.

— Ну, что вы, Юрий Андреевич,— как взрослая, обижалась Катенька.— Это всё чужое. И для маленьких. А я большая.

А через минуту она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под ее руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенной из города кукле Нинке жилище куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым ее таскали.

— Какой инстинкт домовитости, неистребимое влечение к гнезду и порядку! — говорила Лариса Федоровна, из кухни наблюдая игру дочери.— Дети искренни без стеснения и не стыдятся правды, а мы из боязни показаться отсталыми готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному.

— Нашлось корыто,— входя с ним из темных сеней, прерывал доктор.— Действительно не на месте было. На полу под протекавшим потолком, с осени, видно, стояло.

## 7

На обед, изготовленный впрок на три дня из свежесначатых запасов, Лариса Федоровна подала вещи небывалые, картофельный суп и жареную баранину с картошкой. Разлакомившаяся Катенька не могла накушаться, заливалась смехом и шалила, а потом, наевшись и разомлев от тепла, укрылась маминым пледом и сладко уснула на диване.

Лариса Федоровна, прямо от плиты, усталая, потная, полусонная, как дочь, и удовлетворенная впечатлением, произведенным ее стряпнею, не торопилась убирать со стола и присела отдохнуть. Убедившись, что девочка спит, она говорила, навалившись грудью на стол и подперши голову рукою:

— Я бы сил не щадила и в этом находила бы счастье, только бы знать, что это не попусту и ведет к какой-то цели. Ты мне должен ежеминутно напоминать, что мы тут для того, чтобы быть вместе. Подбадривай меня и не давай опомниться. Потому что, строго говоря, если взглянуть трезво, чем мы заняты, что у нас происходит? Налет на чужое жилище, вломились, распоряжаемся и все время подхлестываем себя спешкой, чтобы не видеть, что это не жизнь, а театральная постановка, не всерьез, а «нарочно», как говорят дети, кукольная комедия, курам на смех.

— Но, мой ангел, ты ведь сама настаивала на этой поездке. Вспомни, как я долго противился и не соглашался.

— Верно. Не спорю. Но вот я уже и провинилась. Тебе можно колебаться, задумываться, а у меня всё должно быть последовательно и логично. Мы вошли в дом, ты увидел детскую кроватку сына и тебе стало дурно, ты чуть не упал в обморок от боли. У тебя на это есть право, а мне это не позволено, страх за Катеньку, мысли о будущем должны отступать перед моею любовью к тебе.

— Ларуша, ангел мой, приди в себя. Одуматься, отступить от решения никогда не поздно. Я первый советовал тебе отнестись к словам Комаровского серьезней. У нас есть лошадь. Хочешь завтра слетаем в Юрятин. Комаровский еще там, не уехал. Ведь мы его видели с саней на улице, причем он нас, по-моему, не заметил. Мы его наверное еще застанем.

— Я почти ничего еще не сказала, а у тебя уже недовольные нотки в голосе. Но скажи, разве я не права? Прятаться так ненадежно, наобум, можно было и в Юрятине. А если уже искать спасения, то

надо было наверняка, с продуманным планом, как, в конце концов, предлагал этот сведущий и трезвый, хотя и противный, человек. Ведь здесь мы, я просто не знаю, насколько ближе к опасности, чем где бы то ни было. Беспредельная, вихрям открытая равнина. И мы одни как перст. Нас за ночь снегом занесет, к утру не откапаемся. Или наш таинственный благодетель, навещающий в дом, нагрет, окажется разбойником, и нас зарежет. Есть ли у тебя хотя оружие? Нет, вот видишь. Меня страшит твоя беспечность, которою ты меня заражаешь. От нее у меня шумятица в мыслях.

— Но что ты в таком случае хочешь? Что прикажешь мне делать?

— Я и сама не знаю, как тебе ответить. Держи меня все время в подчинении. Беспреданно напоминай мне, что я твоя слепо тебя любящая, не рассуждающая раба. О, я скажу тебе. Наши близкие, твои и мои, в тысячу раз лучше нас. Но разве в этом дело? Дар любви, как всякий другой дар. Он может быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего существа, всё доставляет радость, всё стало душою. Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукротенное, недозволенное. Это своевольная, — разрушительная стихия, враждебная покою в доме. Мой долг бояться и не доверять ей.

Она обвивала ему шею руками и, борясь со слезами, заканчивала:

— Понимаешь, мы в разном положении. Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности.

Ему страшно нравилось все, что она говорила, но он не показывал этого, чтобы не впасть в приторность. Сдерживаясь, он замечал:

— Бивуачность нашего жилья действительно фальшива и взвинченна. Ты глубоко права. Но не мы ее придумали. Угорелое метание — участь всех, это в духе времени.

Я сам с утра думал сегодня приблизительно о том же. Я хотел бы приложить всё старание, чтобы остаться тут подольше. Не могу сказать, как я соскучился по работе. Я имею в виду не сельскохозяйственную. Мы однажды тут всем домом вложили себя в нее, и она удалась. Но я был бы не в силах повторить это еще раз. У меня не то на уме.

Жизнь со всех сторон постепенно упорядочивается. Может быть когда-нибудь снова будут издавать книги.

Вот о чем я раздумывал. Нельзя ли было бы сговориться с Сам-девятовым, на выгодных для него условиях, чтобы он полгода продержал нас на своих хлебах, под залог труда, который я обязался бы написать тем временем, руководства по медицине, предположим, или чего-нибудь художественного, книги стихотворений, к примеру. Или, скажем, я взялся бы перевести с иностранного что-нибудь прославленное, мировое. Языки я знаю хорошо, я недавно прочел объявление большого петербургского издательства, занимающегося выпуском одних переводных произведений. Работы такого рода будут, наверное, представлять меновую ценность, обратимую в деньги. Я был бы счастлив заняться чем-нибудь в этом роде.

— Спасибо, что ты мне напомнил. Я тоже сегодня думала о чем-то подобном. Но у меня нет веры, что мы тут продержимся. Наоборот, я предчувствую, что нас унесет скоро куда-то дальше. Но пока в нашем распоряжении эта остановка, у меня есть к тебе просьба. Пожертвуй мне несколько часов в ближайшие ночи и запиши, пожалуйста, все из того, что ты читал мне в разное время на память. Половина этого растеряна, а другая не записана, и я боюсь, что потом ты всё забудешь и оно пропадет, как, по твоим словам, с тобой уже часто случалось.

К концу дня все помылись горячею водой, в избытке оставшейся от стирки. Лара выкупала Катеньку. Юрий Андреевич с блаженным чувством чистоты сидел за оконным столом спиной к комнате, в которой Лара, благоухающая, запахнутая в купальный халат, с мокрыми, замотанными мохнатым полотенцем в тюрбан волосами, укладывала Катеньку и устраивалась на ночь. Весь уйдя в предвкушение скорой сосредоточенности, Юрий Андреевич воспринимал всё совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания.

Был час ночи, когда, притворявшаяся до тех пор, будто спит, Лара действительно уснула. Смененное на ней, на Катеньке и на постели белье сияло, чистое, гладкое, кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким-то образом его крахмалить.

Юрия Андреевича окружала блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью, тишина. Свет лампы спокойной желтизною падал на белые листы бумаги и золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание.

Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее определившиеся и памятные, «Рождественскую звезду», «Зимнюю ночь» и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом никем не найденных.

Потом от вещей отстоявшихся и законченных перешел к когда-то начатым и брошенным, вошел в их тон и стал набрасывать их продолжение, без малейшей надежды их сейчас дописать. Потом разошелся, увлекся и перешел к новому.

После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких, его самого поразивших сравнений, работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина иместилице красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных.

В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение.

Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом.

Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных по-



душках. Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну, заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования.

«Господи! Господи!» — готов был шептать он. — «И все это мне! За что мне так много? Как подпустил ты меня к себе, как дал забрести на эту бесценную твою землю, под эти твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной?»

Было три часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из отрешенной сосредоточенности, в которую он ушел с головой, он возвращался к себе, к действительности, счастливый, сильный, спокойный. Вдруг в безмолвии далеких пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный, печальный звук.

Он прошел в соседнюю неосвещенную комнату, чтобы из нее посмотреть в окно. За те часы, что он провел за писанием, стекла успели сильно заиндеветь, через них нельзя было ничего разглядеть. Юрий Андреевич оттащил скатанный ковер, которым заложен был низ выходной двери, чтобы из-под нее не дуло, накинул на плечи шубу и вышел на крыльцо.

Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное утробно-скулящее завывание и тогда заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутые тени, размером не больше маленькой черточки.

Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому и подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна Микулицынского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они пособачьи, опустив зады, затрусили прочь с поляны, точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись.

«Неприятная новость!» — подумал он. — «Только их недоставало. Неужели где-то под боком, совсем близко, их лежка? Может быть, даже в овраге. Как страшно! И на беду еще эта Савраска Самдевятковская в конюшне. Лошадь, наверное, они и почуяли».

Он решил до поры до времени ничего не говорить Ларе, чтобы не пугать ее, вошел внутрь, запер наружную дверь, притворил промежуточные, ведшие с холодной половины на теплую, заткнул их щели и отверстия, и подошел к столу.

Лампа горела ярко и приветливо, по-прежнему. Но больше ему не писалось. Он не мог успокоиться. Ничего, кроме волков и других грозящих осложнений, не шло в голову. Да и устал он. В это время проснулась Лара.

— А ты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая! — влажным, заложненным от спанья шопотом тихо сказала она. — На минутку сядь поближе, рядышком. Я расскажу тебе, какой сон видела.

И он потушил лампу.

Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскивались детские салазки. Раскрасневшаяся Катенька в шубке, громко смеясь, скатывалась на незаметенные дорожки палисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водою. Она без конца, с застывшей на лице улыбочкой, взбиралась назад на горку и втаскивала вверх санки за веревочку.

Морозило, мороз заметно крепчал. На дворе было солнечно. Снег желтел под лучами полдня и в его медовую желтизну сладким осадком вливалась апельсиновая гуща рано наступавшего вечера.

Вчерашнюю стиркой и купаньем Лара напустила в дом сырости. Окна затянуло рыхлым инеем, отсыревшие от пара обои с потолка до полу покрылись черными струистыми отеками. В комнатах стало темно и неуютно. Юрий Андреевич носил дрова и воду, продолжая недовершенный осмотр дома со всё время непрекращающимися открытиями, и помогал Ларе, с утра занятой беспрестанно возникавшими перед ней домашними делами.

Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались и оставались одна в другой, поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели, и приступ туманящей непобедимой нежности обезоруживал их. Снова все валилось у них из рук и вылетало из головы. Опять шли минуты и слагались в часы и становилось поздно, и оба с ужасом спохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке, или о некормленной и непоеной лошади, и сломая голову бросались наверстывать и исправлять упущенное и мучились угрызениями совести.

У доктора от недосыпу ломило голову. Сладкий туман, как с похмелья, стоял в ней и ноющая, блаженная слабость во всем теле. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы вернуться к прерванной ночной работе.

Предварительную половину дела совершала за него та сонная дымка, которою был полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная расплывчатость, которую она всему придавала, шла в направлении, предшествующем точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков, томящая праздность целого дня служила трудовой ночи необходимой подготовкой.

Безделье усталости ничего не оставляло нетронутым, непретворенным. Все претерпевало изменения и принимало другой вид.

Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном водворении в Варькине не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, что он ее неминуемо потеряет, а вслед за ней и побуждение к жизни, а может быть и жизнь. Тоска сосала его сердце. Но еще больше томило его ожидание вечера, и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий.

Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луною, но стали темой о волках, стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора и Лару или выжить их из Варькина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в Шутьме открылись следы допотопного страшилища и в овраге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущий Лары дракон.

Наступил вечер. По примеру вчерашнего доктор засветил на столе лампу. Лара с Катенькой легли спать раньше, чем накануне.

Написанное ночью распадалось на два разряда. Знакомое, перебеленное в новых видоизменениях было записано чисто, каллиграфически. Новое было набросано сокращенно, с точками, неразборчивыми каракулями.

Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарование. Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь как раз эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко выступающими натяжками.

Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала.

Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою.

Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает содержательной завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки. Постепенно перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той же лирической манере излагать легенду о Егории Храбром. Он начал с широкого, предоставляющего большую простор, пятистопника. Независимое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие раздражало его своей казенной фальшивою певучестью. Он бросил напыщенный размер с цезурой, стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе с многословием. Писать стало труднее и заманчивее. Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся, узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи, Юрий Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной то-ропливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и впопад.

Он не заметил, как встала с постели и подошла к столу Лара. Она казалась тонкой и худенькой и выше, чем на самом деле, в своей длинной ночной рубашке до пят. Юрий Андреевич вздрогнул от неожиданности, когда она выросла рядом, бледная, испуганная и, вытянув руку вперед, шопотом спросила:

— Слышишь? Собака воет. Даже две. Ах как страшно, какая дурная примета! Как-нибудь дотерпим до утра, и едем, едем. Ни минуты тут дольше не останусь.

Через час, после долгих уговоров, Лариса Федоровна успокоилась и снова уснула. Юрий Андреевич вышел на крыльцо. Волки были ближе, чем прошлую ночь, и скрылись еще скорее. И опять Юрий Андреевич не успел уследить, в какую сторону они ушли. Они стояли кучей, он не успел их сосчитать. Ему показалось, что их стало больше.

## 10

Наступил тринадцатый день их обитания в Варыкине, не отличавшийся обстоятельствами от первых. Так же накануне были волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Федоровна так же положила уехать на другое утро, напуганная дурной приметой. Так же чередовались у нее состояния равновесия с приступами тоскливого беспокойства, естественного у трудолюбивой женщины, не привыкшей к целодневным излипаниям души и праздной, непозволительной роскоши неумеренных нежностей.

Всё повторялось в точности, так что когда в это утро на второй неделе Лариса Федоровна опять, как столько раз перед этим, стала собираться в обратную дорогу, можно было подумать, что прожитых в перерыве полутора недель как не бывало.

Опять было сыро в комнатах, в которых было темно вследствие хмурости серого пасмурного дня. Мороз смягчился, с темного неба, покрытого низкими тучами, с минуты на минуту должен был повалить снег. Душевная и телесная усталость от затяжного недосыпа-

ния подкашивала Юрия Андреевича. Мысли путались у него, силы были подорваны, он ощущал сильную зябкость от слабости и, ежась и потирая руки от холода, ходил по нетопленной комнате, не зная, что решит Лариса Федоровна и за что, соответственно ее решению, ему надо будет приняться.

Ее намерения были неясны. Сейчас она полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не были так хаотически свободны, а вынужденно подчинялись какому угодно строгому, но раз навсегда заведенному порядку, чтобы они ходили на службу, чтобы у них были обязанности, чтобы можно было жить разумно и честно.

Она начала день, как обычно, оправила постели, убрала и подмела комнаты, подала завтракать доктору и Кате. Потом стала укладываться и попросила доктора заложить лошаадь. Решение уехать было принято ею твердо и неуклонно.

Юрий Андреевич не пробовал ее отговаривать. Возвращение их в город в разгар тамошних арестов после их недавнего исчезновения было совершенным безрассудством. Но едва ли разумнее было отсиживаться одним без оружия среди этой, полной своих собственных угроз, страшной зимней пустыни.

Кроме того, последние охапки сена, которые доктор сгребал по соседним сараям, подходили к концу, а новых не предвиделось. Конечно, будь возможность водвориться тут попрочнее, доктор объездил бы окрестности и позаботился о пополнении фуражных и продовольственных запасов. Но для короткого и гадательного пребывания не стоило пускаться на такие разведки. И махнув на всё рукой, доктор пошел запрягать.

Он запрягал неумело. Его этому учил Самдевятков. Юрий Андреевич забывал его наставления. Неопытными руками он сделал однако всё что нужно. Наборный кованный кончик ремня, которым он прикрутил дугу к оглоблям, он затянул узлом на одной из оглобель, намотав его в несколько оборотов на ее конец, потом, упершись ногой в бок лошади, туго стянул расходящиеся клешни хомута, после чего, доделав все остальное, подвел лошаадь к крыльцу, привязал ее к нему и пошел сказать Ларе, что можно собираться.

Он застал ее в крайнем замешательстве. Она и Катенька были одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна ломала руки и, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту, бросалась в кресло и вставала, и часто прерывая себя восклицанием «Не правда ли?» на высокой, певучей и жалующейся ноте, говорила быстро-быстро, бессвязно скороговоркой:

— Я не виновата. Я сама не знаю, как это получилось. Но разве можно сейчас ехать? Скоро стемнеет. Ночь застанет нас в дороге. И как раз в твоём страшном лесу. Не правда ли? Я поступаю, как ты прикажешь, но сама, собственно волей, не решусь. Что-то удерживает меня. У меня сердце не на месте. А ты как знаешь. Не правда ли? Что же ты молчишь и не скажешь ни слова? Мы протозейничали целое утро, неизвестно на что потратили половину дня. Завтра это больше не повторится, мы будем поосторожнее, не правда ли? Может быть, остаться еще на сутки? Встанем завтра пораньше, снимемся чуть свет, часов в семь или шесть утра. Как ты думаешь? Ты затопишь печку, попишешь здесь один лишний вечер, переночуем здесь еще одну ночь. Ах это было бы так неповторимо, волшебно! Что же ты ничего не отвечаешь? Опять я в чем-то виновата, несчастная!

— Ты преувеличиваешь. До сумерек еще далеко. Еще совсем рано. Но будь по-твоему. Хорошо. Останемся. Только успокойся. Смотри, как ты возбуждена. Действительно, разложимся, снимем шубы. Вот Катенька говорит, что проголодалась. Закусим. Твоя правда, нынешний отъезд был бы слишком неподготовленным, внезапным. Только не волнуйся и не плачь, ради Бога. Сейчас я затоплю. Но перед тем, благо лошаадь запряжена и сани у крыльца, съезжу за пос-

ледными дровами к бывшему Живаговскому сараю, а то у меня тут больше ни полена. А ты не плачь. Я скоро вернусь.

## 11

На снегу перед сараем в несколько кругов шли санные следы прежних заездов и заворотов Юрия Андреевича. Снег у порога был затоптан и замусорен позавчерашнею таскою дров.

Облака, заволакивавшие небо с утра, разошлись. Оно очистилось. Подморозило. Варыкинский парк, на разных расстояниях окружавший эти места, близко подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в лицо доктора и что-то ему напомнить. Снег в эту зиму лежал глубоким слоем, выше порога сарая. Его дверная притолока как бы опустилась, сарай точно сторбился. С его крыши почти на голову доктору шапкой исполинского гриба свисал пласт наметенного снега. Прямо над свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел серым жаром по серпяному вырезу молодой, только что народившийся полумесяц.

Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально. И молодой месяц предвестием разлуки, образом одиночества почти на уровне его лица горел перед ним.

Усталость валила с ног Юрия Андреевича. Швыряя дрова через порог сарая в сани, он забирал меньше поленьев за один раз, чем обыкновенно. Браться на холоде за обледенелые плахи с приставшим снегом даже сквозь рукавицы было больно. Ускоренная подвижность не разогревала его. Что-то остановилось внутри его и порвалось. Он клял на чем свет стоит бесталанную свою судьбу и молил Бога сохранить и уберечь жизнь красоты этой писаной, грустной, покорной, простодушной. А месяц всё стоял над сараем и горел и не грел, светился и не освещал.

Вдруг лошадь, повернувшись в том направлении, откуда ее привели, подняла голову и заржала сначала тихо и робко, а потом громко и уверенно.

«Чего это она?» — подумал доктор. «С какой это радости? Не может быть, чтобы со страху. Со страху кони не ржут, какие глупости. Дура она что ли голосом волкам знак подавать, если это она их почувяла. И как весело. Это видно в предвкушении дома, домой захотелось. Погоди, сейчас тронем».

В придачу к наложенным дровам Юрий Андреевич набрал в сарае щепы и крупной, сапожным голенищем выгнутой, целиком с полена отвалившейся бересты для растопки, перехватил покрытую рогожей дровяную кучу веревкой и, шагая рядом с саними, повез дрова в сарай к Микулицыным.

Опять лошадь заржала, в ответ на явственное конское ржание где-то вдали, в другой стороне. «У кого бы это? — встрепенувшись, подумал доктор. — Мы считали, что Варыкино пусто. Значит, мы ошибались». Ему в голову не могло прийти, что у них гости, и что ржание коня доносится со стороны Микулицынского крыльца, из сада. Он вел Савраску обходом, задами, к службам заводских усадеб, и за буграми, скрывавшими дом, не видел его передней части.

Не спеша (зачем ему было торопиться?), побросал он дрова в сарай, выпряг лошадь, сани оставил в сарае, а лошадь отвел в пустующую рядом выхоложенную конюшню. Он поставил ее в правый угловой станок, где меньше продувало, и принеся из сарая несколько охапок оставшегося сена, навалил его в наклонную решетку яслей.

С беспокойной душою шел он к дому. У крыльца стоял запряженный в очень широкие крестьянские сани с удобным кузовом, рас-

кормленный вороной жеребец. Вокруг коня похаживал, похлопывая его по бокам и осматривая щетки его ног, такой же гладкий и сытый, как он, незнакомый малый в хорошей поддевке.

В доме слышался шум. Не желая подслушивать и не будучи в состоянии что-нибудь услышать, Юрий Андреевич невольно замедлил шаг и остановился как вкопанный. Не разбирая слов, он узнавал голоса Комаровского, Лары и Катеньки. Вероятно, они были в первой комнате, у выхода. Комаровский спорил с Ларою, и, судя по звуку ее ответов, она волновалась, плакала и то резко возражала ему, то с ним соглашалась. По какому-то неопределимому признаку Юрий Андреевич вообразил, что Комаровский завел в эту минуту речь именно о нем, предположительно в том духе, что он человек ненадежный («слуга двух господ» — почудилось Юрию Андреевичу), что неизвестно, кто ему дороже, семья или Лара, и что Ларе нельзя на него положиться, потому что доверившись доктору, она «погонится за двумя зайцами и останется между двух стульев». Юрий Андреевич вошел в дом.

В первой комнате, действительно, в шубе до полу стоял, не раздеваясь Комаровский. Лара держала Катеньку за верхние края шубки, стараясь стянуть ворот и не попадая крючком в петлю. Она сердилась на девочку, крича, чтобы дочь не вертелась и не вырывалась, а Катенька жаловалась: «Мамочка, тише, ты меня задушишь». Все стояли одетые, готовые к выезду. Когда вошел Юрий Андреевич, Лара и Виктор Ипполитович наперерыв бросились к нему навстречу.

— Где ты пропадал? Ты нам так нужен!

— Здравствуйте, Юрий Андреевич! Несмотря на грубости, которые мы наговорили в последний раз друг другу, я снова, как видите, к вам без приглашения.

— Здравствуйте, Виктор Ипполитович.

— Куда ты пропал так надолго? Выслушай, что он скажет, и скорей решай за себя и меня. Времени нет. Надо торопиться.

— Что же мы стоим? Садитесь, Виктор Ипполитович. Как куда я пропал, Ларочка? Ты ведь знаешь, я за дровами ездил, а потом о лошади позаботился. Виктор Ипполитович, прошу вас, садитесь.

— Ты не поражен? Отчего ты не выказываешь удивления? Мы жалели, что этот человек уехал и что мы не ухватились за его предложения, а он тут перед тобой и ты не удивляешься. Но еще поразительнее его свежие новости. Расскажите их ему, Виктор Ипполитович.

— Я не знаю, что разумеет Лариса Федоровна, а в свою очередь скажу следующее. Я нарочно распространил слух, что уехал, а сам остался еще на несколько дней, чтобы дать вам и Ларисе Федоровне время по-новому передумать затронутые нами вопросы, и по зрелом размышлении прийти, может быть, к менее опрочетчивому решению.

— Но дальше откладывать нельзя. Сейчас для отъезда самое удобное время. Завтра утром,— но лучше пусть Виктор Ипполитович сам расскажет тебе.

— Минуту, Ларочка. Простите, Виктор Ипполитович. Почему мы стоим в шубах? Разденемся и присядем. Разговор-то ведь серьезный. Нельзя так с бухты-барухты. Извините, Виктор Ипполитович. Наши препирательства затрагивают некоторые душевные тонкости. Разбирать эти предметы смешно и неудобно. Я никогда не помышлял о поездке с вами. Другое дело Лариса Федоровна. В тех редких случаях, когда наши беспокойства бывали отделимы одно от другого, и мы вспоминали, что мы не одно существо, а два, с двумя отдельными судьбами, я считал, что Ларе надо, особенно ради Кати, внимательнее задуматься о ваших планах. Да она не переставая это и делает, возвращаясь вновь и вновь к этим возможностям.

— Но только при условии, если бы ты поехал.

— Нам одинаково трудно представить себе наше разъединение, но, может быть, надо пересилить себя и принести эту жертву. Потому что о моей поездке не может быть и речи.

— Но ведь ты еще ничего не знаешь. Сначала выслушай. Завтра утром... Виктор Ипполитович!

— Видно, Лариса Федоровна имеет в виду сведения, которые я привез и уже сообщил ей. На путях в Юрятине стоит под парами служебный поезд Дальневосточного правительства. Вчера он прибыл из Москвы и завтра отправляется дальше. Это поезд нашего министерства путей сообщения. Он наполовину состоит из международных спальных вагонов.

Я должен ехать в этом поезде. Мне предоставлены места для лиц, приглашенных в мою рабочую коллегию. Мы покатали бы со всем комфортом. Такой случай больше не представится. Я знаю, вы слов на ветер не бросаете и отказа поехать с нами не отмените. Вы человек твердых решений, я знаю. Но все же. Сломите себя ради Ларисы Федоровны. Вы слышали, без вас она не поедет. Поедмте с нами, если не во Владивосток, то хотя бы в Юрятин. А там увидим. Но в таком случае надо торопиться. Нельзя терять ни минуты. Со мною человек, я плохо правлю. Впятером с ним нам в моих розвальнях не уместиться. Если не ошибаюсь, Самдевятковская лошадь у вас. Вы говорили, что ездили на ней за дровами. Она еще не разложена?

— Нет, я распряг ее.

— Тогда запрягите поскорее снова. Мой кучер вам поможет. Впрочем, знаете. Ну их к чорту, вторые сани. Как-нибудь доедем на моих. Только ради Бога скорее. В дорогу с собой самое необходимое, что под руку попадет. Дом пусть остается как есть, незапертым. Надо спасти жизнь ребенка, а не ключи к замкам подбирать.

— Я не понимаю вас, Виктор Ипполитович. Вы так разговариваете, точно я согласился поехать. Поезжайте с Богом, если Лара так хочет. А о доме не беспокойтесь. Я останусь, и после вашего отъезда уберу и запру его.

— Что ты говоришь, Юра? К чему этот заведомый вздор, в который ты сам не веришь. «Если Лариса Федоровна решила». И сам прекрасно знает, что без его участия в поездке Ларисы Федоровны и в заводе нет и никаких ее решений. Тогда к чему эта фраза: «А дом я уберу и обо всем позабочусь»?

— Значит, вы неумолимы. Тогда другая просьба. С разрешения Ларисы Федоровны мне вас на два слова и, если можно, с глазу на глаз.

— Хорошо. Если это так нужно, пойдемте на кухню. Ты не возражаешь, Ларуша?

## 12

— Стрельников схвачен, приговорен к высшей мере и приговор приведен в исполнение.

— Какой ужас. Неужели правда?

— Так я слышал. Я в этом уверен.

— Не говорите Ларе. Она с ума сойдет.

— Еще бы. Для этого я и позвал вас в другую комнату. После этого расстрела она и дочь в близкой непосредственно придвинувшейся опасности. Помогите мне спасти их. Вы наотрез отказываетесь сопутствовать нам?

— Я ведь сказал вам. Конечно.

— Но без вас она не уедет. Просто не знаю, что делать. Тогда от вас требуется другая помощь. Изобразите на словах, обманно, готовность уступить, сделайте вид, будто вас можно уговорить. Я не представляю себе вашего прощания. Ни здесь, на месте, ни на вокзале, в Юрятине, если бы вы действительно поехали нас провожать.

Надо добиться, чтобы она поверила, что вы тоже едете. Если не сейчас, вместе с нами, то спустя некоторое время, когда я представлю вам новую возможность, которую вы пообещаете воспользоваться. Тут вы должны быть способны дать ей ложную клятву. Но с моей стороны это не пустые слова. Честью вас заверяю, при первом выраженном вами желании я берусь в любое время доставить вас отсюда к нам и переправить дальше, куда бы вы ни пожелали. Лариса Федоровна должна быть уверена, что вы нас провожаете. Удостоверьте ее в этом со всею силой убедительности. Скажем, притворно побегите запрягать лошадей, и уговорите нас трогаться немедленно, не дожидаясь, пока вы ее заложите и следом нагоните нас в дороге.

— Я потрясен известием о расстреле Павла Павловича и не могу прийти в себя. Я с трудом слежу за вашими словами. Но я с вами согласен. После расправы со Стрельниковым по нашей нынешней логике жизнь Ларисы Федоровны и Кати тоже под угрозой. Кого-то из нас наверняка лишат свободы, и, следовательно, так или иначе все равно разлучат. Тогда, правда, лучше разлучите вы нас и увезите их куда-нибудь подальше, на край света. Сейчас, когда я говорю вам это, все равно дела идут уже по-вашему. Наверное, мне станет невмоготу, и поступившись гордостью и самолюбием, я покорно приползу к вам, чтобы получить из ваших рук и ее, и жизнь, и морской путь к своим и собственное спасение. Но дайте мне во всем этом разобраться. Сообщенная вами новость ошеломила меня. Я раздавлен страданием, которое отнимает у меня способность думать и рассуждать. Может быть, покоряясь вам, я совершаю роковую, непоправимую ошибку, которой буду ужасаться всю жизнь, но в тумане обессиливающей меня боли единственное, что я могу сейчас, это машинально поддакивать вам и слепо, безвольно вам повиноваться. Итак я для вида, ради ее блага, объявляю ей сейчас, что иду запрягать лошадей и догоню вас, а сам останусь тут один. Одна только мелочь. Как вы теперь поедете, на ночь глядя? Дорога лесом, кругом волки, берегитесь.

— Я знаю. Со мной ружье и револьвер. Не беспокойтесь. Да кстати и спиртику малость прихватил, на случай мороза. Достаточное количество. Поделюсь, хотите?

## 13

«Что я наделал? Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил. Броситься бегом вдогонку, догнать, вернуть. Лара! Лара!

Не слышат. Ветер в обратную сторону. И, наверное, громко разговаривают. У нее все основания быть веселой, спокойной. Она далась в обман и не подозревает, в каком она заблуждении.

Вот ее вероятные мысли. Она думает. Все сложилось как нельзя лучше, по ее желанию. Ее Юрочка, фантазер и упрямец, наконец, смягчился, слава Создателю, и отправляется вместе с ней куда-то в верное место, к людям поумнее их, под защиту законности и порядка. Если даже, чтобы настоять на своем и выдержать характер, он покобенится и не сядет завтра в их поезд, то Виктор Ипполитович пришлет за ним другой, он к ним подъедет в самом непродолжительном времени.

А сейчас он, конечно, уже на конюшне, дрожащими от волнения и спешки, путающимися, не слушающимися руками запрягает Савраску и немедленно во весь дух пустится нахлестывать следом, так что нагонит их еще в поле, до въезда в лес».

Вот как, наверное, она думает. А они даже и не простились толком, только Юрий Андреевич рукой махнул и отвернулся, стараясь сглотнуть колом в горле ставшую боль, точно он подавился куском яблока.

Доктор в накинутаой на одно плечо шубе стоял на крыльце.



Свободною, не покрытой шубою рукой он под самым потолком сжимал с такой силою шейку точеного крылечного столбика, точно душил его. Всем своим сознанием он был прикован к далекой точке в пространстве. Там, на некотором протяжении, небольшой кусок подымавшегося в гору пути открывался между несколькими, отдельно росшими березами. В это открытое место падал в данное мгновение свет низкого, готового к заходу, солнца. Туда, в полосу этого освещения должны были с минуты на минуту вынестись разогнавшиеся сани из неглубокой ложбины, куда они ненадолго занырнули.

— Прощай, прощай,— предваряя эту минуту, беззвучно-беспмятно твердил доктор, выталкивая из груди эти чуть дышащие звуки в вечеревший морозный воздух.— Прощай, единственно любимая, навсегда утраченная!

— Едут! Едут!— стремительно сухо зашептал он побелевшими губами, когда сани стрелой вылетели снизу, минуя березы одну за другою, и стали сдерживать ход и, о радость, остановились у последней.

О как забилось его сердце, о как забилось его сердце, ноги подкосились у него, он от волнения стал весь мягкий, войлочный, как сползающая с плеча шуба! «О Боже, Ты, кажется, положил вернуть ее мне? Что там случилось? Что там делается, на далекой закатной этой черте? Где объяснение? Зачем стоят они? Нет. Пропало. Взяли. Понеслись. Это она верно попросила стать на минуту, чтобы еще раз взглянуть на прощание на дом. Или может быть, ей захотелось удостовериться, не выехал ли уже Юрий Андреевич и не мчится ли за ними вдогонку? Уехали. Уехали.

Если успеют, если солнце не сядет раньше (в темноте он не разглядит их), они промелькнут еще раз, и на этот раз в последний, по ту сторону оврага, на поляне, где позапрошлою ночью стояли волки».

И вот пришла и прошла и эта минута. Темнопунцовое солнце еще круглилось над синей линией сугробов. Снег жадно всасывал ананасную сладость, которою оно его заливало. И вот они показались, понеслись, промчались. «Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай краса моя, прощай радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная». И вот они скрылись. «Больше я тебя никогда не увижу, никогда, никогда в жизни, больше никогда не увижу тебя».

Между тем темнело. Стремительно выцветали, гасли разбросанные по снегу багрово-бронзовые пятна зари. Пепельная мягкость пространств быстро погружалась в сиреневые сумерки, все более лиловевшие. С их серою дымкой сливалась кружевная, рукописная тонкость берез на дороге, нежно прорисованных по бледно-розовому, точно вдруг обмелевшему небу.

Душевное горе обостряло восприимчивость Юрия Андреевича. Он улавливал всё с удесятенною резкостью. Окружающее приобретало черты редкой единственности, даже самый воздух. Небывалым участием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смеркалось так до сих пор, а за вечерело в первый раз только сегодня, в утешение осиротевшему, впадшему в одиночество человеку. Точно не просто поясную панорамую стояли, спинами к горизонту, окружные леса по буграм, но как бы только что разместились на них, выйдя из-под земли для изъявления сочувствия.

Доктор почти отмахивался от этой ошутимой красоты часа, как от толпы навязывающихся сострадателей, почти готовый шептать лучам дотягивавшейся до него зари: «Спасибо. Не надо».

Он продолжал стоять на крыльце, лицом к затворенной двери, отвернувшись от мира. «Закатилось мое солнце ясное»,— повторяло и вытверживало что-то внутри его. У него не было сил выговорить

эти слова вслух все подряд, без судорожных горловых схваток, которые прерывали их.

Он вошел в дом. Двойной, двух родов монолог начался и совершался в нем: сухой, мнимо деловой по отношению к себе самому и растекающийся, безбрежный, в обращении к Ларе. Вот как шли его мысли: «Теперь в Москву. И первым делом — выжить. Не поддаваться бессоннице. Не ложиться спать. Работать ночами до одурения, пока усталость не свалит замертво. И вот еще что. Сейчас же истопить в спальне, чтобы не мерзнуть ночью без надобности».

Но и вот еще как разговаривал он с собою. «Прелесть моя незабвенная! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном, нежном, щемяще печальном изображении. Я останусь тут, пока этого не сделаю. А потом и сам уеду. Вот как я изображу тебя. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего доплескивавшейся волны. Ломаной извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ракушки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так прибило тебя бурей жизни ко мне, гордость моя. Так я изображу тебя».

Он вошел в дом, запер дверь, снял шубу. Когда он вошел в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и старательно и в которой все наново было разворошено спешным отъездом, когда увидел разрытую и неоправленную постель и в беспорядке валявшиеся вещи, раскиданные на полу и на стульях, он, как маленький, опустился на колени перед постелью, всею грудью прижался к твердому краю кровати и, уронив лицо в свесившийся конец перины, заплакал по-детски легко и горько. Это продолжалось недолго. Юрий Андреевич встал, быстро утер слезы, удивленно-рассеянным, устало-отсутствующим взором осмотрелся кругом, достал оставленную Комаровским бутылку, откупорил, налил из нее полстакана, добавил воды, подмешал снегу и с наслаждением, почти равным только что пролитым безутешным слезам, стал пить эту смесь медленными, жадными глотками.

## 14

С Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное. Он медленно сходил с ума. Никогда еще не вел он такого странного существования. Он запустил дом, перестал заботиться о себе, превращал ночи в дни и потерял счет времени, которое прошло с Лариного отъезда.

Он пил и писал вещи, посвященные ей, но Лара его стихов и записей, по мере вымарок и замены одного слова другим, все дальше уходила от истинного своего первообраза, от живой Катенькиной мамы, вместе с Катей находившейся в путешествии.

Эти вычеркивания Юрий Андреевич производил из соображений точности и силы выражения, но они также отвечали внушениям внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не ранить и не задевать непосредственных участников написанного и пережитого. Так кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного в них появлялась умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знакомого. Он не добивался этой цели, но эта широта сама приходила как утешение, лично посланное ему с дороги едущей, как далекий ее привет, как ее явление во сне или как прикосновение ее руки к его лбу. И он любил на стихах этот облагораживающий отпечаток.

За этим плачем по Ларе он также домарывал до конца свою мазню разных времен о всякой всячине, о природе, об обиходном. Как всегда с ним бывало и прежде, множество мыслей о жизни личной и жизни общества налетало на него за этой работой одновременно и попутно.

Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимой под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преобразуется, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменною места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно мменяющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю.

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действительные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне.

За своим плачем по Ларе он оплакивал также то далекое лето в Мелюзееве, когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета, и каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала сама по себе, а не пояснительно-иллюстративно, в подтверждение правоты высшей политики.

За этим расчерчиванием разных разностей он снова проверил и отметил, что искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой, форма же есть органический ключ существования, формой должно владеть все живущее, чтобы существовать, и, таким образом, искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования. Эти размышления и записи тоже приносили ему счастье, такое трагическое и полное слез, что от него уставала и болела голова.

Приезжал проведать его Анфим Ефимович. Он тоже привез водки и рассказал ему об отбытии Антиповой с дочкой и Комаровским. Анфим Ефимович приехал на дрезине по железной дороге. Он выбрал доктора за недостаточный уход за лошадью и увел ее, несмотря на просьбу Юрия Андреевича потерпеть еще дня три-четыре. Зато он пообещал самолично заехать за доктором через этот срок и увезти его из Варыкина окончательно.

Иногда записавшись, заработавшись, Юрий Андреевич вдруг вспоминал уехавшую женщину во всей явственности и терял голову от нежности и остроты лишения. Как когда-то в детстве среди великолепия летней природы в пересвисте птиц мерещился ему голос умершей матери, так привыкший к Ларе, сжившийся с ее голосом слух теперь иногда обманывал его. «Юрочка», — в слуховой галлюцинации иногда слышалось ему из соседней комнаты.

Бывали с ним случаи и другого обмана чувств за эту неделю. В конце ее, ночью, он вдруг проснулся после тяжелой привидевшейся ему нелепицы о драконьем логое под домом. Он открыл глаза. Вдруг дно оврага озарилось огнем и огласилось треском и гулом сделанного

кем-то выстрела. Удивительно, что спустя минуту после такого необыкновенного происшествия доктор опять уснул, а утром решил, что все это ему приснилось.

Вот что случилось немного позднее в один из тех дней. Доктор вял, наконец, голосу разума. Он сказал себе, что если поставить себе целью уморить себя во что бы то ни стало, можно изыскать способ, скорее действующий и менее мучительный. Он дал себе слово, что как только Анфим Ефимович явится за ним, он немедленно отсюда уедет.

Перед сумерками, когда было еще светло, он услышал громкое хрустение чьих-то шагов по снегу. Кто-то бодрою, решительною походкой спокойно шел к дому.

Странно. Кто бы это мог быть? Анфим Ефимович приехал бы на лошади. Прохожих в пустом Варыкине не водилось. «За мной», — решил Юрий Андреевич. — «Вызов или требование в город. Или чтобы арестовать. Но на чем они повезут меня? И тогда их было бы двое. Это Микулицын, Аверкий Степанович», — обрадовавшись, предположил он, узнав, как ему показалось, гостя по походке. Человек, пока еще составлявший загадку, на минуту задержался у двери с отбитой задвижкой, не найдя на ней ожидаемого замка, а потом двинулся дальше уверенным шагом, знающим движением, по-хозяйски отворяя встречавшиеся по пути двери и заботливо затворяя их за собою.

Эти странности застали Юрия Андреевича за письменным столом, у которого он сидел спиной ко входу. Пока он поднимался со стула и поворачивался лицом к двери, чтобы встретить чужого, тот уже стоял на пороге, остановившись, как вкопанный.

«Кого вам?» — вырвалось у доктора с бессознательностью, ни к чему не обязывавшей, и когда ответа не последовало, Юрий Андреевич этому не удивился.

Вошедший был сильный, статный человек с красивым лицом, в короткой меховой куртке, меховых штанах и теплых козловых сапогах, с висевшей через плечо винтовкой на ремне.

Только миг появления неизвестного был неожиданностью для доктора, а не его приход. Находки в доме и другие признаки подготовили Юрия Андреевича к этой встрече. Вошедший был, очевидно, тем человеком, которому принадлежали попадавшиеся в доме запасы. Его внешность показалась доктору виденной и знакомой. Вероятно посетитель тоже был предупрежден, что дом не пуст. Он недостаточно удивился его обитаемости. Может быть, его предварили, кого он встретит внутри. Может быть, сам он знал доктора.

«Кто это? Кто это?» — мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. «Господи твоя воля, где я его раз уже видел? Возможно ли? Жаркое майское утро незапамятно какого года. Железнодорожная станция Развилье. Не предвещающий добра вагон комиссара. Ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов, правота, правота, правота. Стрельников!»

Они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те утраченные и тосковавшие, и те бешеные и иступленные, какими были в ней тогда все люди. Вечерело. Становилось темно.

Помимо беспокойной разговорчивости, которую Стрельников разделял со всеми, он говорил без умолку еще и по какой-то другой, своей причине.

Он не мог наговориться и всеми силами цеплялся за беседу с доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся ли он угрызений совести

или печальных воспоминаний, преследовавших его, или его томило недовольство собой, в котором человек невыносим и ненавистен себе и готов умереть со стыда? Или у него было принято какое-то страшное, неотменимое решение, с которым ему не хотелось оставаться одному, и исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнею с доктором и его обществом?

Так или иначе Стрельников скрывал какую-то важную, тяготившую его тайну, предаваясь во всем остальном тем более расточительным душевным излияниям.

Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличенным обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующего воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха, но и вследствие разрушительного болезненного влечения, по доброй воле, в состоянии метафизического транса и той страсти самоосуждения, которой дай только волю, и ее не остановишь.

Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных прочел и выслушал в свое время крупный военный, а иногда и военносудный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя переоценивал, всему подводил итог, все видел в жаровом, изуродованном, бредовом извращении.

Стрельников рассказывал беспорядочно, перескакивая с признания на признание.

— Это было под Читой. Вас поражали диковинки, которыми я набил шкапы и ящики в этом доме? Это все из военных реквизиций, которые мы производили при занятии Красной Армией Восточной Сибири. Разумеется, я не один это на себе перетащил. Жизнь всегда баловала меня людьми верными, преданными. Эти свечи, спички, кофе, чай, письменные принадлежности и прочее, частью из чешского военного имущества, частью японские и английские. Чудеса в решете, не правда ли? «Не правда ли» было любимое выражение моей жены, вы наверно заметили. Я не знал, сказать ли вам это сразу, а теперь признаюсь. Я пришел повидаться с нею и дочерью. Мне слишком поздно сообщили, будто они тут. И вот я опоздал. Когда из сплетен и донесений я узнал о вашей близости с ней и мне в первый раз назвали имя «доктор Живаго», я из тысячи промелькнувших передо мною за эти годы лиц непостижимейшим образом вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией.

— И вы пожалели, что не расстреляли его?

Стрельников оставил это замечание без внимания. Может быть, он даже не расслышал, что собеседник прервал его монолог собственной вставкой. Он продолжал рассеянно и задумчиво.

— Конечно, я ее ревновал к вам да и теперь ревную. Могло ли быть иначе? В этих местах я прячусь только последние месяцы, когда провалились другие мои явки, далеко на востоке. Меня должны были привлечь к военному суду по ложному оговору. Его исход легко было предугадать. Я не знал никакой вины за собой. У меня явилась надежда оправдаться и отстоять свое доброе имя в будущем, при лучших обстоятельствах. Я решил исчезнуть с поля зрения заблаговременно, до ареста и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. Может я спасся бы в конце концов. Меня подвел втершийся в мое доверие молодой проходимец.

Я уходил через Сибирь зимой пешком на запад, прятался, голодал. Зарывался в сугробы, ночевал в занесенных снегом поездах, которых целые нескончаемые цепи стояли тогда под снегом на Сибирской магистрали.

Скитания столкнули меня с мальчишкой бродягой, будто бы недостреленным партизанами в строю остальных казенных, при общем расстреле. Будто бы он выполз из толпы убитых, отдышался, отлежался и потом стал кочевать по разным логовищам и берлогам, как я. По крайней мере так он рассказывал. Негодяй подросток, порочный, отстающий, из реалистов второгодников, выгнанный из училища по неспособности.

Чем подробнее рассказывал Стрельников, тем ближе доктор узнавал мальчика.

— Имя Терентий, по фамилии Галузин?

— Да.

— Ну тогда все о партизанах и расстреле правда. Он ничего не выдумал.

— Единственная хорошая черта была у мальчика, — обожал мать до безумия. Отец его пропал в заложниках. Он узнал, что мать в тюрьме и разделит участь отца, и решил пойти на все, чтобы освободить ее. В уездной Чрезвычайной комиссии, куда он пришел с повинною и предложением услуг, согласились простить ему все грехи, ценой какой-нибудь крупной выдачи. Он указал место, где я отсиживался. Мне удалось предупредить его предательство и во-время исчезнуть.

Сказочными усилиями, с тысячею приключений я прошел Сибирь и перебрался сюда, в места, где меня знают, как облупленного, и меньше всего ожидали встретить, не предполагая с моей стороны такой дерзости. И действительно, меня долго еще разыскивали под Читой, пока я забирался то в этот домик, то в другие убежища здесь в окрестностях. Но теперь конец. Меня и тут выследили. Послушайте. Смеркается. Приближается час, которого я не люблю, потому что давно уже потерял сон. Вы знаете, какая это мука. Если вы спалили еще не все мои свечи — прекрасные, стеариновые, не правда ли? — давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте проговорим сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролет, при горящих свечах.

— Свечи целы. Только одна пачка начата. Я жег найденный здесь керосин.

— Хлеб у вас есть?

— Нет.

— Чем же вы жили? Впрочем, что я глупости спрашиваю. Картошкой. Знаю.

— Да. Ее тут сколько угодно. Здешние хозяева были опытные и запасливые. Знали, как ее засыпать. Вся в сохранности в подвале. Не погнила и не померзла.

Вдруг Стрельников заговорил о революции.

Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-другому. Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженике, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата, маменькиных сынков, студентов белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделялись от слез и жалоб обобранных, обиженных, обольщенных. Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили!

А мы жизнь приняли, как военный поход, мы камни ворочали ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они.

Однако перед тем как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Дело в следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая,

если только жизнь дорога вам. Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают, вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. Кроме того, тут много волков, я на днях от них отстреливался.

— А, так это вы стреляли?

— Да. Вы, разумеется, слышали? Я шел в другое убежище, но не доходя, по разным признакам понял, что оно раскрыто, и тамошние люди, наверное, погибли. Я у вас недолго пробуду, только переночую, а утром уйду. Итак, с вашего позволения, я продолжаю.

Но разве Тверские-Ямские и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штрипками были только в одной Москве, только в России? Улица, вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки, саврасы, были повсюду. Что объединило эпоху, что сложило девятнадцатое столетие в один исторический раздел? Нарождение социалистической мысли. Происходили революции, самоотверженные молодые люди всходили на баррикады. Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла, где средство исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были Тверские-Ямские века, и грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации и баррикады.

Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой! Вы понятия не имеете. Она часто бывала у своей школьной подруги в доме, заселенном служащими Брестской железной дороги. Так называлась эта дорога вначале, до нескольких последующих переименований. Мой отец, нынешний член Юрьтинского трибунала, служил тогда дорожным мастером на вокзальном участке. Я заходил в тот дом и там ее встречал. Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и гордость были написаны на ее лице и в ее осанке, в смеси ее девической стыдливости и ее смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы, надо было иметь на это право.

— Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время, именно такую, как вы ее описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героинею недетской тайны. Ее тень расплывалась по стене движением настороженной самозащиты. Такою я ее видел. Такою помню. Вы это поразительно выразили.

— Видели и помните? А что вы для этого сделали?

— Это совсем другой вопрос.

— Так вот, видите ли, весь этот девятнадцатый век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные царубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю, во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое.

Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг заплавшей свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал бряцающий, пустые звуки.

Ради этой девочки я пошел в университет, ради нее сделался учителем и поехал служить в этот, тогда еще неведомый мне, Юртин. Я проглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы ей потребовалась моя помощь. Я

пошел на войну, чтобы после трех лет брака снова завоевать ее, а потом, после войны и возвращения из плена воспользовался тем, что меня считали убитым, и под чужим, вымышленным именем весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, чтобы возврата к прошлому больше не было, чтобы Тверских-Ямских больше не существовало. И они, она и дочь были рядом, были тут! Скольких сил стоило мне подавлять желание броситься к ним, их увидеть! Но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось, комната наполнялась светом и воздухом.

— Я знаю, как она была дорога вам. Но простите, имеете ли вы представление, как она вас любила?

— Виноват. Что вы сказали?

— Я говорю, представляете ли вы себе, до какой степени вы были ей дороги, дороже всех на свете?

— Откуда вы это взяли?

— Она сама мне это говорила.

— Она? Вам?

— Да.

— Простите. Я понимаю, это просьба неисполнимая, но, если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно, что именно она вам говорила.

— Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности, и сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома, который она когда-то с вами делила, она ползком, на коленях, протаскилась бы к его порогу откуда угодно, хоть с края света.

— Виноват. Если это не посягательство на что-то для вас неприкосновенное, припомните, когда, при каких обстоятельствах она это сказала?

— Она убирала эту комнату. А потом вышла на воздух вытряхнуть ковер.

— Простите, какой? Тут два.

— Тот, который больше.

— Ей одной такой не под силу. Вы ей помогали?

— Да.

— Вы держались за противоположные концы ковра, она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала? Не правда ли? Как я знаю ее привычки! А потом вы стали сходитьсь вместе, складывая тяжелый ковер сначала вдвое, потом вчетверо, и она шутила и выкидывала при этом разные штуки? Не правда ли? Не правда ли?

Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу. Ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью.

— Простите, я понимаю, что затрагиваю нечто дорогое, сокровенное. Но если можно, я еще спрошу вас. Только не уходите. Не оставляйте меня одного. Я скоро сам уйду. Подумайте, шесть лет разлуки, шесть лет немыслимой выдержки. Но мне казалось,— еще не вся свобода завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им, мои руки развязаны. И вот все мои построения пошли прахом. Завтра меня схватят. Вы родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь ее увидите. Но нет, о чем я прошу? Это безумие. Меня схватят и не дадут оправдываться. Сразу набросятся, окриками и бранью зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?



Наконец-то он выспится по-настоящему. В первый раз за долгое время Юрий Андреевич не заметил, как заснул, едва только растянулся на постели. Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич уложил его спать в соседней комнате. В те короткие мгновения, когда Юрий Андреевич просыпался, чтобы перевернуться на другой бок, или подтянуть сползшее на пол одеяло, он чувствовал подкрепляющую силу своего здорового сна и с наслаждением засыпал снова. Во второй половине ночи ему стали являться короткие, быстро сменяющиеся сновидения из времен детства, толковые и богатые подробностями, которые легко было принять за правду.

Так например, висевшая во сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича. Он открыл глаза. Нет, это что-то другое. Это, наверное, Антипов, муж Лары, Павел Павлович, по фамилии Стрельников, опять, как говорит Вахх, в Шутьме волков лужая. Да нет, что за вздор. Конечно, картина сорвалась со стены. Вот она в осколках на полу,— удостоверил он в вернувшемся и продолжающемся сновидении.

Он проснулся с головною болью оттого, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком он свете.

Вдруг он вспомнил: «Да ведь у меня Стрельников ночует. Уже поздно. Надо одеваться. Он, наверное, уже встал, а, если нет, подыму его, кофе заварю, будем кофе пить».

— Павел Павлович!

Никакого ответа. «Спит еще, значит. Крепко спит, однако». Юрий Андреевич, не торопясь, оделся и зашел в соседнюю комнату. На столе лежала военная папаха Стрельникова, а самого его в доме не было. «Видно, гуляет»,— подумал доктор. «И без шапки. Закаляется. А надо бы сегодня крест на Варыкине поставить и в город. Да поздно. Опять проспал. И так каждое утро».

Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, вкось поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугруб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины.

### *Часть пятнадцатая*

## ОКОНЧАНИЕ

### 1

Остается досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича, восемь или девять последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он все больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки и утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к деятельности, и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в зыбкое безучастие к себе самому и ко всему на свете. В эти годы сильно развилась его давняя болезнь сердца, которую он сам у себя установил уже и раньше, но о степени серьезности которой не имел представления.

Он пришел в Москву в начале нэпа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов. Он исхудал, оброс и одичал еще более, чем во время своего возвращения в Юртин из партизанского плена. По дороге он опять постепенно снимал с себя все стоящее и

выменивал на хлеб с придачею каких-нибудь рваных обносков, чтобы не остаться голым. Так опять проел он в пути свою вторую шубу и пиджачную пару, и на улицах Москвы появился в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат. В этом наряде он ничем не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнявших площади, бульвары и вокзалы столицы.

Он пришел в Москву не один. За ним всюду по пятам следовал красивый крестьянский юноша, тоже одетый во все солдатское, как он сам. В таком виде они появлялись в тех из уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили и принимали вместе с его спутником, предварительно деликатно осведомившись, побывали ли они после дороги в бане,— сыпной тиф еще свирепствовал,— и где Юрию Андреевичу в первые же дни его появления рассказали об обстоятельствах отъезда его близких из Москвы за границу.

Оба дичились людей, но из обостренной застенчивости избегали случаев являться в гости в единственном числе, когда нельзя молчать и надо самим поддерживать беседу. Обыкновенно они двумя долговязыми фигурами вырастали у знакомых, когда у них собиралось общество, забивались куда-нибудь в угол понезаметнее и молча проводили вечер, не участвуя в общем разговоре.

В сопровождении своего молодого товарища худой рослый доктор в неказистой одежде походил на искателя правды из простонародья, а его постоянный провожатый на послушного, слепо ему преданного ученика и последователя. Кто же был этот молодой спутник?

## 2

Последнюю часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич проехал по железной дороге, а первую, гораздо большую, прошел пешком.

Зрелище деревень, через которые он проходил, было ничем не лучше того, что он видел в Сибири и на Урале во время своего бегства из лесного плена. Только тогда он проходил через край зимою, а теперь в конце лета, теплою, сухую осень, что было гораздо легче.

Половина пройденных им селений была пуста, как после неприятельского похода, поля покинуты и не убраны, да это и в самом деле были последствия войны, войны гражданской.

Два или три дня конца сентября его дорога тянулась вдоль обрывистого высокого берега реки. Река, текшая навстречу Юрию Андреевичу, приходилась ему справа. Слева широко, от самой дороги до загроможденной облаками линии небес раскидывались несжатые поля. Их изредка прерывали лиственные леса, с преобладанием дуба, вяза и клена. Леса глубокими оврагами выбегали к реке, и обрывами и крутыми спусками пересекали дорогу.

В неубранных полях рожь не держалась в перезревших колосьях, текла и сыпалась из них. Юрий Андреевич пригоршнями набивал зерном рот, с трудом перемалывал его зубами и питался им в тех особо тяжелых случаях, когда не представлялось возможности сварить из хлебных зерен каши. Желудок плохо переваривал сырой, едва прожеванный корм.

Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой зловеще бурой, коричневой, цвета старого потемневшего золота. Обыкновенно, когда ее снимают в срок, она гораздо светлее.

Эти, цвета пламени без огня горевшие, эти, криком о помощи без звука вопиявшие поля холодным спокойствием окаймляло с края большое, уже к зиме повернувшееся небо, по которому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с черною середкой и белыми боками.

И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река. Ей навстречу шла дорога. По ней шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака. Но и поля не оставались в неподвижности. Что-то двигалось по ним, они были охвачены мелким неугомонным копошением, вызывавшим гадливость.

В невиданном, до тех пор небывалом количестве в полях развелись мыши. Они сновали по лицу и рукам доктора и пробегали сквозь его штанины и рукава, когда ночь застигала его в поле и ему приходилось залечь где-нибудь у межи на ночлег. Их несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи шмыгали днем по дороге под ногами и превращались в скользкую, пискляво шевелящуюся слякоть, когда их давили.

Страшные, одичалые, лохматые деревенские дворняги, которые так переглядывались между собою, точно совещались, когда им наброситься на доктора и загрызть его, брели скопом за доктором на почтительном расстоянии. Они питались падаляю, но не гнушались и мышатиной, какою кишело поле, и поглядывая издали на доктора, уверенно двигались за ним, все время чего-то ожидая. Станным образом они в лес не заходили, с приближением к нему мало по малу начинали отставать, сворачивали назад и пропадали.

Лес и поле представляли тогда полную противоположность. Поля без человека сиротели, как бы преданные в его отсутствие проклятию. Избавившиеся от человека леса красовались на свободе, как выпущенные на волю узники.

Обыкновенно люди, главным образом, деревенские ребятишки, не дают дозреть орехам и обламывают их зелеными. Теперь лесные склоны холмов и оврагов сплошь были покрыты нетронутой шершаво золотистой листвой, как бы запылившейся и погрубевшей от осеннего загара. Из нее торчали изрядно оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные, втрое и вчетверо сросшиеся орехи, спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них. Юрий Андреевич без конца грыз и щелкал их по дороге. Карманы были у него ими набиты, котомка полна ими. В течение недели орехи были его главным питанием.

Доктору казалось, что поля он видит тяжело заболев, в жаровом бреду, а лес — в просветленном состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка дьявола.

### 3

Как раз в эти дни, на этой части пути доктор зашел в сторевшую до гла, покинутую жителями деревню. В ней до пожара строились только в один ряд, через дорогу от реки. Речная сторона оставалась незастроенной.

В деревне уцелело несколько считанных домов, почернелых и опаленных снаружи. Но и они были пусты, необитаемы. Прочие избы превратились в кучи угольев, из которых торчали кверху черные столбы закопченных печных труб.

Обрывы речной стороны изрыты были ямами, из которых извлекали жерновой камень деревенские жители, жившие в прежнее время его добычей. Три таких недоработанных мельничных круга лежали на земле против последней в ряду деревенской избы, одной из уцелевших. Она тоже пустовала, как все остальные.

Юрий Андреевич зашел в нее. Вечер был тихий, но точно ветер ворвался в избу, едва доктор ступил в нее. По полу во все стороны поехали клочки валявшегося сена и пакли, по стенам закачались лоскутья отставшей бумаги. Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней с писком разбегались мыши, которыми, как вся местность кругом, она кишела.

Доктор вышел из избы. Сзади за полями садилось солнце. Закат затоплял теплом золотого зарева противоположный берег, отдельные

кусты и заводы которого дотягивались до середины реки блеском своих блекнувших отражений. Юрий Андреевич перешел через дорогу и присел отдохнуть на один из лежавших в траве жерновов.

Снизу из-за обрыва высунулась светлорусая волосатая голова, потом плечи, потом руки. С реки подымался кто-то по тропинке с полным ведром воды. Человек увидал доктора и остановился, выставившись над линией обрыва до пояса.

— Хошь, напою, добрый человек? Ты меня не замай и я тебя не трону.

— Спасибо. Дай, напьюсь. Да выходи весь, не бойся. Зачем мне тебя трогать?

Вылезший из-под обрыва водонос оказался молодым подростком. Он был бос, оборван и лохмат.

Несмотря на свои дружелюбные слова, он впился в доктора беспокойным пронизывающим взором. По необъяснимой причине мальчик странно волновался. Он в волнении поставил ведро наземь, и вдруг, бросившись к доктору, остановился на подороге и забормотал:

— Никак... Никак... Да нет, нельзя тому быть, привиделось. Извиняюсь, однако, товарищ, дозвоьте спросить. Мне помстилось, точно вы знакомый человек будете. Ну да! Ну да! Дяденька доктор?!

— А ты сам кто?

— Не признали?

— Нет.

— Из Москвы в эшелоне с вами ехали, в одном вагоне. На трудовую гнали. Под конвоем.

Это был Вася Брыкин. Он повалился перед доктором, стал целовать его руки и заплакал.

Погорелое место оказалось Васиной родной деревней Веретенниками. Матери его не было в живых. При расправе с деревней и пожаре, когда Вася скрывался в подземной пещере из-под вынутаго камня, а мать полагала, что Васю увезли в город, она помешалась с горя и утопилась в той самой реке Пелге, над берегом которой сейчас доктор и Вася, беседуя, сидели. Сестры Васи Аленка и Аришка по неточным сведениям находились в другом уезде в детдоме. Доктор взял Васю с собою в Москву. Дорогою он насказал Юрию Андреевичу разных ужасов,

— Это ведь летошней осени озимые сыплются. Только высеялись, и повалили напасти. Когда тетя Поля уехала. Тетю Палашу помните?

— Нет. Да и не знал никогда. Кто такая?

— Как это не знали? Пелагею Ниловну! С нами ехала. Тягунова. Лицо открытое, полная, белая.

— Это которая всё косы заплетала и расплетала?

— Косы, косы! Ну да! В самую точку. Косы!

— Ах, вспомнил. Погоди. Да ведь я ее потом в Сибири встретил, в городе одном, на улице.

— Статочное ли дело! Тетю Палашу?

— Да что с тобой, Вася? Что ты мне руки трясешь, как бешеный. Смотри, не оторви. И вспыхнул, как красная девица.

— Ну как она там? Скорее сказывайте, скорее.

— Да была жива здорова, когда видел. О вас рассказывала. Точно стояла она у вас или гостила, помнится. А может забыл, путаю.

— Ну как же, ну как же! У нас, у нас! Мамушка ее как родную сестру полюбила. Тихая. Работница. Рукодельница. Пока она у нас жила, дом был полная чаша. Сжили ее из Веретенникова, не дали покоя наговорами.

Мужик Харлам Гнилой был в деревне. Подбивался к Поле. Безносый ябедник. А она на него и не глядит. Зуб он на меня за это имел.

Худое про нас, про меня и Полю сказывал. Ну, и она уехала. Совсем извел. Тут и пошло.

Убийство тут недалеко приключилось одно страшное. Вдову одинокую убили на лесном хуторе поближе к Буйскому. Одна около лесу жила. В мужских ботинках с ушками ходила, на резиновой перетяжке. Злая собака на цепи кругом хутора бегала по проволоке. По кличке Горлан. С хозяйством, с землей сама справлялась без помощников. Ну вот, вдруг зима, когда никто не ждал. Рано выпал снег. Не выкопала вдова картошки. Приходит она в Веретенники,— помогите, говорит, возьму в долю или заплачу.

Вызвался я ей копать картошку. Прихожу к ней на хутор, а у нее уже Харлам. Напросился раньше меня. Не сказала она мне. Ну да не драться же из-за этого. Вместе взялись за работу. В самую непогодь копали. Дождь и снег, жижка, грязь. Копали, копали, картофельную ботву жгли, теплым дымом сушили картовь. Ну выкопали, рассчиталась она с нами по совести. Харлама отпустила, а мне эдак глазком, еще мол у меня дело до тебя, зайди потом или останься.

На другой раз пришел я к ней. Не хочу, говорит, изъятие излишков отдавать, картошку в государственную разверстку. Ты, говорит, парень хороший, знаю, не выдашь. Видишь, я от тебя не таюсь. Я бы сама вырыла яму, схоронить, да вишь что на дворе делается. Поздно я хватилась,— зима. Одной не управиться. Выкопай мне яму, не пожалеешь. Осушим, ссыпем.

Выкопал я ей яму, как тайничку полагается, книзу шире, кувшином, узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали. В самую самую метель. Спрятали картошку честь честью, землей забросали. Комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок. Ни одной живой душе. Мамушке даже или там сестренкам. Ни Боже мой!

Ну так. Только проходит месяц,— ограбление на хуторе. Рассказывают которые мимо шли из Буйского, дом настезь, весь очищенный, вдовы след простыл, собака Горлан цепь оборвала, убежала.

Еще прошло время. В первую зимнюю оттепель, под новый год, под Васильев вечер ливни шли, смыли снег с бугров, до земли протаял. Прибежал Горлан и сём лапами землю разгребать в проталине, где была картошка в ямке. Раскопал, раскидал верх, а из ямы хозяйкины ноги в башмаках с перетяжками. Видишь, какие страсти!

В Веретенниках все вдову жалели, поминали. На Харлама никто не думал. Да как и думать-то? Мысленное ли дело? Кабы это он, откуда бы у него прыть оставаться в Веретенниках, по деревне гоголем ходить? Ему бы от нас кубарем, наутек куда подальше.

Обрадовались злодейству на хуторе деревенские кулаки заводилы. Давай деревню мутить. Вот, говорят, на что городские изловчатся. Это вам урок, остратка. Не прячь хлеба, картошки не зарывай. А они, дурачье, свое заладили,— лесные разбойники, разбойники им на хуторе привиделись. Простота народ! Вы побольше их, городских слушайте. Они вам еще не то покажут, голодом выморят. Желаете, деревня, добра, за нами иди. Мы научим уму разуму. Придут ваше кровное, потом нажитое отымать, а вы, куда, мол, излишки, своей ржи ни зернышка. И в случае чего за вилы. А кто против мира, смотри, берегись. Разгуделись старики, похвальба, сходки. А Харламу ябеднику только того и надо. Шапку в охапку и в город. И там шу-шу-шу. Вот что в деревне деется, а вы что сидите смотрите? Надо туда комитет бедноты. Прикажите, я там мигом брата с братом размежую. А сам из наших мест лататы и больше глаз не казал.

Все что дальше случилось, само сделалось. Никто того не подстраивал, никто тому не вина. Наслали красноармейцев из города. И суд выездной. И сразу за меня. Харлам натрезвонил. И за побег, и за уклонение от трудовой, и деревню я к бунту подстрекал, и я вдову убил. И под замок. Спасибо я догадался половицу вынуть, ушел. Под землей в пещере скрывался. Над моей головой деревня горела,— не

видал, надо мной мамушка родимая в прорубь бросилась,— не знал. Всё само сделалось. Красноармейцам отдельную избу отвели, вином поили, перепились вмертвую. Ночью от неосторожного обращения с огнем загорелся дом, от него — соседние. Свои, где занялось, вон прыгали, а пришлые, никто их не поджигал, те, ясное дело, живьем сторели до одного. Наших погорелых Веретенниковских никто с пепелищ насиженных не гнал. Сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять жилы-коноводы наустили,— расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал, всех по миру развеяло, где-нибудь мыкаются.

## 5

Доктор с Васею пришли в Москву весной двадцать второго года, в начале нэпа. Стояли теплые ясные дни. Солнечные блики, отраженные золотыми куполами храма Спасителя, падали на мощенную четырехугольным тесаным камнем, по щелям поросшую травой, площадь.

Были сняты запреты с частной предприимчивости, в строгих границах разрешена была свободная торговля. Совершались сделки в пределах товарооборота старьевщиков на толкучем рынке. Карликовые размеры, в которых они производились, развивали спекуляцию и вели к злоупотреблениям. Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельной перепродаже десятикратно проданного наживали состояния.

Владельцы нескольких очень скромных домашних библиотек ставили книги из своих шкафов куда-нибудь в одно место. Делали заявку в горсовет о желании открыть кооперативную книжную торговлю. Испрашивали под такуюю помещение. Получали в пользование пустовавший с первых месяцев революции обувной склад или оранжерею тогда же закрывшегося цветоводства и под их обширными сводами распродавали свои тощие и случайные книжные собрания.

Дамы профессорши, и раньше в трудное время тайно выпекавшие белые булочки на продажу наперекор запрещению, теперь торговали ими открыто в какой-нибудь простоявшей все эти годы под учетом велосипедной мастерской. Они сменили вехи, приняли революцию и стали говорить «есть такое дело» вместо «да» или «хорошо».

В Москве Юрий Андреевич сказал:

— Надо будет, Вася, чем-нибудь заняться.

— Я так располагаю, учиться.

— Это само собой.

— А еще мечтание. Хочу маманин лик по памяти написать.

— Очень хорошо. Но ведь для этого надо рисовать уметь. Ты когда-нибудь пробовал?

— В Апраксином, когда дядя не видел, углем баловался.

— Ну что же. В добрый час. Попытаемся.

Больших способностей к рисованию у Васи не оказалось, но средних достаточно, чтобы пустить его по прикладной части. По знакомству Юрий Андреевич поместил его на общеобразовательное отделение бывшего Строгановского училища, откуда его перевели на полиграфический факультет. Здесь он обучался литографской технике, типографскому и переплетному мастерству и искусству художественного украшения книги.

Доктор и Вася соединили свои усилия. Доктор писал маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам, а Вася их печатал в училище в качестве засчитывавшихся ему экзаменационных работ. Книжки, выпуском в немного экземпляров, распространяли в новооткрытых букинистических магазинах, основанных общими знакомыми.

Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определения здоровья и нездоровья, мысли

о трансформизме и эволюции, о личности, как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядиным и Симушкиным, очерки Пугачевских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы.

Работы изложены были доступно, в разговорной форме, далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы, потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные, недостаточно проверенные, но всегда живые и оригинальные. Книжечки расходились. Любители их ценили.

В то время все стало специальностью, стихотворчество, искусство художественного перевода, обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты. Возникли разного рода Дворцы мысли, Академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором.

Доктор и Вася долгое время дружили и жили вместе. За этот срок они одну за другой сменили множество комнат и полуразрушенных углов, по-разному нежилых и неудобных.

Тотчас по прибытии в Москву Юрий Андреевич наведаясь в Сивцев, старый дом, в который, как он узнал, его близкие, проездом через Москву, уже больше не заезжали. Их высылка всё изменила. Закрепленные за доктором и его домашними комнаты были заселены, из вещей его собственных и его семьи ничего не оставалось. От Юрия Андреевича шарахались в сторону, как от опасного знакомца.

Маркел пошел в гору и в Сивцевом больше не обретаясь. Он переехал комендантом в Мучной городок, где по условиям службы ему с семьей полагалась квартира управляющего. Однако он предпочел жить в старой дворницкой с земляным полом, проведенною водой и огромной русской печью во всё помещение. Во всех корпусах городка зимой лопались трубы водопровода и отопления, и только в дворницкой было тепло и вода не замерзала.

В это время в отношениях доктора с Васею произошло охлаждение. Вася необычайно развился. Он стал говорить и думать совсем не так, как говорил и думал босой и волосатый мальчик на реке Пелге в Веретенниках. Очевидность, самодоказательность провозглашенных революцией истин всё более привлекала его. Не вполне понятная, образная речь доктора казалась ему голосом неправоты, осужденной, сознающей свою слабость и потому уклончивой.

Доктор ходил по разным ведомствам. Он хлопотал по двум поводам. О политическом оправдании своей семьи и узаконении их возвращения на родину, и о заграничном паспорте для себя и разрешения выехать за женою и детьми в Париж.

Вася удивлялся тому, как холодны и вялы эти хлопоты. Юрий Андреевич слишком поспешно и рано устанавливал неудачу приложенных стараний, слишком уверенно и почти с удовлетворением заявлял о тщетности дальнейших попыток.

Вася всё чаще осуждал доктора. Тот не обижался на его справедливые порицания. Но его отношения с Васей портились. Наконец они раздружились и разъехались. Доктор оставил Васе комнату, которую сообща с ним занимал, а сам переселился в Мучной городок, где всеильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свентицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли: старая бездействовавшая ванная Свентицких, однооконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку черным ходом. Юрий Андреевич сюда перебрался, и после переезда забросил медицину, превратился в неряху, перестал встречаться с знакомыми и стал бедствовать.

## 6

Был серый зимний воскресный день. Дым печей подымался не столбами вверх над крышами, а черными струйками курился из оконных форточек, куда, несмотря на запрещение, продолжали вы-

водить железные трубы времянок. Городской быт все еще не налаживался. Жильцы Мучного городка ходили неумытыми замарашками, страдали фурункулезом, зябли, простужались.

По случаю воскресенья семья Маркела Щапова была вся в сборе. Щаповы обедали за тем самым столом, на котором, во время оно, при нормированной раздаче хлеба по карточкам, по утрам на рассвете, бывало, мелко нарезали ножницами хлебные купоны квартирантов со всего дома, сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки или бумажки по категориям и относили в булочную, а потом, по возвращении из нее, кромсали, кроили, крошили и развешивали хлеб порционно жильцам городка. Теперь всё это отошло в предание. Продовольственную регистрацию сменили другие виды отчетности. За длинным столом ели с аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали.

Половину дворницкой занимала высившаяся посередине широкая русская печь со свисающим с полатей краем стеганого одеяла.

В передней стене у входа торчал над раковиной край действующего водопровода. По бокам дворницкой тянулись лавки с подсунутыми под них пожитками в мешках и сундуках. Левую сторону занимал кухонный стол. Над столом висел прибитый к стене посудный поставец.

Печь топилась. В дворницкой было жарко. Перед печью, засучив рукава до локтя, стояла Маркелова жена Агафья Тихоновна и длинным, глубоко достающим ухватом передвигала горшки в печи то теснее в кучу, то свободнее, смотря по надобности. Потное лицо ее попеременно озарялось светом дышавшего печного жара и туманилось паром готовившегося варева. Отодвинув горшки в сторону, она вытащила из глубины пирога на железном листе, одним махом перевернула его верхней корочкой вниз и на минуту задвинула назад подрумяниться. В дворницкую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами.

— Хлеб да соль.

— Просим вашей милости. Садись, гостем будешь.

— Спасибо,— обедал.

— Знаем мы твои обеды. Сел бы да покушал горячего. Что брезгуешь. Картошь печеная в махотке. Пирог с кашей. Пашано.

— Нет, правда, спасибо. Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебе стужу. Хочу сразу воды побольше напасти. Отчистил до блеска ванну цинковую у Свентицких, всю наполнию, и в баки натаскаю. Еще раз пять, а то и десять загляну сейчас, а потом долго не буду надоедать. Извини, пожалуйста, что хожу. Кроме тебя не к кому.

— Лей вволю, не жалко. Сыропу нет, а воды, сколько хошь. Бери задаром. Не торгуем.

За столом захохотали.

Когда Юрий Андреевич зашел в третий раз за пятым и шестым ведром, тон уже несколько изменился и разговор пошел по-другому.

— Зятя спрашивают, кто такой. Говорю,— не верят. Да ты набирай воду, не сумлевайся. Только на пол не лей, ворона. Видишь, порог заплескал. Наледенеет, не ты ломом скальвать придешь. Да плотней дверь затворяй, раззява,— со двора тянет. Да, сказываю зятям, кто ты такой есть, не верят. Сколько на тебя денег извели! Учился, учился, а какой толк?

Когда Юрий Андреевич зашел в пятый или шестой раз, Маркел нахмурился.

— Ну еще раз изволь, а потом баста. Надо, брат, честь знать. Тебе тут Марина заступница, наша меньшая, а то б я не поглядел, какой ты благородный каменщик, и дверь на запор. Помнишь Маринуту? Вон она, на конце стола, черненькая. Ишь, заалелась. Не забижайте, говорит, его, папаня. А кто тебя трогает. На главном телеграфе телеграфисткою Марина, по иностранному понимает. Он, говорит, не-



счастный. За тебя хоть в огонь, так тебя жалеет. А нешто я тебе повинен, что ты не выдался. Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вон мы всю эту голодуху, всю эту блокату белую высидели, не пошатнулись, и целы. Сам на себя пеняй. Тоньку не сберег, по заграницам бродяжествует. Мне что. Твое дело. Только не взыщи, спрошу я, куда тебе воды такую прорву? Ты не двор ли нанялся под каток поливать, чтобы обледенел? Эх ты, как и серчать на тебя, курицыно отродье.

Опять за столом захохотали. Марина недовольным взглядом обвела своих, вспыхнула, что-то стала им выговаривать. Юрий Андреевич услышал ее голос, поразился им, но еще не разобрался в его секрете.

— Мытья много в доме, Маркел. Надо убраться. Полы. Хочу кое-что постирать.

За столом стали удивляться.

— И не страм тебе такое говорить, не то что делать, китайская ты прачешная, незнамо что!

— Юрий Андреевич, вы позвольте я к вам дочку пошлю. Она к вам придет, постирает, помоет. Если что надо, худое починит. Ты их не бойся, доченька. Видишь, другим не в пример, какие они великательные. Мухи не обидят.

— Нет, что вы, Агафья Тихоновна, не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня маралась, пачкалась. Какая она мне чернорабочая? Обойдусь и сам.

— Вам марасться можно, а что же мне? Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? А если я к вам в гости напрошусь, неужто выгоните?

Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос большой высоты и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился за ее спиной. Этот голос был ее защитой, ее ангелом хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить.

С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему помочь по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась больше в дворницкую. Так она стала третьей не зарегистрированной в загсе женою Юрия Андреевича, при неразведенной первой. У них пошли дети. Отец и мать Щаповы не без гордости стали звать дочку докторшей. Маркел ворчал, что Юрий Андреевич не венчан с Мариною и что они не распишутся.— Да что ты, очумел? — возражала ему жена.— Это что же при живой Антонине получится? Двоебрачие? — Сама ты дура,— отвечал Маркел.— Что на Тоньку смотреть. Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится.

Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в двадцати ведрах, как бывают романы в двадцати главах или двадцати письмах.

Марина прощала доктору его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность.

Ее самопожертвование шло еще дальше. Когда по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету, Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу, на которой ее так ценили, и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки. Она сдельно пилила дрова проживающим в разных этажах квартирантам. Некоторые, в особенности разбогатевшие в начале нэпа спекулянты и стоявшие близко к правительству люди науки и искусства, стали обстраиваться

и обзаводиться обстановкой. Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, наносила запас дров в кабинет квартирохозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не достаивавшему пыльца и пыльницу даже взглядом. С ними договаривалась, распорядилась и расплачивалась хозяйка.

«К чему эта свинья так прикована?» — полюбопытствовал доктор. — «Что размечает он карандашом так яростно?» — Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем Вхутемасовском издании.

## 7

Марина с доктором жила на Спиридоновке, Гордон снимал комнату рядом, на Малой Бронной. У Марины и доктора было две девочки, Капка и Клашка. Капитолине, Капельке, шел седьмой годок, недавно родившейся Клавдии было шесть месяцев.

Начало лета в тысяча девятьсот двадцать девятом году было жаркое. Знакомые без шляп и пиджаков перебежали через две-три улицы друг к другу в гости.

Комната Гордона была странного устройства. На ее месте была когда-то мастерская модного портного, с двумя отделениями, нижним и верхним. Оба яруса охватывала с улицы одна цельная зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были изображены фамилия портного и род его занятий. Внутри за витриною шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение.

Теперь из помещения было выкроено три.

Путем добавочных настилов в мастерской были выгаданы междурусные антресоли, со странным для жилой комнаты окном. Оно было в метр вышиной и приходилось на уровне пола. Окно покрывали остатки золотых букв. В пробелы между ними виднелись до колен ноги находящихся в комнате. В комнате жил Гордон. У него сидели Живаго, Дудоров и Марина с детьми. В отличие от взрослых, дети целиком во весь рост умещались в раме окна. Скоро Марина с девочками ушла. Трое мужчин остались одни.

Между ними шла беседа, одна из тех летних, ленивых, неторопливых бесед, какие заводятся между школьными товарищами, годам дружбы которых потерян счет. Как они обыкновенно ведутся?

У кого-нибудь есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий. Такой человек говорит и думает естественно и связно. В этом положении был только Юрий Андреевич.

Его друзьям не хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. В восполнение бедного словаря они, разговаривая, расхаживали по комнате, затыгивались папиросою, размахивали руками, по несколько раз повторяли одно и то же («Это, брат, нечестно; вот именно, нечестно; да, да, нечестно»).

Они не сознавали, что этот излишний драматизм их общения совсем не означает горячности и широты характера, но, наоборот, выражает несовершенство, пробел.

Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы.

Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь уда-

ряться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича.

Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о как безнадежно ordinарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал.

Дудоров недавно отбыл срок первой своей ссылки и из нее вернулся. Его восстановили в правах, в которых он временно был поражен. Он получил разрешение возобновить свои чтения и занятия в университете.

Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояния души в ссылке. Он говорил с ними искренне и неліцемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями.

Он говорил, что доводы обвинения, обращение с ним в тюрьме и по выходе из нее, и в особенности собеседования с глазу на глаз со следователем проветрили ему мозги, и политически его перевоспитали, что у него открылись на многое глаза, что как человек он вырос.

Рассуждения Дудорова были близки душе Гордона именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой Иннокентию и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность.

Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю. Так было в средние века, на этом всегда играли иезуиты. Юрий Андреевич не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением или, как тогда бы сказали,—духовным потолком эпохи. Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться.

Но его заинтересовало совсем другое, рассказ Дудорова о Вонифатии Орлецове, товарище Иннокентия по камере, священнике тихоновце. У арестованного была шестилетняя дочка Христина. Арест и дальнейшая судьба любимого отца были для нее ударом. Слова «служитель культа», «лишенец» и тому подобные казались ей пятном бесчестия. Это пятно она, может быть, поклялась смыть когда-нибудь с доброго родительского имени в своем горячем детском сердце. Так далеко и рано поставленная себе цель, пламеневшая в ней неугасимым решением, делала ее уже и сейчас по-детски увлеченной последовательницей всего, что ей казалось наиболее неопровержимым в коммунизме.

— Я уйду,— говорил Юрий Андреевич.— Не сердись на меня, Миша. В комнате душно, на улице жарко. Мне не хватает воздуха.

— Ты видишь, форточка на полу открыта. Прости, мы накурили. Мы вечно забываем, что не надо курить в твоём присутствии. Чем я виноват, что тут такое глупое устройство. Найди мне другую комнату.

— Вот я и уйду, Гордоша. Мы достаточно поговорили. Благодарю вас за заботу обо мне, дорогие товарищи. Это ведь не блажь с моей стороны. Это болезнь, склероз сердечных сосудов. Стенки сердечной мышцы изнашиваются, истончаются и в один прекрасный день могут прорваться, лопнуть. А ведь мне нет сорока еще. Я не пропойца, не прожигатель жизни.

— Рано ты себе поешь отходную. Глупости. Поживешь еще.

— В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже.

— Я вступаю за Дудорова. Просто ты отвык от человеческих слов. Они перестали доходить до тебя.

— Легко может статься, Миша. Во всяком случае, извините, отпустите меня. Мне трудно дышать. Ей-богу, я не преувеличиваю.

— погоди. Это одни увертки. Мы тебя не отпустим, пока ты не дашь нам прямого, чистосердечного ответа. Согласен ли ты, что тебе надо перемениться, исправиться? Что ты собираешься сделать в этом отношении? Ты должен привести в ясность твои дела с Тоней, с Мариной. Это живые существа, женщины, способные страдать и чувствовать, а не бесплотные идеи, носящиеся в твоей голове в произвольных сочетаниях. Кроме того, стыдно, чтобы без пользы пропал такой человек, как ты. Тебе надо пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия, да, да, без этой непозволительной надменности, в окружающем, поступить на службу, заняться практикой.

— Хорошо, я отвечаю вам. Я сам часто думаю в этом духе в последнее время, и потому без краски стыда могу обещать вам кое-что. Мне кажется, все уладится. И довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу. Всё идет к лучшему. Мне невероятно, до страсти хочется жить, а жить ведь значит всегда порываться вперед, к высшему, к совершенству и достигать его.

Я рад, Гордон, что ты защищаешь Марину, как прежде был всегда Тониным защитником. Но ведь у меня нет с ними разлада, я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было. Ты меня упрекал вначале, что она говорит мне вы в ответ на мое ты, и величает меня по имени-отчеству, точно и меня это не угнетало. Но ведь давно более глубокая нескладица, лежавшая в основе этой неестественности, устранена, всё сглажено, равенство установлено.

Могу сообщить вам другую приятную новость. Мне опять стали писать из Парижа. Дети выросли, чувствуют себя совсем свободно среди французских сверстников. Шура кончает тамошнюю начальную школу, école primaire, Маня в нее поступает. Ведь я совсем не знаю своей дочери. Мне почему-то верится, что несмотря на переход во французское подданство, они скоро вернуться, и каким-то неведомым образом все уладится.

По многим признакам теть и Тоня знают о Марине и девочках. Сам я не писал им об этом. Эти обстоятельства дошли до них, наверно, стороною. Александр Александрович, естественно, оскорблен в своих отеческих чувствах, ему больно за Тоню. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке. По возвращении в Москву я ведь некоторое время переписывался с ними. И вдруг мне перестали отвечать. Всё прекратилось.

Теперь, совсем недавно, я стал опять получать письма оттуда. Ото всех них, даже от детей. Теплые, ласковые. Что-то смягчилось. Может быть, у Тони какие-нибудь перемены, новый друг какой-нибудь, дай ей бог. Не знаю. Я тоже иногда им пишу. Но я, правда,

больше не могу. Я пойду, а то это кончится припадком удушья. До свиданья.

На другой день утром к Гордону ни жива ни мертва прибежала Марина. Ей не на кого было оставить девочек дома, и младшую, Клашу, туго замотанную в одеяло, она несла, прижимая одной рукою к груди, а другою тянула за руку отстававшую и упиравшуюся Капу.

— Юра у вас, Миша? — не своим голосом спросила она.

— Разве он не ночевал дома?

— Нет.

— Ну тогда он у Иннокентия.

— Я была там. Иннокентий на занятиях в университете. Но соседи знают Юру. Он там не появлялся.

— Тогда где же он?

Марина положила запеленутую Клашу на диван. С ней сделалась истерика.

## 8

Два дня Гордон и Дудоров не отходили от Марины. Они, сменяясь, дежурили при ней, боясь оставить ее одну. В промежутке они отправлялись на розыски доктора. Они обегали все места, куда предположительно он мог забрести, побывали в Мучном городке и Сивцевском доме, наведались во все Дворцы Мысли и Дома Идеи, где он когда-либо служил, обошли всех старинных его знакомых, о которых они имели хотя бы малейшее понятие и адреса которых можно было найти. Розыски ничего им не дали.

В милицию не заявляли, чтобы не напоминать властям о человеке, хотя и прописанном и не судившемся, но в современном понимании далеко не образцовом. Наводить милицию на его след решили лишь в крайнем случае.

На третий день Марина, Гордон и Дудоров в разные часы получили по письму от Юрия Андреевича. Они были полны сожалений по поводу доставленных им тревог и страхов. Он умолял простить его и успокоиться, и всем, что есть святого, заклинал их прекратить его розыски, которые всё равно ни к чему не приведут.

Он сообщал им, что в целях скорейшей и полной переделки своей судьбы хочет побыть некоторое время в одиночестве, чтобы в сосредоточенности заняться делами, когда же хоть сколько-нибудь укрепитесь на новом поприще и убедится, что после совершившегося перелома возврата к старому не будет, выйдет из своего тайного убежища и вернется к Марине и детям.

Гордона он предупредомлял в письме, что переводит на его имя деньги для Марины. Он просил нанять к детям няню, чтобы освободить Марину и дать ей возможность вернуться на службу. Он объяснял, что остерегается направлять деньги непосредственно по ее адресу из боязни, как бы выставленная в извещении сумма не подвергла ее опасности ограбления.

Скоро пришли деньги, превышавшие и докторов масштаб и мерила его приятелей. Детям наняли няню. Марину опять приняли на телеграф. Она долго не могла успокоиться, но привыкнув к прошлым странностям Юрия Андреевича, примирилась в конце концов и с этою выходкой. Несмотря на просьбы и предупреждения Юрия Андреевича, приятели и эта близкая ему женщина продолжали его разыскивать, убеждаясь в правильности его предсказания. Они его не находили.

## 9

А между тем он жил в нескольких шагах от них, совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков.

Когда в день своего исчезновения он засветло, до наступления сумерек вышел от Гордона на Бронную, направляясь к себе домой на Спиридоновку, он тут же, не пройдя и ста шагов по улице, наткнул-

ся на шедшего во встречном направлении сводного брата Евграфа Живаго. Юрий Андреевич не видел его больше трех лет и ничего не знал о нем. Оказалось, Евграф случайно в Москве, куда приехал совсем недавно. По обыкновению он свалился как с неба, и был недоступен расспросам, от которых отделялся молчаливыми улыбочками и шутками. Зато с места в карьер, минуя мелкие бытовые частности, он по двум-трем заданным Юрию Андреевичу вопросам проник во все его печали и неурядицы и тут же, на узких поворотах кривого переулка, в толкотне обгоняющих их и идущих навстречу пешеходов составил практический план, как помочь брату и спасти его. Пропажа Юрия Андреевича и пребывание в скрытности были мыслью Евграфа, его изобретением.

Он снял Юрию Андреевичу комнату в переулке, тогда еще носившем название Камергерского, рядом с Художественным театром. Он снабдил его деньгами, начал хлопотать о приеме доктора на хорошую службу, открывающую простор научной деятельности, куда-нибудь в больницу. Он всячески покровительствовал брату во всех житейских отношениях. Наконец, он дал брату слово, что с неустойчивым положением его семьи в Париже так или иначе будет покончено. Либо Юрий Андреевич поедет к ним, либо они сами к нему приедут. За все эти дела Евграф обещал взяться сам и всё устроить. Поддержка брата окрыляла Юрия Андреевича. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненной. Юрий Андреевич и не пробовал проникнуть в эту тайну.

## 10

Комната обращена была на юг. Она двумя окнами выходила на противоположные театру крыши, за которыми сзади, высоко над Охотным, стояло летнее солнце, погружая в тень мостовую переулка.

Комната была более чем рабочей для Юрия Андреевича, более чем его кабинетом. В этот период пожирающей деятельности, когда его планы и замыслы не уместались в записях, наваленных на столе, и образы задуманного и привидевшегося оставались в воздухе по углам, как загромождают мастерскую художника начатые во множестве и лицом к стене повернутые работы, жилая комната доктора была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений.

По счастью переговоры с больничным начальством затягивались, срок поступления на службу отодвигался в неопределенное будущее. Можно было писать, воспользовавшись подвернувшейся отсрочкой.

Юрий Андреевич стал приводить в порядок то из сочиненного, обрывки чего он помнил и что откуда-то добывал и тащил ему Евграф, частью в собственных рукописях Юрия Андреевича, частью в чьих-то чужих перепечатках. Хаотичность материала заставляла Юрия Андреевича разбрасываться еще больше, чем к этому предрасполагала его собственная природа. Он скоро забросил эту работу и от восстановления неоконченного перешел к сочинению нового, увлеченный свежими набросками.

Он составлял начерно очерки статей, вроде беглых записей времен первой побывки в Варыкине, и записывал отдельные куски напрашивавшихся стихотворений, начала, концы и середки, вперемежку без разбора. Иногда он еле справлялся с набегавшими мыслями, начальные буквы слов и сокращения его стремительной скорописи за ними не поспевали.

Он торопился. Когда воображение уставало и работа задерживалась, он подгонял и подхлестывал их рисунками на полях. На них изображались лесные просеки и городские перекрестки со стоящим посередине рекламным столбом «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Моло-тилки».

Статьи и стихотворения были на одну тему. Их предметом был город.

## 11

Впоследствии среди его бумаг нашлась записка:

«В двадцать втором году, когда я вернулся в Москву, я нашел ее опустевшею, полуразрушенной. Такою она вышла из испытаний первых лет революции, такою осталась и по сей день. Население в ней поредело, новых домов не строят, старых не подновляют.

Но и в таком виде она остается большим современным городом, единственным вдохновителем воистину современного нового искусства.

Беспорядочное перечисление вещей и понятий с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмана, совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры.

Так же, как прогоняют они ряды образов по своим строчкам, плывет сама и гонит мимо нас свои толпы, кареты и экипажи деловая городская улица конца девятнадцатого века, а потом, в начале последующего столетия, вагоны своих городских, электрических и подземных железных дорог.

Пастушеской простоте неоткуда взяться в этих условиях. Ее ложная безыскусственность — литературная подделка, неестественное манерничество, явление книжного порядка, занесенное не из деревни, а с библиотечных полок академических книгохранилищ. Живой, живо сложившийся и естественно отвечающий духу нынешнего дня язык — язык урбанизма.

Я живу на людном городском перекрестке. Летняя, ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением туч и бульваров, вертится вокруг меня и кружит мне голову и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня и отдала мне в руки искусство.

Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с современною душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заалевшимся огнями рампы театральным занавесом. Беспреданно и без умолку шевелящаяся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе».

В сохранившейся стихотворной тетради Живаго не встретилось таких стихотворений. Может быть стихотворение «Гамлет» относилось к этому разряду?

## 12

Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич с остановки на углу Газетного сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской, от университета к Кудринской. Он в первый раз направлялся на службу в Боткинскую больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской. Это было чуть ли не первое с его стороны должностное ее посещение.

Юрию Андреевичу не повезло. Он попал в неисправный вагон, на который все время сыпались несчастья. То застрявшая колесами в желобах рельсов телега задерживала его, преграждая ему дорогу. То под полом вагона или на его крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание и с треском что-то перегорало.

Вагоновожатый часто с гаечными ключами в руках выходил с передней площадки остановившегося вагона и, обойдя его кругом,

углублялся, опустившись на корточки, в починку машинных его частей между колесами и задней площадкой.

Злополучный вагон преграждал движение по всей линии. Улицу запружали уже остановленные им трамваи и новые, прибывающие и постепенно накапливающиеся. Их хвост достигал уже Манежа и растягивался дальше. Пассажиры из задних вагонов переходили в передний, по неисправности которого всё это происходило, думая этим переходом что-то выгадать. В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно. Над толпой перебегающих по мостовой пассажиров от Никитских ворот ползла, всё выше к небу подымавшаяся, черно-лиловая туча. Надвигалась гроза.

Юрий Андреевич сидел на левой одиночной лавочке вагона, совершенно притиснутый к окну. Левый тротуар Никитской, на котором находится Консерватория, был всё время на виду у него. Волея-неволей, с притупленным вниманием думающего о другом человека, он глазел на идущих и едущих по этой стороне и никого не пропускал.

Старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и васильками, и сиреневом, туго стягивавшем ее, старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне. Она затянута была в корсет, изнемогала от жары и, обливаясь потом, утирала кружевным платочком мокрые брови и губы.

Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Юрий Андреевич уже несколько раз терял ее из виду, когда починенный трамвай трогался с места и обгонял ее. И она несколько раз возвращалась в поле его зрения, когда новая поломка останавливала трамвай и дама нагоняла его.

Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разною скоростью поездов, и он хотел припомнить общий способ их решения, но у него ничего не вышло, и не доведя их до конца, он перескочил с этих воспоминаний на другие, еще более сложные размышления.

Он подумал о нескольких, развивающихся рядом существовании, движущихся с разною скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему, но окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения.

Сверкнула молния, раскатился гром. Несчастный трамвай в который уже раз застрял на спуске от Кудринской к Зоологическому. Дама в лиловом появилась немного спустя в раме окна, миновала трамвай, стала удаляться. Первые крупные капли дождя упали на тротуар и мостовую, на даму. Порыв пыльного ветра проволочка по деревьям, задевая листьями за листья, стал срывать с дамы шляпу и подворачивать ей юбки, и вдруг улегся.

Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям.

Доктору кричали, что рама привинчена к косякам наглухо, но, борясь с припадком и охваченный какою-то тревогою, он не относил этих криков к себе и не вникал в них. Он продолжал попытки и снова тремя движениями вверх, вниз и на себя рванул раму и вдруг ощутил небывалую, непоправимую боль внутри, и понял, что сорвал что-то в себе, что он наделал что-то роковое и что всё пропало. В это время вагон пришел в движение, но проехав совсем немного по Пресне, остановился.

Нечеловеческим усилием воли, шатаясь и едва пробиваясь сквозь сгрудившийся затор стоящих в проходе между скамейками,



Юрий Андреевич достиг задней площадки. Его не пропускали, на него огрызались. Ему показалось, что приток воздуха освежил его, что, может быть, еще не всё потеряно, что ему стало лучше.

Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчею, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал.

Поднялся шум, говор, споры, советы. Несколько человек сошло вниз с площадки и обступили упавшего. Скоро установили, что он больше не дышит и сердце у него не работает. К кучке вокруг тела подходили с тротуаров, одни успокаиваемые, другие разочаровываемые тем, что это не задавленный и что его смерть не имеет никакого отношения к вагону. Толпа росла. Подошла к группе и дама в лиловом, постояла, посмотрела на мертвого, послушала разговоры и пошла дальше. Она была иностранка, но поняла, что одни советуют внести тело в трамвай и везти дальше в больницу, а другие говорят, что надо кликнуть милицию. Она пошла дальше, не дождавшись, к какому придут решению.

Дама в лиловом была швейцарская подданная мадемуазель Флери из Мелюзеева, старая-престарая. Она в течение двенадцати лет хлопотала письменно о праве выезда к себе на родину. Совсем недавно ходатайство ее увенчалось успехом. Она приехала в Москву за выездной визой. В этот день она шла за ее получением к себе в посольство, обмахиваясь завернутыми и перевязанными ленточкой документами. И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай и, ничуть того не ведая, обогнала Живаго и пережила его.

## 13

Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в него наискось столом. Со стола в дверь грубо выдолбленным челном смотрел нижний суживающийся конец гроба, в который упирались ноги покойника. Это был тот же стол, на котором прежде писал Юрий Андреевич. Другого в комнате не было. Рукописи убрали в ящик, а стол поставили под гроб. Подушки изголовья были взбиты высоко, тело в гробу лежало как на поднятом кверху возвышении, горою.

Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах. Цветы загораживали свет из окон. Свет скупо просачивался сквозь наставленные цветы на восковое лицо и руки покойника, на дерево и обивку гроба. На столе лежал красивый узор теней, как бы только что переставших качаться.

Обычай сжигать умерших в крематории к тому времени широко распространился. В надежде на получение пенсии для детей, в заботе об их школьном будущем и из нежелания вредить положению Марины на службе отказались от церковного отпевания и решили ограничиться гражданской кремацией. В соответствующие организации было заявлено. Ждали представителей.

В их ожидании в комнате было пусто, как в освобожденном помещении между выездом старых и водворением новых жильцов. Эту тишину нарушали только чинные шаги на цыпочках и неосторожное шарканье прощающихся. Их было немного, но все же гораздо больше, чем можно было предположить. Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музыки нашлось еще большее количество неизвестных друзей, никогда не видавших человека, к которому их тянуло, и пришедших

впервые посмотреть на него и бросить на него последний прощальный взгляд.

В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакою церемонией, давило почти ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствующего обряда.

Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах, и, оделяя всех своей душистою силой, как бы что-то совершали.

Царство растений так легко представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника. (Она же, мнящи, яко вертоградарь есть...)

## 14

Когда покойника привезли по месту последнего жительства в Кармергерский, и извещенные и потрясенные известием о его смерти друзья вбежали с парадного в настезь раскрытую квартиру с ополоумевшей от страшной новости Мариной, она долгое время была сама не своя, валялась на полу, колотясь головой о край длинного лая с сиденьем и спинкою, который стоял в передней и на который положили умершего, до прибытия заказанного гроба и пока приводили в порядок неубранную комнату. Она заливалась слезами и шептала и вскрикивала, захлебываясь словами, половина которых ревом голошения вырывалась у нее помимо ее воли. Она заговаривалась, как причитают в народе, никого не стесняясь и не замечая. Марина уцепилась за тело и ее нельзя было оторвать от него, чтобы перенести покойника в комнату, прибранную и освобожденную от лишней мебели, и обмыть его и положить в доставленный гроб. Всё это было вчера. Сегодня неистовство ее страдания улеглось, уступив место тупой пришибленности, но она по-прежнему была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила.

Здесь просидела она остаток вчерашнего дня и ночь, никуда не отлучаясь. Сюда приносили ей покормить Клаву и приводили Капу с малолетней нянею, и уносили и уводили.

Ее окружали свои люди, одинаково с нею горевавшие Дудоров и Гордон. На эту скамью к ней присаживался отец, тихо всхлипывавший и оглушительно сморкавшийся Маркел. Сюда подходили к ней плакавшие мать и сестры.

И было два человека в людском наплыве, мужчина и женщина, из всех выделявшиеся. Они не напрашивались на большую близость к умершему, чем перечисленные. Они не тягались горем с Мариною, ее дочерьми и приятелями покойного, и оказывали им предпочтение. У этих двух не было никаких притязаний, но какие-то свои, совсем особые права на скончавшегося. Этих непонятных и негласных полномочий, которыми оба каким-то образом были облечены, никто не касался, никто не оспаривал. Именно эти люди взяли на себя, повидимому, заботу о похоронах и их устройстве с самого начала, и ими распоряжались с таким ровным спокойствием, точно это приносило им удовлетворение. Эта высота их духа бросалась всем в глаза и производила странное впечатление. Казалось, что эти люди причастны не только похоронам, но и этой смерти, не как ее виновники или косвенные причины, но как лица, после свершившегося давшие согласие на это событие, с ним примирившиеся, и не в нем видящие главную важность. Немногие знали этих людей, другие догадывались, кто они, третьи, и таких было большинство, не имели о них представления.

Но когда этот человек с пытливыми и возбуждающими любопыт-

ство узкими киргизскими глазами, и эта без старания красивая женщина входили в комнату, где находился гроб, все, кто сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, как по уговору, очищали помещение, сторонились, поднимались с расставленных вдоль стен стульев и табуретов и, теснясь, выходили в коридор и переднюю, а мужчина и женщина оставались одни за притворенными дверьми, как двое сведущих, призванных в тишине, без помех и ничем не обеспокоенно совершить нечто непосредственно относящееся к погребению и насущно важное. Так случилось и сейчас. Оба остались наедине, сели на два стоявших у стены табурета и заговорили по делу:

— Что вы узнали, Евграф Андреевич?

— Кремация сегодня вечером. Через полчаса за телом заедут из профсоюза медработников и отвезут в клуб профсоюза. На четыре назначена гражданская панихида. Ни одна из бумаг не была в порядке. Трудовая книжка оказалась просроченной, профсоюзный билет старого образца не был обменен, взносы несколько лет не уплачивались. Всё это пришлось улаживать. Отсюда волокита и запоздание. Перед выносом из дому, — кстати эта минута недалеко, надо готовиться, — я вас оставляю здесь одну, как вы просили. Простите. Слышите? Телефон. Минуту.

Евграф Живаго вышел в коридор, переполненный незнакомыми сослуживцами доктора, его школьными товарищами, низшими больничными служащими и книжными работниками, и где Марина с детьми, охватив их руками и накрыв полами накинутаго пальто (день был холодный и с парадного задувало), сидела на краю скамьи в ожидании, когда снова откроют двери, как пришедшая на свидание с арестованным ждет, когда часовой пустит ее в тюремную приемную. В коридоре было тесно. Часть собравшихся не помещалась в нем. Ход на лестницу был раскрыт. Множество народа стояло, расхаживало и курило в передней и на площадке. На спускающихся ступеньках лестницы разговаривали тем громче и свободнее, чем было ближе к улице. Напрягая слух вследствие сдержанного гула, Евграф приглушенным голосом, как требовало приличные, прикрывая ладонью отверстие трубки, давал ответы по телефону, вероятно, о порядке похорон и обстоятельствах смерти доктора. Он вернулся в комнату. Разговор продолжался.

— Не исчезайте, пожалуйста, после кремации, Лариса Федоровна. У меня к вам большая просьба. Я не знаю, где вы остановились. Не оставляйте меня в неизвестности, где вас разыскать. Я хочу в самое ближайшее время, завтра или послезавтра, заняться разбором братниных бумаг. Мне нужна будет ваша помощь. Вы так много знаете, наверное, больше всех. Вы вскозь обронули, будто только второй день из Иркутска, недолгим наездом в Москву, и что в эту квартиру поднялись по другому поводу, случайно, не ведая ни того, что брат жил тут последние месяцы, ни того, что тут произошло. Какой-то части ваших слов я не понял, и не прошу объяснений, но не пропадите, я не знаю вашего адреса. Всего лучше было бы эти несколько дней, посвященных разборке рукописей, провести под одной крышей или на небольшом расстоянии друг от друга, может быть в двух других комнатах дома. Это можно было бы устроить. Я знаю домуправа.

— Вы говорите, что меня не поняли. Что же тут непонятного? Приехала в Москву, сдала вещи в камеру хранения, иду по старой Москве, половины не узнаю, — забыла. Иду и иду, спускаюсь по Кузнецкому, подымаюсь по Кузнецкому переулку и вдруг что-то до ужаса, до крайности знакомое, — Камергерский. Здесь расстрелянный Антипов, покойный муж мой, студентом комнату снимал, именно вот эту комнату, где мы с вами сидим. Дай, думаю, наведаюсь, может быть, на мое счастье живы старые хозяева. Что их и в помине нет

и тут все по-другому, это ведь я потом узнала, на другой день и сегодня, постепенно из опросов, но ведь вы были при этом, зачем я рассказываю? Я была как громом сражена, дверь с улицы настезь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник. Какой покойник? Вхожу, подхожу, я думала,— с ума сошла, грежу, но ведь вы были всему свидетелем, не правда ли, зачем я вам это рассказываю?

— Погодите, Лариса Федоровна, я перебею вас. Я уже говорил вам, что я и брат и не подозревали того, сколько с этой комнатой связано удивительного. Того, например, что когда-то в ней жил Антипов. Но еще удивительнее одно прорвавшееся у вас выражение. Я сейчас скажу, какое,— простите. Об Антипове, по военно-революционной деятельности Стрельникове, я одно время, в начале Гражданской войны много и часто слышал, чуть не ежедневно, и раз или два видел его лично, не предвидя, как близко он меня когда-нибудь коснется по причинам семейным. Но, извините, может быть, я ослышался, мне показалось, будто вы сказали, и в таком случае это обмолвка,— «расстрелянный Антипов». Разве вы не знаете, что он застрелился?

— Такая версия ходит, но я ей не верю. Никогда Павел Павлович не был самоубийцей.

— Но ведь это совершенная достоверность. Антипов застрелился в домике, из которого, по рассказам брата, вы направились в Юртин для следования во Владивосток. Это случилось вскоре после вашего отъезда с дочерью. Брат подобрал застрелившегося, его хоронил. Неужели до вас не дошли эти сведения?

— Нет. У меня были другие. Так значит, правда, что он сам застрелился? Так многие говорили, а я не верила. В том самом домике? Быть не может! Какую важную подробность вы мне сообщили! Простите, вы не знаете, он и Живаго встретились? Говорили?

— По словам покойного Юрия, у них был долгий разговор.

— Неужели правда? Слава Богу. Так лучше (Антипова медленно перекрестилась).— Какое поразительное, свыше ниспосланное стечение обстоятельств! Вы позволите мне еще раз вернуться к этому и распросить вас обо всех частностях? Здесь дорога мне каждая мелочь. А сейчас я не в состоянии. Не правда ли? Я слишком взволнована. Я немного помолчу, передохну, соберусь с мыслями. Не правда ли?

— О, конечно, конечно. Пожалуйста.

— Не правда ли?

— Разумеется.

— Ах, ведь я чуть не забыла. Вы просите, чтобы после кремации я не уходила. Хорошо. Обещаю. Я не исчезну. Я вернусь с вами на эту квартиру и останусь, где вы мне укажете и сколько потребуется. Займемся просмотром Юрочкиных рукописей. Я помогу вам. Я правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким утешением! Я кровью сердца, каждой жилкою чувствую все повороты его почерка. Затем ведь и у меня есть к вам дело, вы мне понадобится, не правда ли? Вы кажется, юрист, или во всяком случае хороший знаток существующих порядков, прежних и нынешних. Кроме того, как важно знать, в какое учреждение надо обращаться за какою справокою. Не все в этом разбираются, не правда ли. Мне потребуется ваш совет по одному страшному, гнетущему поводу. Речь об одном ребенке. Но это после, после возвращения из крематория. Всю жизнь мне приходится кого-нибудь разыскивать, не правда ли. Скажите, если бы в каком-нибудь воображаемом случае было необходимо отыскание детских следов, следов сданного в чужие руки на воспитание ребенка, есть ли какой-нибудь общий, всеобщий архив существующих детских домов и делалась ли, предпринималась ли общегосударственная перепись или регистрация беспризорных? Но не отвечайте мне сейчас, умоляю вас. Потом, потом. О, как страшно, страшно! Ка-

кая страшная вещь жизнь, не правда ли. Я не знаю, как будет дальше, когда приедет моя дочь, но пока я могу побыть на этой квартире. У Катюши открылись замечательные способности, частью драматические, а с другой стороны и музыкальные, она чудесно всех копирует и разыгрывает целые сцены собственного сочинения, но кроме того, и поет по слуху целые партии из опер, удивительный ребенок, не правда ли. Я хочу отдать ее на подготовительные, начальные курсы театрального училища или консерватории, куда примут, и определить в интернат, я для того и приехала, покамест без нее, чтобы все наладить, а потом уеду. Разве всё расскажешь, не правда ли? Но об этом после. А сейчас я пережду, когда уляжется волнение, помолчу, соберусь с мыслями, попробую отогнать страхи. Кроме того, мы чудовищно задержали Юриных близких в коридоре. Мне два раза почудилось, что в дверь стучали. И там какое-то движение, шум. Наверное, приехали из похоронной организации. Пока я посижу и подумаю, растворите двери и впустите публику. Пора, не правда ли. Постойте, постойте. Надо скамеечку под гроб, а то до Юрочки не дотянуться. Я на цыпочках пробовала, очень трудно. А это ведь понадобится Марине Маркеловне и детям. И кроме того, требуется обрядом. «И целуйте меня последним целованием». О не могу, не могу. Как больно. Не правда ли.

— Сейчас я всех впущу. Но раньше вот что. Вы сказали столько загадочного и подняли столько вопросов, видимо, мучающих вас, что я затрудняюсь ответом. Одно хочу, чтобы вы знали. Охотно, от всей души предлагаю вам во всем, что вас заботит, свою помощь. И помните. Никогда, ни в каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастии. Бездейтельное отчаяние — забвение и нарушение долга. Сейчас я впущу прощающихся. Насчет скамейки вы правы. Я раздобуду и подставлю.

Но Антипова его уже не слышала. Она не слышала, как Евграф Живаго отворил дверь в комнату и в нее хлынула толпа из коридора, не слышала его переговоров с устроителями похорон и главными провожающими, не слышала шороха движущихся, рыдания Марины, покашливания мужчин, женских слез и вскриков.

Круговорот однообразных звуков укачивал ее, доводил до дурноты. Она крепилась изо всех сил, чтобы не упасть в обморок. Сердце у нее разрывалось, голову ломило. Поникнув головой, она погрузилась в гадания, соображения, воспоминания. Она ушла в них, затонула, точно временно, на несколько часов, перенеслась в какой-то будущий возраст, до которого еще неизвестно, доживет ли она, который старил ее на десятки лет и делал старухой. Она погрузилась в размышления, точно упала на самую глубину, на самое дно своего несчастия. Она думала:

«Никого не осталось. Один умер. Другой сам себя убил. И только остался жив тот, кого следовало убить, на кого она покушалась, но промахнулась, это чужое, ненужное ничтожество, превратившее ее жизнь в цепь ей самой неведомых преступлений. И это чудовище заурядности мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии, известным одним собирателям почтовых марок, а никого из близких и нужных не осталось.

Ах, да ведь это на Рождестве, перед задуманным выстрелом в это страшное пошлости было разговор в темноте с Пашей мальчиком в этой комнате, и Юры, с которым тут сейчас прощаются, тогда еще в ее жизни не было в помине».

И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике, и протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла.

Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел этот глазок проездом с улицы, и обратил на свечу внимание? Что с

этого, увиденного снаружи пламени, — «Свеча горела на столе, свеча горела» — пошло в его жизни его предназначение?

Ее мысли рассеялись. Она подумала: «Как жаль все-таки, что его не отпевают по-церковному! Погребальный обряд так величав и торжественен! Большинство покойников недостойны его. А Юрочка такой благодарный повод! Он так всего этого стоил, так бы это «надгробное рыдание творяще песнь алилуия» оправдал и окупил!

И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии и в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее. Она нетерпеливо встала с табурета, на котором сидела. Нечто не совсем понятное творилось с ней. Ей хотелось хоть ненадолго с его помощью вырваться на волю, на свежий воздух из пучины опутывавших ее страданий, испытать, как бывало, счастье освобождения. Таким счастьем мечталось, мерещилось ей счастье прощания с ним, случай и право одной вволю и беспрепятственно плакать над ним. И с поспешностью страсти она обвела толпу взглядом, надломленным болью, невидящим и полным слез, как от накапанных окулистом жгучих глазных капель, и все задвигались, засморкались, стали сторониться и выходить из комнаты, оставив ее, наконец, одну за закрытыми дверьми, а она, быстро крестясь на ходу, подошла к столу и гробу, поднялась на подставленную Евграфом скамейку, медленно положила на тело три широких креста и приложилась к холодному лбу и рукам. Она прошла мимо ощущения, что похолодевший лоб как бы уменьшился, как сжатая в кулачок рука, ей удалось этого не заметить. Она замерла, и несколько мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою, своими руками, большими, как душа.

Ее всю сотрясали сдерживаемые рыдания. Пока она могла, она им сопротивлялась, но вдруг это становилось выше ее сил, слезы прорывались у нее и она обдавала ими щеки, платье, руки и гроб, к которому она прижималась.

Она ничего не говорила, не думала. Ряды мыслей, общности, знания, достоверности привольно неслись, гнали через нее, как облака по небу и как во время их прежних ночных разговоров. Вот это-то, бывало, и приносило счастье и освобождение. Неголовное, горячее, друг другу внушаемое знание. Инстинктивное, непосредственное.

Таким знанием была полна она и сейчас, темным, неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже двадцать раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт сердца на этот счет, так что всё, что она чувствовала и делала у этого гроба, было впад и к стати.

О какая это была любовь, вольная, небывалая, ни на что не похожая! Они думали, как другие напевают.

Они любили друг друга не из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались.

Ах вот это, это вот ведь, и было главным, что их родило и объединяло! Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной.

Они дышали только этой совместностью. И потому превознесение человека над остальной природой, модное нынче с ним и человекопоклонство их не привлекали. Начала ложной общестственности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны.

## 16

И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения. Условностью данного случая, оправдывавшего натяжку ее легкой, непредвзятой беседы, были ее слезы, в которых тонули, купались и плавали ее житейские неспражничные слова.

Казалось именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвою, спутанной теплым дождем.

— Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай! О я не могу! И Господи! Реву и реву! Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дразги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части.

Прощай, большой и родной мой, прощай моя гордость, прощай моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны.

Помнишь, прощалась я с тобой тогда там, в снегах? Как ты обманул меня! Разве я поехала бы без тебя? О, я знаю, я знаю, ты это сделал через силу, ради моего воображаемого блага. И тогда всё пошло прахом. Господи, что я испила там, что вынесла! Но ведь ты ничего не знаешь. О, что я наделала, Юра, что я наделала! Я такая преступница, ты понятия не имеешь! Но я не виновата. Я тогда три месяца пролежала в больнице, из них один без сознания. С тех пор не житье мне, Юра. Нет душе покоя от жалости и муки. Но ведь я не говорю, не открываю главного. Назвать это я не могу, не в силах. Когда я дохожу до этого места своей жизни, у меня шевелятся волосы на голове от ужаса. И даже, знаешь, я не поручусь, что я вполне нормальна. Но видишь, я не пью, как многие, не вступаю на этот путь, потому что пьяная женщина это уже конец, это что-то немислимое, не правда ли.

И она что-то говорила еще и рыдала и мучилась. Вдруг она удивленно подняла голову и огляделась. В комнате давно были люди, озабоченность, движение. Она спустилась со скамейки и, шатаясь, отошла от гроба, проведя ладонью по глазам и как бы отжимая недоплаканный остаток слез, чтобы рукой стряхнуть их на пол.

К гробу подошли мужчины и подняли его на трех полотенцах. Начался вынос.

## 17

Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском. Разбор бумаг, о котором была речь с Евграфом Андреевичем, был начат с ее участием, но не доведен до конца. Состоялся и ее разговор с Евграфом Андреевичем, о котором она его просила. Он узнал от нее что-то важное.

Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера.

*Часть шестнадцатая*

## ЭПИЛОГ

## 1

Летом тысяча девятьсот сорок третьего года, после прорыва на Курской дуге и освобождения Орла возвращались порознь в свою общую войсковую часть недавно произведенный в младшие лейтенанты Гордон и майор Дудоров, первый из служебной командировки в Москву, а второй оттуда же из трехдневного отпуска.

На обратном пути оба съехались и заночевали в Черни, маленьком городке, хотя и разоренном, но не совершенно уничтоженном, подобно большинству населенных мест этой «зоны пустыни», стертых с лица земли отступавшим неприятелем.

Среди городских развалин, представлявших груды ломаного кирпича и в мелкую пыль истолченного щебня, нашелся неповрежденный сеновал, на котором оба и залегли с вечера.

Им не спалось. Они проговорили всю ночь. На рассвете часа в три задремавшего было Дудорова разбудила копотня Гордона. Неловкими движениями, как на воде, ныряя и переваливаясь в мягком сене, он собирал в узелок какие-то носильные пожитки, а потом так же косолапо стал сползать с вершины сенной горы к порогу сеновала и выходу.

— Ты куда это снаряжился? Рано еще.

— На речку схожу. Хочу кое-что на себе постирать.

— Вот сумасшедший. Вечером будем в части, бельевица Танька смену выдаст. Зачем нетерпячку подымать.

— Не хочу откладывать. Пропотел, заносился. Утро жаркое. Наскоро выполощу, хорошо выжму, мигом на солнце высохнет. Искупаюсь, переоденусь.

— Все-таки знаешь, неудобно. Согласись, офицер ты, как никак.

— Рано. Все спят кругом. Я где-нибудь за кустиком. Никто не увидит. А ты спи, не разговаривай. Сон разгуляешь.

— Я и так больше не усну. Я с тобою пойду.

И они пошли на речку мимо белых, уже успевших накалиться на жарком, только что взошедшем солнце, каменных развалин. Посреди бывших улиц, на земле, на самом солнцепеке спали потные, храпящие, раскрасневшиеся люди. Это были в большинстве местные, оставшиеся без крова, старики, женщины и дети, редко — отбившиеся и нагоняющие свои подразделения одиночки красноармейцы. Гордон и Дудоров осторожно, все время глядя под ноги, чтобы не наступить на них, ступали между спящими.

— Говори потише, а то разбудим город и тогда прощай моя стирка.

И они вполголоса продолжали свой ночной разговор

## 2

— Что это за река?

— Не знаю. Не спрашивал. Вероятно, Зуша.

— Нет, не Зуша. Какая-то другая.

— Ну тогда не знаю.

— На Зуше-то ведь это все и случилось. С Христиной.

— Да, но в другом месте течения. Где-то ниже. Говорят церковь ее к лику святых причла.

— Там было каменное сооружение, получившее имя «Конюшни». Действительно, совхозная конюшня конского завода, нарицательное название, ставшее историческим. Старинная, толстостенная. Немцы укрепили ее и превратили в неприступную крепость. Из нее хорошо



простреливалась вся местность, чем задерживалось наше наступление. Конюшню надо было взять. Христина чудом храбрости и находчивости проникла в немецкое расположение, взорвала конюшню, живою была схвачена и повешена.

— Отчего Христина Орлецова, а не Дудорова?

— Мы ведь еще не были женаты. Летом сорок первого года мы дали друг другу слово пожениться по окончании войны. После этого я кочевал вместе с остальной армией. Мою часть без конца переводили. За этими перемещениями я утерял ее из виду. Больше я ее не видел. О ее доблестном деле и героической смерти я узнал, как все. Из газет и полковых приказов. Где-то здесь, говорят, думают ей поставить памятник. Брат покойного Юрия, генерал Живаго, я слышал, объезжает эти места и собирает о ней сведения.

— Прости, что я навел тебя на разговор о ней. Для тебя это должно быть тяжело.

— Не в этом дело. Но мы заболтались. Я не хочу мешать тебе. Раздевайся, лезь в воду и займись своим делом. А я растянусь на берегу со стельком в зубах, пожую — подумаю, может быть, вздремну.

Спустя несколько минут разговор возобновился.

— Где ты так стирать научился?

— Нужда научит. Нам не повезло. Из штрафных лагерей мы попали в самый ужасный. Редкие выживали. Начиная с прибытия. Партию вывели из вагона. Снежная пустыня. Вдалеке лес. Охрана, опущенные дула винтовок, собаки овчарки. Около того же часа в разное время пригнали другие новые группы. Построили широким многоугольником во все поле, спинами внутрь, чтобы не видали друг друга. Скомандовали на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам, и началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся, унижительная процедура переключки. И все на коленях. Потом встали, другие партии развели по пунктам, а нашей объявили: «Вот ваш лагерь. Устраивайтесь, как знаете». Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись «Гулаг 92 Я Н 90» и больше ничего.

— Нет, у нас легче было. Нам посчастливилось. Ведь я вторую отсидку отбывал, которую влечет за собой первая. Кроме того, и статья другая, и условия. По освобождении меня снова восстановили, как в первый раз, и сызнова позволили читать в университете. И на войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя.

— Да. Столб с цифрой «Гулаг 92 Я Н 90» и больше ничего. Первое время в мороз голыми руками жердинник ломали на шалаши. И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились. Нарубили себе темниц, обнесли частокколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками,— все сами. И началась лесозаготовка. Валка леса. Лес валили. Восьмером впрягались в сани, на себе возили бревна, по грудь проваливались в снег. Долго не знали, что разразилась война. Скрывали. И вдруг — предложение. Охотникам штрафными на фронт, и в случае выхода целыми из нескончаемых боев каждому — воля. И затем атаки и атаки, километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали. До одного выкашивало. Как я выжил? Как я выжил? Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем по чему-то другому.

— Да, брат, хлебнул ты горя.

— Тут не то что стирать, тут чему хочешь научишься.

— Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в благополучии университетской деятель-

ности, книг, денег, удобств, война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления.

Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидно. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале.

И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы.

Люди не только в твоём положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всю грудь, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной.

— Война — особое звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота. Стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения.

Эти наблюдения преисполняют меня чувством счастья, несмотря на мученическую смерть Христины, на мои ранения, на наши потери, на всю эту дорогую кровавую цену войны. Снести тяжесть смерти Орлецовой помогает мне свет самопожертвования, которым озарен и ее конец, и жизнь каждого из нас.

Как раз, когда ты, бедняга, переносил свои неисчислимые пытки, я вышел на свободу. Орлецова в это время поступила на истфак. Род ее научных интересов привел ее под мое руководство. Я давно уже раньше, после первого заключения в концлагерь, когда она была ребенком, обратил внимание на эту замечательную девушку. Еще при жизни Юрия, помнишь, я рассказывал. Ну вот, теперь, значит, она попала в число моих слушательниц.

Тогда обычай проработки преподавателей учащимися только что вошел в моду. Орлецова с жаром на нее набросилась. Одному Богу известно, за что она меня так яростно разносила. Ее нападки были так упорны, воинственны и несправедливы, что остальные студенты кафедры иногда восставали и за меня вступались. Орлецова была замечательной юмористкой. Она под вымышленной фамилией, под которой все меня узнавали, высмеивала меня сколько душе угодно в стенгазете. Вдруг по совершенной случайности выяснилось, что эта закоренелая вражда есть форма маскировки молодой любви, прочной, прячущейся и давней. Я всегда отвечал ей тем же.

У нас было чудное лето в сорок первом году, первом году войны, в самый канун ее и вскоре после ее объявления. Несколько человек молодежи, студентов и студентов, и она в том числе, поселились в дачной местности под Москвой, где потом расположилась моя часть. Наша дружба завязалась и протекала в обстановке их военного обучения, формирования пригородных отрядов ополчения, парашютной тренировки Христины, ночного отражения первых немецких налетов с московских городских крыш. Я уже говорил тебе, что тут мы отпраздновали нашу помолвку и вскоре разлучены были моими начавшимися передвижениями. Больше я ее не видел.

Когда в наших делах наметился благоприятный перелом и немцы стали сдаваться тысячами, меня после дважды полученного ранения и двукратного пребывания в госпитале перевели из зенитной артиллерии в седьмой отдел штаба, где требовались люди со знанием иност-

ранних языков, куда я настоял чтобы и тебя откомандировали, после того как раздобыл тебя как со дна морского.

— Бельевщица Таня хорошо знала Орлецову. Они сошлись на фронте и были подругами. Она много рассказывает про Христину. У этой Тани манера улыбаться во все лицо, как была у Юрия, ты заметил? На минуту пропадает курносость, угловатость скул, лицо становится привлекательным, миловидным. Это один и тот же тип, очень у нас распространенный.

— Я знаю, о чем ты говоришь. Пожалуй. Я не обращал внимания.

— Какая варварская, безобразная кличка Танька Безочередева. Это во всяком случае не фамилия, а что-то придуманное, искаженное. Как ты думаешь?

— Так ведь она объясняла. Она из беспризорных, неизвестных родителей. Наверное, где-то в глубине России, где еще чист и нетронут язык, звали ее безотчею, в том смысле, что без отца. Улица, которой было непонятно это прозвище и которая все ловит на слух и все перевирает, переделала на свой лад это обозначение, ближе к своему злободневному площадному наречию.

## 3

Это было в разрушенном до основания городе Карачеве, в скором времени после ночевки Гордона и Дудорова в Черни и их тамошнего ночного разговора. Здесь, нагоняя свою армию, приятели застали кое-какие ее тылы, следовавшие за главными силами.

Стояла больше месяца не прерывавшаяся ясная и тихая погода жаркой осени. Обданная жаром синего безоблачного неба, черная, плодородная земля Брынщины, благословенного края между Орлом и Брянском, смуглела на солнце поколадно-кофейным отливом.

Город прорезала главная прямая улица, сливавшаяся с трассой большой дороги. С одной стороны ее лежали обрушенные дома, превращенные минами в кучи строительного мусора, и вывороченные, расщепленные и обгорелые деревья сровненных с землею фруктовых садов. По другую сторону, через дорогу, тянулись пустыри, может быть, мало застроенные и раньше, до разгрома города, и более пощаженные пожаром и порохowymi взрывами, потому что здесь нечего было уничтожать.

На прежде застроенной стороне бесприютные жители ковырялись в кучах недогоревшей золы, что-то откапывали и сносили из дальних углов пожарища в одно место. Другие наскоро рыли себе землянки и резали землю пластами для обкладки верхней части жилья дерном.

На противоположной, незастроенной стороне, белели палатки и теснились грузовики и конные фургоны всякого рода служб второго эшелона, оторвавшиеся от своих дивизионных штабов полевые госпитали, заблудившиеся, перепугавшиеся и разыскивающие друг друга отделы всевозможных парков, интендантств и провиантских складов. Тут же опрастывались, примащивались подкрепиться, отсыпались и затем плелись дальше на запад тощие худосочные подростки из маршевых рот пополнения, в серых пилюльках и тяжелых серых скатках, с испитыми, землистыми, дизентерией обескровленными лицами.

Наполовину обращенный в пепел и взорванный город продолжал гореть и рваться вдали, в местах залегания мин замедленного действия. То и дело копавшиеся в садах прерывали работу, остановленные отраженным сотрясением земли под ногами, распрямляли согнутые спины, опирались на ручки заступов и, повернувши голову в направлении разразившегося взрыва, отдыхали, долго глядя в ту сторону.

Там сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими напыльями восходили к небу серые, черные, кирпично-красные и дымно-огненные облака поднятого на воздух мусора, расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю. И работавшие снова брались за работу.

Одну из полян на незастроенной стороне окаймляли кусты и покрывали сплошной тенью росшие на ней старые деревья. Этой растительностью поляна отгораживалась от остального мира, как стоящий особняком и погруженный в прохладный сумрак крытый двор.

На поляне бельевщица Таня с двумя или тремя однополчанами и несколькими напросившимися попутчиками, а также Гордон и Дудоров дожидались с утра грузовика, высланного за Танею и порученным ей полковым имуществом. Оно размещено было в нескольких стоявших на поляне и горой наставленных ящиках. Татьяна стерегла их и ни на шаг от них не отходила, но и другие держались вблизи от ящиков, чтобы не проворонить возможности уехать, когда она представится.

Ожидание длилось давно, больше пяти часов. Ожидающим нечего было делать. Они слушали неумолчную трескотню словоохотливой и выдавшей виды девушки. Только что она рассказала о своей встрече с генерал-майором Живаго:

— Как же. Вчерашний день. К генералу меня лично водили. К генерал-майору Живаго. Он тут проездом насчет Христи интересовался, опрашивал. Очных свидетелей, которые в лицо ее знали. Показали ему на меня. Говорят,— подружка. Велел вызвать. Ну вызвали, привели. Совсем не страшный. Ничего особенного, как все. Косоглазый, черный. Ну, я что знала, выложила. Выслушал, говорит, спасибо. А сама ты, говорит, откуда и каковская? Я, естественное дело, туда-сюда, отнекиваться. Чем похвалиться? Беспризорная. И вообще. Сами знаете. Исправдомы, бродяжество. А он ни в какую, валяй, говорит, без стеснения, какой тут стыд. Ну, я по робости сперва слово-два, дальше больше, кивает он, я осмелела. А мне есть что порассказать. Кабы вы услышали, не поверили, сказали бы,— выдумывает. Ну, то же вот и он. Как я кончила, он встал, по избе шагает из угла в угол. Скажи, говорит, на милость, какие чудеса. Ну вот что, говорит. Теперь мне некогда. А я тебя найду, не беспокойся, найду и еще раз позову. Просто не думал я, что услышу. Я тебя, говорит, так не оставляю. Тут еще надо будет кое-что выяснить, разные подробности. А то, говорит, чего доброго, я еще в дядя тебе запишусь, произведу тебя в генеральские племянницы. И в обучение отдам в вуз, в какое захочешь. Ей Богу, правда. Такие веселые насмешники.

В это время на поляну въехала длинная порожняя подвода с высокими боками, на каких в Польше и Западной России возят снопы. Парою лошадей в дышельной упряжке правил военнослужащий, по старинной терминологии фурлейт, солдат конного обоза. Он въехал на поляну, соскочил с передка и стал выпрягать лошадей. Все, кроме Татьяны и нескольких солдат, обступили возницу, упрямивая его не распрягать, и повезти их, куда они укажут, конечно, за деньги. Солдат отказывался, потому что не имел права распоряжаться лошадьми и подводой и должен был повиноваться полученным нарядам. Он куда-то увел распряженных лошадей и больше не появлялся. Все сидевшие на земле поднялись и пересели на оставшуюся на поляне пустую подводу. Рассказы Татьяны, прерванные появлением телеги и переговорами с возницею, возобновились.

— Что ты рассказала генералу,— спросил Гордон.— Если можешь, повтори нам.

— Что же, можно.

И она рассказала им свою страшную историю.

#### 4

— А мне правда есть что порассказать. Будто не из простых я, сказывали. Чужие ли мне это сказали, сама ли я это в сердце сберегла, только слышала я, будто маменька моя, Раиса Комарова, женой были скрывающегося министра русского в Беломонголии, товарища Комарова. Не отец, не родной мне был, надо полагать, этот самый Комаров. Ну, конечно, я девушка неученая, без папи, без мами росла си-

ротой. Вам, может быть, смешно, что я говорю, ну только говорю я, что знаю, надо войти в мое положение.

Да. Так значит было все это, про что я вам дальше расскажу, это было за Крушицами, на другом конце Сибири, по ту сторону казачины, поближе к Китайской границе. Когда стали мы, то есть, наши красные, к ихнему главному городу белому подходить, этот самый Комаров министр посадил маменьку со всей ихней семьей в особенный поезд литерный и приказали увезть, ведь маменька были пуганые и без них не смели шагу ступить.

А про меня он даже не знал, Комаров. Не знал, что я такая есть на свете. Маменька меня в долгой отлучке произвели и смертью обмирали, как бы кто об том ему не проболтался. Он ужась как того не любил, чтобы дети, и кричал и топал ногами, что это одна грязь в доме и беспокойство. Я, кричал, этого терпеть не могу.

Ну вот, стало быть, как стали подходить красные, послали маменька за сторожкой Марфой на разъезд Нагорную, это от того города в трех перегонах. Я сейчас объясню. Сперва станция Низовая, потом разъезд Нагорная, потом Самсоновский перевал. Я теперь так понимаю откуда маменька знали сторожику? Думается торговала сторожика Марфа в городе зеленью, возила молоко. Да.

И вот я скажу. Видно я тут чего-то не знаю. Думается маменьку обманули, не то сказали. Расписали Бог знает что, мол, на время, на два дни, пока суматоха уляжется. А не то чтобы в чужие руки навсегда. Навсегда в воспитание. Не могла бы так маменька отдать родное дитя.

Ну, дело, известно, детское. Подойди к тете, тетя даст пряник, тетя хорошая, не бойся тети. А как я потом в слезах билась, какой тоской сердечко детское изошло, про то лучше не поминать. Вешаться я хотела, чуть я во младенчестве с ума не сошла. Маленькая ведь я еще была. Верно денег дали тете Марфуше на мое пропитание, много денег.

Двор при посту был богатый, корова да лошадь, ну птица там разумеется разная, под огородом в полосе отчуждения сколько хочешь земли, и само собою даровая квартира, сторожка казенная при самой путе. От родных мест снизу поезд еле-еле взбирался, насилиу перемогал подъем, а от вас из Расеи шибко раскатывался, надо было тормоза. Внизу осенью, когда лес редел, видно было станцию Нагорную как на блюдечке.

Самого, дядю Василия, я по крестьянскому тятенькой звала. Он был человек веселый и добрый, ну только слишком доверяющий и под пьяную руку такой трезвон про себя подымал, как говорится, — свинья борову, а боров всему городу. Всю душу первому встречному выбалтывал.

А сторожихе никогда язык у меня не поворачивался мамка сказать. Маменьку ли я свою забыть не могла, или еще почему, ну только была эта тетя Марфуша такая страшная. Да. Звала я, значит, сторожику тетей Марфушей.

Ну, и шло время. Годы прошли. А сколько, не помню. С флаком я тогда уже к поезду стала выбегать. Лошадь распречь или за коровой сходить было мне не диво. Прясть меня тетя Марфуша учила. А про избу нечего и говорить. Пол там подмести, прибрать, или что-нибудь сготовить, тесто замесить, это было для меня пустое, это все я умела. Да, забыла я сказать, Петеньку я нянчила, Петенька у нас был сухие ножки, трех годков, лежал, не ходил, нянчила я Петеньку. И вот сколько годов прошло, мурашки по мне бегают, как косилась тетя Марфуша на здоровые мои ноги, зачем, дескать, не сухие, лучше бы у меня сухие, а не у Петеньки, будто сглазила, испортила я Петеньку, вы подумайте, какая бывает на свете злость и темнота.

Теперь слушайте, это, как говорится, еще цветочки, дальше что будет, вы просто ахнете.

Тогда эсп был, тогда тысяча рублей в копейку ходила. Продал Василий Афанасьевич внизу корову, набрал два мешка денег,— керенки назывались, виновата, нет,— лимоны, назывались лимоны,— выпил и пошел про свое богатство по всей Нагорной звонить.

Помню, ветреный был день осенний, ветер крышу рвал и с ног валил, паровозы подъема не брали, им навстречу ветер дул. Вижу я, идет сверху старушка странница, ветер юбку и платок треплет.

Идет странница, стонет, за живот хватается, попросилась в дом. Положили ее на лавку,— ой, кричит, не могу, живот подвело, смерть моя пришла. И просит: отвезите меня Христа ради в больницу, заплачу я, не пожалею денег. Запрёт тятенька Удалого, положил старушку на телегу и повез в земскую больницу, от нас от линии в сторону пятнадцать верст.

Долго ли, коротко ли, ложимся мы с тетей Марфушей спать, слышим, заржал Удалой под окном, вкатывает во двор наша телега. Чтойто больно слишком рано. Ну. Раздула тетя Марфуша огня, кофту накинула, не стала дожидаться, когда тятенька в дверь стукнет, сама откидывает крючок.

Откидывает крючок, а на пороге никакой не тятенька, а чужой мужик черный и страшный, и говорит: «Покажи, говорит, где за корову деньги. Я, говорит, в лесу мужа твоего порешил, а тебя, бабу, пожалею, коли скажешь, где деньги. А коли не скажешь, сама понимаешь, уж не взъщи. Лучше со мной не вольтань. Некогда мне тут с тобой проклажаться».

Ой батюшки светы, дорогие товарищи, что с нами сделалось, войдите в наше положение! Дрожим, ни живы ни мертвы, язык отнялся от ужаса, какие страсти! Первое дело Василия Афанасьевича он убил, сам говорит, топором зарубил. А вторая беда: одни мы с разбойником в сторожке, разбойник в доме у нас, ясное дело разбойник.

Тут видно у тети Марфуши мигом разум отшибло, сердце за мужа надорвалось. А надо держаться, нельзя виду показывать.

Тетя Марфуша сначала ему в ноги. Помилуй, говорит, не губи, знать не знаю, ведать не ведаю я про твои деньги, про что говоришь ты, в первый раз слышу. Ну да разве так прост он, окаянный, чтобы от него словами отделаться. И вдруг мысль ей вскочила в голову, как бы его перехитрить. «Ну ин ладно, говорит, будь по твоему. Под полом, говорит, выручка. Вот я творило подыму, лезь, говорит, под пол». А он, нечистый, ее хитрости насквозь видит. «Нет, говорит, тебе, хозяйке, ловчей. Лезь, говорит, сама. Хушь под пол лезь, хушь на крышу лезь, да только чтобы были мне деньги. Только, говорит, помни, со мной не лукавь, со мной шутки плохи».

А она ему: «Да Господь с тобой, что ты сумлеваешься. Я бы рада сама, да мне неспособно. Я тебе лучше, говорит, с верхней ступеньки посвечу. Ты не бойся, я для твоей верности вместе с тобой дочку вниз спущу», это, стало быть, меня.

Ой батюшки дорогие товарищи, сами подумайте, что со мной сделалось, как я это услышала! Ну, думаю, конец. В глазах у меня помутилось, чувствую, падаю, ноги подгибаются.

А злодей опять, не будь дурак, на нас обоих один глаз скосил, прищурился и криво так во весь рот оскалился, шалишь, мол, не проведешь. Видит, что не жалко ей меня, стало не родня, чужая кровь, и хват Петеньку на руку, а другою за кольцо, открывает лаз,— свети, говорит, и ну с Петенькой по лесенке под землю.

И вот я думаю, тетя Марфуша уже тогда спятивши была, ничего не понимала, тогда уже была в повреждении ума. Только он злодей с Петенькой под выступ пола ушел, она творило, то есть это крышку лаза назад в раму хлоп, и на замок, и тяжеленный сундучище надвигает на люк и мне кивает, пособи, мол, не могу, тяжело. Надвинула, и сама на сундук, сидит, дура, радуется. Только она на сундук села, изнутри ей разбойник голос подает и снизу в пол стук-стук, дескать,

лучше выпусти добром, а то сейчас буду я твоего Петеньку кончать. Слов-то сквозь толстые доски не слышно, да в словах ли толк. Он голосищем хуже лесного зверя ревел, страх наводил. Да, кричит, сейчас твоему Петеньке будет конец. А она ничего не понимает. Сидит, смеется, мне подмигивает. Мели, мол, Емеля, твоя неделя, а я на сундуке и ключи у меня в кулаке. Я тетю Марфушу и так и сяк. В уши ору, с сундука валяю, хочу спихнуть. Надо подпол открыть, Петеньку выручить. Да куда мне! Нешто я с ней слажу?

Ну стучит он в пол, стучит, время-то идет, а она с сундука глазами вертит, не слушает.

По прошествии время — ой батюшки, ой батюшки, всего-то я в жизни навидалась-натерпелась, такой страсти не запомню, век буду жить, век буду слышать Петенькин голосок жалостный, — закричал-застонал из-под земли Петенька ангельская душенька, — загрыз ведь он его на смерть, окаянный.

Ну что мне, ну что мне теперь делать, думаю, что мне делать со старухой полоумною и разбойником этим душегубом? А время-то идет. Только я это подумала, слышь под окном Удалой заржал, нераспряженный ведь он все время стоял. Да. Заржал Удалой, словно хочет сказать, давай, Танюша, скорей к добрым людям поспачем, помощь позовем. А я гляжу, дело к рассвету. Будь по-твоему, думаю, спасибо, Удалой, надоумил, — твоя правда, давай слетаем. И только я это подумала, чу, слышу, словно мне опять кто из лесу: «Погоди, не торопись, Танюша, мы это дело по-другому обернем». И опять я в лесу не одна. Словно бы петух по-родному пропел, знакомый паровоз снизу меня свистком аукнул, я этот паровоз по свистку знала, он в Нагорной всегда под парами стоял, толкачем назывался, товарные на подъеме подпихивать, а это смешанный шел, каждую ночь он в это время мимо проходил, — слышу я, стало быть, снизу меня знакомый паровоз зовет. Слышу, а у-самой сердце прыгает. Нужли, думаю, и я вместе с тетей Марфушей не в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная ясным русским языком говорит?

Ну да где тут думать, поезд-то уж близко, думать некогда. Схватила я фонарь, не больно-то ведь как развиднело, и как уторелая на рельсы, на самую середку, стою промеж рельс фонарем размахиваю взад и вперед.

Ну что тут говорить. Остановила я поезд, спасибо он из-за ветра тихо-тихо, ну просто сказать, тихим шагом шел. Остановила я поезд, машинист знакомый из будки в окошко высунулся, спрашивает, не слышно, что спрашивает, — ветер. Я машинисту кричу, нападение на железнодорожный пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме, заступитесь, товарищ дяденька, требуется спешная помощь. А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы на полотно один за другим, воинский был поезд, да, красноармейцы на полотно, говорят «в чем дело?», удивляются, что за притча поезд в лесу на крутом подъеме ночью остановили, стоит.

Узнали они про все, вытащили разбойника из погреба, он потоньше Петеньки тоненьким голоском пищит, смилуйтесь, говорит, люди добрые, не губите, больше не буду. Вытащили его на шпалы, руки ноги к рельсам привязали и по живому поезд провели — самосуд.

Уж я в дом за одежей не ворочалась, так было страшно. Попросилась: возьмите меня, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли. Я потом, не соврать, полземли чужой и нашей объездила с беспризорными, где только не была. Вот раздолье, вот счастье узнала я после горя моего детского! Но, правда, и беды всякой много и греха. Да ведь это все потом было, это я в другой раз расскажу. А тогда с поезда служащий железнодорожный в сторожку сошел, казенное имущество принять и об тете Марфуше сделать распоряжение, ее жизнь устроить. Говорят, она потом в сумасшедшем доме в безумии померла. А другие говорили, поправилась, выходилась.

Долго после услышанного Гордон и Дудоров в безмолвии расхаживали по лужайке. Потом прибыл грузовик, неуклюже и громоздко завернул с дороги на поляну. На грузовик стали погружать ящики. Гордон сказал:

— Ты понял, кто это, эта бельевщица Таня?

— О, конечно.

— Евграф о ней позаботится.— Потом, немного помолчав, прибавил: — Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, — грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это Блоковское «Мы, дети страшных лет России», и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптические, а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным, и дети — дети, и страхи страшны, вот в чем разница.

### 5

Прошло пять или десять лет, и однажды тихим летним вечером сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримую вечернюю Москву. Они перелистывали составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний, не раз ими читанную, половину которой они знали наизусть. Читавшие перекидывались замечаниями и предавались размышлениям. К середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать, пришлось зажечь лампу.

И Москва внизу и вдали, родной город автора и половины того, что с ним случилось, Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главной героиней длинной повести, к концу которой они подошли, с тетрадью в руках в этот вечер.

Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание.

Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их и охватывало неслышною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение.

## Часть семнадцатая

### СТИХОТВОРЕНИЯ ЮРИЯ ЖИВАГО

1

#### Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмости.  
 Прислонясь к дверному косяку,  
 Я ловлю в далеком отголоске  
 Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи  
 Тысячью биноклей на оси.  
 Если только можно, Авва Отче,  
 Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый  
 И играть согласен эту роль.



Но сейчас идет другая драма,  
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,  
И неотвратим конец пути.  
Я один, все тонет в фарисействе.  
Жизнь прожить — не поле перейти.

2

### Март

Солнце греет до седьмого пота,  
И бушует, одурев, овраг.  
Как у дюжей скотницы работа,  
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем  
В веточках бессильно синих жил.  
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,  
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!  
Дробь капелей к середине дня,  
Кровельных сосулек худосочье,  
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь все, конюшня и коровник,  
Голуби в снегу клюют овес,  
И всего живитель и виновник,—  
Пахнет свежим воздухом навоз.

3

### На Страстной

Еще кругом ночная мгла.  
Еще так рано в мире,  
Что звездам в небе нет числа,  
И каждая, как день, светла,  
И если бы земля могла,  
Она бы Пасху проспала  
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.  
Такая рань на свете,  
Что площадь вечностью легла  
От перекрестка до угла,  
И до рассвета и тепла  
Еще тысячелетье.

Еще земля голым-гола,  
И ей ночами не в чем  
Раскачивать колокола  
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга  
Вплоть до Страстной субботы  
Вода буравит берега  
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,  
И на Страстях Христовых,  
Как строй молящихся, стоит  
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом  
Пространстве, как на сходке,  
Деревья смотрят нагишом  
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.  
Понятна их тревога.  
Сады выходят из оград,  
Колеблется земли уклад:  
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,  
И черный плат, и свечек ряд,  
Заплаканные лица —  
И вдруг навстречу крестный ход  
Выходит с плащаницей,  
И две березы у ворот  
Должны посторониться.

И шествие обходит двор  
По краю тротуара,  
И вносит с улицы в притвор  
Весну, весенний разговор  
И воздух с привкусом просфор  
И вешнего угара.

И март разбрасывает снег  
На паперти толпе калек,  
Как будто вышел человек,  
И вынес, и открыл ковчег,  
И все до нитки роздал.

И пенье ддится до зари,  
И, нарыдаввшись вдопсталь,  
Доходят тише изнутри  
На пустыри под фонари  
Псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,  
Заслышав слух весенний,  
Что только-только распогодь,  
Смерть можно будет побороть  
Усиьем Воскресенья.

4

### **Белая ночь**

Мне далекое время мерещится,  
Дом на Стороне Петербургской.  
Дочь степной небогатой помещицы,  
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Ты — мила, у тебя есть поклонники.  
Этой белою ночью мы оба,  
Примостясь на твоём подоконнике,  
Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые,  
Утро тронуло первую дрожью.  
То, что тихо тебе я рассказываю,  
Так на спящие дали похоже.

Мы охвачены тою же самою  
Оробелою верностью тайне,  
Как раскинувшийся панорамною  
Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,  
Этой ночью весеннею белой,  
Соловьи славословьем грохочущим  
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится,  
Голос маленькой птички ледащей  
Пробуждает восторг и сумятицу  
В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей  
Пробирается ночь вдоль забора,  
И за ней с подоконника тянется  
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной  
По садам, огороженным тесом,  
Ветви яблоньвые и вишненные  
Одеваются цветом белёсым.

И деревья, как призраки, белые  
Высыпают толпой на дорогу,  
Точно знаки прощальные дела  
Белой ночи, выдавшей так много.

## 5

**Весенняя распутица**

Огни заката догорали.  
Распутицей в бору глухом  
В далекий хутор на Урале  
Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой,  
И звону шлепавших подков  
Дорогой вторила вдогонку  
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья  
И шагом ехал верховой,  
Прокатывало половодье  
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,  
Крошились камни о кремни,  
И падали в водовороты  
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,  
В далекой прочерни ветвей,  
Как гулкий колокол набата  
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовый свой повойник  
Клонила, свесивши в овраг,  
Как древний соловей-разбойник  
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе  
 Предназначался этот пыл?  
 В кого ружейной крупной дробью  
 Он по чащобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим  
 С привала беглых каторжан  
 Навстречу конным или пешим  
 Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле  
 Ловили этот редкий звук,  
 Размеренные эти доли  
 Безумья, боли, счастья, мук.

✠

### Объяснение

Жизнь вернулась так же беспричинно,  
 Как когда-то странно прервалась,  
 Я на той же улице старинной,  
 Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди и заботы те же,  
 И пожар заката не остыл,  
 Как его тогда к стене Манежа  
 Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе  
 Так же ночью топчут башмаки.  
 Их потом на кровельном железе  
 Так же распинают чердаки.

Вот одна походкою усталой  
 Медленно выходит на порог  
 И, поднявшись из полуподвала,  
 Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,  
 И опять все безразлично мне.  
 И соседка, обогнув задворки,  
 Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ,  
 Не собирай их в складки.  
 Разбередишь присохший струп  
 Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,  
 Мы провода под током.  
 Друг к другу вновь, того гляди,  
 Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,  
 Забудешь неустройства.  
 Быть женщиной — великий шаг,  
 Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,  
 Спины, и плеч, и шеи

И так с привязанностью слуг  
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь  
Меня кольцом тоскливым,  
Сильней на свете тяга прочь  
И манит страсть к разрывам.

7

### Лето в городе

Разговоры вполголоса  
И с поспешностью пылкой  
Кверху собраны волосы  
Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого  
Смотрит женщина в шлеме,  
Запрокинувши голову  
Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая  
Ночь сулит непогоду,  
И расходятся, шаркая,  
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,  
Отдающийся резко,  
И от ветра колышится  
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,  
Но попрежнему парит,  
И попрежнему молнии  
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное  
Утро знойное снова  
Сушит лужи бульварные  
После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю  
Своего недосыпа  
Вековые, пахучие,  
Неотцветшие липы.

8

### Ветер

Я кончился, а ты жива.  
И ветер, жалуясь и плача,  
Раскачивает лес и дачу.  
Не каждую сосну отдельно,  
А полностью все деревья  
Со всею далью беспредельной,  
Как парусников кузова  
На глади бухты корабельной.  
И это не из удалства  
Или из ярости бесцельной,  
А чтоб в тоске найти слова  
Тебе для песни колыбельной,

9

**Хмель**

Под ракитой, обвитой плющом,  
От ненастья мы ищем защиты.  
Наши плечи покрыты плащом,  
Вкруг тебя мои руки обвиты.

Я ошибся. Кусты этих чащ  
Не плющом перевиты, а хмелем.  
Ну так лучше давай этот плащ  
В ширину под собою расстелим.

10

**Бабье лето**

Лист смородины груб и матерчат.  
В доме хохот и стекла звенят,  
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,  
И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник,  
Этот шум на обрывистый склон,  
Где сгоревший на солнце орешник  
Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку,  
Здесь и высохших старых коряг,  
И лоскутницы осени жалко,  
Все сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,  
Чем иной полагает хитрец,  
Что как в воду опущена роца,  
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,  
Когда все пред тобой сожжено,  
И осенняя белая копоть  
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан  
И теряется в березняке.  
В доме смех и хозяйственный гомон,  
Тот же гомон и смех вдалеке.

11

**Свадьба**

Пересекши край двора,  
Гости на гулянку  
В дом невесты до утра  
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми  
В войлочной обивке  
Стихли с часу до семи  
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,  
Только спать и спать бы,

Вновь запел аккордеон,  
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист  
Снова на баяне  
Плеск ладоней, блеск монист,  
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять  
Говорок частушки  
Прямо к спящим на кровать  
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег, бела,  
В шуме, свисте, гаме  
Снова павой поплыла,  
Поводя боками.

Помавая головой  
И рукою правой,  
В плясовой по мостовой,  
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,  
Топот хоровода,  
Провалясь в тартарары,  
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.  
Деловое эхо  
Вмешивалось в разговор  
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь  
Вихрем сизых пятен  
Стаей голуби неслись,  
Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед  
Спохватясь спросонья,  
С пожеланьем многих лет  
Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,  
Только растворенье  
Нас самих во всех других  
Как бы им в даренье.

Только свадьба, вглубь окон  
Рвущаяся снизу,  
Только песня, только сон,  
Только голубь сизый.

12

### Осень

Я дал разъехаться домашним,  
Все близкие давно в разброде,  
И одиночеством всегдашним  
Полно все в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке,  
В лесу безлюдно и пустынно.

Как в песне, стежки и дорожки  
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью  
Глядят бревенчатые стены.  
Мы братъ преград не обещали,  
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,  
Я с книгою, ты с вышиваньем,  
И на рассвете не заметим,  
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней  
Шумите, осыпайтесь, листья,  
И чашу горечи вчерашней  
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влеченье, прелесть!  
Рассеемся в сентябрьском шуме!  
Заройся вся в осенний шелест!  
Замри, или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,  
Как роща сбрасывает листья,  
Когда ты падаешь в объятье  
В халате с шелковой кистью.

Ты — благо гибельного шага,  
Когда житье тошней недуга,  
А корень красоты — отвага,  
И это тянет нас друг к другу.

13

### Сказка

Встарь, во время оно,  
В сказочном краю  
Пробирался конный  
Степью по репью.

Он спешил на сечу,  
А в степной пыли  
Темный лес навстречу  
Вырастал вдали.

Ныло ретивое,  
На сердце скребло:  
Бойся водопоя,  
Подтяни седло.

Не послушал конный  
И во весь опор  
Залетел с разгону  
На лесной бугор.

Повернул с кургана,  
Въехал в суходол,  
Миновал поляну,  
Гору перешел.



И забрел в ложбину  
И лесной тропой  
Вышел на звериный  
След и водопой.

И глухой к призыву,  
И не вняв чутью,  
Свел коня с обрыва  
Попойть к ручью.

У ручья пещера,  
Пред пещерой — брод.  
Как бы пламя серы  
Озаряло вход.

И в дыму багровом,  
Застилавшем взор,  
Отдаленным зовом  
Огласился бор.

И тогда оврагом,  
Вздвогнув, напрямик  
Тронул конный шагом  
На призывный крик.

И увидел конный,  
И приник к копью,  
Голову дракона,  
Хвост и чешую.

Пламенем из зева  
Рассеивал он свет,  
В три кольца вокруг девы  
Обмотав хребет.

Туловище змея,  
Как концом бича,  
Поводило шейей  
У ее плеча.

Той страны обычай  
Пленницу-красу  
Отдавал в добычу  
Чудищу в лесу.

Края населенье  
Хижины свои  
Выкупало пеней  
Этой от змеи.

Змей обвил ей руку  
И оплел гортань,  
Получив на муку  
В жертву эту дань.

Посмотрел с мольбою  
Всадник в высь небес  
И копьё для боя  
Взял наперевес.

Сомкнутые веки.  
Выси. Облака.  
Воды. Броды. Реки.  
Годы и века.

Конный в шлеме сбитом,  
Сшибленный в бою.  
Верный конь, копытом  
Топчущий змею.

Конь и труп дракона  
Рядом на песке.  
В обмороке конный,  
Дева в столбняке.

Светел свод полдневный,  
Синева нежна.  
Кто она? Царевна?  
Дочь земли? Княжна?

То в избытке счастья  
Слезы в три ручья,  
То душа во власти  
Сна и забытья.

То возврат здоровья,  
То недвижность жил  
От потери крови  
И упадка сил.

Но сердца их бьются.  
То она, то он  
Сияются очнуться  
И впадают в сон.

Сомкнутые веки.  
Выси. Облака.  
Воды. Броды. Реки.  
Годы и века.

#### 14

#### Август

Как обещало, не обманывая,  
Проникло солнце утром рано  
Косою полосой шафрановою  
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою  
Соседний лес, дома поселка,  
Мою постель, подушку мокрую  
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу  
Слегка увлажнена подушка.  
Мне снилось, что ко мне на провода,  
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,  
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня  
Шестое августа по старому,  
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени  
Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная как знаменье,  
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,  
Нагой, трепещущий ольшаник  
В имбирно-красный лес кладбищенский,  
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами  
Соседствовало небо важно,  
И голосами петушиными  
Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею  
Стояла смерть среди погоста,  
Смотря в лицо мое умершее,  
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ошутим физически  
Спокойный голос чей-то рядом.  
То прежний голос мой провидческий  
Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенная  
И золото второго Спаса,  
Смягчи последней лаской женскую  
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины.  
Простимся, бездне унижений  
Бросающая вызов женщина!  
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,  
Полета вольное упорство,  
И образ мира, в слове явленный,  
И творчество, и чудотворство».

15

### **Зимняя ночь**

Мело, мело по всей земле  
Во все пределы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

Как летом роем мошкара  
Летит на пламя,  
Слетались хлопья со двора  
К оконной раме.

Метель лепила на стекле  
Кружки и стрелы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

На озаренный потолок  
Ложились тени,  
Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка  
Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника  
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле  
Седой и белой.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,  
И жар соблазна  
Вздыхал, как ангел, два крыла  
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,  
И то и дело  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

16

### Разлука

С порога смотрит человек,  
Не узнавая дома.  
Ее отъезд был как побег,  
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнатах хаос.  
Он меры разоренья  
Не замечает из-за слез  
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.  
Он в памяти иль грезит?  
И почему ему на ум  
Все мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне  
Не видно света Божья,  
Безвыходность тоски вдвойне  
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога  
Ему чертой любовью,  
Как морю близки берега  
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши  
Волнение после шторма,  
Ушли на дно его души  
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена  
Немыслимого быта  
Она волной судьбы со дна  
Была к нему пририта.

Среди препятствий без числа,  
Опасности минуя,  
Волна несла ее, несла  
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,  
Насильственный, быть может.  
Разлука их обоих съест,  
Тоска с костями сложит.

И человек глядит кругом:  
Она в момент ухода  
Все выворотила вверх дном  
Из ящиков комода.

Он бродит, и до темноты  
Укладывает в ящик  
Раскиданные доскуты  
И выкройки образчик.

И наколовшись об шитье  
С невынутой иголкой,  
Внезапно видит все ее  
И плачет втихомолку.

## 17

**Свидание**

Засыпет снег дороги,  
Завалит скаты крыш.  
Пойду размять я ноги:  
За дверью ты стоишь.

Одна в пальто осеннем,  
Без шляпы, без калош,  
Ты борешься с волнением  
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды  
Уходят вдаль, во мглу.  
Одна средь снегопада  
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки  
За рукава в обшлаг,  
И каплями росинки  
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой  
Озарены: лицо,  
Косынка и фигура  
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,  
В твоих глазах тоска,  
И весь твой облик сложен  
Из одного куска.

Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу моему.

И в нем навек засело  
Смиренье этих черт,

И оттого нет дела,  
Что свет жестокосерд.

И оттого двоится  
Вся эта ночь в снегу,  
И провести границы  
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

18

### Рождественская звезда

Стояла зима.  
Дул ветер из степи.  
И холодно было младенцу в вертепе  
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.  
Домашние звери  
Стояли в пещере,  
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи  
И зернышек проса,  
Смотрели с утеса  
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,  
Ограды, надгробья,  
Оглобля в сугробе,  
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,  
Застенчивей площадки  
В оконце сторожки  
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне  
От неба и Бога,  
Как отблеск поджога,  
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой  
Соломы и сена  
Средь целой вселенной,  
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней  
И значило что-то,  
И три звездочета  
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.  
И ослики в сбруе, один малорослей  
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры  
 Вставало вдали все пришедшее после.  
 Все мысли веков, все мечты, все миры,  
 Все будущее галерей и музеев,  
 Все шалости фей, все дела чародеев,  
 Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,  
 Все великолепье цветной мишуры...  
 ...Все злей и свирепей дул ветер из степи...  
 ...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,  
 Но часть было видно отлично отсюда  
 Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.  
 Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,  
 Могли хорошо разглядеть пастухи.  
 — Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —  
 Сказали они, запахнув кожухи.

От шарканья по снегу сделалось жарко.  
 По яркой поляне листьями слюды  
 Вели за хибарку босые следы.  
 На эти следы, как на пламя огарка,  
 Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,  
 И кто-то с навьюженной снежной гряды  
 Все время незримо входил в их ряды.  
 Собаки брели, озираясь с опаской,  
 И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность  
 Шло несколько ангелов в гуще толпы.  
 Незримыми делала их бестелесность,  
 Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.  
 Светало. Означились кедров стволы.  
 — А кто вы такие? — спросила Мария.  
 — Мы племя пастушье и неба послы,  
 Пришли вознести вам обоим хвалы.  
 — Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы  
 Топтались погонщики и овцеводы,  
 Ругались со всадниками пешеходы,  
 У выдолбленной водопойной колоды  
 Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,  
 Последние звезды сметал с небосвода.  
 И только волхвов из несметного сброда  
 Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,  
 Как месяца луч в углубленье дупла.  
 Ему заменяли овчинную шубу  
 Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,  
Шептались, едва подбирая слова.  
Вдруг кто-то в потемках, немного налево  
От яслей рукой отодвинул волхва,  
И тот оглянулся: с порога на деву  
Как гостя, смотрела звезда Рождества

19

### Рассвет

Ты значил все в моей судьбе.  
Потом пришла война, разруха,  
И долго-долго о тебе  
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет  
Твой голос вновь меня встревожил.  
Всю ночь читал я твой завет  
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,  
В их утреннее оживленье.  
Я все готов разнести в щепу  
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,  
Как будто выхожу впервые  
На эти улицы в снегу  
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,  
Пьют чай, торопятся к трамваям.  
В теченье нескольких минут  
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть  
Из густо падающих хлопьев,  
И чтобы во-время поспеть,  
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,  
Как будто побывал в их шкуре,  
Я таю сам, как тает снег,  
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,  
Деревья, дети, домоседы.  
Я ими всеми побежден,  
И только в том моя победа.

20

### Чудо

Он шел из Вифании в Ерусалим,  
Заранее грустью предчувствий томим.

Колючий кустарник на круче был выжжен,  
Над хижиной ближней не двигался дым,  
Был воздух горяч и камыш неподвижен,  
И Мертвого моря покой недвижим.



И в горечи, спорившей с горечью моря,  
Он шел с небольшою толпой облаков  
По пыльной дороге на чье-то подворье,  
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился он в мысли свои,  
Что поле в унынье запахло польниью.  
Все стихло. Один он стоял посредине,  
А местность лежала пластом в забытии.  
Все перемешалось: теплынь и пустыня,  
И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась недалеко,  
Совсем без плодов, только ветки да листья.  
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?  
Какая мне радость в твоём столбняке?»

Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,  
И встреча с тобой безотрадной гранита.  
О, как ты обидна и недаровита!  
Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,  
Как молнии искра по громоотводу.  
Смоковницу испепелило до тла.

Найдись в это время минута свободы  
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,  
Успели б вмешаться законы природы.  
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.  
Когда мы в смятении, тогда средь разброда  
Оно настигает мгновенно, врасплох.

## 21

### Земля

В московские особняки  
Врывается весна нахрапом.  
Выпархивает моль за шкапом  
И ползает по летним шляпам,  
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям  
Стоят цветочные горшки  
С левкоем и желтофиолем,  
И дышат комнаты привольем,  
И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата  
С оконницей подслеповатой,  
И белой ночи и закату  
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,  
Что происходит на просторе,  
О чем в случайном разговоре  
С капелью говорит апрель.  
Он знает тысячи историй  
Про человеческое горе,  
И по заборам стыннут зори,  
И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути  
На воле и в жилом уюте,  
И всюду воздух сам не свой.  
И тех же верб сквозные прутья,  
И тех же белых почек вздутья  
И на окне, и на распутье,  
На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане,  
И горько пахнет перегной?  
На то ведь и мое призванье,  
Чтоб не скучали расстоянья,  
Чтобы за городской гранью  
Земле не тосковать одной.

Для этого весной ранней  
Со мною сходятся друзья,  
И наши вечера — прощанья,  
Пирушки наши — завещанья,  
Чтоб тайная струя страданья  
Согрела холод бытия.

22

### Дурные дни

Когда на последней неделе  
Входил он в Иерусалим,  
Осанны навстречу гремели,  
Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровой,  
Любовью не тронуть сердец,  
Презрительно сдвинуты брови,  
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею  
Легли на дворы небеса.  
Искали улик фарисеи,  
Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма  
Он отдан подонкам на суд,  
И с пылкостью тою же самой,  
Как славилы прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке  
Заглядывала из ворот,  
Толкались в ожиданье развязки  
И тыкались взад и вперед.

И полз шопоток по соседству,  
И слухи со многих сторон.  
И бегство в Египет и детство  
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый  
В пустыне, и та крутизна,  
С которой всемирной державой  
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,  
И чуду дивящийся стол,  
И море, которым в тумане  
Он к лодке, как по суху, шел.

И сборище бедных в лачуге,  
И спуск со свечою в подвал,  
Где вдруг она гасла в испуге,  
Когда воскрешенный вставал...

23

### Магдалина

I

Чуть ночь, мой демон тут как тут,  
За прошлое моя расплата.  
Придут и сердце мне сосут  
Воспоминания разврата,  
Когда, раба мужских причуд,  
Была я душой бесноватой  
И улицей был мой приют.

Осталось несколько минут,  
И тишь наступит гробовая.  
Но раньше чем они пройдут,  
Я жизнь свою, дойдя до края,  
Как алавастровый сосуд,  
Перед тобою разбиваю.

О где бы я теперь была,  
Учитель мой и мой Спаситель,  
Когда б ночами у стола  
Меня бы вечность не ждала,  
Как новый, в сети ремесла  
Мной завлеченный посетитель.

Но объясни, что значит грех  
И смерть и ад, и пламень серный,  
Когда я на глазах у всех  
С тобой, как с деревом побег,  
Срослась в своей тоске безмерной.

Когда твои стопы, Иус,  
Оперши о свои колени,  
Я, может, обнимать учусь  
Креста четырехгранный брус  
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,  
Тебя готова к погребенью.

24

### Магдалина

II

У людей пред праздником уборка.  
В стороне от этой толчеи  
Обмываю миром из ведерка  
Я стопы пречистые твои.

Шарю и не нахожу сандалий.  
Ничего не вижу из-за слез.  
На глаза мне пеленой упали  
Пряди распустившихся волос.

Ноги я твои в подол уперла,  
Их слезами облила, Исус,  
Ниткой бус их обмотала с горла,  
В волосы зарыла, как в бурнус.

Будущее вижу так подробно,  
Словно ты его остановил.  
Я сейчас предсказывать способна  
Вещим ясновиденьем сивилл.

Завтра упадет завеса в храме,  
Мы в кружок собьемся в стороне,  
И земля качнется под ногами,  
Может быть, из жалости ко мне.

Перестроятся ряды конвоя,  
И начнется всадников разъезд.  
Словно в бурю смерч, над головою  
Будет к небу рваться этот крест.

Брошусь на землю у ног распятия,  
Обомру и закушу уста.  
Слишком многим руки для объятья  
Ты раскинешь по концам креста.

Для кого на свете столько шири,  
Столько муки и такая мощь?  
Есть ли столько душ и жизней в мире?  
Столько поселений, рек и роц?

Но пройдут такие трое суток  
И столкнут в такую пустоту,  
Что за этот страшный промежуток  
Я до Воскресенья дорасту.

25

### Гефсиманский сад

Мерцаньем звезд далеких безразлично  
Был поворот дороги озарен.  
Дорога шла вокруг горы Масличной,  
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.  
За нею начинался Млечный путь.  
Седые серебристые маслины  
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.  
Учеников оставив за стеной,  
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,  
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,  
Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,  
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем  
Уничтоженья и небытия.  
Простор вселенной был необитаем,  
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,  
Пустые, без начала и конца,  
Чтоб эта чаша смерти миновала,  
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому,  
Он вышел за ограду. На земле  
Ученики, усиленные дремой,  
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил  
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.  
Час Сына Человеческого пробил.  
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда  
Толпа рабов и скопище бродяг,  
Огни, мечи и впереди — Иуда  
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам  
И ухо одному из них отсек.  
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,  
Вложи свой меч на место, человек».

Неужто тьмы крылатых легионов  
Отец не снарядил бы мне сюда?  
И, волоска тогда на мне не тронув,  
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,  
Которая дороже всех святынь.  
Сейчас должно написанное сбыться,  
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче  
И может загореться на ходу.  
Во имя страшного ее величья  
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,  
И, как сплавляют по реке плоты,  
Ко мне на суд, как баржи каравана,  
Столетия поплывут из темноты».

---

Статья об истории создания романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» будет опубликована в № 6 журнала.

---

ДАНИИЛ ХАРМС



## «Я ДУМАЛ О ТОМ, КАК ПРЕКРАСНО ВСЕ ПЕРВОЕ!»

Сложное переплетение литературной судьбы и жизни Даниила Хармса, о котором наш читатель узнаёт, увы, с превеликим опозданием, еще только начинает занимать историков литературы. Тут нет ничего странного. Хармс десятилетия не был открыт, даже известен в своей главной ипостаси — в том, что писал «для взрослых». А те, кому по долгу службы было положено собрать то, что он успел написать, до поры до времени с этим не спешили. Я имею в виду архивистов. У них была на это своя теория. Не секрет, что архивисты делают всех литераторов на писателей первого и второго ряда, а может быть, и третьего. И больше всего они ценят писателей так называемого первого ряда. Причем известность, популярность автора текста, поступающего в архив, берется, естественно, в оценках на сегодняшний день, на данный момент.

С Даниилом Хармсом (в частности) у архивистов произошла явная ошибка. Я вспоминаю свой давний разговор с главой одного из самых больших архивных хранилищ в нашей стране, разговор, в котором, возражая мне, глава архива доказывал, что литератор с утвердившейся при жизни репутацией «писателя второго ряда», а тем более «третьего», никогда не выйдет в истории литературы и, следовательно, в сознании читателя в «писатели первого ряда». Честно говоря, эта табель о рангах у серьезного архивиста меня удивляла. Но — как говорится, факт.

С Хармсом, повторяю, у архивистов произошла ошибка. Но еще в самые последние годы они на ней настаивали. Заведующий рукописным отделом, приобретшим большой архив Хармса, долго считал это поступление чуть ли не лишним. Как вдруг собственными глазами стал убеждаться (впрочем, не переставая упорствовать в своем заблуждении), что рукописи Хармса и отечественные и зарубежные исследователи восстребуют в читальный зал едва ли не чаще, чем из всех других фондов...

Да, только в самое последнее время мы открываем Даниила Хармса. Причины этого опоздания коренятся и в его трагической судьбе.

Даниил Иванович Ювачёв (1905—1942) еще на школьной скамье придумал себе псевдоним — Хармс. Он происходил из семьи народовольца Ивана Павловича Ювачёва, отбывавшего ссылку на Сахалине, где с ним познакомился Чехов. Дания родился уже после освобождения отца, когда Ювачёв вернулся в Петербург. В эти годы начала века отец Хармса стал автором мемуарных и религиозных книг, так что корни Хармса вполне литературные. Но известно, что Иван Павлович не одобрял сочинений сына, — столь не похожи они были на то, что он сам почитал в литературе.

Хармс-писатель сформировался в 20-е годы, испытал влияние Хлебникова и замунника А. Туфанова, и обрел единомышленников в кругу поэтов, назвавших себя обэриутами (от ОБЭРИУ — Объединения Реального Искусства). «Кто мы? И почему мы?...» — вопрошали они в своем манифесте. — Мы — поэты нового мироощущения и нового искусства... В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. В поэзии — столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики», и так далее. Обэриуты нашли себе приют в стенах ленинградского Дома печати, где 24 января 1928 года состоялся их самый большой вечер, «Три левых часа». Хармс — вместе с Н. Заболоцким, А. Введенским, К. Вагиновым, И. Бахтеревым и другими — читал на первом «часу» свои стихи, восседаю на шкафу, а на втором «часу» была представлена его пьеса «Елизавета Бам», одним из постановщиков которой был сам автор. ОБЭРИУ очень увлекло Хармса, и он (вспомним возраст!) разрывался между обэриутскими занятиями и... возлюбленной. «Кто бы мог мне посоветовать, что мне делать? Эстер несет с собой несчастье. Я погибаю с ней вместе, — восклицал он в дневниковой записи 27 июля 1928 года. — <...> Куда делось Обэриу? Все пропало, как только Эстер вошла в меня. С тех пор я перестал как следует писать и ловил только со всех сторон несчастья. <...> Если Эстер несет горе за собой, то как же могу я пустить ее от себя. А вместе с тем

как я могу подвергать свое дело, Обэриу, полному развалу. <!...> Господи, помоги! <!...> Сделай, чтоб в течение той недели Эстер ушла от меня и жила бы счастливо. А я чтобы опять принялся писать, будучи свободен, как прежде!»

Однако помогли разрубить этот узел спустя несколько лет совсем другие — внешние и недобрые силы. Желая положить конец выступлениям обэриутов в общежитиях, клубах, воинских частях и т. д., ленинградская молодежная газета «Смена» поместила статью «Реакционное жонглерство» (9 апреля 1930 года), имевшую подзаголовок: «Об одной вылазке литературных хулиганов». Тут прямо говорилось, что «литературные хулиганы» (читай: обэриуты) ничем не отличаются от классового врага. Автор статьи воспроизводил, очевидно, реальный диалог «пролетарского студенчества» с обэриутами:

«Владимиров (самый молодой обэриут Юрий Владимиров.— Вл. Г.) с неподражаемой наглостью назвал собравшихся дикарями, которые, попав в европейский город, увидели там автомобиль.

Левин (прозаик, обэриут Дойвбер Левин.— Вл. Г.) заявил, что их «пока» (!) не понимают, но что они единственные представители (!) действительно нового искусства, которые строят большое здание.

— Для кого строите? — спросили его.

— Для всей России, — последовал классический ответ».

А в 1931 году Хармс, Введенский и некоторые их друзья были арестованы и сосланы на год в Курск.

Позади остались две единственные «взрослые» публикации Даниила Хармса — по стихотворению в каждом — в двух сборниках Союза поэтов (в 1926-м и 1927 годах). Больше Даниилу Хармсу, как, впрочем, и Александру Введенскому, не удалось опубликовать при жизни ни одной «взрослой» строчки.

Стремился ли Хармс к публикацией своих «взрослых» произведений? Думал ли о них? Полагаю, что да. Во-первых, таков имманентный закон всякого творчества. Во-вторых, есть и косвенные свидетельства, что он свыше четырех десятков своих произведений считал готовыми для печати.

Но при этом — вот сознание безвыходности! — не делал после 1928 года никаких попыток опубликовать что-то из своих «взрослых» вещей. Во всяком случае о таких попытках пока неизвестно.

Больше того, — он старался не посвящать своих знакомых в то, что пишет. Художница Алиса Порет вспоминала: «Хармс сам очень любил рисовать, но мне свои рисунки никогда не показывал, а также все, что он писал для взрослых. Он запретил это всем своим друзьям, а с меня взял клятву, что я не буду пытаться достать его рукописи». Думаю, однако, что небольшой круг его друзей — А. Введенский, Л. Липавский (Л. Савельев), Я. С. Друскин и некоторые другие — были постоянными слушателями его сочинений в 30-е годы.

А писал он — во всяком случае стремился писать — ежедневно. «Я сегодня не выполнил своих 3—4 страниц», — упрекает он себя. И рядом, в те же дни, записывает: «Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили мне что-либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине, совесть была спокойна, и я был счастлив. Это было, когда я сидел в тюрьме. Но если бы меня спросили, не хочу ли я опять туда или в положение, подобное тюрьме, я сказал бы: нет, НЕ ХОЧУ».

И тут же: «Человек в своем деле видит спасение, и потому он должен постоянно заниматься своим делом, чтобы быть счастливым. Только вера в успешность своего дела приносит счастье. Сейчас должен быть счастлив Заболоцкий».

Эти записи относятся к середине 30-х годов, когда сочинение для детей, в которое Хармс и других обэриутов (Введенского, Владимирова, Дойвбера Левина...) вовлек Маршак, шло у Хармса все натужнее, все труднее. Начав с сотрудничества в журнале «Еж» (с 1928 года), а затем и «Чиж» (с 1930-го), с того, что в одном номере журнала могли появиться и его рассказы, и стихотворение, и подпись под картинкой, Хармс к середине 30-х уже писал для детей все реже и реже, от случая к случаю. И можно лишь удивляться, что при сравнительно небольшом числе детских стихотворений («Иван Иванович Самовар», «Врун», «Игра», «Миллион», «Как папа застрелил мне хорька», «Из дома вышел человек», «Что это было?», «Тигр на улице»...) он создал свою страну в поэзии для детей и стал ее классиком. Нет, я не разделяю точку зрения, будто детская литература была для него «отхожим промыслом». Слишком честным и талантливым человеком был Даниил Хармс, чтобы писать только для денег. Да и сами детские стихи Хармса говорят за себя: они из того же драгоценного металла, что и стихи «для взрослых». Детская литература с конца 20-х годов до конца жизни была, что немаловажно для писателя, его лицом, визитной карточкой, именем наконец.

Но жил он, внутренне жил тем, что творил не для детей. Это — с самого начала — были рассказы, стихотворения, пьесы, статьи и даже любая строчка в дневнике, письмо или частная записка. Во всем, в любом избранном жанре он оставался оригинальным, ни на кого не похожим писателем.

«Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобачевский был в геометрии», — записал он в 1937 году.

Мир удивился, узнав Даниила Хармса. Впервые прочитав его в конце 60-х — начале 70-х годов. Его и его друга Александра Введенского. До тех пор мир считал родо-

начальниками европейской литературы абсурда Эжена Ионеско и Сэмюэла Беккета. Но, прочтя наконец неизвестные до толе и, к сожалению, еще не опубликованные у нас в стране пьесы «Елизавета Бам» (1927), прозаические и стихотворные произведения Даниила Хармса, а также пьесу «Елка у Ивановых» (1939) и стихотворения А. Введенского, он увидел, что эта столь популярная ныне ветвь литературы появилась задолго до Ионеско и Беккета в России. Но ни Хармс, ни Введенский уже не услышали, как их чувствуют.

Слом, разлад, разрушение устоявшегося быта, людских связей и прочее они почувствовали, пожалуй, острее и раньше других. И увидели в этом трагические последствия для человека. Так все ужасы жизни, все ее нелепости стали не только фоном, на котором разворачивается абсурдное действие, но и в какой-то мере причиной, породившей самый абсурд, его мышление. Литература абсурда оказалась по-своему идеальным выражением этих процессов, испытываемых каждым отдельным человеком.

Но, при всех влияниях, на которые указывает сам Хармс, нельзя не видеть, что он наследует не только Гоголю, которого, как мы потом узнаем, он ставил выше всех писателей, но и, например, Достоевскому... И эти истоки свидетельствуют, что русский абсурд возник не вдруг и не на случайной почве.

(Судя по той увлеченности, с какой многие молодые поэты — главным образом поэты — пишут в хармсовском духе, — эта традиция будет еще несомненно развиваться, набирая силу.)

Произведения Даниила Хармса — как ни на что не похожие камешки в мозаике нашей литературы 20 — 30-х годов. Отмытые временем, как морем, они еще сильнее отливают своей таинственностью, загадочностью.

Сердцевину его прозы составляет цикл коротких рассказов и сценок, сложившийся в основном в 30-е годы и названный «Случаи». Сам Хармс датировал его 1933—1939 годами. Но и в тетрадах конца 20-х годов мы находим прозаические вещи, фактически примыкающие к этому циклу. Например, рассказ «Вещь», недавно опубликованный в «Даугаве» (1986, № 10, публикатор В. Сажин).

Подобно тому как в повести Гоголя «Нос» «марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие» с коллежским ассесором Иваном Яковлевичем Ковалевым, — «необыкновенно-странные происшествия» случаются в рассказах Даниила Хармса иногда буквально в каждой строчке. Причем размеры рассказа не играют здесь никакой роли. Рассказ у Хармса может быть в треть машинописной страницы, в несколько строк, а «необыкновенно-странные происшествия» следовать одно за другим. Автор излагает их без тени удивления, как нечто обычное, повседневное, предоставляя таким образом удивляться самому читателю. Случайность происходящего не подчеркивается, не педалируется, и в этом, пожалуй, главное, в философской концепции автора. Вспомним рассказ Хармса «Связь» (он был напечатан в 1970 году в «Литературной газете»), написанный в форме обращения к «Философу» (Я. Друскину) и поделенный примерно на двадцать эпизодов, между которыми нет очевидной, лежащей на поверхности связи, но эти эпизоды, по Хармсу, детерминированы, находятся в строгой внутренней последовательности, вытекают один из другого. Казалось бы, какая связь между тем, что «один скрипач купил себе магнит и понес его домой», а «по дороге на скрипача напали хулиганы...» — и «тестем кондуктора», который «объезды помидорами и умер»? Но вот спуска сколько-то лет в трамвае «едут поздно вечером по городу: впереди — скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый — бывший кондуктор». «Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узнают этого до самой смерти». При желании читатель может увидеть в этих эпизодах, в их последовательности своеобразный юмор (ха-ха-ха, — оказывается, все эти нелепые происшествия взаимосвязаны), а может и задуматься о странном соединении как бы не связанных между собой событий, которые — вот неожиданность! — могут иметь прямое отношение к каждому человеку — через какие-то невидимые и ему самому ниточки судьбы. Поэтому юмор Хармса носит несомненно философский характер, хотя замешан на обстоятельствах якобы пустяковых, но этот юмор вскрывает, по чувству писателя, смысл жизни, ее назначение, судьбу.

«Меня, — писал Хармс 31 октября 1937 года, — интересует только «ч у ш ь»; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении.

Геройство, пафос, удаля, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувства.

Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех».

Само собой, произведения автора, которого жизнь интересовала «только в своем нелепом проявлении», не могли привлечь редакции. Хармс превосходно понимал это и не предлагал свои вещи никому.

Высказав свое кредо, он примерно в то же время открыл в дневнике имена писателей, кои больше всего близки ему. Этот список включает шесть имен в таком порядке: Гоголь, Прутков, Мейринк, Гамсун, Эдвард Лир и Льюис Кэрролл. Причем Хармс — с точностью до сотой — сообщает, сколько, по его мнению, каждый из упомянутых писателей дает человечеству и сколько его, Хармса, сердцу. Гоголь — одинаково: 69—69. Прутков: 42—69. Мейринк так же. Гамсун: 55—62. Лир: 42—59. Кэрролл: 45—59. И Хармс добавляет: «Сейчас моему сердцу особенно мил Густав Мейринк» (запись 14 ноября 1937 года). В это время Хармс перечитывает, пожалуй, лучший роман австрийского писателя — «Голем» — и делает для себя заметки по поводу прочитанного.



Фантазмагории в прозе Хармса разворачиваются на реальном фоне, в нем угадывается быт конца 20-х — начала 30-х годов. Однако попытка сделать упор на быте, как это иногда делают, когда, например, ставят Хармса на сцене, приводит к тому, что играют не Хармса, а... Зоценко. Нет, в отличие от Зоценко быт у Хармса, как и все действие, условен, алгебраичен, если говорить языком математики. Бытовой фон — не более чем стартовая площадка, с которой начинается действие. В этом, в частности, убеждает и повесть «Старуха» (1939).

Читать ее реалистическими глазами, забывая о направлении, которое исповедовал писатель, бессмысленно, — это приведет по крайней мере к ошибочному суждению о вкусе автора.

По свидетельству Л. С. Друскиной, «Хармс читал эту вещь Введенскому и Якову Семеновичу» (ее брату). «Выйдя от Хармса, Яков Семенович спросил Введенского:

— Как тебе «Старуха»?

На что Введенский ответил:

— Я ведь не отказался от левого искусства».

Хармса занимало чудо, чудесное. «Интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира», — замечает он в своей записи 1939 года. Он верил в чудо — и при этом сомневался, существует ли оно в жизни. Иногда он сам ощущал себя чуждотворцем, который может, но не хочет творить чудеса. Один из часто встречаемых мотивов его произведений — сон. Сон как самое удобное состояние, среда для того, чтобы свершалось чудеса и чтобы в них можно было поверить. Сон был не только лучшей формой, в которой воплощались мечты персонажей, но и счастливым соединением той трагической разорванности мира, яви, которую Хармс ощущал сильнее всего.

Эта трагическая разорванность, конфликтность мира и составляет, пожалуй, главный интерес писателя. Как и психология, поведение человека в нем. Что человек диктует себе, или вернее, что мир диктует отдельному человеку.

К самому Хармсу жизнь становилась все суровее. В 1937 и 1938 годах нередко были дни и недели, когда они с женой жестоко голодали. Не на что было купить даже совсем простую еду. «Я все не прихожу в отчаянье, — записывает он 28 сентября 1937 года. — Должно быть, я на что-то надеюсь, и мне кажется, что мое положение лучше, чем оно есть на самом деле. Железные руки тянут меня в яму».

Но в те же дни и годы, безнадёжные по собственному ощущению, он вместе с тем интенсивно работает (рассказ «Связь», например, датирован 14-м сентября 1937 года). Он как художник исследует безнадёжность, безвыходность, пишет о ней (рассказ «Суддук» — 30 января 1937 года, сценка «Всестороннее исследование» — 21 июня 1937-го, «О том, как меня посетили вестники» — 22 августа того же года и т. д.). Абсурдность сюжетов этих вещей не поддается сомнению, но также несомненно, что они вышли из-под пера Хармса во времена, когда то, что кажется абсурдным, стало бытием.

В дневнике он уговаривает себя не пасть духом, обрести равновесие, чтобы остаться верным избранному пути, даже если приходится плыть против течения. «Жизнь это море, судьба это ветер, а человек это корабль, — размышляет он. — И как хороший рулевой может использовать противный ветер и даже идти против ветра, не меняя курса корабля, так и умный человек может использовать удары судьбы и с каждым ударом приближаться к своей цели. При м е р: Человек хотел стать оратором, а судьба отрезала ему язык, и человек онемел. Но он не сдался, а научился показывать дощечки с фразами, написанными большими буквами, и при этом где нужно рычать, а где нужно подвывать и этим воздействовать на слушателей еще более, чем это можно было сделать обыкновенной речью».

Удержимся от прямых параллелей и выводов. Подумаем лишь о том, что наедине с собой в дневнике человек рассуждает всегда о том, что непосредственно соотносится с его жизнью и опытом.

23 августа 1941 года, в начале войны, Хармс был в третий — и последний раз арестован. Последние месяцы жизни он провел в тюрьме.

Уже слабей от голода, его жена, М. В. Малич, пришла в квартиру, пострадавшую от бомбежки, вместе с другом Даниила Ивановича, Я. С. Друскиным, сложила в небольшой чемоданчик рукописи мужа, а также находившиеся у Хармса рукописи Введенского и Николая Олейникова, и этот чемоданчик как самую большую ценность Друскин берег при всех перипетиях эвакуации. Потом, когда в 1944-м году он вернулся в Ленинград, то взял у сестры Хармса, Е. И. Ювачёвой, и другую чудом уцелевшую на Надеждинской часть архива.

В нем были и девять писем к актрисе Ленинградского ТЮЗа (театра А. Брянцева) Клавдии Васильевне Пугачевой, впоследствии артистке Московского театра сатиры и Театра имени Маяковского, — при очень небольшой дошедшей до нас эпистолярной Хармса они имеют особенную ценность (ответные письма Пугачевой, к сожалению, не сохранились); рукопись как бы неоконченной повести «Старуха» — самого крупного у Хармса произведения в прозе (оно публикуется по автографу, любезно предоставленному нам Лидией Семеновной Друскиной, которой выражаю искреннюю благодарность) — и автографы его стихотворений. Сейчас все эти рукописи, кроме автографа «Старухи», находятся в Отделе рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Открытие Даниила Хармса для нашего читателя продолжается.

Владимир ГЛОЦЕР.

## ПИСЬМА К К. В. ПУГАЧЕВОЙ

## 1

Среда,  
20 сентября 1933 года.  
Петербург.

Дорогая

Клавдия Васильевна,

оказалось не так просто написать Вам обещанное письмо. Ну в чем я разоблачу себя? И откуда взять мне обещанное красноречие? Поэтому я просто отказываюсь от обещанного письма и пишу Вам просто письмо от всей души и по доброй воле. Пусть первая часть письма будет нежной, вторая — игривой, а третья — деловой. Может быть, некоторая доля обещанного и войдет в это произведение, но, во всяком случае, я специально заботиться об этом не буду. Единственное, что я выполню точно, это опущу письмо в почтовую кружку 21-го сентября 1933 года.

## Часть I (нежная).

Милая Клавдия Васильевна, эта часть письма должна быть нежной. Это и нетрудно сделать, ибо поистине мое отношение к Вам достигло нежности просто удивительной. Достаточно мне написать все, что взбредет в голову, но думая только о Вас (а это тоже не требует усилий, ибо думаю я о Вас все время), и письмо само собой получится нежнейшее.

Не знаю сам, как это вышло, но только, в один прекрасный день, получилось вдруг, что Вы — это уже не Вы, но не то чтобы Вы стали частью меня, или я — частью Вас, или мы оба — частью того, что раньше было частью меня самого, если бы я не был сам той частицей, которая в свою очередь была частью... Простите, мысль довольно сложная, и оказалось, что я в ней запутался.

В общем, Клавдия Васильевна, поверьте мне только в одном, что никогда не имел я друга и даже не думал об этом, считая, что та часть (опять эта часть!) меня самого, которая ищет себе друга, может смотреть на оставшуюся часть, как на существо, способное наилучшим образом воплотить в себе идею дружбы и той откровенности, той искренности, того самоотверживания, т. е. отверженья (чувствую, что опять хватил далеко и опять начинаю запутываться), того трогательного обмена самых сокровенных мыслей и чувств, способного расстрогать... Нет, опять запутался. Лучше в двух словах скажу Вам все: я бесконечно нежно отношусь к Вам, Клавдия Васильевна!

Теперь перейдемте ко второй части.

## Часть II (игривая).

Как просто после «нежной части», требующей всей тонкости душевных поворотов, написать «часть игривую», нуждающуюся не столько в душевной тонкости, сколько в изощреннейшем уме и гибкости мысли. Воздерживаясь от красивых фраз, с длинными периодами, по причине своего несчастного косноязычия, прямо обращаю свое внимание на Вас и тут же восклицаю: «О, как Вы прекрасны, Клавдия Васильевна!»

Помоги мне Бог досказать следующую фразу до конца и не застрять посередине. Итак, перекрестясь, начинаю: Дорогая Клавдия Васильевна, я рад, что Вы уехали в Москву, ибо останься Вы здесь (короче!), я бы в короткий срок забыл (еще короче!), я бы влюбился в Вас и забыл бы все вокруг! (Досказал.)

Пользуясь полной удачей и не желая портить впечатления, оставленного второй частью, быстро перехожу на часть третью.

## Часть III (как ей и полагается быть — деловая).

Дорогая Клавдия Васильевна, скорей напишите мне, как Вы устроились в Москве<sup>1</sup>. Очень соскучился по Вас. Страшно подумать, что постепенно человек ко всему привыкает, или, вернее, забывает то, о чем тосковал когда-то. Но другой раз бывает достаточно легкого напоминания, и все желания вспыхивают вновь, если они когда-то, хоть одно мгновение, были настоящими. Я не верю в переписку между знакомыми людьми, скорей и лучше могут переписываться люди незнакомые друг с другом, а потому я не прошу Вас о письмах, написанных по «правилам и форме». Но если Вы будете, время от времени, присылать мне кусочек бумажки с Вашим именем<sup>2</sup>, я буду Вам очень благодарен. Конечно, если Вы пришлете мне письмо, я буду также тронут весьма.

У Шварцев Литейных<sup>3</sup> я еще не был; но, когда буду, передам им все, о чем Вы меня просили.

Жизнь-то! Жизнь-то как вздоржала! Лук-порей на рынке стоит уж не 30, а 35 или даже все 40 копеек!

Даниил Хармс.

Ленинград.

Надеждинская 11, кв. 8.

---

Письма 1, 3, 4, 5 и 8 сверены с беловыми автографами, хранящимися в личном архиве К. В. Пугачевой. При сверке черновых автографов с беловыми существенных расхождений не найдено. По беловым автографам сделаны абзацы, отсутствующие в черновиках.

<sup>1</sup> В 1933 году К. В. Пугачева переехала в Москву.

<sup>2</sup> Здесь и в некоторых других случаях сохраняется правописание автора.

<sup>3</sup> «Шварцы Литейные»: Евгений Львович Шварц (1896 — 1958), драматург и меуарист, и его жена Екатерина Ивановна Шварц (1902 — 1963) жили в то время на Литейном проспекте и звались так в кругу друзей в отличие от «Шварцев Невских» — Антона Исааковича Шварца (1896 — 1954), теща, эстрадного артиста, и его жены Наталии Борисовны Шанько.

## 2

5 октября 1933 года.

Дорогая

Клавдия Васильевна,

больше всего на свете хочу видеть Вас. Вы покорили меня. Я Вам очень благодарен за Ваше письмо. Я очень много о Вас думаю. И мне опять кажется, что Вы напрасно перебрались в Москву. Я очень люблю театр, но, к сожалению, сейчас театра нет. Время театра, больших поэм и прекрасной архитектуры кончилось сто лет тому назад. Не обольщайте себя надеждой, что Хлебников написал большие поэмы, а Мейерхольд — это все же театр.

Хлебников лучше всех остальных поэтов второй половины XIX и первой четверти XX века, но его поэмы это только длинные стихотворения; а Мейерхольд не сделал ничего.

Я твердо верю, что время больших поэм, архитектуры и театра когда-нибудь возобновится. Но пока этого еще нет.

Пока не созданы новые образцы в этих трех искусствах, лучшие остаются старые пути. И я, на Вашем бы месте, либо постарался сам создать новый театр, если бы чувствовал в себе достаточно величия для такого дела, либо придерживался театра наиболее архаических форм.

Между прочим, ТЮЗ стоит в более выгодном положении, нежели театры для взрослых. Если он и не открывает собой новую эпоху возрождения, он все же, благодаря особым условиям детской аудитории, хоть и засорен театральной наукой, «конструкциями» и «левизной» (не забывайте, что меня самого причисляют к самым «крайне левым поэтам»), — все же чище других театров.

Милая Клавдия Васильевна, как жалко, что Вы уехали из моего города, и тем более жалко мне это, что я всей душой привязался к Вам.

Желаю Вам, милая Клавдия Васильевна, всяческих успехов.

Даниил Хармс.

Понедельник,  
9 октября 1933 года.  
Петербург.

Дорогая  
Клавдия Васильевна,

Вы переехали в чужой город, поэтому вполне понятно, что у Вас нет еще близких Вам людей. Но почему их вдруг не стало у меня с тех пор, как Вы уехали,— мне это не то чтобы непонятно, но удивительно! Удивительно, что видел я Вас всего четыре раза, но все, что я вижу и думаю, мне хочется сказать только Вам.

Простите меня, если впредь я буду с Вами совершенно откровенен.

Я утешаю себя: будто хорошо, что Вы уехали в Москву. Ибо что случилось бы, если бы Вы остались тут? Либо мы постепенно разочаровались бы друг в друге, либо я полюбил бы Вас и, в силу своего консерватизма, захотел бы видеть Вас своей женой.

Может быть, лучше знать Вас издали.

Вчера я был в ТЮЗе на «Кладе» Шварца<sup>1</sup>.

Голос Охитиной<sup>2</sup>, очень часто, похож на Ваш. Она совершенно очевидно подражает Вам.

После ТЮЗа мы долго гуляли со Шварцем, и Шварц сожалел, что нет Вас. Он рассказывал мне, как Вы удачно играли в «Ундервуде»<sup>3</sup>. Чтобы побольше послушать о Вас, я попросил Шварца рассказать мне Вашу роль в «Ундервуде». Шварц рассказывал, а я интересовался всеми подробностями, и Шварц был польщен моим вниманием к его пиесе.

Сейчас дочитал Эккермана «Разговоры с Гёте». Если Вы не читали их вовсе или читали, но давно, то прочтите опять. Очень хорошая и спокойная книга.

С тех пор, как Вы уехали, я написал пока только одно стихотворение. Посылаю его Вам. Оно называется «Подруга», но это не о Вас. Там подруга довольно страшного вида, с кругами на лице и лопнувшим глазом. Я не знаю, кто она. Может быть, как это ни смешно в наше время, это Муза. Но если стихотворение получилось грустным, то это уж Ваша вина. Мне жалко, что Вы не знаете моих стихов. «Подруга» не похожа на мои обычные стихи, как и я сам теперь не похож на самого себя. В этом виноваты Вы. А потому я и посылаю Вам это стихотворение.

### Подруга

На лице твоём, подруга,  
два точильщика жука  
начертили сто два круга,  
цифру семь и букву Ка.  
Над тобой проходят годы,  
хладный рот позеленел,

лопнул глаз от злой погоды,  
 в ноздрях ветер зазвенел.  
 Что в душе твоей творится,  
 я не знаю. Только вдруг  
 может с треском раствориться  
 дум твоих большой сундук.  
 И тогда понятен сразу  
 будет всем твой сладкий сон;  
 и твой дух, подобно газу,  
 из груди умчится вон.  
 Что ты ждешь? Планет смятенья?  
 Иль движенья звездных толп?  
 Или ждешь судеб сплетенья,  
 опершись рукой на столб?  
 Или ждешь, пока желанье  
 из небес к тебе слетит  
 и груди твоей дыханье  
 мысль в слово превратит?  
 Мы живем не полным ходом,  
 не считаем наших дней.  
 Но минуты, с каждым годом,  
 всё становятся видней.  
 С каждым часом гнев и скупость  
 окружают нас вокруг,  
 и к земле былая глупость  
 опускает взоры вдруг.  
 И тогда, настроив лиру  
 и услыша лиры звон,  
 будем петь. И будет миру  
 наша песня точно сон.  
 И быстрее помчатся реки,  
 и, с высоких берегов,  
 будешь ты, поднявши веки,  
 бесконечный ряд веков  
 наблюдать холодным оком  
 нашу славу каждый день.  
 И на лбу твоём высоком  
 никогда не ляжет тень<sup>4</sup>.

28 сентября 1933 года.

Ваш чекан<sup>5</sup> обладает странной особенностью: он играет пять минут, а потом начинает шипеть. Поэтому я играю на нем два раза в день: утром и при заходе солнца.

Милая Клавдия Васильевна, не падайте духом, а также не бойтесь писать мне грустные письма. Я даже рад, что Вы нашли Москву, на первых порах, пустой и скучной. Это только говорит, что Вы сами — большой человек.

Даниил Хармс.

<sup>1</sup> Хармс был на первом представлении, которое состоялось 8 октября 1933 года. Постановка А. А. Брянцева.

В записной книжке Хармса находим такую запись: «„Клад“ Шварца интересен в тех местах, где кажется, что происходит сверхъестественное. Как замечательно, что это всегда так, когда в меру» (Архив Я. С. Друскина).

<sup>2</sup> Александра Алексеевна Охитина исполняла в «Кладе» роль Птахи.

<sup>3</sup> Первая пьеса Е. Шварца. Поставлена в Ленинградском ТЮЗе режиссерами А. А. Брянцевым и Б. В. Зоном. Премьера состоялась 21 сентября 1929 года. К. В. Пугачева играла в этом спектакле роль пионерки Маруси.

<sup>4</sup> Третий, окончательный вариант стихотворения опубликован в «Дне поэзии. 1965» (Л. 1966, стр. 292 — 294), публикация А. Александрова. В «Дне поэзии» стихи Хармса разбиты на четверостишия и строчка «окружают нас вокруг» заменена на строчку «ловят нас в свой мрачный круг», не встречающуюся ни в одном варианте. Первый вариант был написан на обратной стороне письма от 21 сентября 1933 года к Н. И. Колобакиной. В этом письме Хармс сообщал, что посылает «вчера написанные стихи. Правда, они еще не закончены. Конец должен быть другим, но несмотря на это я считаю, что в них есть стройность и тот грустный тон, каким говорит человек о непонятном ему предназначении человека в мире». Второй вариант написан через несколько дней, 25 сентября.

<sup>5</sup> Музыкальный инструмент, — по описанию К. В. Пугачевой, напоминал флейту или гобой. Пугачева играла на нем в спектакле «Дети Индии» (пьеса Н. Ю. Жуковской, постановка А. А. Брянцева) и потом подарила его Д. И. Хармсу. Хармс, вспоминает Пугачева, смотрел этот спектакль (преьера состоялась 10 июня 1928 года), в нем актриса исполняла роль мальчика-индуса Умэша.

## 4

Понедельник,  
16 октября 1933 года.  
Петербург.

Талант растет, круша и строя.  
Благополучье — знак застоя!

Дорогая  
Клавдия Васильевна,

Вы удивительный и настоящий человек!

Как ни прискорбно мне не видеть Вас, я больше не зову Вас в ТЮЗ и в мой город. Как приятно знать, что есть еще человек, в котором кипит желание! Я не знаю, каким словом выразить ту силу, которая радует меня в Вас. Я называю ее обыкновенно чистотой.

Я думал о том, как прекрасно все первое! как прекрасна первая реальность! Прекрасно солнце и трава и камень и вода и птица и жук и муха и человек. Но так же прекрасны и рюмка и ножик и ключ и гребешок. Но если я ослеп, оглох и потерял все свои чувства, то как я могу знать все это прекрасное? Все исчезло и нет, для меня, ничего. Но вот я получил осязание, и сразу почти весь мир появился вновь. Я приобрел слух, и мир стал значительно лучше. Я приобрел все следующие чувства, и мир стал еще больше и лучше. Мир стал существовать, как только я впустил его в себя. Пусть он еще в беспорядке, но все же он существует!

Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. Только тут понял я истинную разницу между солнцем и гребешком, но в то же время я узнал, что это одно и то же.

Теперь моя забота создать правильный порядок. Я увлечен этим и только об этом думаю. Я говорю об этом, пытаюсь это рассказать, описать, нарисовать, протанцевать, построить. Я творец мира, и это самое главное во мне. Как же я могу не думать постоянно об этом! Во все, что я делаю, я вкладываю сознание, что я творец мира. И я делаю не просто сапог, но, раньше всего, я создаю новую вещь. Мне мало того, чтобы сапог вышел удобным, прочным и красивым. Мне важно, чтобы в нем был тот же порядок, что и во всем мире; чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от соприкосновения с кожей и гвоздями, чтобы, несмотря на форму сапога, он сохранил бы свою форму, осталась бы тем же, чем был, остался бы чистым.

Это та самая чистота, которая пронизывает все искусства. Когда я пишу стихи, то самым главным кажется мне не идея, не содержание и не форма, и не туманное понятие «качество», а нечто еще более туманное и непонятное рационалистическому уму, но понятное мне и, надеюсь, Вам, милая Клавдия Васильевна, это — чистота порядка.

Эта чистота одна и та же в солнце, траве, человеке и стихах. Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением. Оно обязательно реально.

Но, Боже мой, в каких пустяках заключается истинное искусство! Великая вещь «Божественная комедия», но и стихотворение «Сквозь волнистые туманы пробирается луна» — не менее велико. Ибо там и там одна и та же чистота, а следовательно, одинаковая близость к реальности, т. е. к самостоятельному существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, это вещь, такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать слова!

Но, с другой стороны, как те же слова могут быть беспомощны и жалки! Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир. Это только жалкий, сбитый типографский шрифт на плохой, занозистой бумаге.

---

Нужно ли человеку что-либо помимо жизни и искусства? Я думаю, что нет: больше не нужно ничего, сюда входит все настоящее.

---

Я думаю, чистота может быть во всем, даже в том, как человек ест суп. Вы поступили правильно, что переехали в Москву. Вы ходите по улицам и играете в голодном театре. В этом больше чистоты, чем жить здесь, в уютной комнате и играть в ТЮЗе.

---

Мне всегда подозрительно все благополучное.

Сегодня был у меня Заболоцкий. Он давно увлекается архитектурой и вот написал поэму, где много высказал замечательных мыслей об архитектуре и человеческой жизни<sup>1</sup>. Я знаю, что этим будут восторгаться много людей. Но я также знаю, что эта поэма плоха. Только в некоторых своих частях она, почти случайно, хороша. Это две категории.

Первая категория понятна и проста. Тут все так ясно, что нужно делать. Понятно, куда стремиться, чего достигать и как это осуществить. Тут виден путь. Об этом можно рассуждать; и когда-нибудь литературный критик напишет целый том по этому поводу, а комментатор — шесть томов о том, что это значит. Тут все обстоит вполне благополучно.

О второй категории никто не скажет ни слова, хотя именно она делает хорошей всю эту архитектуру и мысль о человеческой жизни. Она непонятна, непостижима и, в то же время, прекрасна, вторая категория! Но ее нельзя достигнуть, к ней даже нелепо стремиться, к ней нет дорог. Именно эта вторая категория заставляет человека вдруг бросить все и заняться математикой, а потом, бросив математику, вдруг увлечься арабской музыкой, а потом жениться, а потом, зарезав жену и сына, лежать на животе и рассматривать цветок.

Это та самая неблагоприятная категория, которая делает гения. (Кстати, это я говорю уже не о Заболоцком, он еще жену свою не убил и даже не увлекался математикой.)

---

Милая Клавдия Васильевна, я отнюдь не смеюсь над тем, что Вы бываете в Зоологическом парке. Было время, когда я сам каждый день бывал в здешнем Зоологическом саду. Там были у меня знакомый волк и пеликан. Если хотите, я Вам когда-нибудь опишу, как мило мы проводили время.

Хотите, я опишу Вам также, как я жил однажды целое лето на Лахтинской зоологической станции, в замке графа Стенбок-Фермора, питаюсь живыми червями и мукой «Нестли»<sup>2</sup>, в обществе полупомешанного зоолога, пауков, змей и муравьев?

Я очень рад, что Вы ходите именно в Зоологический парк. И если Вы ходите туда не только с тем, чтобы погулять, но и посмотреть на зверей,— то я еще нежнее полюблю Вас.

*Даниил Хармс.*

<sup>1</sup> Можно предполагать, что речь идет о не сохранившейся поэме Н. Заболоцкого «Облака» (1933).

<sup>2</sup> Верно: «Нестле». Молочная мука для вскармливания грудных младенцев. Изготовлялась в Швейцарии.

## 5

Суббота,  
21 октября 1933 года.  
Петербург.

Дорогая  
Клавдия Васильевна,

16-го октября я послал Вам письмо, к несчастью, не заказным. 18-го получил от Вас телеграмму и ответил тоже телеграммой. Теперь я не знаю, получили ли Вы мое четвертое письмо.

Создалась особая последовательность в наших письмах, и, чтобы написать следующее письмо, мне важно знать, что Вы получили предыдущее.

Вчера был в Филармонии на Моцарте. Не хватало только Вас, чтобы я мог чувствовать себя совершенно счастливым.

Сейчас, как никогда, хочется мне увидеть Вас. Но, несмотря на это, я больше не зову Вас в ТЮЗ и в мой город. Вы настоящий и талантливый человек, и Вы вправе презирать благополучие.

Обо всем этом я подробно изложил в четвертом письме.

Если, в течение ближайших четырех дней, я не получу от Вас вестей, то пошлю Вам очередное длинное письмо, считая, что четвертого письма Вы не получили.

*Даниил Хармс.*

Это письмо внеочередное и имеет своей целью восстановить только неисправности нашей почты.

## 6

24 октября 1933 года.

«Моя дивная Клавдия Васильевна,— говорю я Вам,— Вы видите, я у Ваших ног?»

А Вы мне говорите: «Нет».

Я говорю: «Помилуйте Клавдия Васильевна. Хотите, я сяду даже на пол?»

А Вы мне опять: «Нет».

«Милая Клавдия Васильевна,— говорю я тут горячась.— Да ведь я Ваш. Именно что Ваш».

А Вы трясетесь от смеха всей своей архитектурой и не верите мне и не верите.

«Боже мой! — думаю я.— А ведь вера-то горами двигает!» А безверие что безветрие. Распустил все паруса, а корабль ни с места. То ли дело пароход!

Тут мне в голову план такой пришел: а ну-ка не пущу я Вас из сердца! Правда, есть такие ловкачи, что в глаз войдут и из уха вылезут. А я уши ватой заложу! Что тогда будете делать?

И действительно, заложил я уши ватой и пошел в Госиздат.

Сначала вата в ушах плохо держалась: как глотну, так вата из ушей выскакивает. Но потом я вату покрепче пальцем в ухо забил, тогда держаться стала.

Милая и самая дорогая моя Клавдия Васильевна,

простите меня за это шутовское вступление (только не отрезайте верхнюю часть письма, а то эти слова примут какое-то другое осве-



щение), но я хочу сказать Вам только, что я ни с какой стороны, или, вернее, если можно так выразиться, абсолютно не отношусь к Вам с иронией. С каждым письмом Вы делаетесь мне все ближе и дороже. Я даже вижу, как со страниц Ваших писем поднимается не то шар, не то пар и входит мне в глаза. А через глаз попадает в мозг, а там, не то сгустившись, не то определившись, по нервным волокнам, или, как говорили в старину, по жилам, бежит, уже в виде Вас, в мое сердце. А в сердце Вы с ногами и руками садитесь на диван и делаетесь полной хозяйкой этого оригинального, черт возьми, дома.

И вот я уже сам прихожу в свое сердце как гость и, прежде чем войти, робко стучусь. А Вы оттуда: «Пожалста! Пожалста!»

Ну я робко вхожу, а Вы мне сейчас же дивный винегрет, паштет из селедки, чай с подушечками, журнал с Пикассо и, как говорится, чекан в зубы.

А в Госиздате надо мной потешаются: «Ну, брат,— кричат мне,— совсем, брат, ты рехнулся!» А я говорю им: «И верно, что рехнулся. И все это от любви. От любви, братцы, рехнулся!»

## 7

4 ноября 1933 года.

Дорогая

Клавдия Васильевна,

за это время я написал Вам два длинных письма, но не послал их. Одно оказалось слишком шутливо, а другое — настолько запутано, что я предпочел написать третье. Но эти два письма сбили меня с тона, и вот уже одиннадцать дней я не могу написать Вам ничего.

Третьего дня я был у Маршака и рассказывал ему о Вас. Как блистали его глаза и как пламенно билось его сердечко! (Видите, опять въехала совершенно неуместная и нелепая фраза. Какая ерунда! Маршак с пламенными глазами!)

Я увлекся Моцартом. Вот где удивительная чистота! Трижды в день, по пяти минут, изображаю я эту чистоту на Вашем чекане. Ах если бы свистел он хоть двадцать минут подряд!

За неимением рояля я приобрел себе цитру. На этом деликатном инструменте я упражняюсь наперегонки со своей сестрой<sup>1</sup>. До Моцарта еще не добрался, но попутно, знакомясь с теорией музыки, увлекаюсь числовой гармонией. Между прочим, числа меня интересовали давно<sup>2</sup>. И человечество меньше всего знает о том, что такое число. Но почему-то принято считать, что если какое-либо явление выражено числами и в этом усмотрена некоторая закономерность, настолько, что можно предугадать последующее явление, то все, значит, понятно.

Так, например, Гельмгольц нашел числовые законы в звуках и тонах и думал этим объяснить, что такое звук и тон.

Это дало только систему, привело звук и тон в порядок, дало возможность сравнения, но ничего не объяснило.

Ибо мы не знаем, что такое число.

Что такое число? Это наша выдумка, которая только в приложении к чему-либо делается вещественной? Или число вроде травы, которую мы посеяли в цветочном горшке и считаем, что это наша выдумка и больше нет травы нигде, кроме как на нашем подоконнике?

Не число объяснит, что такое звук и тон, а звук и тон прольют хоть капельку света в нутро числа.

Милая Клавдия Васильевна, я посылаю Вам свое стихотворение: «Трава»<sup>3</sup>.

Очень скучаю без Вас и хочу видеть Вас. Хотя и молчал столько времени, но Вы единственный человек, о ком я думаю с радостью в сердце. Видно, будь Вы тут, я был бы влюблен по-настоящему, второй раз в своей жизни.

Дан. Хармс.

<sup>1</sup> Елизаветой Ивановной Грицыной (Ювачёвой).

<sup>2</sup> Сохранились философские и математические сочинения Хармса о природе чисел и т. д.

<sup>3</sup> Полный текст этого стихотворения пока не обнаружен. Приведу строки, которые запомнила (и я записал с ее слов 22 IX 1974) художница Елена Васильевна Сафонова (1902—1980), дружившая с Введенским и Хармсом. Начало:

Когда в густой траве гуляет конь,  
она себя считает конской пищей.  
Когда в тебя стреляют из винтовки  
и ты протягиваешь к палачу ладонь,  
то ты ничтожество, ты нищий...

И еще несколько строк:

Когда траву мы собираем в стог,  
она благоухает.  
А человек, попав в острог,  
и плачет и вздыхает,  
и бьется головой и бесится,  
и пробует на простыне повеситься...

8

Петербург.

Надеждинская 11, кв. 8.

Суббота, 10 февр<аля> 1934.

Дорогая

Клавдия Васильевна,

только что получил от Вас письмо, где Вы пишете, что вот уже три недели как не получали от меня писем. Действительно все три недели я был в таком странном состоянии, что не мог написать Вам. Я устыжен, что Вы первая напомнили мне об этом.

Ваша подруга так трогательно зашла ко мне и передала мне петию. «Это от Клавдии Васильевны»,— сказала она. Я долго радовался, глядя на эту птицу<sup>1</sup>.

Потом я видел Александра Осиповича Маргулиса<sup>2</sup>. Он написал длинную поэму и посвятил ее Вам. Он изобрел еще особые игральные спички, в которые выигрывает тот, кто первый сложит из них слова: «Клавдия Васильевна». Мы играли с ним в эту занимательную игру, и он кое-что проиграл мне.

В ТЮЗе приятная новость: расширили сцену и прямо на ней устроили раздевалку, где публика снимает свое верхнее платье. Это очень оживило спектакли.

Брянцев<sup>3</sup> написал новую пиесу «Вурдалак».

Вчера был у Антона Антоновича; весь вечер говорили о Вас. Вера Михайловна собирается повторить свои пуляжи. Как Вам это нравится?

Ваш митрополит осаждает меня с самого утра. Когда ему говорят, что меня нет дома, он прячется в лифт и оттуда караулит меня.

У Шварцев бываю довольно часто. Прихожу туда под различными предлогами, но на самом деле только для того, чтобы взглянуть на Вас. Екатерина Ивановна<sup>4</sup> заметила это и сказала Евгению Львовичу. Теперь мое посещение Шварца называется «пугачевщина».

Дорогая Клавдия Васильевна, я часто вижу Вас во сне. Вы бегаєте по комнате с колокольчиком в руках и все спрашиваете: «Где деньги? Где деньги?» А я курю трубку и отвечаю Вам: «В сундуке. В сундуке».

Даниил Хармс.

<sup>1</sup> В письме много выдуманных историй и вымышленных персонажей.

<sup>2</sup> Верно: Моргулис. Александр Осипович Моргулис (1898 — 1938), переводчик с французского (Гюстав Флобер, Анатоль Франс и другие), писал стихи. Он и его жена пианистка И. Д. Ханцин (1899 — 1984) были в дружеских отношениях с О. Э. и Н. Я. Мандельштамами. О. Мандельштам посвятил А. Моргулису десять шуточных стихотворений (так называемые «моргулеты»). Репрессирован в 1936 году.

<sup>3</sup> Александр Александрович Брянцев (1883 — 1961) — режиссер, актер и педагог, основатель Ленинградского театра юных зрителей, ТЮЗа, который теперь носит его имя.

<sup>4</sup> Е. И. Шварц.

## 9

Дорогая

Клавдия Васильевна,

теперь я понял: Вы надо мной издеваетесь. Как могу я поверить, что Вы две ночи подряд не спали, а все находились вместе с Яхонтовым<sup>1</sup> и Маргулисом! Мало этого, Вы остроумно и точно намекаете мне II-ой частью «Возвращенной молодости»<sup>2</sup> на мое второстепенное значение в Вашей жизни, а словами «Возвращенная молодость» Вы хотите сказать, что мою-де молодость не вернешь и что вообще я слишком много о себе воображаю. Я также прекрасно понял, что Вы считаете, что я глуп. А я как раз не глуп. А что касается моих глаз и выражения моего лица, то, во-первых, наружное впечатление бывает ошибочно, а во-вторых, как бы там ни было, я остаюсь при своем мнении.

(Яронея<sup>3</sup>.)

<sup>1</sup> Владимир Николаевич Яхонтов (1899 — 1945) — тещ, артист эстрады.

<sup>2</sup> Повесть М. Зощенко (1933), которая, однако, на части не делится. Говоря о II-й части, Хармс подразумевает, очевидно, номера журнала с продолжением повести («Звезда», 1933, № 8 и 10), страницы, рассказывающие об уходе старого профессора к молодой жене, скоро начинающей отодвигать его на задний план.

В одном из авторских предисловий к повести говорится: «В этой книге будут затронуты вопросы сложные и даже отчасти чудесчур сложные, отдаленные от литературы и непривычные для рук писателя. Такие вопросы, как, например, поиски потерянной молодости, возвращение здоровья, свежести чувств и так далее, и тому подобное, и прочее».

Отметим, что это пока единственное известное нам у Хармса упоминание написанного Михаилом Зощенко.

<sup>3</sup> Искаженное «ирония».

## II

## СТАРУХА

Повесть

...И между ними происходит следующий разговор.

Гамсун.

На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее: «Который час?»

— Посмотрите,— говорит мне старуха.

Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок.

— Тут нет стрелок,— говорю я.

Старуха смотрит на циферблат и говорит мне:

— Сейчас без четверти три.

— Ах так. Большое спасибо,— говорю я и ухожу.

Старуха кричит мне что-то вслед, но я иду не оглядываясь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадает навстречу Сакердон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся и долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице, и я приглашаю Сакердона Михайловича в подвальчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я иду дальше один.

Тут я вдруг вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печку. Мне очень досадно. Я поворачиваюсь и иду домой. Так хо-

рошо начался день, и вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу.

Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана часы и вешаю их на гвоздик; потом запираю дверь на ключ и ложусь на кушетку. Буду лежать и постараюсь заснуть.

С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают.

Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня на дворе, и мне делается приятно, что на ее часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки.

Боже мой! ведь я еще не выключил электрической печки! Я вскакиваю и выключаю ее, потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я закрываю глаза. Мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце, прямо на меня. Мне становится жарко. Я встаю и сажусь в кресло у окна.

Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда.

Я сижу и от радости потираю руки. Сакердон Михайлович лопнет от зависти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь. Скорее, скорее за работу! Долой всякий сон и лень! Я буду писать восемнадцать часов подряд!

От нетерпения я весь дрожу. Я не могу сообразить, что мне делать: мне нужно было взять перо и бумагу, а я хватал разные предметы, совсем не те, которые мне были нужны. Я бегал по комнате: от окна к столу, от стола к печке, от печки опять к столу, потом к дивану и опять к окну. Я задыхался от пламени, потому пылало в моей груди. Сейчас только пять часов. Впереди весь день, и вечер, и вся ночь...

Я стою посередине комнаты. О чем же я думаю? Ведь уже двадцать минут шестого. Надо писать. Я придвигаю к окну столик и сажусь за него. Передо мной клетчатая бумага, в руке перо.

Мое сердце еще слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы немножко успокоиться. Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, я жмурюсь и трубку закурываю.

Вот мимо окна пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идет человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой.

— Так, — говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно.

Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу:

«Чудотворец был высокого роста».

Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю и иду к шкапику, где хранится у меня провизия, я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и больше ничего.

В дверь кто-то стучит.

— Кто там?

Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен и ничего не могу сказать.

— Вот я и пришла,— говорит старуха и входит в мою комнату.

Я стою у двери и не знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть? Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него.

— Закрой дверь и запири ее на ключ,— говорит мне старуха.

Я закрываю и запираю дверь.

— Встань на колени,— говорит старуха.

И я становлюсь на колени.

Но тут я начинаю понимать всю нелепость своего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моем любимом кресле? Почему я не выгнал эту старуху?

— Послушайте-ка,— говорю я,— какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да еще командовать мной? Я вовсе не хочу стоять на коленях.

— И не надо,— говорит старуха.— Теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол.

Я тотчас исполнил приказание...

Я вижу перед собой правильно начерченные квадраты. Боль в плече и в правом бедре заставляет меня изменить положение. Я лежал ничком, теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. Все члены мои затекли и плохо сгибаются. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Сознание и память медленно возвращаются ко мне. Я еще раз оглядываю комнату и вижу, что на кресле у окна будто сидит кто-то. В комнате не очень светло, потому что сейчас, должно быть, белая ночь. Я пристально вглядываюсь. Господи! Неужели это старуха все еще сидит в моем кресле? Я вытягиваю шею и смотрю. Да, конечно, это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула.

Я поднимаюсь и, прихрамывая, подхожу к ней. Голова старухи опущена на грудь, руки висят по бокам кресла. Мне хочется схватить эту старуху и вытолкать ее за дверь.

— Послушайте,— говорю я,— вы находитесь в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти.

Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается все ясно: старуха умерла.

Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. А теперь возись с этой падалью, иди разговаривать с дворником и управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть, она и не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать?

Я закуриваю трубку и сажусь на кушетку. Безумная злость поднимается во мне.

— Вот сволочь! — говорю я вслух.

Мертвая старуха как мешок сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мертвую лошадь.

— Противная картина,— говорю я, но закрыть старуху газетой не могу, потому что мало ли что может случиться под газетой.

За стеной слышно движение: это встает мой сосед, паровозный машинист. Еще того не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комнате сидит мертвая старуха! Я прислушиваюсь к шагам соседа. Чего он медлит? Уже половина шестого! Ему давно пора уходить. Боже мой! Он собирается пить чай! Я слышу, как за стенкой шумит примус. Ах, поскорее ушел бы этот проклятый машинист!

Я забираюсь на кушетку с ногами и лежу. Проходит восемь минут, но чай у соседа еще не готов и примус шумит. Я закрываю глаза и дремлю.

Мне снится, что сосед ушел и я, вместе с ним, выхожу на лестницу и захопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, и я не могу попасть обратно в квартиру. Надо звонить и будить остальных жильцов, а это уж совсем плохо. Я стою на площадке лестницы и думаю, что мне делать, и вдруг вижу, что у меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки, и вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны — вилка.

— Вот,— говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле.— Вот видите,— говорю я ему,— какие у меня руки?

А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоящий Сакердон Михайлович, а глиняный.

Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на кушетке, а у окна, в кресле, сидит мертвая старуха.

Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое кресло, и дикая радость наполняет меня. Значит, это все был сон. Но только где же он начался? Входила ли старуха вчера в мою комнату? Может быть, это тоже был сон? Я вернулся вчера домой, потому что забыл выключить электрическую печку. Но, может быть, и это был сон? Во всяком случае, как хорошо, что у меня в комнате нет мертвой старухи и, значит, не надо идти к управдому и возиться с покойником!

Однако сколько же времени я спал? Я посмотрел на часы: половина десятого, должно быть, утра.

Господи! Чего только не приснится во сне!

Я спустил ноги с кушетки, собираясь встать, и вдруг увидел мертвую старуху, лежащую на полу за столом, возле кресла. Она лежала лицом вверх, и вставная челюсть, выскочив изо рта, впилась одним зубом старухе в ноздрю. Руки подвернулись под туловище и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстяных чулках.

— Сволочь! — крикнул я и, подбежав к старухе, ударил ее сапогом по подбородку.

Вставная челюсть отлетела в угол. Я хотел ударить старуху еще раз, но побоялся, чтобы на теле не остались знаки, а то еще потом решат, что это я убил ее.

Я отошел от старухи, сел на кушетку и закурил трубку. Так прошло минут двадцать. Теперь мне стало ясно, что все равно дело передадут в уголовный розыск и следственная бестолочь обвинит меня в убийстве. Положение выходит серьезное, а тут еще этот удар сапогом.

Я подошел опять к старухе, наклонился и стал рассматривать ее лицо. На подбородке было маленькое темное пятнышко. Нет, придаться нельзя. Мало ли что? Может быть, старуха еще при жизни стукнулась обо что-нибудь? Я немного успокаиваюсь и начинаю ходить по комнате, куря трубку и обдумывая свое положение.

Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод, все сильнее и сильнее. От голода я начинаю даже дрожать. Я еще раз шарю в шкапике, где хранится у меня провизия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара.

Я вынимаю свой бумажник и считаю деньги. Одиннадцать рублей. Значит, я могу купить себе ветчинной колбасы и хлеб и еще останется на табак.

Я поправляю сбившийся за ночь галстук, беру часы, надеваю куртку, выхожу в коридор, тщательно запираю дверь своей комнаты, кладу ключ себе в карман и выхожу на улицу. Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее и тогда я предприму что-нибудь с этой падалью.

По дороге в магазин еще приходит в голову: не зайти ли мне к Сакердону Михайловичу и не рассказать ли ему все, может быть, вместе мы скорее придумаем, что делать. Но я тут же отклоняю эту мысль, потому что некоторые вещи надо делать одному, без свидетелей.

В магазине не было ветчинной колбасы, и я купил себе полкило сарделек. Табака тоже не было. Из магазина я пошел в булочную.

В булочной было много народу, и к кассе стояла длинная очередь. Я сразу нахмурился, но все-таки в очередь встал. Очередь подвигалась очень медленно, а потом и вовсе остановилась, потому что у кассы произошел какой-то скандал.

Я делал вид, что ничего не замечаю, и смотрел в спину молоденькой дамочки, которая стояла в очереди передо мной. Дамочка была, видно, очень любопытной: она вытягивала шейку то вправо, то влево и поминутно становилась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть, что происходит у кассы. Наконец она повернулась ко мне и спросила:

— Вы не знаете, что там происходит?

— Простите, не знаю,— сказал я как можно суше.

Дамочка повертелась в разные стороны и наконец опять обратилась ко мне:

— Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит?

— Простите, меня это нисколько не интересует,— сказал я еще суше.

— Как не интересует? —воскликнула дамочка.— Ведь вы же сами задерживаетесь из-за этого в очереди!

Я ничего не ответил и только слегка поклонился. Дамочка внимательно посмотрела на меня.

— Это, конечно, не мужское дело стоять в очередях за хлебом,— сказала она.— Мне жалко вас, вам приходится тут стоять. Вы, должно быть, холостой?

— Да, холостой,—ответил я, несколько сбитый с толку, но по инерции продолжая отвечать довольно сухо и при этом слегка кланясь.

Дамочка еще раз осмотрела меня с головы до ног и вдруг, притрунувшись пальцем к моему рукаву, сказала:

— Давайте я куплю что вам нужно, а вы подождите меня на улице.

Я совершенно растерялся.

— Благодарю вас,— сказал я.— Это очень мило с вашей стороны, но, право, я мог бы и сам.

— Нет, нет,— сказала дамочка,— ступайте на улицу. Что вы собирались купить?

— Видите ли,— сказал я,— я собирался купить полкило черного хлеба, но только формового, того, который дешевле. Я его больше люблю.

— Ну вот и хорошо,—сказала дамочка.— А теперь идите. Я куплю, а потом рассчитаемся.

И она даже слегка подтолкнула меня под локоть.

Я вышел из булочной и встал у самой двери. Весеннее солнце светит мне прямо в лицо. Я закуриваю трубку. Какая милая дамочка! Это теперь так редко. Я стою, жмурюсь от солнца, курю трубку и думаю о

милой дамочке. Ведь у нее светлые карие глазки. Просто прелесть какая она хорошенькая!

— Вы курите трубку? — слышу я голос рядом с собой. Милая дамочка протягивает мне хлеб.

— О, бесконечно вам благодарен, — говорю я, беря хлеб.

— А вы курите трубку! Это мне страшно нравится, — говорит милая дамочка.

И между нами происходит следующий разговор.

Она: Вы, значит, сами ходите за хлебом?

Я: Не только за хлебом; я себе все сам покупаю.

Она: А где же вы обедаете?

Я: Обыкновенно я сам варю себе обед. А иногда ем в пивной.

Она: Вы любите пиво?

Я: Нет, я больше люблю водку.

Она: Я тоже люблю водку.

Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.

Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки.

Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи?

Она (сильно покраснев): Конечно спрашивайте.

Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?

Она (удивленно): В Бога? Да, конечно.

Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водку и пойти ко мне. Я живу тут рядом.

Она (задорно): Ну что ж, я согласна!

Я: Тогда идемте.

Мы заходим в магазин, и я покупаю пол-литра водки. Больше у меня денег нет, какая-то только мелочь. Мы все время говорим о разных вещах, и вдруг я вспоминаю, что у меня в комнате, на полу, лежит мертвая старуха.

Я оглядываюсь на мою новую знакомую: она стоит у прилавка и рассматривает банки с вареньем. Я осторожно пробираюсь к двери и выхожу из магазина. Как раз, против магазина, останавливается трамвай. Я вскакиваю в трамвай, даже не посмотрев на его номер. На Михайловской улице я вылезая и иду к Сакердону Михайловичу. У меня в руках бутылка с водкой, сардельки и хлеб.

Сакердон Михайлович сам открыл мне двери. Он был в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отрезанными голенищами и в меховой с наушниками шапке, но наушники были подняты и завязаны на макушке бантом.

— Очень рад, — сказал Сакердон Михайлович, увидя меня.

— Я не оторвал вас от работы? — спросил я.

— Нет, нет, — сказал Сакердон Михайлович. — Я ничего не делал, а просто сидел на полу.

— Видите ли, — сказал я Сакердону Михайловичу. — Я к вам пришел с водкой и с закуской. Если вы ничего не имеете против, давайте выпьем.

— Очень хорошо, — сказал Сакердон Михайлович. — Вы входите.

Мы прошли в его комнату. Я откупорил бутылку с водкой, а Сакердон Михайлович поставил на стол две рюмки и тарелку с вареным мясом.

— Тут у меня сардельки, — сказал я. — Так, как мы будем их есть: сырыми, или будем варить?

— Мы их поставим варить, — сказал Сакердон Михайлович, — а пока они варятся, мы будем пить водку под вареное мясо. Оно из супа, превосходное вареное мясо!

Сакердон Михайлович поставил на керосинку кастрюльку, и мы сели пить водку.



— Водку пить полезно,— говорил Сакердон Михайлович, наполняя рюмки.— Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб — это только солома, которая гниет в наших желудках.

— Ваше здоровье! — сказал я, чокаясь с Сакердоном Михайловичем.

Мы выпили и закусили холодным мясом.

— Вкусно,— сказал Сакердон Михайлович.

Но в это мгновение в комнате что-то резко щелкнуло.

— Что это? — спросил я.

Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг щелкнуло еще раз. Сакердон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал занавеску.

— Что вы делаете? — крикнул я.

Но Сакердон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, схватил занавеской кастрюльку и поставил ее на пол.

— Черт поberi! — сказал Сакердон Михайлович.— Я забыл в кастрюльку налить воды, а кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль отскочила.

— Все понятно,— сказал я, кивая головой.

Мы сели опять за стол.

— Черт с ними,— сказал Сакердон Михайлович,— мы будем есть сардельки сырыми.

— Я страшно есть хочу,— сказал я.

— Кушайте,— сказал Сакердон Михайлович, пододвигая мне сардельки.

— Ведь я последний раз ел вчера, с вами в подвальчике, и с тех пор ничего еще не ел,— сказал я.

— Да, да, да,— сказал Сакердон Михайлович.

— Я все время писал,— сказал я.

— Черт поberi! — утрированно вскричал Сакердон Михайлович.— Приятно видеть перед собой гения.

— Еще бы! — сказал я.

— Много поди навалыли? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да,— сказал я.— Исписал пропасть бумаги.

— За гения наших дней,— сказал Сакердон Михайлович, поднимая рюмки.

Мы выпили. Сакердон Михайлович ел вареное мясо, а я — сардельки. Съев четыре сардельки, я закурил трубку и сказал:

— Вы знаете, я ведь к вам пришел, спасаясь от преследования.

— Кто же вас преследовал? — спросил Сакердон Михайлович.

— Дама,— сказал я.

Но так как Сакердон Михайлович ничего меня не спросил, а только молча налил в рюмки водку, то я продолжал:

— Я с ней познакомился в булочной и сразу влюбился.

— Хороша? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да,— сказал я,— в моем вкусе.

Мы выпили, и я продолжал:

— Она согласилась идти ко мне и пить водку. Мы зашли в магазин, но из магазина мне пришлось потихоньку удрасть.

— Не хватило денег? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет, денег хватило в обрез,— сказал я,— но я вспомнил, что не могу пустить ее в свою комнату.

— Что же, у вас в комнате была другая дама? — спросил Сакердон Михайлович.

— Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама,— сказал я, улыбаясь.— Теперь я никого к себе в комнату не могу пустить.

— Женитесь. Будете приглашать меня к обеду,— сказал Сакердон Михайлович.

— Нет,— сказал я, фыркая от смеха.— На этой даме я не женюсь.

— Ну тогда женитесь на той, которая из булочной,— сказал Сакердон Михайлович.

— Да что вы всё хотите меня женить? — сказал я.

— А что же? — сказал Сакердон Михайлович, наполняя рюмки.— За ваши успехи!

Мы выпили. Видно, водка начала оказывать на нас свое действие. Сакердон Михайлович снял свою меховую с наушниками шапку и швырнул ее на кровать. Я встал и прошелся по комнате, ощущая уже некоторое головокружение.

— Как вы относитесь к покойникам? — спросил я Сакердона Михайловича.

— Совершенно отрицательно,— сказал Сакердон Михайлович.— Я их боюсь.

— Да, я тоже терпеть не могу покойников,— сказал я.— Подверни мне покойник, и не будь он мне родственником, я бы, должно быть, пнул бы его ногой.

— Не надо лягать мертвецов,— сказал Сакердон Михайлович.

— А я бы пнул его сапогом прямо в морду,— сказал я.— Терпеть не могу покойников и детей.

— Да, дети — гадость,— согласился Сакердон Михайлович.

— А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? — спросил я.

— Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники все-таки не врываются в нашу жизнь,— сказал Сакердон Михайлович.

— Врываются! — крикнул я и сейчас же замолчал.

Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.

— Хотите еще водки? — спросил он.

— Нет,— сказал я, но, спохватившись, прибавил:— Нет, спасибо, я больше не хочу.

Я подошел и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим.

— Я хочу спросить вас,— говорю я наконец.— Вы веруете в Бога?

У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:

— Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать; и самый удобный и приятный способ отказа — это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека деньги есть, и тем самым лишили его возможности вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека: «веруете ли вы в Бога?» — тоже поступок бестактный и неприличный.

— Ну,— сказал я,— тут уж нет ничего общего.

— А я и не сравниваю,— сказал Сакердон Михайлович.

— Ну, хорошо,— сказал я,— оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос.

— Пожалуйста,— сказал Сакердон Михайлович.— Ведь я просто отказался отвечать вам.

— Я бы тоже не ответил,— сказал я,— да только по другой причине.

— По какой же? — вяло спросил Сакердон Михайлович.

— Видите ли,— сказал я,— по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.

— Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? — сказал Сакердон Михайлович.— А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что?

— Может быть, и так,— сказал я.— Не знаю.

— А верят или не верят во что? В Бога? — спросил Сакердон Михайлович.

— Нет,— сказал я,— в бессмертие.

— Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?

— Да просто потому, что спросить: верите ли вы в бессмертие? — звучит как-то глупо,— сказал я Сакердону Михайловичу и встал.

— Вы что, уходите? — спросил меня Сакердон Михайлович.

— Да,— сказал я,— мне пора.

— А что же, водка? — сказал Сакердон Михайлович.— Ведь и осталось-то всего по рюмке.

— Ну, давайте допьем,— сказал я.

Мы допили водку и закусили остатками вареного мяса.

— А теперь я должен идти,— сказал я.

— До свидания,— сказал Сакердон Михайлович, провожая меня через кухню на лестницу.— Спасибо за угощение.

— Спасибо вам,— сказал я.— До свидания.

И я ушел.

Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на шкаф пустую водочную бутылку, надел опять на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайлович заложил за спину; и их не было видно. А из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отрезанными голенищами.

Я шел по Невскому, погруженный в свои мысли. Мне надо сейчас же пройти к управдому и рассказать ему все. А разделавшись со старухой, я буду целые дни стоять около булочной, пока не встречу ту милую дамочку. Ведь я остался ей должен за хлеб 48 копеек. У меня есть прекрасный предлог ее разыскивать. Выпитая водка продолжала еще действовать, и казалось, что все складывается очень хорошо и просто.

На Фонтанке я подошел к ларьку и, на оставшуюся мелочь, выпил большую кружку хлебного кваса. Квас был плохой и кислый, и я пошел дальше с мерзким вкусом во рту.

На углу Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера: я убил бы его тут же на месте.

До самого дома я шел, должно быть, с искаженным от злости лицом. Во всяком случае почти все встречные оборачивались на меня.

Я вошел в домовую контору. На столе сидела низкорослая, грязная, курносая, кривая и белобрысая девка и, глядясь в ручное зеркальце, мазала себе помадой губы.

— А где же управдом? — спросил я.

Девка молчала, продолжая мазать губы.

— Где управдом? — повторил я резким голосом.

— Завтра будет, не сегодня,— отвечала грязная, курносая, кривая и белобрысая девка.

Я вышел на улицу. По противоположной стороне шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку.

Я завернул в свою парадную и стал подниматься по лестнице. На втором этаже я остановился; противная мысль пришла мне в голову: ведь старуха должна начать разлагаться. Я не закрыл окна, а говорят, что при открытом окне покойники разлагаются быстрее. Вот ведь глупость какая! И этот чертов управдом будет только завтра! Я постоял в нерешительности несколько минут и стал подниматься дальше.

Около двери в свою квартиру я опять остановился. Может быть, пойти к булочной и ждать там ту милую дамочку? Я бы стал умолять ее пустить меня к себе на две или три ночи. Но тут я вспоминаю, что сегодня она уже купила хлеб и, значит, в булочную не придет. Да и вообще из этого ничего бы не вышло.

Я отпер дверь и вошел в коридор. В конце коридора горел свет, и Марья Васильевна, держа в руках какую-то тряпку, терла по ней другой тряпкой. Увидя меня, Марья Васильевна крикнула:

— Ваш спрашивал какой-то старик!

— Какой старик? — сказал я.

— Не жнаю, — отвечала Марья Васильевна.

— Когда это было? — спросил я.

— Тоже не жнаю, — сказала Марья Васильевна.

— Вы разговаривали со стариком? — спросил я Марью Васильевну.

— Я, — отвечала Марья Васильевна.

— Так как же вы не знаете, когда это было? — сказал я.

— Чистá два тому нажад, — сказала Марья Васильевна.

— А как этот старик выглядел? — спросил я.

— Тоже не жнаю, — сказала Марья Васильевна и ушла на кухню.

Я подошел к своей комнате.

«Вдруг, — подумал я, — старуха исчезла. Я войду в комнату, а старухи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?!»

Я отпер дверь и начал ее медленно открывать. Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворенную дверь и, на мгновение, застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу.

Я с криком захлопнул дверь, повернул ключ и отскочил к противоположной стене.

В коридоре появилась Марья Васильевна.

— Вы меня жвали? — спросила она.

Меня так трясло, что я ничего не мог ответить и только отрицательно замотал головой. Марья Васильевна подошла поближе.

— Вы ш кем-то ражговаривали, — сказала она.

Я опять отрицательно замотал головой.

— Шумашедший, — сказала Марья Васильевча и опять ушла на кухню, несколько раз по дороге оглянувшись на меня.

«Так стоять нельзя. Так стоять нельзя», — повторял я мысленно. Эта фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил ее до тех пор, пока она не дошла до моего сознания.

— Да, так стоять нельзя, — сказал я себе, но продолжал стоять как парализованный. Случилось что-то ужасное, но предстояло сделать что-то, может быть, еще более ужасное, чем то, что уже произошло. Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках.

Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать! Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего уже в продолжение многих лет стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах!..

Озноб еще не прошел. Я стоял с поднятыми плечами от внутреннего холода. Мысли мои скакали, путались, возвращались к исходному пункту и вновь скакали, захватывая новые области, а я стоял и прислушивался к своим мыслям и был как бы в стороне от них и был как бы не их командир.

— Покойники, — объясняли мне мои собственные мысли, — народ неважный. Их зря называют покойники, они скорее беспокойники. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там?

Только для одного: следить, чтобы покойники не распозались. Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока сторож, по приказанию начальства, мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное белье им пришлось рассчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку.

— Стоп! — сказал я своим собственным мыслям. — Вы говорите чушь. Покойники неподвижны.

— Хорошо, — сказали мне мои собственные мысли, — войди тогда в свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покойник.

Неожиданное упрямство заговорило во мне.

— И войду! — сказал я решительно своим собственным мыслям.

— Попробуй! — насмешливо сказали мне мои собственные мысли.

Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери.

— Подожди! — закричали мне мои собственные мысли. Но я уже повернул ключ и распахнул дверь.

Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол.

С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не шевелилась.

Озноб прошел, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром их.

— Раньше всего закрыть дверь! — скомандовал я сам себе.

Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а в правой я держал крокетный молоток и все время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты.

— Теперь мы с тобой рассчитаемся, — сказал я. У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий; я просто хотел запрятать старуху в чемодан, отвезти ее за город и спустить в болото. Я знал одно такое место.

Чемодан стоял у меня под кушеткой. Я вытащил его и открыл. В нем находились кое-какие вещи: несколько книг, старая фетровая шляпа и рваное белье. Я выложил все это на кушетку.

В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула.

Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток.

Старуха лежит спокойно. Я стою и прислушиваюсь. Это вернулся машинист, я слышу, как он ходит у себя по комнате. Вот он идет по коридору на кухню. Если Марья Васильевна расскажет ему о моем сумасшествии, это будет нехорошо. Чертовщина какая! Надо и мне пройти на кухню и своим видом успокоить их.

Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя еще в комнату, иметь молоток в руках, и вышел в коридор. Из кухни неслись голоса, но слов не было слышно. Я прикрыл за собою дверь в свою комнату и осторожно пошел на кухню: мне хотелось узнать, о чем говорит Марья Васильевна с машинистом. Коридор я прошел

быстро, а около кухни замедлил шаги. Говорил машинист, по-видимому, он рассказывал что-то случившееся с ним на работе.

Я вошел. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист махнул мне рукой.

— Здравствуйте, здравствуйте, Матвей Филиппович,— сказал я ему и прошел в ванную комнату. Пока все было спокойно. Марья Васильевна привыкла к моим странностям и этот последний случай могла уже и забыть.

Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что если старуха вылезет из комнаты?

Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошел через кухню спокойными шагами.

Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила машинисту:

— Ждóрово! Вот это ждóрово! Я бы тоже швиштела!

С замирающим сердцем я вышел в коридор и тут уже чуть не бегом пустился к своей комнате.

Снаружи все было спокойно. Я подошел к двери и, приотворив ее, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошел в комнату и запер за собою дверь на ключ. Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошел к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого пока еще хоть и слабого, но все-таки уже нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало, и немного болел живот.

Ну что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запихивать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. А потом умирать от трупного заражения — благодарю покорно!

— Эге! — воскликнул я вдруг. — А интересуюсь я: чем вы меня укусите? Зубки-то ваши вон где!

Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол по ту сторону окна, где, по моим расчетам, должна была находиться вставная челюсть старухи. Но челюсти там не было.

Я задумался: может быть, мертвая старуха ползала у меня по комнате, ища свои зубы? Может быть даже, нашла их и вставила себе обратно в рот?

Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошел к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню.

Брезгливый страх к себе вызывала эта мертвая старуха. Я приподнял молотком ее голову: рот был открыт, глаза закатились вверх, а по всему подбородку, куда я ударил ее сапогом, расплозлось большое темное пятно. Я заглянул старухе в рот. Нет, она не нашла свою челюсть. Я отпустил голову. Голова упала и стукнулась об пол.

Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул ее к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. Скорее, прочь эту пададь!

Я закатал старуху в толстую простыню и поднял ее на руки. Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил ее в чемодан и попробовал закрыть крышкой. Тут я ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и выпрямился.

Чемодан стоит передо мной, с виду вполне благопристойный, как будто в нем лежит белье и книги. Я взял его за ручку и попробовал поднять. Да, он был, конечно, тяжел, но не чрезмерно, я мог вполне донести его до трамвая.

Я посмотрел на часы: двадцать минут шестого. Это хорошо. Я сел в кресло, чтобы немножко передохнуть и выкурить трубку.

Видно, сардельки, которые я ел сегодня, были не очень хороши, потому что живот мой болел все сильнее. А может быть, это потому, что я ел их сырыми? А может быть, боль в животе была и чисто нервной.

Я сижу и курю. И минуты бегут за минутами.

Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как вчера в это же время я сидел и писал повесть. Вот она: клетчатая бумага и на ней надпись, сделанная мелким почерком: «Чудотворец был высокого роста».

Я посмотрел в окно. По улице шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смешной походкой инвалида.

Я встал. Пора! Пора в путь! Пора отвозить старуху на болото! Мне нужно еще занять деньги у машиниста.

Я вышел в коридор и подошел к его двери.

— Матвей Филиппович, вы дома? — спросил я.

— Дома, — ответил машинист.

— Тогда, извините, Матвей Филиппович, вы не богаты деньгами? Я послезавтра получу. Не могли ли бы вы мне одолжить тридцать рублей?

— Мог бы, — сказал машинист. И я слышал, как он звякал ключами, отпирая какой-то ящик. Потом он открыл дверь и протянул мне новую красную тридцатирублевку.

— Большое спасибо, Матвей Филиппович, — сказал я.

— Не стоит, не стоит, — сказал машинист.

Я сунул деньги в карман и вернулся в свою комнату. Чемодан спокойно стоял на прежнем месте.

— Ну тепер в путь, без промедления, — сказал я сам себе.

Я взял чемодан и вышел из комнаты.

Марья Васильевна увидела меня с чемоданом и крикнула:

— Куда вы?

— К тетке, — сказал я.

— Шкоро приедете? — спросила Марья Васильевна.

— Да, — сказал я. — Мне нужно только отвезти к тетке кое-какое белье. А приеду, может быть, и сегодня.

Я вышел на улицу. До трамвая я дошел благополучно, неся чемодан то в правой, то в левой руке.

В трамвай я влез с передней площадки прицепного вагона и стал махать кондукторше, чтобы она пришла получить за багаж и билет. Я не хотел передавать единственную тридцатирублевку через весь вагон, и не решился оставить чемодан и сам пройти к кондукторше. Кондукторша пришла ко мне на площадку и заявила, что у нее нет сдачи. На первой же остановке мне пришлось слезть.

Я стоял злой и ждал следующего трамвая. У меня болел живот и слегка дрожали ноги.

И вдруг я увидел мою милую дамочку: она переходила улицу и не смотрела в мою сторону.

Я смотрел чемодан и кинулся за ней. Я не знал, как ее зовут, и не мог ее окликнуть. Чемодан страшно мешал мне: я держал его перед собой двумя руками и подталкивал его коленями и животом. Милая дамочка шла довольно быстро, и я чувствовал, что мне ее не

догнать. Я был весь мокрый от пота и выбивался из сил. Милая дамочка повернула в переулок. Когда я добрался до угла — ее нигде не было.

— Проклятая старуха! — прошипел я, бросая чемодан на землю.

Рукава моей куртки насквозь промокли от пота и липли к рукам. Я сел на чемодан и, вынув носовой платок, вытер им шею и лицо. Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. Дикая злоба душила меня. Ах, напустить бы на них столбняк!

И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу с ним к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивленное лицо, достаю часы и пожимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают за мной. Я еще раз пожимаю плечами и заглядываю в подворотню.

— Странно, — говорю я вслух, беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке.

На вокзал я приехал без пяти минут семь. Я беру обратный билет до Лисьего Носа и сажусь в поезд.

В вагоне, кроме меня, еще двое: один, как видно, рабочий, он устал и, надвинув кепку на глаза, спит. Другой, еще молодой парень, одет деревенским франтом: под пиджаком у него розовая косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый кок. Он курит папироску, всунутую в ярко-зеленый мундштук из пластмассы.

Я ставлю чемодан между скамейками и сажусь. В животе у меня такие рези, что я сжимаю кулаки, чтобы не застонать от боли.

По платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. Он идет, заложив руки за спину и опустив голову.

Поезд трогается. Я смотрю на часы: десять минут восьмого.

О, с каким удовольствием спущу я эту старуху в болото! Жаль только, что я не захватил с собой палку, должно быть, старуху придется подталкивать.

Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. Я поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в окно.

В моем животе происходят ужасные схватки; тогда я стискиваю зубы, сжимаю кулаки и напрягаю ноги.

Мы проезжаем Ланскую и Новую Деревню. Вон мелькает золотая верхушка Буддийской пагоды, а вон показалось море.

Но тут я вскакиваю и, забыв все вокруг, мелкими шажками бегу в уборную. Безумная волна качает и вертит мое сознание...

Поезд замедляет ход. Мы подъезжаем к Лахте. Я сижу, болсь пошевелиться, чтобы меня не выгнали на остановке из уборной.

— Скорей бы он трогался! Скорей бы он трогался!

Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь же сладки, как мгновения любви! Все силы мои напряжены, но я знаю, что за этим последует страшный упадок.

Поезд опять останавливается. Это Ольгино. Значит, опять эта попытка!

Но теперь это ложные позывы. Холодный пот выступает у меня на лбу, и легкий холодок порхает вокруг моего сердца. Я поднимаюсь и некоторое время стою прижавшись головой к стене. Поезд идет, и покачиванье вагона мне очень приятно.

Я собираю все свои силы и пошатываясь выхожу из уборной.

В вагоне нет никого. Рабочий и франт в розовой косоворотке, видно, слезли на Лахте или в Ольгино. Я медленно иду к своему окошку.

И вдруг я останавливаюсь и тупо гляжу перед собой. Чемодана, там, где я его оставил, нет. Должно быть, я ошибся окном. Я прыгаю к следующему окошку. Чемодана нет. Я прыгаю назад, вперед,



я пробегаю вагон в обе стороны, заглядываю под скамейки, но чемодана нигде нет.

Да, разве можно тут сомневаться? Конечно, пока я был в уборной, чемодан украли. Это можно было предвидеть!

Я сижу на скамейке с вытаращенными глазами, и мне почему-то вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскаленной кастрюльки.

— Что же случилось? — спрашиваю я сам себя. — Ну кто теперь поверит, что я не убивал старухи? Меня сегодня же схватят, тут же или в городе на вокзале, как того гражданина, который шел, опустив голову.

Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к Лисьему Носу. Мелькают белые столбики, ограждающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду к станционному павильону. До поезда, идущего в город, еще полчаса.

Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.

По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.

Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине. Я низко склоняю голову и негромко говорю:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.

<Конец мая и первая половина июня 1939 года.>

### III

#### СТИХОТВОРЕНИЯ

\*.\*.\*

Дни летят, как ласточки,  
А мы летим, как палочки.  
Часы стучат на полочке,  
А я сижу в ермолочке.  
А дни летят, как рюмочки,  
А мы летим, как ласточки.  
Сверкают в небе лампочки,  
А мы летим, как звездочки.

[1936?]

#### Приказ лошадям

Для быстрого движенья  
по шумным площадям  
пришло распоряженье  
от Бога к лошадям:  
скачи всегда в позиции  
военного коня,  
но если из милиции  
при помощи огня  
на тросе вверх подвешенном  
в коробке жестяной  
мелькнет в движеньи бешеном  
фонарик над стеной,

пугая красной вспышкой  
идущую толпу,  
беги мгновенно мышкой  
к фонарному столбу,  
покорно и с терпением  
зеленый жди сигнал,  
борясь в груди с биением,  
где кровь бежит в канал  
от сердца расходящийся  
не в виде тех кусков  
в музее находящихся,  
а в виде волосков,  
и сердца трепетание  
удачно поборов,  
пустьсь опять в скитание  
покуда ты здоров.

3 сентября 1933 года.

\*.\*.\*

Тебя мечтания погубят.  
К суровой жизни интерес  
Как дым исчезнет. В то же время  
Посол небес не прилетит.  
Увянут страсти и желанья,  
Промчится юность пылких дум...  
Оставь! Оставь, мой друг, мечтанья,  
Освободи от смерти ум.

4 окт<ября> 1937 года.

### Постоянство веселья и грязи

Вода в реке журчит прохладна,  
и тень от гор ложится в поле,  
и гаснет в небе свет. И птицы  
уже летают в сновиденьях,  
и дворник с черными усами  
стоит всю ночь под воротами  
и чешет грязными руками  
под грязной шапкой свой затылок,  
и в окна слышен крик веселый  
и топот ног и звон бутылок.

Проходит день, потом неделя,  
потом года проходят мимо,  
и люди стройными рядами  
в своих могилах исчезают,  
а дворник с черными усами  
стоит года под воротами  
и чешет грязными руками  
под грязной шапкой свой затылок.  
И в окна слышен крик веселый  
и топот ног и звон бутылок.

Луна и солнце побледнели.  
Созвездья форму изменили.  
Движенье сделалось тягучим,  
и время стало как песок.  
А дворник с черными усами  
стоит опять под воротами

и чешет грязными руками  
 под грязной шапкой свой затылок,  
 и в окна слышен крик веселый  
 и топот ног и звон бутылок.

14 окт<ября>. 1933.

\* \* \*

Вечер тихий наступает.  
 Лампа круглая горит.  
 За стеной никто не лает  
 И никто не говорит.

Звонкий маятник, качаясь,  
 Делит время на куски,  
 И жена, во мне отчаясь,  
 Дремля штопает носки.

Я лежу задравши ноги,  
 Ощущая в мыслях кол.  
 Помогите мне, о Боги!  
 Быстро встать и сесть за стол.

[1936?]

### Вариации

Среди гостей, в одной рубашке  
 Стоял задумчиво Петров.  
 Молчали гости. Над камином  
 Железный градусник висел.  
 Молчали гости. Над камином  
 Висел охотничий рожок.  
 Петров стоял. Часы стучали.  
 Трещал в камине огонек.  
 И гости мрачные молчали.  
 Петров стоял. Трещал камин.  
 Часы показывали восемь.  
 Железный градусник сверкал.  
 Среди гостей, в одной рубашке  
 Петров задумчиво стоял.  
 Молчали гости. Над камином  
 Рожок охотничий висел.  
 Часы таинственно молчали.  
 Плясал в камине огонек.  
 Петров задумчиво садился  
 На табуретку. Вдруг звонок  
 В прихожей бешено залился,  
 И щелкнул английский замок.  
 Петров вскочил, и гости тоже.  
 Рожок охотничий трубит.  
 Петров кричит: «О Боже, Боже!»  
 И на пол падает убит.  
 И гости мечутся и плачут.  
 Железный градусник трясут.  
 Через Петрова с криком скачут  
 И в двери страшный гроб несут.  
 И в гроб закупорив Петрова,  
 Уходят с криками: «готово».

15 августа 1936 года.

### Старуха

Года и дни бегут по кругу.  
Летит песок; звенит река.  
Супруга в дом идет к супругу.  
Седеет бровь, дрожит рука.  
И светлый глаз уже слезится,  
На все кругом глядя с тоской.  
И сердце, жить устав, стремится  
Хотя б в земле найти покой.

Старуха, где твой черный волос,  
Твой гибкий стан и легкий шаг?  
Куда пропал твой звонкий голос,  
Кольцо с мечом и твой кушак?  
Теперь тебе весь мир несносен,  
Противен ход годов и дней.  
Беги, старуха, в рощу сосен  
И в землю лбом ложись и тлей.

20 окт<ября> 1933.

\* \* \*

Я гений пламенных речей.  
Я господин свободных мыслей.  
Я царь бессмысленных красот.  
Я Бог исчезнувших высот.  
Я господин свободных мыслей.  
Я светлой радости ручей.

Когда в толпу метну свой взор,  
Толпа как птица замирает  
И вокруг меня, как вокруг столба,  
Стоит безмолвная толпа.  
Толпа как птица замирает,  
И я толпу мету как сор.

[1935?]

Публикация ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.



# ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ



## НОВЫЕ ТРЕВОГИ

*После опубликования статьи «Авансы и долги» редакция «Нового мира» получила многие сотни писем. Примерно девять десятых из них в поддержку позиции автора, одна десятая — полностью либо частично — против. Во многих письмах ставятся очень острые вопросы, поднимаются серьезные проблемы перестройки, требующие самого тщательного обдумывания и обсуждения. В связи с этим редакция журнала и попросила Н. Шмелева поделиться с читателями своими соображениями, которые возникли после выхода статьи в свет и ознакомления его с поступившей почтой.*

**П**ерестройка всколыхнула общественную жизнь страны, разбудила ее творческие силы, вселила в людей надежды на реальный выход из тупиковой ситуации, в которой мы оказались за годы застоя. Пусть медленно, но утверждается убеждение, что альтернативы перестройке нет. Ширится число ее активных сторонников и участников. Множество людей, озабоченных будущим страны, будущим нации, сознательно идут в своей повседневной жизни на риск, принимают удары на себя, но не отступают, добиваясь в меру своих сил и возможностей продвижения вперед в том великом деле, начало которому было положено XXVII съездом КПСС.

Но чем очевиднее становится, что глубокая перестройка нашей общественной жизни — это отнюдь не конъюнктурный, тактический маневр, что это всерьез, тем более растет тревога за ее судьбу. Тревога распространяется сегодня не только среди наиболее активной части нашего населения. Наблюдается определенное недоверие и среди широких масс, опаасающихся, с одной стороны, того, что попытки оздоровления политической и социально-экономической жизни страны обернутся в конце концов блефом, а с другой — возможных социальных последствий перестройки.

Особую тревогу порождает ряд негативных явлений, обострившихся именно в последнее время.

Во-первых, нельзя не видеть, что растет скрытое, а нередко и открытое сопротивление перестройке в районах и областях со стороны многих местных партийных, советских и хозяйственных органов. Все более очевидным становится также стремление некоторых центральных министерств, поддерживая перестройку на словах, выхолостить ее содержание на практике, парализовать чисто ведомственными мерами принципиальную линию ЦК КПСС на полный хозрасчет, на самостоятельность, самокупаемость и самофинансирование предприятий.

Думается, трудно более выразительно охарактеризовать суть того, что тормозит сегодня перестройку, чем это сделал недавно известный в стране колхозный председатель М. Вагин: «Кто-то, сильный и властный, опасается нашей самостоятельности, поскольку тогда мы сами становимся сильными и властными в пределах своей хозяйственной территории. Необходимо ли это обществу, государству? Да, позарез необходимо. Следовательно, не общество и не государство ведут с нами борьбу за власть. Тогда кто же? Посмотрите, где вьзнут, обесцениваются решения, принятые на съезде партии и последующих пленумах ЦК, там и обнаружится ответ — кто же?» («Советская Россия», 29.9.1987).

Показательна в этом смысле открытая, решительная (можно даже сказать «мужественная») борьба, которую вопреки недвусмысленным установкам ЦК КПСС ведут некоторые обкомы и райкомы против архангельского мужика, не считая нужным даже хоть как-то скрывать свое враждебное отношение к нему ни от печати, ни от насе-

ления. Упорно сохраняются также волевые ограничения на продажу колхозной продукции на рынках, ограничиваются подсобные промыслы и сельская промышленность, по-прежнему пресекается инициатива в приусадебных хозяйствах, сознательно и преднамеренно сдерживается развитие индивидуально-кооперативной деятельности. «Москва нам не указ» — подобные настроения на периферии распространены сейчас достаточно широко, тем более что на поверхности нередко не видно признаков того, что Москва в состоянии дать им действенный отпор.

В стране не прошло незамеченным и то, что одна из центральных идей июньского Пленума ЦК КПСС — о необходимости считать утратившими силу все ведомственные инструкции, противоречащие содержанию Закона о государственном предприятии, — не получила ни юридического закрепления, ни тем более практической реализации. Госзаказы уже сплошь и рядом превышают прежние плановые задания. Некоторые министерства под шум речей о перестройке установили на достаточно длительное время нормативы отчислений от прибыли предприятий в свою пользу на уровне 80—90 и более процентов. Реальные возможности промышленных и сельскохозяйственных предприятий распоряжаться своими деньгами, то есть своими фондами, и сегодня парализованы действующими ведомственными инструкциями. На деле не существует пока для предприятий и каких бы то ни было возможностей выбиться из тисков фондируемого снабжения, наладить сбыт хотя бы части своей продукции не по разрядке свыше, а самим через рынок. Даже планируемых сверх показателей и то стало больше, а не меньше. Не случайно, что почти 80 процентов опрошенных в середине 1987 года руководителей предприятий считают, что, по существу, прав у них сегодня не больше или даже меньше, чем было в 1984 году.

Невольно напрашивается мысль, что в стране может сложиться или уже складывается своего рода молчаливый заговор против перестройки, в котором интересы определенной части руководства на местах и ряда центральных ведомств все более сближаются. Особо тревожит то, что позиция некоторых центральных органов печати если не в открытую, то методом умолчания фактически поддерживает это сопротивление. Как отметил недавно известный наш публицист И. Васильев, «в обществе складывается весьма тревожная ситуация — колоссальная управленческая пирамида... атакуемая с нарастающим напором пробуждающимися к активной деятельности массами, переходит от первоначального замешательства к контрастному сдвигу» («Советская Россия», 4.10.1987).

Во-вторых, пока ускорение получилось во многом за счет роста производства ненужной продукции. Характерен, например, вывод, к которому пришел автор статьи «Советская экономика на переломе», опубликованной в журнале «Коммунист» (1987, № 12): в двенадцатой пятилетке «по многим видам продукции рост запланирован выше реальных потребностей». Действительно, рост без разбора, рост производства всего и вся, рост ради роста — разве это то, что нам сегодня нужно?

В то же время заметно ухудшилось положение многих промышленных предприятий, попавших в тиски между двумя взаимоисключающими требованиями: с одной стороны, гнать, не считаясь ни с чем, вал (вернее, товарную продукцию), с другой — подстраиваться под госприемку и, соответственно, обеспечивать непривычный пока для них уровень качества выпускаемой продукции. Это породило дурную цепь взаимосрывааемых поставок: предприятия не могут получить в необходимых объемах комплектующие изделия от своих поставщиков и в свою очередь не могут выполнить и свои обязательства по поставкам перед потребителями собственной продукции. Результаты работы предприятий, перешедших на самофинансирование с начала 1987 года, оказались не лучше, а кое-где и хуже, чем у прочих. Заводы залихорадило, увеличились простои, снизились заработки, в печати опять послышались голоса (причем не только руководителей, но и рабочих) о необходимости возврата к «твердой руке». В то же время вновь стали расти непроданные запасы никому не нужной продукции, но теперь уже не только некоторых товаров народного потребления, но и средств производства (например, трактора и комбайны).

В-третьих, широко распространилось мнение (может быть, связанное с возросшими ожиданиями людей), что положение на рынках продовольствия и товаров широкого потребления в последнее время не только не улучшилось, но даже ухудшилось. Очереди в магазинах и пустота на прилавках сохраняются по-прежнему: производство продовольствия из государственных ресурсов выросло незначительно, качест-

во отечественного ширпотреба не изменилось, импорт (включая даже такие товары первой необходимости, как чай и кофе) заметно снизился.

Декларированное право реализовать на рынке всю сверхплановую и до 30 процентов плановой продукции, предоставленное совхозам и колхозам почти два года назад, не привело на деле ни к каким результатам. Республиканские и областные агропромы продолжают расписывать всю продукцию хозяйства вплоть до последнего огурца, так что продавать на рынке им фактически нечего. Некоторые сугубо административные начинания вроде ярмарок с колес, будучи сплошь и рядом в убыток сельскохозяйственным производителям, идут лишь из-под палки и могут скоро исчезнуть сами собой (конечно, они дали определенный эффект, но этот эффект был достигнут не на экономической основе, и потому он не может не быть временным). Головоотяпская, а возможно, и злонамеренная борьба против приусадебных участков, продажи продукции в других, «чужих» районах привела во множестве мест лишь к оскудению и без того небогатых колхозных рынков: на краснодарском рынке, например, в прошлом году из 1200 мест пустовало 500. Запуганный местными властями и тяжелейшими трудностями организации (бумажная волокита, поборы, враждебность милиции, невозможность нормального снабжения), индивидуально-кооперативный сектор в мелком производстве и сфере услуг не смеет пока поднять голову, и ждать от него какой-то серьезной отдачи в скором времени вряд ли было бы реалистично.

В четвертых, среди населения усиливаются различного рода опасения, связанные с дискуссией в печати относительно некоторых намеченных экономических мер, прямо затрагивающих социальную сферу.

Вполне понятны, например, опасения, что центральный вопрос перестройки — реформа цен и как следствие ее возможное повышение их на целый ряд продовольственных товаров и коммунальные услуги — будет решен со значительным ущербом для массового потребителя, что государственные органы не удержатся от традиционного для них соблазна решить эту проблему за счет интересов населения, что они, наконец, просто в силу торопливости не успеют подготовить и провести реформу цен так, чтобы обеспечить соответствующую компенсацию мало- и среднеоплачиваемым слоям трудящихся, пенсионерам, студентам, лицам, живущим на различные пособия, и т. д. Усиленно циркулируют слухи о возможной денежной реформе и, соответственно, о конфискации определенной части вкладов в сберкассах. Людей пугает также перспектива закрытия предприятий, которые не выдержат полного хозрасчета и новых требований к качеству, более жесткой (уже не административной, а экономической) дисциплины на предприятиях, необходимость переквалификации или перемещения в другие районы, возможные потери в заработках. Успех перестройки сулит пока мало хорошего многим из тех 18 миллионов больших и малых работников управления, которые сейчас имеются в стране. Социальное и имущественное положение какой-то части из них может быть основательно подорвано наметившимся курсом на сокращение как центрального, так и местного аппарата. А это ведь тоже наши люди, и их тоже можно и нужно понять.

В пятых, в последнее время привлекают особое, повышенное внимание наши успехи и неудачи в борьбе с подлинным национальным бедствием страны — пьянством.

Несмотря на то, что достигнуты определенные результаты в этой борьбе (в частности, снижение производственного травматизма и «пьяной» преступности), нельзя не видеть, что мы здесь пока еще только в начале пути. Первый этап этой борьбы прошел в целом успешно. Но вызывает тревогу то, что пьянство в массе своей начинает, по-видимому, приспосабливаться к новым условиям и принимает сегодня новые, нередко еще более безобразные формы — такие, как потребление химических препаратов, моющих средств, токсикомания и т. п.

Одновременно становится все более очевидно, что государство шаг за шагом втягивается в самогонную войну с населением. Эту изнурительную войну оно вряд ли выиграет: простота кустарного производства, выгода от него и масштабы потребностей в спиртном делают в конечном счете безнадежными любые мыслимые противодействующие усилия органов МВД. К каждому деревенскому дому, а теперь и к каждой городской квартире не приставишь же милиционера. Судя по мировому опыту, мы сегодня уже на пороге массового промышленного производства подпольного спиртного (как в Америке 20-х годов), а это значит, что мы, возможно, и на пороге серьезной вспышки организованной преступности, ибо сегодняшняя прибыль на самогоне оправдывает — даже чисто статистически — любую степень риска.

Административные меры борьбы с пьянством, по-видимому, уже дали все или почти все, что они могли дать. Борьба с ним вступает в новый этап, и важно не проглядеть эту перемену. Борьбу сегодня необходимо перенести прежде всего в экономическую и социальную плоскости. Многие сейчас испытывают разочарование в низкой результативности принимаемых мер. Спрашивается: а чего же мы ожидали? Неужели мы действительно верили в скорый результат? Спаивание населения продолжалось шестьдесят лет, и реально ли надеяться, что сложившуюся психологию и образ жизни целого народа можно поломать за год-два?

По моим оценкам, если на рубеже 80-х годов две трети дохода от спиртного получало государство и одну треть — самогонщики, то сегодня (при сохранении общего душевого уровня потребления спирта) мы добились лишь того, что поменяли эту пропорцию на прямо противоположную. Но, отдав доход от спиртного самогонщику, государство за два последних года пришло к резкому усилению несбалансированности бюджета, дефицит которого сегодня покрывается таким в высшей степени опасным, нездоровым средством, как печатный станок.

Следует подчеркнуть, что с точки зрения чисто финансовой техники таких нелепостей — чтобы отдать фактически добровольно законные государственные доходы самогонщику! — в истории начиная с шумеров насчитывалось немного. Для Америки, в частности, сухой закон был, как известно, тоже нравственным экспериментом, закончившимся, однако, полной неудачей. Но он при этом заграживал преимущественно доходы частных компаний, производивших спиртное. Акцизные сборы от спиртного в американском федеральном бюджете того времени играли относительно второстепенную роль.

Общественный климат в нашей стране за последние два года изменился. Изменился в принципе. Но многие у нас пока еще не понимают, что никакой реальной альтернативы перестройке нет, что в экономическом смысле мы пока еще не отошли от края пропасти. Печать в основном занята пропагандой успехов, во многом мнимых, и это сглаживает, стирает остроту стоящих перед страной задач. Ни в народе, ни в руководящих слоях далеко не все еще осознали серьезность положения. Чувство успокоенности, равнодушие, уверенность в том, что все как-нибудь образуется само собой, порождают у многих вопрос: а зачем вообще мы это все затеяли? Немало людей еще не поняли, что иначе мы окажемся на обочине истории, превратимся в слаборазвитую страну, что иначе нашу революцию в конце концов задумат.

Обнадеживает, однако, то, что пока еще кредит нового курса в народе в целом весьма высок, особенно в среде интеллигенции. Но учитывая, что политика перестройки началась уже более двух лет назад, естественно, задаешься вопросом: на сколько хватит этого кредита? По-видимому, речь может идти о годе-двух, после чего вполне можно ожидать поворота в настроениях масс — разочарования, апатии, растущего недоверия к намеченному курсу.

Нужен успех, видимый успех — успех не когда-то, а уже в ближайшее время. Этот успех мог бы быть достигнут уже в прошлом году, если бы сознательное (или бессознательное — что не легче) сопротивление перестройке, особенно на селе, не парализовало подобную возможность. Не исключено, что, если нам не удастся добиться в ближайшее год-два чего-либо существенного, оцумитоме всеми, судьба перестройки может оказаться под угрозой.

Специфика текущего момента требует, мне кажется, ряда решительных шагов внутри страны, которые в своей совокупности могли бы дать положительный эффект и укрепить веру населения в оправданность и благотворность курса на перестройку.

Думается, что прежде всего необходимо несколькими крупными акциями поломать складывающееся сегодня в народе убеждение, что местá сильнее Москвы и что некоторые центральные министерства сильнее ЦК КПСС.

Сломать усиливающееся кое-где сопротивление новой политике в деревне — нелегкая задача. Только одними административными мерами здесь не обойтись. Среди многих экономистов сегодня зреет убеждение, что без отмены обязательных плановых поставок продукции колхозов и совхозов и замены их налогом проблема такого сопротивления неразрешима. Возможно, следует наконец пойти на принятие подобного решения. Куда эта продукция денется из страны? И куда она в массе своей пойдет помимо государственных хранилищ и холодильников? Даже (очень



теоретически) если колхозы и совхозы вдруг бросятся с ней на свободный рынок, не потребуется и месяца, чтобы они убедились в его очень узкой поглотительной способности. Но такое решение означало бы действительную самостоятельность для них и в то же время реальный крах всего того, что продолжает сейчас опутывать наше сельское хозяйство по рукам и ногам.

Кризисное состояние нашего сельского хозяйства очевидно для всех. Причины этого состояния не в капиталовложениях. Их за последние полтора десятилетия было направлено в деревню более чем достаточно. Но они фактически не дали ничего. Кризис нашей деревни — расплата за пять с лишним десятилетий насилия над здравым смыслом, над всем, что побуждает человека к нормальному, добро-совестному труду. И сегодня уже мало кто, наверное, сомневается, что основная причина нынешнего бедственного положения нашего сельского хозяйства, его оценки — в той безраздельной власти, которую административная прослойка приобрела за эти десятилетия над всем, чем живет деревня.

Райкомы, райисполкомы, РАПО заняты сегодня преимущественно не своим делом. На практике все это инструменты принудительного труда, средство, позволяющее административным путем хоть как-то компенсировать отсутствие в деревне нормальных, здоровых экономических отношений, не подавляющих, а стимулирующих человеческий фактор, человеческую активность. По логике вещей, по логике «хозрасчетного социализма», райкомы должны быть лишены хозяйственных функций (и как можно скорее), райисполкомы возвращены к тем функциям, которые присущи всяким нормальным органам местного самоуправления, а РАПО должны быть превращены в разнообразные и полностью хозрасчетные производственные, закупочные и снабженческие объединения. Сердцевинной всех аграрных отношений должен ввост (как в 20-х годах) стать налог.

Существуют, однако, опасения, что при подобном повороте событий нас ждет трудный переходный период, чреватый падением сельскохозяйственного производства. Нередко высказывается мысль, что в этом случае люди в деревне вообще перестанут работать, что все развалится, все разбегутся и страна вообще окажется без хлеба и без мяса. Дескать, пусть уж лучше все остается, как оно есть: хоть и неэффективно, и через пень-колоду, и все время на грани срыва, но нынешняя система все-таки обеспечивает какой-то минимум продовольствия. Ну, а дальше? А дальше тоже, наверное все как-нибудь устроится само собой.

Понять подобные настроения можно, но оправдать нельзя. В основе их — представление о нашем человеке как о каком-то ленивом рабе, которого только кнутом и можно заставить хоть что-то делать. Невольно возникает вопрос: да так ли оно на самом деле? Так ли уж мы все (и наша деревня в частности) выродились, что любые попытки вернуть людей к нормальному, полнокровному труду обречены на неудачу?

Действительно: а разбегутся ли? А бросят ли все?

Думаю, что нет. Люди есть люди, и сколько бы их ни утюжили сверху, нет такой силы, чтобы вытравить из них главное, что составляет суть человека, — его способность и желание к труду. Конечно, мы в этом деле достигли больших «успехов», но не следует быть излишне самонадеянными: этого до конца даже нам не удалось. И если вернутся нормальные, здоровые условия жизни, даже и в полуразрушенной деревне нашей, уверен, найдутся силы, которые позволят ей возродиться. Человек не может быть врагом самому себе, это обстоятельства сделали его таким. Не разбежится деревня! Даже и в начале, в переходный период, пока не начнет давать полную отдачу новая система стимулов, будет действовать естественная сила инерции, которая так много значит в жизни. Люди привыкли каждый день выходить на работу, что-то делать, за что-то отвечать, иметь какие-то обязанности, и неверно думать, что свобода, устранение административной палки из их жизни мгновенно превратят их в поголовных лодырей и пьяниц.

Думается, что неизбежными чисто экономическими условиями нормализации обстановки в деревне и перехода к продналогу являются, во-первых, выравнивание закупочных цен, особенно на мясо и картофель, поскольку чуть ли не для половины хозяйств эта продукция сейчас убыточна и производят ее лишь из-под палки, лишь под нажимом сверху, а во-вторых, признание того факта, что колхозы и совхозы в их нынешнем виде жизнеспособны далеко не везде. В Нечерноземье, в частности, они, по-видимому, в ряде мест обречены, и чем скорее земля здесь будет

передана в долгосрочную семейную аренду (то есть фермерам) при одновременном развитии снабженческой, сбытовой, кредитной и прочих форм кооперации — тем лучше.

Я отнюдь не ставлю тем самым под сомнение уже успевшие доказать кое-где свою эффективность новые формы организации сельскохозяйственного труда — агрокомбинаты, агрофирмы, бригадный подряд в крепких колхозах и совхозах. Но страна велика, и что подходит в одном месте — не подходит в другом. Жизнь, по моему, уже достаточно научила нас, что в таких делах постановка вопроса в плоскости «или — или» оказывается самой неплодотворной. Нам нужно и то, и другое, и пятое, и десятое.

Система продналога должна иметь и несомненно будет иметь свои собственные рычаги, чтобы не допустить даже на первых порах заметного падения производства в деревне. Вот они.

1. Налог надо платить, а следовательно, его надо заработать. Это уже гарантирует, скажем, 30—40 процентов производства.

2. За машины, удобрения, сортовые семена, химикаты, ремонт, строительные работы и материалы своим государственным хозрасчетным партнерам тоже надо платить. И на это тоже надо заработать.

3. Какой-никакой, но заработок в общественном хозяйстве тоже сейчас обеспечивается (и в большинстве хозяйств не такой уж маленький). Отказаться от него и целиком положиться на свое подворье даже в условиях полной свободы — на это мало кто сейчас пойдет. Кроме того, пока само наличие подворья обеспечивается участием в общественном труде.

4. Государство может дополнительно стимулировать продажу продукции колхозов, совхозов и индивидуальных хозяйств государственным заготовительным организациям через встречную продажу всего, что сейчас дефицитно, но так нужно сельским жителям (товары широкого потребления, продукция производственного назначения). Пройдет несомненно еще длительное время, прежде чем дефицит из нашей экономики исчезнет и мы наладим полностью свободный рынок. Так что этот рычаг обеспечения государственных потребностей еще долгое время будет давать эффект.

5. У семейного подряда и долгосрочной семейной аренды, судя по первым результатам, имеются реальные возможности перекрыть любое теоретически мыслимое падение общественного производства, если административный контроль над сельским хозяйством будет ликвидирован. Если я не ошибаюсь, «архангельский мужик» со своей семьей давал 8—9 процентов всей животноводческой продукции большого совхоза, где только в конторе сидят свыше 30 человек. Следовательно, 10—12 таких «архангельских мужиков» — и совхоз в его нынешнем виде со всей его конторой можно было бы закрывать.

Однако если подобное радикальное решение проблемы сопротивления местных органов кажется преждевременным, все равно необходимо уже сегодня принять все другие возможные меры против административного произвола в деревне. Наверное, не вредно было бы несколько раз публично, жестко наказать тех местных руководителей, кто продолжает душить семейный подряд, аренду земли, приусадебные участки, сельские промыслы, продажу индивидуальной и колхозной продукции на местных или на отдаленных рынках. Аналогичные меры в показательном порядке следовало бы применить и к тем, кто всеми способами продолжает препятствовать индивидуально-кооперативной деятельности. Народ должен знать, что в той борьбе, которая развернулась сейчас, сила на стороне Москвы, а не у местных уездных князьков.

Нельзя дальше безразлично смотреть и на то, как некоторые центральные министерства своими ведомственными инструкциями топят реформу. До решения принципиального вопроса о целесообразном числе министерств, их штатах и пределах их компетенции следовало бы, наверное, — опять-таки решительно, публично — показать антигосударственный характер практики тех из них, кто установил предприятия норматив отчислений в свою пользу на уровне 90 процентов и кто беспардонно вмешивается в право предприятий распоряжаться своими фондами. Не нужно недооценивать и политического значения такого вмешательства со стороны высшего руководства, даже если оно будет сведено всего только к нескольким случаям. И трудящиеся и аппарат самих министерств должны знать, что и здесь сила

не у «ведомственного болота», а у перестройки, у центральных руководящих органов.

Как, например, не понять крик души, вырвавшийся недавно у директора одного из наших станкостроительных заводов: «Необходима чрезвычайная комиссия по контролю за экономической перестройкой» («Советская Россия», 14.11.1987). ВЧК для перестройки? Не слишком ли круто? Может быть, и круто. Может быть, есть и другие, более мягкие способы решения проблемы. Но что-то же надо делать! Ведь так все опять — в который раз — уйдет в песок.

Примерно 60 процентов промышленной продукции страны с 1 января нынешнего года должны, по идее, производиться на основе полного хозрасчета, на основе нового Закона о государственном предприятии. Закон этот, конечно, хороший, правильный закон. Но что уже сегодня на практике осталось от него? И не подорвет ли то немногое, что осталось, саму веру и руководителей промышленных предприятий и трудовых коллективов в перестройку, в реальный хозрасчет? Хорошими бумагами и хорошими словами мы все сыты по горло. Сегодня значат лишь одно — дела.

Конечно, пока еще не проведена реформа цен, было бы, например, нереально рассчитывать на введение во всей промышленности единого налога на прибыль, то есть единого норматива отчислений от прибылей предприятий в бюджет и в пользу министерств. Но разве это основание для того, чтобы отнимать у предприятий, как это делается сейчас в отраслях легкой и пищевой промышленности, более 90 процентов прибылей? Какое политическое, экономическое, наконец просто человеческое право имеют на это соответствующие министерства? Опять мы отнимаем у тех, кто хорошо работает, для того, чтобы держать на плаву тех, у кого все валится из рук? Бюджет? Но легкая и пищевая промышленность и так обеспечивает через налог с оборота основную часть его доходов. А о какой самостоятельности, инициативе, о каком стимулировании предприимчивости, качества, технического прогресса, наконец, о какой борьбе за потребителя может идти речь, если работай хорошо, работай плохо — все одно?

Эта беспардонность, эта логика экономического насилия все еще во многом определяют жизнь даже тех предприятий, которые вроде бы достигли уже подлинного экономического могущества и могут обойтись в своей производственной и коммерческой деятельности вообще без всяких министерств. Выясняется, например, что даже КамАЗу установлены (и обжалованию не подлежат!) нормативы отчислений от прибылей 4,1 процента в пользу госбюджета и 46,26 процента в пользу министерства. У министерства, видите ли, оправдание: оно вернет все эти средства КамАЗу в виде министерских же ассигнований на капиталовложения. Спрашивается: а зачем? Зачем вся эта переброска одних и тех же денег туда-сюда, из кармана в карман? Чтобы и министерство тоже было бы, что называется, при деле?

Имеется и еще один аргумент: завод построен на средства министерства, теперь его производственные фонды переданы в распоряжение коллектива, коллектив должен так или иначе вернуть (то есть выкупить) их тому, у кого взял. Но коллектив будет платить по 6 процентов в год за эти средства в виде «плат за фонды». По всем экономическим критериям это и есть нормальный процесс выкупа, и он не дает никаких оснований для того, чтобы даже не государство, не бюджет; а какой-то посреднический аппарат претендовал на львиную долю доходов предприятия.

Слишком многое сегодня в перестройке зависит не только от экономических факторов, но и от психологии тех, от кого она исходит, и тех, к кому она обращена. И без решительности, без жесткой борьбы нам не одолеть бюрократизма, который М. С. Горбачев недавно справедливо назвал «злейшим, опаснейшим врагом революционной перестройки».

Далее. Сегодняшнее состояние нашей экономики показывает, что нельзя одновременно и ускоряться и перестраиваться, что повышение темпов роста по всем отраслям и перестройка всего хозяйственного механизма страны противоречат друг другу. Что бы где ни говорилось, но главное пока для предприятий план, то есть вал. Либо вал подомнет под себя новый механизм, либо наоборот. Но если не принять необходимые меры, скорее всего это будет вал.

Мы все еще нередко смотрим на реальную экономику как на какую-то сумму наших соображений о ней, наших пожеланий и претензий, а не как на органическое сцепление экономических законов и потребностей, которым, хочешь не

хочешь, а нужно следовать. Эту мысль можно выразить и проще: нельзя шагать шире своих штанов, как бы этого ни хотелось.

Конфликт между переходом на полный хозрасчет, стремлением повысить качество и технический уровень продукции, избавиться от ненужного производства и, с другой стороны, требованием в обязательном директивном порядке наращивать темпы роста любой товарной продукции (то есть вала) без серьезных издержек неразрешим. Придется жертвовать либо тем, либо другим, и чем скорее, чем открытее мы это признаем, тем лучше. План двенадцатой пятилетки был сверстан в иных условиях и для иных условий. Тогда еще никто не думал, что дело перестройки повернется так всерьез.

В некоторых отраслях (за исключением новейших и ряда отраслей Агропрома) необходимо, видимо, отказаться от установленных пятилетним планом заданий по росту товарной продукции. Сейчас нам не до вала. Страна обновляет весь свой хозяйственный механизм, а делать это в надрывных условиях, задыхаясь от напряжения (к тому же ненужного), нельзя — нельзя не по чьей-либо злой воле, а по объективным условиям. Снижение темпов будет временным и отнюдь не по всем отраслям, но оно неотвратимо, коль скоро речь идет о действительно глубоких преобразованиях. Народу этот конфликт, эту необходимость смены приоритетов можно объяснить, и он со своим здравым смыслом это несомненно поймет. Сегодня больше всего нужны не темпы, нужен насыщенный товарами рынок и видимое всем повышение технического уровня и качества нашей продукции. Это и будет успехом нового хозяйственного механизма, успехом перестройки.

Необходимо в ближайшее время предпринять экстраординарные усилия для насыщения внутреннего рынка продовольствием и товарами широкого потребления. Существенных сдвигов в работе легкой, пищевой и бытовой промышленности за год-два, по-видимому, не достичь. Индивидуально-кооперативный сектор в городе тоже только-только начинает подавать признаки жизни.

Сегодня в решении проблемы насыщения рынка видятся лишь две серьезные возможности с надеждой на быструю отдачу.

Это, во-первых, полный простор товарным, рыночным отношениям на селе, снятие всех — именно всех — административных пут и ограничений в сельском хозяйстве, переход от обязательных натуральных поставок колхозов и совхозов к твердому денежному налогу, повсеместный переход на бригадный, звенный и особенно долгосрочный семейный подряды, широкая передача земли в долгосрочную семейную аренду там, где это оправданно. Следует, однако, считаться с тем, что деревня вряд ли так сразу поверит в серьезность подобного поворота событий. Однако и тех, кто поверит, будет, вероятно, достаточно, чтобы достичь важнейшей на сегодня цели — хотя бы каких-то реальных признаков улучшения положения на рынке. Серьезность же и долговременность такого курса может быть, наверное, вновь специально подтверждена решениями предстоящей партконференции, в повестке для которой этот вопрос может найти свое место как часть общей программы дальнейшей демократизации.

Важно, однако, всем нам осознать, насколько же мы отвыкли от всего экономически нормального, здорового и привыкли ко всему экономически ненормальному, нездоровому. Самый свежий пример — уборка урожая прошлой, на редкость ненастной осенью. Вопреки всем неоднократно провозглашавшимся добрым намерениям урожай опять спасал дармовой (конечно, для села, но отнюдь не для государства) труд мобилизованных, как на войну, горожан — студентов, рабочих, инженеров, врачей. И только под конец сентября и местные власти и газеты вдруг прозрели: оказывается, если позволить убирать урожай самим сельским жителям (да и вообще охочим людям) из шестого или даже из десятого мешка — может быть, и никакого принудительного труда горожан не надо? Не надо даже при такой несусветно низкой, ниже феодальной, ставке оплаты, а что же тогда говорить, если бы это было из третьего, а еще лучше — из второго мешка (что было бы, между прочим, вполне естественно по любым нормальным экономическим, а не кабинетным критериям). Нет, пусть лучше пропадает 60—70 процентов урожая того же картофеля — так нам привычнее!

Воистину мы сейчас напоминаем тяжело больного человека, который после долгого лежания в постели с превеликим трудом делает первый шаг и, к своему ужасу, обнаруживает, что он за это время почти разучился ходить. И так сегодня

в нашем сельском хозяйстве, к сожалению, во всем. С самых высоких трибун мы все еще слышим утверждения, что помимо экономических есть еще и другие методы управления сельским хозяйством. Позвоительно спросить: а какие? Кнут, приказ, организаторская суетня? Было! Все уже было. Были даже и лагеря. И результаты того, что было, мы и расхлебываем теперь.

Во-вторых, необходимо изыскать возможности для существенного роста импорта товаров широкого потребления. Сегодня, когда этот импорт резко сократился и продолжает сокращаться, подобное предложение может показаться многим нелепым, оторванным от жизни. Но если взглянуть на вещи непредвзято и отказаться от некоторых наших почти уже религиозных догм, вопрос может предстать в совершенно ином свете. Думается, такие возможности у нас в реальности есть.

Пока еще долг нам со стороны некоторых социалистических стран не высок окончательно, можно несомненно как-то побудить их к определенному увеличению поставок необходимой нам продукции ширпотреба. Аналогичных, пусть скромных, результатов можно добиться и в отношении устойчивого положительного нашего сальдо в торговле с некоторыми развивающимися странами и их долгов нам. Но самое главное — следует, по-видимому, пойти на экстраординарные валютные расходы по импорту из капиталистических государств.

Средства для подобного импорта могут быть получены разными путями: увеличением продажи золота в течение ряда лет, использованием наших валютных резервов, привлечением иностранного кредита. Для покрытия, например, водочного дефицита в нашем бюджете нужен импорт товаров ширпотреба при нынешней их бюджетной рентабельности порядка 1,5—2 миллиарда долларов в год. С точки зрения нынешних целей партии такие экстраординарные расходы в течение трех—пяти лет (пока не начнет давать отдачу новая хозяйственная система) были бы несомненно оправданны. Могущество нашей страны в будущем (как и могущество других индустриальных стран) зависит не от золота, оно зависит от нашей способности справиться с проблемами современного научно-технического прогресса. Расходы на подобный импорт могут быть также существенно увеличены за счет привлечения иностранного (краткосрочного и среднесрочного) кредита. Платежная репутация наша на мировых финансовых рынках весьма солидная, и уровень нынешней задолженности страны (несмотря на ее рост в последние два года) по любым международным критериям минимален.

Насыщение продовольственного рынка и расширение импорта ширпотреба могли бы существенно помочь в решении и другой нашей неотложнейшей проблемы — проблемы пьянства. Зависимость здесь простая и понятная каждому из нас: полные прилавки в продовольственных и промтоварных магазинах, доступность и высокое качество разнообразных товаров заметно увеличили бы возможности для населения тратить деньги не на спиртное, а на что-то другое, полезное человеку.

Административные меры дали положительный эффект лишь в двух аспектах проблемы — пьянства на рабочем месте и порядка на улицах. В других же ее важнейших аспектах — что купить вместо водки, куда себя деть в свободное время и чем себя занять — они оказались бессильными. Но не решив этих базовых проблем, мы никогда не сможем покончить с пьянством. Причем речь идет даже не о старших поколениях, а о молодых, о будущем здоровье нации. И уповать здесь только на административные меры (при всей их важности) было бы по меньшей мере наивно.

Как найти выход из сложившегося положения? Мнения по этому вопросу высказываются сегодня самые противоречивые. Нет единства мнений и в редакции «Нового мира» и среди авторов журнала. Но мне лично (и некоторым другим экономистам) выход видится, возможно, в следующем.

Необходимо признать, что новой ценой на водку, многочасовыми унижительными очередями за ней в магазинах и действиями милиции мы самогонщика не задушим никогда. Все это уже не раз было и у нас в стране и за рубежом, но желаемого эффекта нигде не дало. Положительных результатов можно, думается, ожидать от другого, от заметного снижения цены на водку, устранения ее дефицита в магазинах и массового распространения хорошо оборудованных пивных и кафе. Пить от этого, думаю, больше не будут. И прошлый опыт наш действительно убеждает в том, что причины пьянства заключаются не в цене на водку, а в другом — во всей социально-экономической и духовной обстановке в стране. В 50-х годах, например, цена на спиртное была значительно ниже, чем сегодня, и оно продавалось везде, а пили в расчете на душу населения в 2,5—3 раза меньше, чем сейчас. Снизив цену на спиртное и обес-

печив достаточное его количество по государственным каналам, мы достигнем по крайней мере одного — задушим самогонщика, прикроем всякого рода тайные притоны, прекратим травлю людей химикатами. Существуют и другие очевидные возможности в этой борьбе: если бы мы, например, сумели обеспечить одиноких стариков и старух необходимыми им услугами (вроде вспашки огорода) за деньги, а не за водку или, как сегодня, за самогонку, это дало бы гораздо больший реальный эффект, чем все действия всей милиции, вместе взятой. Нелепой, не поддающейся никаким рациональным объяснениям является также и массовая вырубка виноградников — пока не поздно, ее необходимо остановить. Ведь это вековые накопления нации, плод тяжелого труда многих поколений — какая же бредовая голова решилась на такое?

Борьба с пьянством, видимо, надолго останется одной из центральных наших задач. Но это медленная, упорная борьба, связанная прежде всего с товарным насыщением рынка, повышением общей культуры населения, в том числе культуры досуга, созданием в стране социальных условий, которые не подавляли бы, а, наоборот, поощряли бы все творческие силы и интересы человека. Репугсь высказать предположение, что главная причина усиления пьянства в 60 — 80-е годы в том, что люди устали от лжи, от бестолковости, и еще оттого что не к чему было с очевидной пользой для себя и других приложить свои руки и свою голову. Это своего рода ухмылка Мефистофеля нам в спину.

Именно здесь, в изменении всей социальной и духовной обстановки, в которой протекает наша жизнь, лежат основные надежды на то, что борьба с пьянством когда-нибудь увенчается успехом. И необходимо осознать, что госбюджет, его дефицит в этой борьбе ни при чем.

Один из самых серьезных вопросов нашего сегодняшнего экономического положения — где взять деньги на перестройку? Традиционных бюджетных средств, даже если мы решимся ликвидировать сегодняшние дыры в бюджете (а ликвидировать их необходимо), при всех условиях, видимо, недостаточно. Нужны новые, нетрадиционные источники финансирования.

Возможности реального снижения военных расходов — самостоятельный вопрос. Здесь же хотелось бы привлечь внимание к двум другим, пока еще слабо используемым, но потенциально значительным источникам финансирования.

У нас крайне неразвитый внутренний кредитный рынок. Имеющиеся в стране сбережения используются на производительные цели совершенно недостаточно. Около 260 миллиардов рублей, хранимых в сберкассах, — это очень много в сравнении с существующей товарной массой. Они дают на рынок и обостряют проблему товарного голода в стране. Их необходимо на долгий срок (без угрозы изъятия под влиянием перепада в настроениях их владельцев) втянуть в дело, в финансирование инвестиционных потребностей страны. Но это можно сделать только в том случае, если будет обеспечена явная, ощутимая выгода для владельцев этих средств. Не следует к тому же забывать, что немалые денежные средства населения хранятся не в сберкассах, а в чулке.

Если мы разрешим предприятиям выпускать и продавать, а людям покупать их акции и облигации по высокой ставке дохода, то промышленные объединения, колхозы, совхозы смогут мобилизовать в дополнение к своим собственным ресурсам десятки миллиардов рублей. Многие потенциальные кредиторы охотно пустят свои средства в оборот под высокий (7—10 процентов) доход. В политэкономическом смысле этот доход принципиально ничем не будет отличаться от того, который сейчас получает любой вкладчик в сберкассе.

Кроме того, государство может сегодня расширить прямые займы у населения, повысив процентную ставку по облигациям государственных займов. Пока мы расширяем государственное заимствование и, соответственно, государственный долг в нездоровом, скрытом порядке. Почему не пойти на это в открытую? Государственный долг — нормальное экономическое явление. И если он добровольный, если люди будут охотно давать свои средства займам государству на долгий срок, нам нечего бояться его.

Почти во всех странах мира, в том числе и социалистических, нормальный (то есть основанный на коммерческих началах и, разумеется, возвратный) кредит давно уже превратился в мощнейшую двигательную силу экономики. Мы же здесь находимся пока в состоянии младенчества. Почему, например, предприятия не могут сей-

час предоставить друг другу свои свободные средства в кредит? Почему кооператоры не могут организовать свой банк? Почему государство, уплачивая столь низкий процент по вкладам населения в сберкассы, скорее поощряет людей тратить доходы, а не сберегать их? Вряд ли сегодня кто-нибудь может дать на эти вопросы разумный ответ.

Другой источник финансирования — внешнее долгосрочное заимствование. Наш чистый долг на начало 1987 года, по западным оценкам, находился на уровне, чуть превышающем 20 миллиардов долларов. По размерам внешней задолженности на душу населения мы значительно уступаем всем европейским социалистическим странам. Да и вообще наше положение в мире, учитывая все виды и все географические направления задолженности, это пока еще положение не должника, а кредитора.

В мировой практике рост внешней задолженности, до тех пор пока он не выходит за определенные пределы, расценивается как абсолютно нормальное явление. Более того, такой рост задолженности для многих стран характерен, как правило, именно в те исторические периоды, когда осуществляется глубокая структурная перестройка их экономики.

По-видимому, мы могли бы занять на мировых кредитных рынках в ближайшие годы несколько десятков миллиардов долларов и при этом остаться платежеспособными, то есть не перейти опасной черты. Разумеется, взятые займы на долгий срок деньги должны быть в основной своей массе пущены на закупку передового импортного оборудования для организации экспортного производства в машиностроении и других перспективных отраслях, с тем чтобы через пять—семь лет мы начали бы их продукцией погашать полученные кредиты. Нельзя повторять ошибку 70-х годов, когда даже долгосрочные зарубежные кредиты были в значительной своей части фактически проедены. Эти долгосрочные кредиты могли бы быть также (при должных усилиях с нашей стороны) в будущем превращены в акции и облигации совместных предприятий. Это уже становится широкой международной практикой, и нам нет никакого резона оставаться от нее в стороне.

Пока наши намерения в области совместных предприятий не стали реальностью. А подобные предприятия могли бы принести скорую отдачу в смысле насыщения рынка, особенно в Агропроме. Но для этого надо решиться, по мнению западных бизнесменов, на отказ от принципа собственности 51:49, от неприемлемо высокой ставки налога, от недопущения западных партнеров к руководству совместными предприятиями и, наконец, надо решиться не только на экспортную, но и преимущественно на внутреннюю ориентацию подобных предприятий. Попробуйте на минуту представить себя на месте, скажем, американского бизнесмена: если в США у него с прибылью взимают налог в 34 процента, где-нибудь в Юго-Восточной Азии — в 20—25 процентов, а мы намерены взимать с него 44 процента, то какой ему резон вкладывать деньги у нас? Ради перспектив на нашем рынке? Но мы же сами говорим ему, что продукция такого предприятия должна идти не на наш внутренний, а на внешний рынок. А на внешнем, он знает, и без нас конкурентов полно.

Думается, что положительные тенденции в международной обстановке последних лет делают реалистичными надежды на успех нашей более активной кредитной политики. Конечно, нужна решимость, но если такая решимость будет проявлена, она, судя по всему, будет встречена международными финансовыми кругами с пониманием.

И наконец последнее. Сейчас было бы, вероятно, весьма своевременно дать самые авторитетные разъяснения по поводу страхов и беспокойства, которые распространяются среди населения в связи с наиболее острыми социальными аспектами перестройки. Страна полна разного рода слухов. Эти слухи воспринимаются тем более болезненно, что память о прошлом опыте отнюдь не укрепляет доверия населения ко многим государственным мероприятиям. Да и нынешнее положение не содействует этому, имея в виду отсутствие пока реально ощутимых сдвигов в повседневной жизни.

Некоторая неясность намерений государства в связи с провозглашенной реформой цен, общие заверения относительно того, что она не приведет к снижению жизненного уровня народа, пока убеждают далеко не всех и в силу своей неопределенности скорее разжигают опасения, чем успокаивают их. Прежде всего население еще до конца не понимает, зачем вообще нужна реформа цен и какие цели она преследует. А целей у нее, по моему мнению, может быть две, и они во многом взаимоисключающие.

Либо это создание наконец системы объективных экономических ориентиров в нашем народном хозяйстве, позволяющих нам достоверно знать, что в действительности почем и во что нам обходится, и потому принимать объективные, а не произвольные (по принципу: у кого глотка громче) решения. Из-за нынешней деформированной структуры цен мы живем, по существу, в «королевстве кривых зеркал»: большое у нас кажется маленьким, маленькое — большим, прямое — косым, косое — прямым. Нынешняя закупочная цена на мясо, например, такова, что, отвернись райком, и не менее половины наших совхозов и колхозов пустили бы свое стадо под нож, потому что ничего, кроме убытков, оно им не приносит. При нынешних ценах нам вопреки всякой экономической логике выгоднее бурить новые нефтяные и газовые скважины, а не развивать энергосберегающую технику и технологию. Из-за того, что цена земли у нас нигде никогда не учитывалась, мы целые десятилетия жили в убеждении, что самая дешевая электроэнергия получается на гидростанциях, и оказались, вероятно, чуть не единственными такими «умными» в мире, кто создал целые каскады равнинных ГЭС, погубив при этом многие миллионы гектаров плодороднейших земель. Да и сегодня отрасли только благодаря «чудесам» нашего ценообразования целое министерство — Минводхоз — с годовым бюджетом в 10 с лишним миллиардов рублей может на виду у всех делать преимущественно вредную, никому не нужную работу. Почти 2 миллиона работников этого министерства, конечно, не виноваты в том, что обстоятельства вынуждают их заниматься тем, чем не надо заниматься. Но разве всем нам, стране, от этого легче?

Перечень подобных нелепостей может быть бесконечным. И как раз для того, чтобы таких вещей впредь больше не было, нам и нужна радикальная реформа цен.

Либо целью ценовой реформы будут только перераспределительные задачи, стремление ограничить потребление некоторых видов продукции и, наоборот, стимулировать потребление других, расчет на то, чтобы улучшить состояние бюджета, понизив его расходную часть и повысив доходную, — тогда это уже совершенно иной разговор. И именно этого-то многие сейчас у нас и боятся.

Всем нам необходимо понять, что чисто технически реформа цен (даже самая глубокая) вполне может быть проведена без малейшего ущерба для населения. Дотации на продовольственные услуги, на транспорт, на коммунальное хозяйство и прочее в следующем году вырастут до 90 миллиардов, что равно 20 процентам расходов госбюджета. Обращаюсь к читателю: скажите, какая нам всем разница — получать эти средства в скрытой форме, через искусственно заниженные цены, или получать их прямо, что называется, в свой карман? Ответ я знаю заранее: так-то оно так, но... Не обманут ли? Сумеют ли устоять перед соблазном поправить кое-какие государственные дела за наш счет? Опасения эти, учитывая наше прошлое, увы, понятны. И нынешняя дискуссия о ценах должна дать наконец на них ясный и недвусмысленный ответ.

Конечно, рано или поздно без отмены госдотации нам не обойтись. Но думается, высшие инстанции страны могли бы уже сегодня связать себя недвусмысленным обязательством, что в любом случае устранение госдотаций в ценах на продовольствие и коммунальные услуги будет полностью компенсировано основной массе населения через соответствующие надбавки к зарплате и пенсиям, понижение цен на промышленные потребительские товары, надбавочные коэффициенты к вкладам в сберкассы.

Мне могут возразить: что ж ты ломишься в открытую дверь, такие гарантии даны и июньским Пленумом и в выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС в Мурманске.

Однако разногласия в этом вопросе сегодня прямо-таки поразительная. Председатель Госкомцен В. Павлов говорит только в общей форме, что в ходе реформы цен необходимо «сохранить жизненный уровень трудящихся, не допустить его ухудшения», хотя, наверно, давно уже пора говорить о том, как это сделать («Коммунист», 1987, № 13). Его заместитель А. Кокин говорит только о доплатах к зарплаткам и пенсиям и не считает возможным ни существенное снижение цен на промышленные потребительские товары, ни компенсацию во вкладах в сберкассы («Известия», 18.11.1987). Замминистра финансов С. Борисов говорит лишь о некоторой компенсации путем снижения цен на промышленный ширпотреб («Аргументы и факты», 1987, № 46). Что ж тогда удивляться, что беспокойство людей в связи с этой жизненно важной для любого и каждого проблемой не снижается, а растет?



Нужны авторитетные гарантии и против опасений по поводу того, что намечаемая финансовая реформа будет проведена против интересов населения. Эта реформа не должна преследовать чисто фискальные цели, то есть не может и не должна быть проведена в ущерб интересам масс. Необходимо удержаться от искушения изъять в пользу государства какую-то часть денежных средств населения, тем более что на деле такая возможная конфискация даст очень немного и лишь на очень короткий срок. По некоторым оценкам (покойного академика А. И. Анчишкина), из 260 миллиардов рублей вкладов населения в сберкассы «воровские деньги» составляют лишь 20—30 миллиардов. Остальное — действительно трудовые сбережения: на квартиру, на машину, на черный день. Конфискация существенной их части может лишь привести к непоправимо тяжелым последствиям для всего дела перестройки. Да и чисто технически как отделить «воровские деньги» от трудовых?

Реформа финансовой системы не должна быть нацелена на сиюминутную бюджетную выгоду. Ее задача — подлинное, долгосрочное оздоровление наших финансов, максимальная мобилизация имеющихся в стране нормальных источников финансирования (то есть сбережений населения и предприятий) на цели их производительного использования.

Действующая финансовая система по самой сути своей базируется во многом на инфляционных методах финансирования. Сплошь и рядом и доходы государства и его расходы — это фикция, воздух, иллюзия денег, не имеющая под собой никакого материального обеспечения. Наиболее очевидное проявление подобного положения — взимание с предприятий налогов в бюджет до того, как будет продана их продукция, и вне зависимости от того, будет ли она продана вообще. Подобную же роль играет и кредитование промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в значительной своей части превратившееся в безвозвратное финансирование (то есть накачку пустых денег в экономику). Только долги сельскохозяйственных предприятий приближаются к 140 миллиардам рублей. Одно из тяжелейших последствий такого дутого финансирования — количество начатых строек в стране, оно почти в три раза превышает то, которое мы в состоянии материально обеспечить.

Доходная часть бюджета должна в будущем формироваться на иных, более здоровых принципах. Наибольшее значение здесь, мне кажется, имеют, во-первых, максимально возможное ограничение действия печатного станка (во всех его проявлениях), во-вторых, постепенный переход в процессе реформы ценообразования от налога с оборота как основного способа обеспечения доходов бюджета к налоговым отчислениям от доходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в-третьих, прекращение практики взимания налога с оборота от еще не проданной продукции. Думается, опасна для целей перестройки и столь глубоко укоренившаяся — вплоть до сегодняшнего дня — практика изъятия из многих отраслей, особенно легкой промышленности, свыше 90 процентов их прибылей в бюджет. Так мы эти отрасли не подыдем никогда.

В расходной части бюджета (если не говорить о возможностях сокращения военных расходов) необходимо, как представляется, во-первых, перенести центр тяжести инвестиционного финансирования на предприятия и объединения, то есть за счет их собственных доходов, и, во-вторых, постепенно прекратить все или почти все виды дотирования и все формы фактической бюджетной поддержки безвозвратного кредитования. И не следует, наверно, спешить со списанием долгов промышленных предприятий, колхозов и совхозов: конечно, значительная часть этих средств, по-видимому, пропала безвозвратно, но, возможно, общее оживление хозяйственной деятельности в ходе реформы позволит со временем вернуть хоть какую-то их часть.

Имело бы смысл при подготовке реформы заново обдумать и некоторые наши уже привычные бюджетные расходы. Сейчас нередко получается, что волевые, сильные ведомства выбивают для себя ассигнования, сами, по существу, устанавливая их целесообразность и объем, причем бывает — с потолка. А дальше уже единственная задача таких ведомств — во что бы то ни стало потратить эти средства, неважно зачем и на что. Так обстоит дело, например, с тем же Минводхозом, которое тратит сегодня ненамного меньше, чем все наше здравоохранение, и это при том, что самые его «ударные» проекты — поворот рек — были признаны вредными для страны. Вот так вот: дело вредное, а деньги тем не менее наши! А, скажем, никому не нужный

новый тракторный завод в Елабуге, который тоже будет стоить миллиарды? А все эти «престижные», но разорительные новые ГЭС?

Необходимо также приступить к последовательному развитию нашей кредитной сферы, к широкой мобилизации лежащих пока втуне сбережений населения и предприятий. Думается, что наибольшей отдачи здесь можно ожидать, во-первых, от свободной продажи акций и облигаций промышленных объединений и сельскохозяйственных предприятий населению и другим предприятиям, во-вторых, от широкого развития взаимного коммерческого кредита предприятий, организаций кооперативных, отраслевых, региональных депозитных и инвестиционных банков, в-третьих, от развития разнообразных форм страхования для населения и предприятий, но не на нынешних, а на более привлекательных условиях, в-четвертых, от расширения практики эмиссии и продажи государственных ценных бумаг, прежде всего государственных займов, под более внушительный процент.

Неотъемлемой составной частью ценовой и финансовой реформ должна стать несомненно валютная реформа. В качестве ближайших (и вполне реалистичных) целей здесь могут быть две: во-первых, установление реального и, что особенно важно, единого курса рубля (сейчас этих курсов фактически около 10 тысяч — это же сумасшедший дом!). На практике это будет означать его девальвацию и соответственно рост притягательности экспорта для наших предприятий и снижение их нажима на импорт. Другая цель — так называемая финансовая обратимость рубля (то есть свободная обратимость его на уровне центральных банков) в качестве первого шага к его полной конвертируемости.

Это позволит напрямую связать наши внутренние и внешние цены, внедрить не мнимый, а реальный хозрасчет во внешнюю торговлю, перейти от двустороннего к многостороннему сотрудничеству в рамках СЭВ, открыть для стран СЭВ советский рынок, обеспечить возможности конверсии долгов (то есть маневры различными видами наших долгов и долгов нам), наконец, устранил основное препятствие организации совместных предприятий в нашей стране. Обеспечением этих мер, помимо активного нашего платежного баланса по некоторым географическим направлениям, частично могут стать некоторые наши товарные резервы, частично наши золотовалютные резервы, частично международный кредит. Имея в виду эти задачи, не следовало бы, наверное, исключать и возможные вступления со временем нашей страны в Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Как видим, в таком понимании ценовая, финансовая и валютные реформы ни в одном из своих аспектов не угрожают интересам населения. Наоборот, укрепляя рубль, укрепляя государственные финансы, они содействуют созданию условий, при которых честный, добросовестный труд, инициатива, бережливость будут оправдывать себя не только в теории, на словах, но и в реальной жизни, имея в виду интересы и государства, и предприятий, и каждого труженика.

Несомненно, было бы также весьма полезно самым решительным образом заверить население в том, что такие возможные последствия полного хозрасчета, как высвобождение излишней рабочей силы, сокращение госаппарата, закрытие безнадежных предприятий, переквалификация и территориальные перемещения трудовых ресурсов, будут в полную меру подстрахованы и смягчены достаточно длительными государственными пособиями для тех, кого это коснется. Речь не идет о сокращении рабочих мест в стране, об угрозе безработицы. Думаю, что сокращение рабочих мест для нас по меньшей мере не проблема этого века, а скорее всего и первых десятилетий следующего столетия. Проблема для нас сейчас на самом деле прямо противоположная: как высвободить имеющиеся, но скрытые излишки рабочей силы (по некоторым оценкам — до 25 процентов), чтобы загрузить огромные простаивающие производственные мощности, создать мало-мальски развитую сферу услуг (которая находится у нас сегодня пока еще в рудиментарном состоянии), снизить ненормально высокую долю занятости женщин на производстве, причем сплошь и рядом неженским трудом, и т. д. К сожалению, не все это у нас сейчас понимают, а понимать необходимо.

Становится все более и более очевидным, что нам нужна продуманная государственная политика занятости, нацеленная на длительную перспективу. Как обеспечить занятость работников, высвобождаемых из аппарата? Как лучше организовать процесс переквалификации рабочей силы, покидающей устаревающие отрасли, но неспособной без переподготовки работать в новых, прогрессивных отраслях?

Какие отрасли и на какой технической базе развивать в густонаселенных и какие, наоборот, в малонаселенных районах? По каким направлениям расширять сферу услуг? Такие проблемы не могут и не должны решаться постфактум, лишь по следам событий. Да и первые сообщения о намечаемых в этой области мерах настояжнвают. Решено, например, что высвобождаемым работникам на период трудоустройства в течение двух месяцев будет сохраняться среднемесячная зарплата. Учитывая обычные теперь для развитых стран сроки и размеры пособий ищущим работу, не слишком ли легкомысленно мы с самого начала относимся к этому сложнейшему социальному вопросу, где до сих пор по крайней мере мы были впереди, а не позади всех?

Необходимо именно сверху успокоить людей: ничего в ходе перестройки у них не отнимут, никто из честных, добросовестных тружеников не пострадает, никому из слабых, престарелых, обездоленных не будет нанесен ущерб. Но самое авторитетное средство против всех подобных опасений — признаки хоть какого-то реального улучшения на рынке. В этом смысле было бы, возможно, целесообразно несколько повременить с реформой цен и финансов, приступив к ней лишь после того, как у населения появится уверенность, что положение улучшается.

Наверное, делу перестройки пошло бы на пользу также и то, если бы руководство страны более решительно провозгласило свою политику недвусмысленной поддержки индивидуально-кооперативной деятельности как в городе, так и на селе. От запретительного принципа мы сегодня едва-едва перешли только к осторожно разрешительному, но не поощрительному. Местным органам власти ныне вменяется в обязанность сделать все возможное, чтобы добиться здесь перелома. Но... но слишком долго государство всей своей мощью утормило любые проявления активности в этой области, чтобы люди так быстро поверили, что в скором времени здесь все опять не вернется на круги своя. Одних (к тому же половинчатых) законов для возрождения такой веры мало. Нужны самые авторитетные гарантии надежности этих законов и реальные практические меры по их претворению в жизнь.

Между тем вся наша реальная действительность пока еще враждебна индивидуально-кооперативной деятельности. И эта враждебность в последнее время отчасти даже усиливается. Мелких производителей и кооператоров продолжают, например, обвинять в склонности к махинациям, высоким ценам и непомерно высоким заработкам. Интересно знать: а что же мы ждали, если с самого начала поставили их в неравноправное, несправедливое положение прежде всего по сравнению с их конкурентами — государственными предприятиями? Если кооперативное кафе обязано покупать для себя все только на рынке и только по рыночным ценам, если государство отказывает кооперации в нормальном снабжении, то удивительно ли, что некоторые из кооператоров пытаются обойти эту несправедливость всякими левыми путями? И каких же цен мы в этом случае от них можем ждать? И какой может быть серьезный расчет на оживление этой сферы, если мы хотим, чтобы они зарабатывали мало, а работали много? А теперь еще государство намерено установить на их доходы прогрессивный налог от 65 до 90 процентов, делающий бессмысленными любые усилия по расширению и модернизации производства, если в результате их дохода кооператора превысит 700 рублей в месяц. Зачем же обманывать самих себя? Кто будет работать с полной отдачей сил в этих условиях? Дураков в стране давно уже нет, и, думаю, бесполезно их искать. Тогда уж давайте всем вообще запретим зарабатывать больше этого потолка.

Так что же мы в действительности хотим? Расцвета этого сектора или же хотим вновь задушить его? Не заработки кооператоров надо в первую голову считать, а что и сколько они дают государству, то есть всем нам.

Нынешний наступательный, революционный подход к перестройке кроме плюсов имеет и свои минусы. Подобный напор у многих порождает нереалистичные надежды на чуть ли не мгновенные изменения, приуменьшает трудности переделки нашей экономической системы, складывавшейся шесть десятилетий и обладающей невероятной силой инерции. Может быть, для судеб перестройки было бы полезнее сегодня сосредоточить внимание нашей печати и нашей общественности на ее трудностях, ее издержках, без которых невозможно достичь поставленных целей. Иллю-

зии и надежды на слишком быстрый результат опасны. Наверное, было бы лучше, если бы все у нас полностью отдавали себе отчет в том, насколько трудное дело мы затеяли, насколько этот процесс объективно медленный и сложный.

Нельзя не видеть также, что сугубо экономические преобразования — это лишь часть, и, возможно, даже не самая главная, всей проблемы перестройки. Как уже не раз подчеркивалось с высоких трибун, экономические реформы 50-х и 60-х годов захлебнулись потому, что неподвижной оставалась политическая структура общества. Сегодня мы в полную меру осознаем жизненную необходимость демократизации, гласности, развития общественной инициативы. Но не меньшее значение, мне кажется, имеет и чисто нравственная атмосфера в стране. Это неисчерпаемая тема. Здесь же мне хотелось бы подчеркнуть лишь два момента.

Во-первых, мы должны, мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно, — безнравственно и, наоборот, что эффективно — то нравственно. Экономически неэффективная обстановка всеобщего дефицита является, по моему глубокому убеждению, основной причиной воровства, взяточничества, махрового бюрократизма, всякого рода потаенных, аморальных льгот, человеческой озлобленности. Экономически неэффективный затратный механизм планирования породил бездумное расхищение наших национальных ресурсов, безнравственное отношение к нашим природным богатствам, а отсутствие платы за землю и воду привело к таким диким последствиям, как деградация целых районов страны (например, Аральского региона). Экономически неэффективное сдерживание трудовой активности и предприимчивости населения, уравниловка на производстве, длительная борьба против всех форм индивидуального и кооперативного труда — это, уверен, главная причина обострения таких социальных проблем, как безделье и пьянство, угрожающих нашему национальному будущему.

Во-вторых, я убежден, что самый главный нравственный порок «административной экономики» — это слепая, жгучая зависть к успеху соседа, ставшая (причем чуть ли не на всех уровнях) сильнейшим тормозом идей и практики перестройки. И пока мы эту зависть хотя бы не приглушим, успех перестройки всегда будет оставаться под сомнением.

В стране действительно сложилась революционная ситуация. «Верхи» не могут больше управлять, а «низы» больше не хотят жить по-старому. Но революция — значит, революция. Мы уже вступили на этот путь. Решения июньского Пленума ЦК КПСС по своим потенциальным последствиям имеют истинно революционное значение для судеб страны. Однако революция сверху отнюдь не легче революции снизу. Успех ее, как и всякой революции, зависит прежде всего от стойкости, решительности революционных сил, их способности сломать сопротивление отживших свое общественных настроений и структур.

---

---

---

Н. Н. МОЙСЕЕВ,  
академик

★

## ОБЛИК РУКОВОДИТЕЛЯ

**В** условиях перестройки, трудного поиска путей совершенствования социалистического общества многое, очень многое упирается в кадры: какими свойствами должен обладать руководитель, способный успешно вести этот поиск? как приобрести эти свойства? Попытка ответить на эти и другие подобные вопросы, опираясь на собственный опыт, и лежит в основе статьи.

По характеру моей работы в Вычислительном центре АН СССР мне приходилось и приходится много ездить по нашей стране, бывать, как говорят, на самых разных параллелях и меридианах, встречаться с начальниками различных рангов — от бригадира до руководителей краев и областей. Эти встречи — неоценимый источник сведений, позволяющих представить себе общий климат перестройки и многочисленные барьеры, которые нам еще предстоит одолеть на этом пути.

Другой источник моих размышлений — работа в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР, где я читаю курс информатики. Там я регулярно участвую и в предварительных собеседованиях с теми, кого ведомства предполагают направить на двухгодичное обучение в академию. В процессе обучения я встречаюсь со слушателями не только как профессор, читающий курс информатики, и как консультант по их дипломным работам — я много разговариваю с ними, стараясь понять, кто они, что они думают, к чему стремятся, чего ждут от перестройки и как видят в ней самих себя. Забегая вперед хочу сказать, что большинство из них в официальных беседах себя не раскрывают. Мне кажется, что принцип «чего изволите?» или «будет сделано» очень часто в разговорах с вышестоящими (а приемная комиссия всегда вышестоящая) доминирует над желанием реального осмысления обстановки, стремлением обнажить трудности и, что, может быть, еще более важно, попытками поисков нетрадиционных путей их преодоления.

Наконец, немалую роль в формировании моих взглядов на то, каким хотелось бы видеть нашего хозяйственного руководителя — советского бизнесмена, сыграли многочисленные зарубежные поездки, деловые и неделовые встречи с самыми разнообразными представителями научной и управленческой элиты капиталистического мира. Возможность сопоставлений всегда полезна. Она избавляет от иллюзий и помогает более четко понять, что надо не вообще, а именно нам — советской державе, государству, строящему социализм, имеющему кроме того культурные и исторические традиции, столь отличные от того, с чем приходится сталкиваться на Западе, в США или Японии.

Одна из наших больших бед — низкая общая культура руководящего звена. Чего греха таить, многим недостает и профессионализма, конкретных знаний и навыков, присущих мастеру своего дела. Но все эти необходимые качества приобретаются относительно легко — было бы желание и работоспособность. Эпоха первых пятилеток и реализация лозунга тех времен «Кадры решают все» показали, что подготовка человека, обладающего комплексом узкопрофессиональных навыков, не так уж сложно. Кстати, это хорошо умеют делать и в Америке и в Японии, где отлично поставлено дело «натаскивания управляющих». Но нам этого недостаточно: в условиях социализма, поиска новых организационных форм, преодоления устоявшихся канонов, стереотипов

мышления — без чего невозможна перестройка — нужно нечто качественно большее. Нам нужны люди, способные видеть себя со стороны, свое место в нашем быстро меняющемся мире. А это уже не ремесло, а культура. Говоря это, я имею в виду внешнюю культуру — уметь вести себя среди людей, не занимать своей персоной общего внимания, говорить на хорошем (или хотя бы правильном) русском языке и т. д. Все это, конечно, очень важно. И далеко не все представители управленческой элиты этим обладают.

К таким проявлениям внешнего бескультурья я отношу и употребление нецензурных выражений. Не хочу изображать из себя тургеневскую барышню — я прошел фронт и понимаю, что порой крепкое слово помогало поднять роту, залегшую под огнем противника, или вытащить из грязи безнадежно застрявшую машину. Но когда от человека, обремененного властью, я слышу по каждому поводу поток нецензурщины, то мне становится обидно за мой народ и за мой родной язык. И всегда возникают сомнения в том, насколько оправданно положение этого лица в обществе и соответствие его той роли, которую ему приходится играть. Но как бы отвратительно ни было употребление нецензурщины во всех ее проявлениях, особенно при обращении с подчиненными, я все-таки не это имею в виду, говоря о культуре. Внешние ее проявления придут — уже приходят, как пришла привычка носить галстук в престижных учреждениях. А мне хочется говорить о культуре внутренней, которая вызревает в поколениях и приобретается с огромным трудом.

Я имею в виду прежде всего знание тех ценностей, которые нам дают природа, искусство, история, прежде всего история и традиции собственного народа, понимание вечных общечеловеческих истин. И не только знание, но и умение их понять, потребность в них. Эти качества формируют традиции, определяют поведение человека, его выбор в трудных, неоднозначных ситуациях. Благодаря им возникает внутренняя потребность следовать этим ценностям, и, что, может быть, самое важное, эта внутренняя культура создает в коллективе климат, в котором добрые семена дают и добрые всходы.

Культура — это еще и умение слушать чужие мысли, не считать себя абсолютным авторитетом, особенно тогда, когда имеешь дело с людьми более молодыми или стоящими на более низких ступенях общественной иерархии. Эти качества прививаются прежде всего воспитанием, в том числе и домашним, но они могут быть и результатом самовоспитания в том случае, если человек глубоко осознает их необходимость. К сожалению, эти свойства человека могут постепенно и утрачиваться. Я часто ловлю себя на том, что многие годы преподавательской деятельности приучили меня к менторскому тону, может быть, уместному в аудитории, где излагаются азы науки, но совершенно недопустимому при непосредственном общении с людьми. Поэтому я знаю по себе, как трудно бороться с желанием говорить и заменять его умением слушать.

Общая культура неотделима еще от одного качества человека — «априорной доброжелательности». Умение в разговоре не ставить собеседника в неловкое положение, деликатность и доброжелательность в общении создают ту обстановку, в которой и дышится легко и работает хорошо.

Я заметил, что многие люди, занимающие высокое общественное положение, порой с высоким профессиональным, в том числе и научным, потенциалом, встречают нового человека не без подозрительности, заранее предполагая, что он не очень умен, добро совестен, порядочен... А ведь по-настоящему внутренне культурный человек, кажется, должен делать как раз наоборот — считать каждого нового человека умным и порядочным, хотя потом он, может быть, с грустью убедится, что не все люди умные и тем более порядочные. С такой позицией «априорной доброжелательности» неизбежно связаны и мелкие издержки, которые с лихвой окупятся той обстановкой в коллективе, которая рождается доброжелательностью. Это издержки формирования хорошего и работоспособного коллектива.

Руководитель коллектива в современных условиях перестройки должен быть не только специалистом, но и интеллигентом. Конечно, и специалистов-профессионалов у нас тоже не в избытке, но недостает нам по гамбургскому счету именно интеллигентов.

Интеллигент, конечно, должен обладать определенной внутренней культурой, но это необходимое качество также еще не исчерпывает представление об интеллигенте. И во всяком случае не является его эквивалентом. Интеллигент по своей природе ли-

шен мелочного прагматизма. Круг интересов у него достаточно широк — его интересует «все, что его не касается». Очень важно — у него высокий уровень гражданственности, — что он способен думать о державе, жить ее интересами, обсуждать различные перипетии ее бытия и искать пути ее движения в будущее. Может быть, с этого и началось становление интеллигенции в России. Именно интеллигенция в первую очередь породила революционеров. И интеллигентская фронда всегда была, есть и будет. Без нее немыслимо существование интеллигенции — чувство неудовлетворенности ей присуще органически. Именно оно-то и побуждает ее искать новое, именно поэтому она и есть соль любого народа. За это ее всегда и не жаловали власть имущие.

Широта интересов сглаживала, а порой и совсем стирала профессиональную стратификацию. Она помогала общению людей самых разных профессий. Я это очень хорошо видел на примере своей собственной семьи. Вспоминаю свое детство — 20-е годы. Семья, в которой я рос, принадлежала к рядовой инженерной интеллигенции — и дед и отец были в те годы служащими НКПС (теперь Министерство путей сообщения), причем служащими весьма среднего уровня. К нам часто заглядывали на огонек. И возникали бесконечные разговоры за чаем. Я хочу подчеркнуть — именно за чаем. Спиртным баловались только в очень важных случаях. Я помню маленький графинчик водки, настоянной на зубровке, который дед мой Сергей Васильевич Моисеев хранил где-то в потайном месте и который выставлялся на стол лишь по сверхторжественным поводам.

Дети всегда присутствовали за столом и могли слушать все, что там говорилось. Сами, конечно, в разговорах особенного участия не принимали, но и не изгонялись — ни при каких обстоятельствах, о чем бы ни шла речь. А говорили о самом разном. О политике, само собой разумеется, вспомните пикетные жилеты, незаслуженно обиженные Ильфом и Петровым. Говорили о литературе, искусстве, судьбах русской культуры, о религии. И даже трудно вспомнить, о чем не разговаривали. Никакого табу не было. Оно появилось позднее, когда на огонек стало заходить все меньше и меньше людей.

Эти субботние «семинары» за вечерним чаем дали мне очень много. Именно тогда я услышал имена Кандинского и Шагала, стихи Брюсова и выучил наизусть «Капитанов» Гумилева. Я научился видеть прелесть родной Москвы и именно тогда впервые почувствовал гордость за то, что я русский, и в меня вошло чувство ответственности за судьбу всего того, что сделано и выстрадано моим народом. Может быть, все это сказано чересчур громко и напыщенно. Но все это было именно так, и эти чувства мне, и не только мне, очень помогли пережить фронтовые тяготы.

Судьбы русской интеллигенции складывались подчас достаточно трудно. Это тоже надо знать и видеть следствия прошедшего. В своей массе интеллигенция была очень патриотична и революцию приняла. Приняла, конечно, не просто. А очень по-разному. С сомнением, порой с иронией и всегда с неизменной фрондой. Но кого-то все это не устраивало. И вот началось отъезды. У меня нет в руках статистических материалов, но в Москве в 20-е годы это было заметное явление. Одного приглашала на работу какая-то иностранная фирма. Другой, будучи в заграничной командировке, не получал обратной визы, и к нему собиралась уехать семья. И нередко отъезд этот был и горе и слезы... При этом жила неизменная вера в то, что расставание с родной венадолго. Ведь дома работы непочатый край.

В конце 50-х годов я провел несколько месяцев во Франции. По роду своей деятельности я был связан с инженерными и научными кругами, более того, с их элитарным слоем. И как много я встречал русских, в том числе и сохранивших советское подданство. Они все занимали весьма высокое положение в обществе. Сначала они относились ко мне холодно и настороженно, но с большим интересом: коммунист, боевой офицер, советский профессор, к тому же представитель потомственной интеллигенции, довольно бегло говорящий по-французски, — как могло все это вместе монтироваться? Но потом — русские всюду остаются русскими — лед растаял, сердца раскрылись, и я увидел горе, настоящую трагедию умных интеллигентных людей, неизвестно за что и почему потерявших родину и отторгнутых ею. И нет горя более горького, чем потеря родины. А обратного хода уже не было. Понимал это я, да и многие из них. И тем трагичнее все это было.

Историки когда-нибудь разберутся в «истории русской интеллигенции XX века», и замечательный труд, начатый Овсяннико-Куликовским, возможно, однажды и будет продолжен. Но в ее судьбах и процессе формирования новой интеллигенции опреде-

ленную роль сыграло и общее отношение к интеллигенции. Вот один из примеров, который мне сохранила память.

В середине 30-х годов, когда я был студентом механико-математического факультета МГУ, состоялось изгнание основателя московской математической школы академика Н. Н. Лузина, изгнание из Московского университета, где он проработал всю жизнь. И в это же время на одном из собраний в коаудитории в здании МГУ на Моховой тогдашний секретарь парткома Пивоваров бросил фразу: «А чего вы, собственно, шумите по поводу Лузина, это представитель русской интеллигенции, таким доверять нельзя — они всегда были на хлебах у царизма». Для меня тогда была не так удивительна сама эта фраза, сколько то, что она прошла почти незамеченной — к этой точке зрения уже привыкли.

А потом война, и все мое поколение ушло на фронт!

Но после войны была еще сессия ВАСХНИЛ, борьба с кибернетикой как буржуазной лженаукой и многое, многое другое. Ох как непросто наше возвращение к пути естественного, необходимого, как воздух, интеллектуального раскрепощения!

Неизбежно в жизни страны приходит такой период, когда для дальнейшего развития государства, да хотя бы просто для того, чтобы оставаться в клубе ведущих держав, необходимы другие люди, совсем не похожие на винтики.

С развитием науки, стремительным ростом сложности техники, необходимостью новых технологий и просто с появлением жизненной потребности в культурном, грамотном производительном труде становится наглядным и очевидным, что инициатива единиц, опирающихся на бессловесных исполнителей, должна быть заменена инициативой многих думающих, ищущих. И сейчас мы как раз и вступили в такую полосу нашей истории, когда искать и дерзать становится символом нашего времени. Сейчас больше чем когда-либо стране нужны не просто квалифицированные исполнители, не только профессионалы высочайшего уровня, но и по-государственному инициативные люди, способные думать и за себя, и за других, и за страну в целом. Иначе мы просто не утонимся за громадными изменениями, за их возрастающими скоростями, которые происходят во всем мире в технике, технологиях, условиях обитания, за теми социальными сдвигами, которые видны невооруженным глазом.

Итак, нужны интеллигенты в самом высоком смысле этого слова. Не просто интеллектуалы — а именно интеллигенты, способные видеть и поступь истории и думать о будущем своей родины как о своем личном. Нам очень недостает именно таких руководителей!

Бывая часто на Западе и встречаясь не только с учеными, но и менеджерами разных уровней, разговаривая с ними, я тем не менее все время думаю о нас, примеряя их стереотипы к нашей действительности. Нет слов — нам многому, очень многому надо учиться у развитых стран, перенимать их опыт. Но при этом никогда не забывать, что мы «очень другие». И не только по характеру и традициям. Там, на капиталистическом Западе, совсем другая социальная система и требования к людям тоже иные. Они в гораздо большей степени находятся «во власти событий». Свой собственный бизнес, благополучие фирмы требуют, конечно, высочайшего профессионализма и жесткой деловитости — деловитости без сантиментов: отбор руководителей не просто жесткий, он часто и жестокий. И многое из этого мы можем приспособить и для себя. Но этого для нас мало. Ведь им не приходится заниматься перестройкой, революционными изменениями в масштабах одной шестой части света. Надо всегда помнить о том, что мы создаем систему, альтернативную капитализму, мы ищем организационные структуры, которые по меньшей мере должны быть столь же эффективными в производственной деятельности, как и организация капиталистической управленческой инфраструктуры, должны обеспечивать совершенно иной социальный климат. И решить, точнее решать, подобную задачу не под силу одному человеку или даже группе талантливейших специалистов и руководителей. Перестройка требует массового творчества. И к этому нас призывает партия.

У советского общества другие задачи, другие цели. И нам бесконечно труднее, часто мы идем почти по целине. В этом беспрецедентном поиске нам очень часто не хватает среды, на которую можно было бы опереться, недостает интеллектуальной атмосферы, способной породить раскованность мысли, так необходимой для видения горизонтов. Отсюда и недостаток людей мыслящих, способных широко видеть дейст-



вительность без шор и иллюзий, смелых и грамотных руководителей. Создание корпуса интеллигентных руководителей — важнейший элемент перестройки, одно из ее ключевых звеньев.

Я не представляю себе, как без такого корпуса можно реализовать революционную перестройку нашего народного хозяйства, всего нашего образа жизни, перестройку, без которой у нашей страны нет того будущего, которого она достойна.

Задача подготовки корпуса просвещенных руководителей — это, конечно, задача всенародная. Ее должна решать вся система подготовки кадров. Но завершать ее должны учреждения типа Академии народного хозяйства. Это важнейший элемент всей деятельности коллектива академии, требующий пристального и повседневного внимания партии, государства и общественности.

Иногда я бываю в Академии народного хозяйства в вечерние часы, когда занятия уже закончились. Обычно в этих случаях дверь в свой кабинет я оставляю приоткрытой. И всякий раз на мой огонек заглядывает кто-нибудь из слушателей. Чаще всего люди приходят с каким-нибудь вопросом, касающимся их выпускной работы. Но бывает и по-другому. Тогда разговор неизбежно переходит на самые животрепещущие темы: как сочетать планирование и рынок, как сделать госзаказ действительно заказом, а не приказом, как перейти на твердый рубль, как оградить людей и производство от местных наполеончиков, поставить заслон возникновению групповщины. Затрагиваются многие другие вопросы, на которые у нас пока еще нет исчерпывающих ответов.

В этих случаях я стараюсь не очень вмешиваться и не давить академическим авторитетом. Я слушаю, впитываю в себя очень важную для меня информацию — суждения тех, кто на своем горбу выносит все тяготы нынешнего момента. В эти счастливые для меня часы я с радостью убеждаюсь, что родник не иссяк и что работать нам приходится с прекрасным материалом. Нашим слушателям многого, конечно, недостает. Но при том таланте, самобытности, потенциальной раскованности мысли и работоспособности, которыми они обладают, из них можно сделать настоящих руководителей, на плечи которых и ляжет вся тяжесть наступающих лет. Если бы нам еще дали возможность учить не тех, кого присылают ведомства, а самим искать наших будущих слушателей, если бы и учить их по-другому да и раньше начинать обучение, если бы...

Гражданственность, ощущение себя гражданином великой страны, ответственным за ее судьбу, — об этом качестве как-то не очень много говорят. Но ведь это одно из важнейших человеческих свойств, необходимых современному руководителю, и не только руководителю.

Замечу, что слово «гражданин» незаметно потеряло у нас свой изначальный смысл.

Когда-то были подданные не столько империи, сколько государства, государя. Среди них были и господа и смерды, которым не подавали руки и обращались на «ты». Было много и промежуточных слоев. Но вот произошла революция, исчезли господа и смерды, и появилось гордое слово «гражданин». Оно очень емкое, это слово. Но прежде всего оно предполагает глубочайшее уважение к отчизне, гражданином которой является «гражданин», и обязательно к самому себе, частице отчизны, носителю гражданственности, хранителю ее духовных ценностей, несущему за нее ответственность перед всем миром и потомками.

Как-то постепенно это изначальное представление о гражданине, гражданственности измелчилось, девальвировалось, потерялась гордость звучания. И наконец слово «гражданин» совсем исчезло из нашего употребления. Более того, его смысл исказился, сделался чуть ли не оскорбительным.

Однажды со мной произошел эпизод, как я теперь понимаю, достаточно типичный. Ехал я в трамвае. Мне нужен был билет. Я попросил соседа передать деньги: «Гражданин, будьте любезны...» И сразу же последовал ответ: «Ты что, прокурор, что ли? Но я же еще не подследственный. Чего оскорбляешь? Что, отец, не мог обратиться по-другому?» Я уж не буду говорить об обидном тыканье со стороны человека вдвое моложе меня, но как могло случиться, что слово «гражданин» приобрело оскорбительный оттенок?

Я не раз задавал этот вопрос себе и другим и не раз слышал один и тот же ответ: массовые репрессии 30-х годов. Вот основная причина: при обращении с подследственным исключалось использование слова «товарищ». Но я думаю, что корни этого явле-

ния значительно глубже. И не сводятся к какому-нибудь одному факту. Это и потеря интеллигенции — носителя национального да и просто человеческого, гражданского самосознания. И стремление нивелировать людей, их чувства и мысли, стремление превратить их в бессловесные винтики. Конечно, свою роль сыграли и репрессии. Одним словом, причин много. И все-таки главную причину я вижу в саморазвитии бюрократического антидемократизма.

Я употребил термин «саморазвитие». Как учит теория организации, любой аппарат, любая элитарная группа, созданная для выполнения определенных государственной важности задач, если ее предоставить самой себе, разрешить ей самой себя пополнять и не заниматься непрерывным ее совершенствованием, начинает жить собственной жизнью, собственными интересами. Так вот, гражданственность, гражданственность по существу, а не в стандартных лозунгах, которые мы все умеем произносить, высокое уважение к государству, народу, культуре, наконец, к самому себе — это один из крепчайших заслонов развитию тех тенденций бюрократизма и комчванства, борьбу с которыми начал еще В. И. Ленин. Гражданственность не может уживаться ни с какими культурами, большими или малыми.

В России испокон веков соседствовали две беды — лакейство и низкопоклонство перед разными заграничными и «французиками из Бордо». Я не буду здесь подробно обсуждать причины этого явления, хотя оно, вероятно, и заслуживает специального анализа, ограничусь лишь несколькими замечаниями.

Прежде всего лакейство и низкопоклонство — это родные братья. Они неизбежно сопутствуют друг другу, ибо причина их, вероятно, одна и та же: это недостаточность гражданственности, чувства уважения к себе и своей родине. Они оборачивались самыми пагубными последствиями в самые разные периоды нашей истории и влияли на развитие страны, ее экономики и культуры. «Французик из Бордо» порой мог занять заметное место в обществе только потому, что он не был россиянином.

В конце XIX и в начале XX века по мере развития промышленности, роста общей культуры, с появлением великолепного искусства — литературы, музыки, живописи — начался и быстрый рост самосознания, самоуважения, гражданственности нашего народа. Революция резко ускорила этот процесс. Но затем, еще с 20-х годов, постепенно начала формироваться чиновно-бюрократическая элита, и во все поры общества стали проникать сопутствующие ей стандарты мышления и главный из них — «не пущать». А кто разрешил? А кто утвердил? Случилось так, что по ряду вопросов иметь собственное мнение считалось просто недопустимым. Все уже сказано и в последней инстанции. А возражать министру могло лишь лицо, от него независимое.

И снова в общество начало вползать лакейство. Как-то мне пришлось быть в гостях на даче у некоего высокопоставленного директора (кстати, и до сих пор занимающего свой пост). Он мне захотел похвастаться: «А между прочим, пашлык у меня сейчас жарят доктора наук».

Все это лакейство, недостаток гражданственности и самоуважения имеют не только эмоциональную и этическую окраску. Они наносят непосредственный урон развитию нашего народного хозяйства, нашей государственности, внутренней прочности нашей державы. Я всегда замечал, что люди, склонные к хорошему служению, лучше сказать — прислуживанию, отучившиеся иметь собственное мнение, со временем приобретают некоторый комплекс неполноценности: они перестают верить в свои собственные силы, в свои способности сделать или придумать что-либо свое... А становясь однажды руководителями, переносят этот комплекс и на окружающих, особенно на подчиненных: куда уж нам! И начинают смотреть в рот начальству или на просвещенную Европу. Добавьте к этому хлынувший в нашу страну поток заграничных тряпок, превративший их в символ престижа! А отсюда уже один шаг до стереотипа мышления, ставящего все ненашенское на какую-то высшую ступень. Вот и рождается стремление заменить копированием зарубежной техники попытки поиска собственных оригинальных решений.

Нельзя, разумеется, этот зуд копирования, движение по проторенной кем-то дорожке объяснить только одним чиновным лакейством и низкопоклонством. Проблема глубже и причин подобных явлений куда больше. Они связаны прежде всего с ведомственностью — еще одной нашей бедой! Ведомству, ведомственной монополии проще копировать, чем придумывать самим. Риску меньше и сослаться есть на кого. Ну а то, что при этом мы будем вечно плестись в хвосте мирового технического прогресса и развития производительных сил — то ведомству это более или менее все равно. За это с

него не спрашивают. И с учеными можно не связываться — они народ опасный: придут какие-нибудь умники (американцы их называют длинноголовыми), сварганят новую технологию, все придется переделывать, да и окажется, что мы работали до сих пор не так, как надо было. Чего доброго, придется там где-то наверху кому-то объяснять, стоя навытяжку, как мы дошли до жизни такой.

Сколько бы я мог рассказать грустных историй о том, как рождались талантливые коллективы, как рождалась надежда на большую работу, по которой чешутся руки, как потом они, эти коллективы, распались по чьей-то злой воле, как люди, способные сказать свое собственное слово, погибли как личности, не будучи способными приспособиться к перлюстрации чужих образцов и проектов. И все это происходило потому, что начальники, по воле которых случались подобные трагедии — это слово вполне подходит для того, чтобы описать судьбу новосибирского «Факела» (о нем разговор ниже), и судьбу серии БЭСМ (отечественных вычислительных машин), и многое другое, — были пропитаны лакейской идеологией, им не хватало гражданственности, они не были способны думать о державе, о народе, о его судьбе. Им были важны лишь микроблагополучия своих ведомств.

Гражданственность и бюрократия как социальное явление несовместимы. Бюрократический стиль жизни и мышления очень удобен для многих: отгородившись от всего, что требует инициативы, смелости, риска, отгородившись заслоном рутинных документов, человек обеспечивает себе экологическую нишу. Ему спокойно, удобно, и он защищен от всяких превратностей судьбы.

Я не случайно употребил термин «бюрократия как социальное явление». Увы, без бюрократии прожить тоже нельзя. Порядок необходим, так же как документы, как и четкость определенных процедур прохождения того или иного дела. Но никогда нельзя забывать, что любой порядок, любая бюрократия — это всего лишь вспомогательные средства для успешного свершения дела. Это лишь своеобразная технология, позволяющая преодолеть всяческие трудности, неизбежно возникающие в тех ситуациях, когда сталкиваешься с разнообразием человеческих помыслов и желаний.

Именно технология делания дела. И не больше! И законы общества должны быть устроены так, чтобы ни при каких обстоятельствах технология не становилась самоцелью и не обрела образ дела.

Изменилась ситуация или найдена новая технология делопроизводства, возникла потребность в новой организации, старая должна пойти на слом. И без всякой жалости, ибо все это только средство.

Но как часто возникает представление о том, что бюрократическая деятельность не средство, а цель, главное — это управленческий орган, а остальное... трава не расти! Однажды в протокольном отделе Академии наук я случайно услышал разговор двух дам, очень важных с виду: «Вечно толкутся эти из институтов, работать не дают». Вот если такое случается, то это уже не просто бюрократия, а бюрократия как социальное явление. Оно объединяет большие группы людей. Возникают целые социальные слои, объединенные не только общностью целей, но и общностью характера мышления, который формирует бюрократизм как социальное явление.

В. И. Ленин не раз говорил о необходимости непрерывного совершенствования управленческого аппарата. Эта проблема его очень волновала. Создание эффективного инструмента контроля за деятельностью аппарата — РКИ (Рабоче-Крестьянской инспекции) он считал одним из важнейших задач ближайшего будущего. Если вопросы управления аппаратом управления и его непрерывного совершенствования уходят на второй план, то неизбежен общий застой. Это показывает и опыт последних десятилетий. И не только застой. Начинают разрушаться моральные основы общества. Меняется шкала ценностей. Черное выдается за белое, белое за черное. Люди начинают забывать, что можно жить по-иному, что не они служат бюрократии, а аппарат создается для нужд тружеников. Исчезают причины стремления к хорошей работе. Мастера — Мастера с большой буквы — начинают заменять показуха! Годы двадцатилетнего застоя нам наглядно показывают, к чему приводит забвение ленинских принципов.

Конечно, главный заслон на пути развития бюрократизма — это государственная политика, меры конституционные, вроде того же Рабрина, о котором так много думал В. И. Ленин в последние годы своей жизни, или запрет занимать много лет подряд выборные должности. Но есть и другие заслоны развитию этого социального явления. Один из них — это воспитание чувства гражданственности, без чего никакие конституционные меры не помогут.

В рамках бюрократической системы возникает, как говорят в теории управления, положительная обратная связь, утеря бюрократическим аппаратом чувства гражданственности, возникновение искаженного представления о долге, о своем месте в обществе может быть проиллюстрировано бесчисленным множеством примеров — достаточно раскрыть любую газету.

Я стараюсь внимательно следить за деятельностью финансовых органов, обладающих удивительно эффективным аппаратом торможения. И всегда удивляюсь тому, как работники аппарата финорганов всегда однозначно реагируют на любые новшества, инициативу, и особенно на нестандартные ситуации. Их действия всегда можно предусмотреть заранее, они всегда однозначны, — найти соответствующий пункт в официальных бумагах и остановить инициативу. А о том, что она, эта инициатива, полезна государству, народу, и даже о том, что этим пунктам можно придать и иное толкование, им и в голову не приходит.

Напомню историю с новосибирским «Факелом». Мне в свое время пришлось близко соприкоснуться с этой трагичной историей. Это была великолепная находка молодых энергичных людей — студентов и младших (преимущественно) научных сотрудников, создавших самостоятельное КБ и НИИ, способных показать, как можно и как нужно работать в конструкторской сфере и отраслевой науке, призванной быстро и оперативно решать нетривиальные, нестандартные задачи, возникающие в повседневной практике промышленных организаций.

Давайте пофантазируем. Как бы разворачивались события, если бы самодеятельному КБ «Факел» не мешали работать, в особой помощи он не нуждался, лишь бы не мешали... Я уверен, что через несколько лет наша страна имела бы эталоны, на которые пришлось бы равняться не только отраслевой науке. Какой бы это был важный пример в поисках новых организационных форм работы, которые сейчас ведутся по всей стране. И все бы увидели, что несколько талантливых энтузиастов и настоящих профессионалов способны заменить огромные организации со многими сотнями сотрудников, или, точнее, служащих. Слов нет, эти инициативные люди и зарабатывали бы как следует, как следует их таланту, энергии, работоспособности и трудолюбию.

В истории с «Факелом», разумеется, пришлось бы переступить через некоторые инструкции финорганов, поставить вопрос об их несоответствии современным задачам развития государства. Может быть, пришлось бы пошире рассмотреть всю совокупность проблем, которые ставят возникновение подобных самостоятельных организаций. Так, например, когда я был у покойного ныне академика Н. Н. Яценко, бывшего в то время одним из научных шефов молодежного «Факела», мы обсуждали один, казалось бы, очень простой вопрос: а почему «Факел» должен существовать при ком-то, почему он не может жить сам по себе, подчиняясь только законам советской власти? Какое, собственно говоря, дело до него фин- и прочим органам? Работай и плати по закону налог. Стране выгодно, заказчикам выгодно и студентам хорошо!

Против «Факела» дружно восстали не только финорганы, но и многочисленные ведомственные организации, ибо существование «Факела» высвечивало их импотентность, неспособность быстро переключаться на новое, искать новые пути, новые решения, преодолевать рамки часто вымученных планов НИРовских и ОКРовских работ. Боялись конкуренции? Конечно, и не без оснований! Считали конкуренцию недопустимой (лезут не в свое дело), а это не только потеря гражданственности, но и нечто большее и весьма опасное для нашего будущего. Давно уже следует усвоить простую истину: страна только выиграет, если обнаружится ничемность того или иного учреждения и необходимость его ликвидации или коренной перестройки.

В то время, когда шла дискуссия о «Факеле», произносились и другие слова. В частности, они шли и от «теоретиков». Не вписывается, мол, «Факел» в стройную систему управления народным хозяйством, все это неоправданная отсебятина. Не вписывается в систему, конечно, не вписывается. Это всем и так было ясно! Но именно это-то и хорошо! Но ведь работает-то он хорошо и продукцию выдает. Да еще какую. Значит, не «Факел» плох, а система плоха. Теория говорит о другом, о том, что по мере развития производительных сил неизбежно все более сложной и разнообразной становится организация народного хозяйства. Жизнь, ее устойчивое развитие, наконец, сама теория эволюции необходимо требуют и роста разнообразия — разнообразия организационных форм. В теории эволюции для этого существует даже специальное слово — цефализация. А бюрократия, и в частности финорганы, все старается загнать в единое прокрустово ложе стандартных параграфов.

До сих пор «теоретики» не сказали и не обосновали одной важной вещи: социализм — сложная форма организации общества. Куда более сложная, чем капитализм. Он по меньшей мере настолько же сложнее капитализма, насколько последний сложнее феодализма. И нам надо искать эти новые формы организации, структуры производства, отношений между людьми, сами по себе они не найдутся! А попытки загнать развитие социализма в какие-то однотипные и жесткие каноны губительны для социализма и, по существу, безнравственны, ибо они связывают людей, замуровывают таланты, способности, инициативу в бюрократическую ловушку. Одним словом, замуровывают интеллектуальный и нравственный потенциалы народа.

О необходимости унификации и жесткой регламентации всего и вся рассуждал еще незабвенной памяти Козьма Прутков в своем проекте введения единомыслия в России. И нужна эта унификация только его последователям. Стандартизация управленческих процедур и всей управленческой деятельности очень удобна для чиновника, ибо утверждает незыблемость им же созданного порядка. Но мы живем не в век пробирной палатки, а в эпоху, когда глупость или невежество могут обернуться непоправимой катастрофой и для страны и для всего человечества. Теперь поиск новых, непроторенных путей и в науке, и в технике, и особенно в организации общественного бытия становится жизненной необходимостью. Об этом нам приходится думать всем, и в первую очередь руководителям, в чьих руках ресурсы, люди, за которых они несут ответственность.

Наиболее трудные проблемы, с которыми приходится иметь дело любому руководителю, — это создание организации, способной с минимальными издержками, минимальными затратами усилий обеспечивать достижение тех целей, которые он себе ставит.

Я не раз задавал один и тот же вопрос руководителям различных рангов — хозяйственным или партийным: что в их повседневной деятельности самое трудное? И, как правило, получал один и тот же ответ: план, обеспечить план. Думаю, что в этом ответе высвечен один из перекосов нашей бюрократической системы управления, замена основной цели промежуточной.

Сложилось представление, что план — это самоцель. А на самом деле это лишь средство достижения цели, это технология обеспечения стабильного развития и благосостояния общества. Выполнение плана — средство продвижения к идеалам, если здесь уместны столь высокопарные выражения. И, как всякая технология, план должен быть выполнен, если... технология достаточно эффективна.

Я понимаю, почему вопрос о выполнении плана всегда выходит на авансцену: его реализация становится действительно трудной, а часто и непреодолимо трудной задачей, если организация процессов производства, снабжения, создания социального климата, то есть осуществление тех же планов, недостаточно хороша.

Существуют, как мне кажется, две категории трудностей. Одна — это недостаточное знание некоторых общих принципов теории организации, вторая — многочисленные пути разнообразных правил, традиций, пресловутых инструкций, которыми повязан любой руководитель любого ранга.

Попробуем разобраться в этих трудностях.

Создавая какую-нибудь оргструктуру в хозяйственной, партийной, научной или политической сфере, следует очень четко представлять себе основные, приоритетные цели, ради которых предпринимается та или иная организационная акция. Это цели руководителя, их надо уметь отделять от других, которые могут порождаться самой организацией. Я уже говорил, что любая оргструктура неизбежно приобретает собственные интересы и цели, которые чаще всего не учитываются руководителем или он не может с ними справиться, если не предусмотрел их заранее. Значит, одновременно с формированием (проектированием) организационной структуры надо создавать и определенный механизм, который обеспечивал бы достижение цели руководителя и нейтрализовал возникающие цели исполнителей.

Для этого немало путей. В теории разработаны многие механизмы наказания и поощрения различных видов, позволяющие обеспечить выполнение целей руководителя (и планов, в частности), но и превращающие эти цели в жизненную необходимость коллектива. В журнальной статье вряд ли стоит говорить подробно обо всех этих очень профессиональных вопросах создания механизмов обеспечения планов. Но руководитель должен владеть ими.

Остановлюсь теперь на одной из проблем, которая меня давно беспокоит: что

главное для Госплана и других планирующих органов — составление плана или его выполнение? Как мы увидим, анализ этого вопроса непосредственно связан с предыдущими рассуждениями.

Более четверти века тому назад, когда Вычислительный центр Госплана только становился на ноги, в кабинете его тогдашнего руководителя Н. И. Ковалева произошла интересная дискуссия на тему «Как оценивать эффективность планирования». В те годы я занимался преимущественно методами расчета траекторий космических аппаратов, или, если угодно, планированием их движения в околоземном пространстве. Мне приходилось, например, решать задачу такого распределения ресурсов двигателя, которое обеспечивало бы вывод ракеты в расчетный момент времени в расчетную точку пространства для стыковки, скажем, с орбитальной станцией.

Поэтому у меня как у инженера и математика был естественный критерий оценки моей работы, работы плановика, в сущности. Чем точнее я сумею вывести мою ракету с заданным мне ресурсом топлива в заданную мне точку пространства, тем лучше я смогу спланировать траекторию.

Вот с этих позиций я и предложил оценивать работу Госплана. Если план выполнен, то специалисты-плановики хорошо справились со своей работой. Если нет, то, увы, следует признать недостаточную их квалификацию и заменить другими. А что греха таить, планы ведь, как правило, не выполняются или выполняются не те, которые были задуманы, а скорректированные. Значит, из моего предложения прямо следовало осуждение специалистов плановых органов. Поэтому оно вызвало естественную бурю протеста. Сразу замечу, что я был не прав, предлагая такой способ оценки эффективности работы плановых органов, но, как я позднее понял, вовсе не потому, что утверждала мои оппоненты.

Возражения моих оппонентов сводились главным образом к недопустимости оценки Госплана результатом работы других ведомств, то есть организаций, которые должны реализовывать планы. Мы, мол, хорошие, мы планы составляем правильные, а вот они, ведомства, предприятия — они нехорошие! Они не умеют работать и срывают выполнение плановых заданий. Я возражал: если планы регулярно не выполняются, это и означает, что планы неправильные, нереалистичные, значит, вы — работники плановых органов — недостаточно хорошо знаете свой объект управления — наше народное хозяйство и ставите своему «космическому аппарату» нереальные цели. Вы не можете вывести его на ту орбиту, которую определили в качестве цели. Она для вас недостижима.

В моих словах была, конечно, доля истины, но только доля, а не сама истина. Она лежала глубже, и до нее еще надо было додуматься. Дело в том, что инженер-ракетчик проектирует или планирует — здесь уместны любые слова подобного рода — не только траекторию аппарата, но и те механизмы, которые способны обеспечить его движение вдоль этой программной, или плановой, траектории. Те механизмы, ту систему управления, которые, однажды рассчитанные, действуют затем уже независимо от человека, независимо от него преодолевают ошибки, нерасчетные ситуации и т. д. А специалисты плановых органов, те же работники Госплана, новые автопилоты не проектируют, а строят только плановую траекторию. Структура работы такова, что их не заботит, как будут выполняться предлагаемые планы, способна ли существующая система управления их реализовать, даже если они и проходят по ресурсам.

Другими словами, у нас очень часто происходит нестыковка замыслов и реалий. При планировании предполагается, например, что люди будут работать энергично и высококачественно, а они допускают разгильдяйство или что комбайны не будут ломаться, а для их работы в действительности требуется специальная ремонтная бригада и т. д.

Даже поверхностный анализ подобных вопросов показывает необходимость системного, или комплексного, подхода: вопросы экономики, вопросы организационные, вопросы «проектирования автопилота», то есть системы механизмов, должны решаться вместе, одновременно, планирование может быть успешным тогда и только тогда, когда оно учитывает и ресурсные и организационные особенности страны и ее системы управления.

В. И. Ленин когда-то высказывал мысль о необходимости придания Госплану законодательных функций. Мысль очень глубокая. Мне кажется, что главная задача Госплана как раз и состоит в том, чтобы совершенствовать наш «хозяйственный автопилот», сделать его способным вести наш хозяйственный «космический корабль» по пути, на-

мечаемому партией. Сейчас же у нас выделены функции чистого планирования, а совершенствование хозяйственного механизма происходит на основе чисто эмпирических соображений и не носит планового характера.

Я часто слышу о приоритете экономики, экономического мышления. Об этом говорят экономисты, подобные утверждения произносятся и с высоких трибун. Я думаю, что подобная гипертрофия вредна и ошибочна. Сила марксизма в его комплексном, системном подходе: экономика, технология (научно-технический прогресс) и социальные структуры, порождающие формы человеческой активности,— все это неразрывно связано. В учете этих связей я и вижу основу совершенствования планирования.

На примере планирования я попытался начать разговор о культуре организационной. Мы должны понимать ее гораздо шире и глубже, чем ее принято понимать за рубежом. Нам в социалистических странах не достаточно узкого прагматизма школ бизнеса или даже весьма эффективно работающей системы подготовки и переподготовки кадров в Японии с их традиционным патриотизмом по отношению к фирме.

Мы совершенствуем, развиваем социалистическое общество. Его становление не может быть стихийным, следствием неуправляемого процесса развития так, как это происходит в капиталистическом обществе. Организационные структуры социализма — это результат целенаправленных усилий людей. Его развитие требует непрерывного целенаправленного совершенствования — именно так я понимаю закон плановости. Вот почему уместно говорить о проектировании социализма, его структур. А руководители всех рангов — это как раз и есть те люди, которые призваны искать новые формы организации производственной деятельности и всей жизни нашего общества. Вот почему нам нужны не просто хорошие менеджеры, нужны строители социализма, строители в самом непосредственном смысле этого слова. И они должны ясно понимать, что строим мы социализм вовсе не ради социализма, не ради доктрины, мы создаем общество, способное обеспечить человечеству его будущее. Маркс, его соратники и последователи рассматривали социализм, неизбежность его прихода прежде всего в историческом плане. Анализ развития общества, его истории приводил их к выводу о том, что общественные формации, не преодолевшие противоречия между общественным характером производства и частным способом присвоения его результатов, не имеют будущего — капитализм неизбежно будет заменен новыми формами организации производственных отношений, преодолевающих эти противоречия. Эта новая формация и будет называться социализмом. Но каким образом, в каких организационных структурах сможет реализоваться великий принцип социализма — вопрос оставался открытым, он требовал опыта, практики революционной перестройки производственных отношений и всей природы общественных отношений. Он не мог быть раскрыт в теории тех времен, когда формировалось учение о социализме: не было прецедента и не было опыта! И любая детализация структуры грядущей формации неизбежно носила бы черты утопизма.

И еще я считаю нужным подчеркнуть: в отличие от капитализма в нашем обществе одного критерия эффективности производства уже недостаточно! Нам необходимо, чтобы жизнь человека при социализме была действительно человеческой, с новой нравственностью, новой шкалой ценностей и другими жизненными идеалами. И такое утверждение не утопия — это требование экологического императива, иначе не выжить! Мне не раз бросали упреки в утопичности подобных высказываний: а совместимы ли вообще требование эффективности производственной деятельности и требование человечности, если угодно? Может быть, подобные рассуждения всего лишь умствования чеховского интеллигента, не имеющие под собой необходимой прагматической основы?

Я хочу еще раз подчеркнуть, что перестройка человеческих отношений в нынешний век — это отнюдь не утопическое высказывание интеллигента, занимающегося не своим делом. Они, в частности, следствие профессионального анализа экологической обстановки на планете.

М. С. Горбачев бесконечно прав, говоря о необходимости нового, общепланетарного мышления. Но мы, специалисты, знаем и нечто большее: нынешние стереотипы поведения и мышления людей неизбежно приведут к катастрофе. Может быть, и без сполохов ядерных взрывов, но к катастрофе таких масштабов, которую человечество, может статься, вообще и пережить не сможет. Поэтому вопрос стоит действительно предельно остро — либо коренная перестройка всего нашего бытия, либо... либо не-

избежная деградация рода человеческого. Более быстрая или более медленная — это уже другой вопрос, и, на мой взгляд, не столь уж важный.

Вот мы и начали эту перестройку. Начали в нашей социалистической стране. Это тем более важно, что основной груз, основное бремя преобразования человечества, его институтов, образа мышления, ценностных шкал, неизбежно ляжет на плечи социалистического общества. Эти преобразования приведут человеческие потребности, человеческую активность в соответствие с оскудевшими возможностями планеты и ростом интеллектуального потенциала человечества.

И обсуждая вопрос о характере руководителя трудовых, производственных коллективов в наступающую эпоху перестройки, обдумывая те возможные механизмы, создание которых будет определять деятельность огромных человеческих масс, очень важно отдавать отчет в том, что нам необходимо. Экологическое мышление должно стать органически присуще человеку социалистической эпохи и прежде всего тем, от кого зависят многие судьбы. Оно неотделимо от чувства хозяина. Ведь не временщиком, а именно рачительным хозяином, передающим свое Дело наследникам, хочется видеть каждого руководителя. Ему придется вмешиваться в природные процессы, изменять окружающую среду. Такова суровая правда жизни. Но при этом он должен смотреть вперед, предугадывать, как его решения скажутся на будущем людей.

А как согласовать эффективность производства и другие экономические характеристики с созданием экологических гарантий развития человека? В каждом конкретном случае это результат трудных и ответственных решений. Но важно, чтобы лица, принимающие подобные решения, понимали необходимость компромисса между требованиями благополучия экономических показателей и тем, что сейчас называется экологией человека. Раньше это называлось: действовать по совести. Хотелось бы, чтобы это слово вернулось в наш обиход.

Говоря о социализме, о его перестройке, я не случайно употребил выражение «схемы общественной организации». Очень трудно говорить о деталях, когда мы вступаем на путь революционных перемен. И конкретные детали конкретных решений придут не как следствие директивных указаний, а явятся в результате творчества огромного количества руководителей всех рангов, их опыта, успехов и неудач, в результате непрерывного поиска. Вот почему умение дерзать — воспитанная потребность дерзания — должно быть неотъемлемым свойством руководителя. И дерзать не только во имя своих личных успехов и личной карьеры (этот личностный элемент тоже должен присутствовать), но и во имя высших гражданских целей. А последнее — это уже составляющая той новой морали, без которой человечеству просто не выжить. Она и соответствующая ей структура ценностных шкал требуют длительного и целенаправленного воспитания. Но такое воспитание не может обеспечить та или иная школа, и Академия народного хозяйства в том числе. Их превращение в необходимый элемент сознания человека, определяющего его поведение и решения, которые он принимает в тех или иных ситуациях, — это прежде всего результат воздействия общества, его климата, если угодно. Процесс перестройки как раз и стимулирует создание необходимого климата, а он в свою очередь через сознание людей содействует перестройке — возникает положительная обратная связь, основной гарант необратимости этих процессов.

Предлагаемые заметки — лишь приглашение к разговору, многое в них остается за кадром. Я ничего не говорил, например, о профессиональной подготовке руководителей, о том, чему надо учить людей, которым предстоит определять судьбы коллективов. Это вопрос не только профессиональный, но и моральный и политический. Не менее важна проблема формирования элитарных групп, или, как теперь принято их называть, номенклатуры, — проблема, требующая внимания общественности и гласности.

Элитарные группы необходимы всюду — в спорте, науке, управлении, политике... Они появляются неизбежно. И если этим не заниматься целенаправленно, то они будут возникать стихийно, превращаясь в нечто мафиоподобное. Механизмы их формирования могут очень сильно различаться друг от друга в зависимости от той общественной роли, которую предстоит играть той или иной элитарной группе. Но один принцип отбора в такие номенклатуры независимо от того, для какой деятельности предназначена та или другая группа, принцип справедливый и при формировании корпуса хозяйственных руководителей по моему глубокому убеждению должен быть общим: не допускать, чтобы номенклатуры формировали сами себя! Для этого и нужна гласность.



Не менее значимая проблема о самом месте Академии народного хозяйства в системе государства — учебном заведении, которое по первоначальным замыслам должно было играть роль «лица для будущих хозяйственных руководителей». Этот вопрос действительно наиважнейший. Как-то один из слушателей во время длинного разговора за жизнь сказал мне примерно следующее: «Вам, нашим преподавателям, в первую очередь предстоит готовить командиров производства. Это вы должны помочь нам войти в перестройку». Как точно сказано — войти в перестройку!

И эта задача действительно наша. Но ее решение зависит не только от коллектива преподавателей, хотя мы и понимаем, какой трудный участок фронта перестройки лежит на наших плечах. В самом деле, идея «хозяйственного лица», может быть, и не состоится, и академия сделается одним из заурядных звеньев переподготовки кадров или, что еще более грустно, организацией, которая, вместо того чтобы держать участок фронта, будет выполнять отдельные поручения.

Все эти проблемы наиважнейшие и требуют незамедлительного и очень широкого обсуждения — от их решения во многом зависит судьба перестройки, а значит, и судьба родины. Ответ на подобные вопросы требует куда как более глубокого анализа всей системы механизмов, определяющих жизнь Страны Советов, и сопоставления альтернативных вариантов ее организационных структур. А для этого автор не чувствует себя сегодня достаточно подготовленным. Вот почему я и ограничился разговором о том, что мне казалось наиболее очевидным, — обсуждением того, что связано с нравственным обликом руководителя, его способностью выйти за узкие рамки рассуждений и действий чисто прагматического характера.

Что же касается организационных мер, то и здесь много дискуссионного. Я полагаю, например, что управляющий должен получать второе полноценное образование. Именно второе. Очень непросто обнаружить необходимые способности у юноши, который только что окончил школу. Сможет ли он быть хорошим менеджером, умело руководить коллективом? Пусть он поступает сначала в обычный вуз, становится инженером, экономистом, технологом — приобретает обычную профессию. После окончания вуза молодой специалист идет на производство. Пять — семь лет работы на заводе, в колхозе или учреждении выявят его способности. Вот тогда его и следует принимать в Академию народного хозяйства.

Сегодня мы работаем главным образом с сорокалетними. Новые идеи они воспринимают уже с трудом: за полтора десятка лет у них выработались стереотипы мышления и поведения. К перестройке надо готовить людей помоложе. На них и ляжет затем все бремя непрерывного совершенствования организационных форм социалистического производства. Они должны быть готовыми к поиску.

Горизонты перестройки непрерывно раздвигаются в процессе ее развития. И нам сегодня они понятнее куда больше, чем год назад. Таков смысл любого революционного процесса — очень трудно предусмотреть его отдельные особенности. И всматриваясь во все расширяющиеся горизонты, видишь, как за ними встают все новые и еще более трудные задачи. Освобождаясь от груза привычных иллюзий, начинаешь все отчетливее понимать железную необходимость перестройки для нашего отечества и трудности, которые будут умножаться по мере ее развития.

Принимая жизненную необходимость перестройки для нашего общества, для нашего государства, вскрывая ее движущие силы, ее социальную опору, мы должны всячески содействовать ее развитию, ее необратимости, содействовать упрочению ее социальной базы — это наш первейший гражданский и партийный долг. Подготовка и воспитание корпуса хозяйственных руководителей, его нравственной, духовной основы — важная составляющая этих усилий.



ВЛАДИМИР НАБОКОВ



## ПРЕДИСЛОВИЕ К «ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

В 1958 году в нью-йоркском издательстве «Даблдэй» вышел английский перевод «Героя нашего времени», сделанный В. Набоковым совместно с сыном Дмитрием. Набоков-переводчик, как и Набоков-критик, — тема для большого и увлекательного исследования. В разное время Набоков перевел на свой родной язык ромен-ролановского «Кола Брюньона» (по-русски «Никола Персик») и кэрролловскую «Алису» (по-русски «Аня в стране чудес»), стихи Китса и Байрона, Гёте и Шекспира, Ронсара и Рембо... На английский, ставший для него вторым родным языком, кроме «Героя нашего времени» он перевел «Слово о полку Игореве», «Евгения Онегина», «Моцарта и Сальери», избранную лирику Пушкина, Лермонтова и Тютчева, многие стихи Ходасевича. По тому, кого он переводил, можно вернее судить о его литературных пристрастиях, чем по некоторым декларациям. Больше всего хлопот Набокову доставил... он сам. «Ужасная вещь, — пишет он в письме от 1935 года, — переводить самого себя, перебирая собственные внутренности и примеривая их, как перчатки»\*.

Знакома англоязычную публику со своим «Героем нашего времени» (существовали более ранние переложения), Набоков написал предисловие в расчете на читателя, не очень хорошо знающего русскую классику, чем и объясняется популярный характер этого эссе, а также акцент на ряде моментов, которые бы, вероятно, не пришлось растолковывать соотечественникам.

Перевод Предисловия, снабженный необходимым комментарием, был подготовлен со слабыми надеждами на публикацию одиннадцать лет назад, в год смерти Набокова. Желая узнать, окончательно ли оборвалась ниточка, связывавшая его с Россией, я поехал в места его детства под Ленинградом. Часть кладки, сохранившаяся от бывшей усадьбы, да две-три семейные фотографии в краеведческом музее в соседнем Рождествене — вот, казалось бы, и вся память. Каково же было мое изумление, когда вдруг отыскались свидетели «другой жизни» — старуха ста трех лет, служившая прачкой в батовском (когда-то рылеевском) имени деда Набокова по отцу. Нашлись люди, помнившие, как детыми бывали на елках в «господском доме», как в революцию бастовали рабочие на медеплавильном заводе братьев Чикиных и мужики вели на гумне «мирные переговоры» с Владимиром Дмитриевичем, отцом будущего писателя, интересуясь, когда же он разгаст им земли... а в самом Ленинграде жила и здравствовала дочь доктора Розанова, домашнего врача Набоковых, подарившая мне фотографию с видом на тот самый господский дом, в котором в тридцать седьмом году принимали испанских детей и который через несколько лет, отступая, дотла сожгли немцы, и открытки-картонки с беглым почерком Владимира Дмитриевича, извещавшего управляющую именем о своем возвращении из-за границы... а на бывшей Морской (ныне улице Герцена), против дома, где родился Набоков, жила в коммуналке дочь белого генерала, учившаяся в гимназии с кузиной будущего писателя Оней, что стрижом промелькнет на страницах его английской автобиографии «Говори, память». Так, неожиданно для меня, память заговорила. И сразу протянулась живая ниточка между прошлым и настоящим, Россией и Америкой... писателем и его читателями. Тогда эта ниточка казалась тонкой-тонкой.

Сергей ТАСК.

1

**В** 1841 году, за несколько месяцев до своей смерти (в результате дуэли с офицером Мартыновым у подножия горы Машук на Кавказе), Михаил Лермонтов (1814—1841) написал пророческие стихи:

В полдневный жар в долине Дагестана  
С свинцом в груди лежал недвижим я;  
Глубокая еще дымилась рана,  
По капле кровь точилась моя.

\* З. Шаховская. В поисках Набокова. Paris, La presse libre, 1979, стр. 25.

Лежал один я на песке долины;  
Уступы скал теснились кругом,  
И солнце жгло их желтые вершины  
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями  
Вечерний пир в родимой стороне.  
Меж юных жен, увенчанных цветами,  
Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,  
Сидела там задумчиво одна,  
И в грустный сон душа ее младая  
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;  
Знакомый труп лежал в долине той;  
В его груди дымясь чернела рана,  
И кровь лилась хладеющей струей.

Это замечательное сочинение (в оригинале везде пятистопный ямб с чередованием женской и мужской рифмы) можно было бы назвать «Тройной сон».

Некто (Лермонтов, или, точнее, его лирический герой) видит во сне, будто он умирает в долине у восточных отрогов Кавказских гор. Это Сон 1, который снится Первому Лицу.

Смертельно раненному человеку (Второму Лицу) снится в свою очередь молодая женщина, сидящая на пиру в петербургском, не то московском особняке. Это Сон 2 внутри Сна 1.

Молодой женщине, сидящей на пиру, снится Второе Лицо (этот человек умирает в конце стихотворения), лежащее в долине далекого Дагестана. Это Сон 3 внутри Сна 2 внутри Сна 1<sup>1</sup>, который, сделав замкнутую спираль, возвращает нас к начальной строфе<sup>2</sup>.

Витки пяти этих четверостиший сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман Лермонтова «Герой нашего времени».

В первых двух — «Бэла» и «Максим Максимыч» — автор, или, говоря точнее, герой-рассказчик, любознательный путешественник, описывает свою поездку на Кавказ по Военно-Грузинской дороге в 1837 году или около того. Это Рассказчик 1.

Выехав из Тифлиса в северном направлении, он знакомится в пути со старым воякой по имени Максим Максимыч. Какое-то время они путешествуют вместе, и Максим Максимыч сообщает Рассказчику 1 о некоем Григории Александровиче Печорине, который, тому лет пять, неся военную службу в Чечне, севернее Дагестана, однажды умыкнул черкешенку. Максим Максимыч — это Рассказчик 2, и история его называется «Бэла».

При следующем своем дорожном свидании («Максим Максимыч») Рассказчик 1 и Рассказчик 2 встречают самого Печорина. Последний становится Рассказчиком 3 — ведь еще три истории будут взяты из журнала Печорина, который Рассказчик 1 публикует посмертно.

Внимательный читатель отметит, что весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина<sup>3</sup>, пока наконец он сам не заговорит с нами, но к тому времени его уже не будет в живых. В первом рассказе Печорин находится от читателя на «троюродном» расстоянии, поскольку мы узнаем о нем со слов Максима Максимыча да еще в передаче Рассказчика 1. Во второй истории Рассказчик 2 как бы самоустраняется, и Рассказчик 1 получает возможность увидеть Печорина собственными глазами. С каким трогательным нетерпением спешил Максим Максимыч предъявить своего героя в натуре. И вот перед нами три последних рассказа; теперь, когда Рассказчик 1 и Рассказчик 2 отошли в сторону, мы оказываемся с Печориным лицом к лицу.

Из-за такой спиральной композиции временная последовательность оказывается как бы размытой. Рассказы напылают, разворачиваются перед нами, то все как на ладони, то словно в дымке, а то вдруг, отступив, появляются вновь уже в ином ракурсе или освещении, подобно тому как для путешественника открывается из ущелья вид на пять вершин Кавказского хребта. Этот путешественник — Лермонтов, а не Печорин. Пять рассказов располагаются друг за другом в том порядке, в каком события стано-

вятся достоянием Рассказчика 1, однако хронология их иная<sup>4</sup>; в общих чертах она выглядит так:

1. Около 1830 года офицер Печорин, следуя по казенной надобности из Санкт-Петербурга на Кавказ в действующий отряд, останавливается в приморском городке Тамань (порт, отделенный от северо-восточной оконечности полуострова Крым нешироким проливом). История, которая с ним там приключилась, составляет сюжет «Тамани», третьего по счету рассказа в романе.

2. В действующем отряде Печорин принимает участие в стычках с горскими племенами и через некоторое время, 10 мая 1832 года, приезжает отдохнуть на воды, в Пятигорск. В Пятигорске, а также в Кисловодске, близлежащем курорте, он становится участником драматических событий, приводящих к тому, что 17 июня он убивает на дуэли офицера. Обо всем этом он повествует в четвертом рассказе — «Княжна Мери».

3. 19 июня по приказу военного командования Печорин переводится в крепость, расположенную в Чеченском крае, в северо-восточной части Кавказа, куда он прибывает только осенью (причины задержки не объяснены). Там он знакомится со штабс-капитаном Максимом Максимычем. Об этом Рассказчик 1 узнает от Рассказчика 2 в «Бэле», с которой начинается роман.

4. В декабре того же года (1832) Печорин уезжает на две недели из крепости в казачью станицу севернее Терека, где приключается история, описанная им в пятом, последнем рассказе — «Фаталист».

5. Весною 1833 года он умыкает черкесскую девушку, которую спустя четыре с половиной месяца убивает разбойник Казбич. В декабре того же года Печорин уезжает в Грузию и в скором времени возвращается в Петербург. Об этом мы узнаем в «Бэле».

6. Проходит около четырех лет, и осенью 1837 года Рассказчик 1 и Рассказчик 2, держа путь на север, делают остановку во Владикавказе и там встречают Печорина, который уже опять на Кавказе, проездом в Персию. Об этом повествует Рассказчик 1 в «Максиме Максимыче», втором рассказе цикла.

7. В 1838 или 1839 году, возвращаясь из Персии, Печорин умирает при обстоятельствах, возможно, подтвердивших предсказание, что он погибнет в результате несчастливого брака. Рассказчик 1 публикует посмертно его журнал, полученный от Рассказчика 2. О смерти героя Рассказчик 1 упоминает в своем предисловии (1841) к «Журналу Печорина», содержащему «Тамань», «Княжну Мери» и «Фаталиста».

Таким образом, хронологическая последовательность пяти рассказов, если говорить об их связи с биографией Печорина, такова<sup>5</sup>: «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист», «Бэле», «Максим Максимыч».

Маловероятно, чтобы в процессе работы над «Белой» Лермонтов уже имел сложившийся замысел «Княжны Мери»<sup>6</sup>. Подробности приезда Печорина в крепость Каменный Брод, сообщаемые Максимом Максимычем в «Бэле», не вполне совпадают с деталями, упомянутыми самим Печориным в «Княжне Мери».

Во всех пяти рассказах немало несообразностей, одна другой примечательнее, однако повествование движется с такою стремительностью и мощью, столько мужественной красоты в этой романтике, от замысла же веет такой захватывающей цельностью, что читателю просто не приходит в голову задуматься, из чего, собственно, ружья в «Тамани» застряла, что Печорин не умеет плавать, или почему драгунский капитан полагал, что секунданты Печорина не найдут нужным принять участие в заживании пистолетов<sup>7</sup>. Положение, в каком оказывается Печорин, вынужденный в конце концов подставить лоб под дуло пистолета Грушицкого, могло бы выглядеть куда как нелепо, если забыть о том, что наш герой полагался отнюдь не на случай, но на судьбу. Об этом совершенно недвусмысленно говорит последний и, надо сказать, лучший рассказ — «Фаталист», важнейшая сцена которого также построена на предположении, заряжен пистолет или не заряжен, и в котором между Печориным и Вуличем происходит как бы заочная дуэль, где все предуготовления к смерти берет на себя не фатоватый драгунский капитан, но сама Судьба.

Особая роль в композиции книги отведена подслушиванию, составляющему столь же неуклюжий, сколь и органичный элемент повествования. Что касается подслушивания, то его можно рассматривать как разновидность более общего приема под названием случайность; другой разновидностью является, например, случайная встреча. Всем ясно, что автор, желающий сочетать традиционное описание романтических приключе-

ний<sup>8</sup> (любовные интриги, ревность, мщение и тому подобное) с повествованием от первого лица и не имеющий при этом намерения изобретать новую форму<sup>9</sup>, оказывается несколько стесненным в выборе приемов.

Эпистолярный роман восемнадцатого века (в котором героиня писала своей наперснице, а герой — старому школьному приятелю плюс всевозможные вариации) уже набил такую оскомину во времена Лермонтова, что едва ли он мог избрать этот жанр; а с другой стороны, поскольку наш автор был озабочен прежде всего тем, как двигать сюжет, а вовсе не тем, как разнообразить и шлифовать его, маскируя механику этого движения, то он и прибегнул к очень удобному приему, позволяющему Максиму Максимычу и Печорину, подслушивая и подсматривая, оказываться свидетелями тех сцен, без которых фабула была бы не вполне ясна или не могла бы развиваться дальше. В самом деле, автор так последовательно использует данный прием на протяжении всей книги, что читатель уже не воспринимает его как странные капризы случая и едва обращает внимание на эти почти житейские проявления судьбы.

В «Бэле» подслушивание имеет место трижды: Рассказчик 2 слышит из-за забора, как мальчик уговаривает башибузука продать ему коня; позднее он же подслушивает сначала под окном, а затем под дверью два решающих объяснения между Печориным и Бэлой.

В «Тамани» Рассказчик 3, стоя за выступающей скалой, слышит разговор девушки и слепого, дающий понять всем заинтересованным лицам, включая читателя, что речь идет о контрабанде; то же лицо, используя другой наблюдательный пункт, утес над берегом, становится свидетелем заключительного разговора контрабандистов.

В «Княжне Мери» Рассказчик 3 подслушивает или подсматривает ни много ни мало восемь раз<sup>10</sup>, что позволяет ему постоянно быть в курсе событий. Из-за угла галереи он наблюдает, как Мери поднимает стакан, уроненный беспомощным Грушницким; стоя за высоким кустом, он слышит, как они же обмениваются трогательными репликами; из-за спины толстой дамы до него долетает беседа, после которой драгунский капитан подобьет пьяенького господина, каких мы позже встретим у Достоевского<sup>11</sup>, оскорбить княжну Мери; отойдя на неопределенное расстояние, он наблюдает украдкой, как Мери зевает над шутками Грушницкого; находясь в толпе танцующих на балу, он ловит ее насмешливые реплики в ответ на пылкие признания Грушницкого; благодаря «вплотню притворенному ставню» он становится свидетелем того, как драгунский капитан с Грушницким замышляют осрамить его, Печорина, на дуэли; сквозь «не совсем задернутый занавес» он видит Мери, задумчиво сидящую на постели, в ресторации из-за двери, ведущей в угловую комнату, где сидит Грушницкий со своей компанией, Печорин слышит, как его обвиняют в посещении княжны нынче ночью; и наконец, более чем кстати доктор Вернер, секундант Печорина, подслушивает разговор между драгунским капитаном и Грушницким, из которого он и Печорин делают вывод, что только один пистолет будет заряжен. Растущая осведомленность героя побуждает читателя сгорать от нетерпения в ожидании роковой встречи, когда Печорин всеми этими фактами прижмет к стене Грушницкого.

## 2

Это первый английский перевод романа Лермонтова. Есть несколько переложений, но перевода, по существу, до сих пор не было. Опытный ремесленник без особого труда превратит русский язык Лермонтова в набор гладеньких английских клише, по ходу дела опуская, развивая и пережевывая все, что полагается; он неизбежно приглушит то, что, с точки зрения читателя, этого послушного дурачка, как его представляет себе издатель, может показаться непривычным. Перед честным переводчиком встает задача иного рода.

Начнем с того, что следует раз и навсегда отказаться от расхожего мнения, будто перевод «должен легко читаться» и «не должен производить впечатление перевода» (вот комплименты, какими встретит всякий бледный пересказ наш критик-пурист, который никогда не читал и не прочтет подлинника). Если на то пошло, всякий перевод, не производящий впечатление перевода, при ближайшем рассмотрении непременно окажется неточным, тогда как единственными достоинствами добротного перевода следует считать его верность и адекватность оригиналу. Будет ли он легко читаться, это уже зависит от образца, а не от снятой с него копии.

Предприняв попытку перевести Лермонтова, я с готовностью принес в жертву требованиям точности<sup>12</sup> целый ряд существенных компонентов: хороший вкус, красоту слога и даже грамматику (в тех случаях, когда в тексте встречается характерный солецизм<sup>13</sup>). Надо дать понять английскому читателю, что проза Лермонтова далека от изящества; она суха и однообразна, будучи инструментом в руках пылкого, вероятно даровитого, беспощадно откровенного, но явно неопытного молодого литератора. Его русский временами так же коряв, как французский Стендаля; его сравнения и метафоры банальны; его расхожие эпитеты спасает разве то обстоятельство, что им случается быть неправильно употребленными. Словесные повторы в его описательных предложениях не могут не раздражать пуриста. И все это переводчик обязан скрупулезно воспроизвести, сколь бы велико ни было искушение заполнить пропуск или убрать лишнее.

К моменту, когда Лермонтов начал писать, русская проза успела обнаружить пристрастие к определенным словам, ставшим обиходными для русского романа. Всякий переводчик в процессе своей работы начинает осознавать, что помимо идиоматических выражений язык «передающий» содержит целый ряд постоянно повторяющихся слов, которые, хотя и не представляют труда для перевода, встречаются в языке «принимающем» гораздо реже, особенно в разговорной практике. Вследствие длительного употребления эти слова стали как бы указательными или знаковыми, выводящими нас на перекрестки ассоциаций, на сборные пункты взаимосвязанных понятий. Они скорее обозначают смысл, нежели уточняют его. Среди приблизительно сотни таких слов-указателей, знакомых каждому изучающему русскую литературу, можно выделить особых любимцев Лермонтова:

|             |                       |              |
|-------------|-----------------------|--------------|
| задуматься  | он невольно задумался | неизъяснимый |
| подойти     | невольно              | гибкий       |
| принять вид | пристально            | мрачный      |
|             | молчать               | вдрут        |
|             | мелькать              | уже          |

Долг переводчика повторить по-английски эти слова со всей возможной педантичностью, хотя бы даже удручающей, с какой они встречаются в русском тексте; я сказал «со всей возможной педантичностью» по той простой причине, что в зависимости от контекста в некоторых случаях слово имеет два и более смысловых оттенков. Скажем, a slight pause или a moment of silence могут оказаться лучшими эквивалентами для хрестоматийной минуты молчания, чем буквальное a minute of silence.

Не будем также забывать, что если в одном языке писатели заостряют внимание на том или ином выражении лица, жесте, способе движения, в другом это само собой разумеется и потому редко находит или вовсе не находит своего словесного выражения. Небрежение русскими писателями девятнадцатого столетия точными оттенками цветового спектра приводило к заимствованию несколько курьезных эпитетов, употребление которых оправдывается литературной традицией (в случае с Лермонтовым это озадачивает: ведь он был не просто художником в буквальном смысле этого слова, но вообще имел хороший глаз на цвет и умел передавать его<sup>14</sup>); так, на страницах «Героя нашего времени» лица различных персонажей то и дело багровеют, краснеют, розовеют, желтеют, зеленеют и синеют<sup>15</sup>. Четыре раза в романе повторяется романтический эпитет туск л а я б л е д н о с т ь — галлицизм (фр. paleur mate), означающий матовую, лишнюю всякого оттенка белизну. В «Тамани» лицо малолетней преступницы покрывает «тусклая бледность, избличавшая волнение душевное». В «Княжне Мери» это имеет место трижды: тусклая бледность покрывает лицо княжны, когда она обвиняет Печорина в неуважении к ней; тусклая бледность покрывает лицо Печорина, обнаруживая «следы мучительной бессонницы»; и непосредственно перед дуэлью тусклая бледность покрывает щеки Грушницкого, в то время как его совесть ведет внутреннюю борьбу с его гордостью.

Помимо таких кодовых фраз, как «ее губы слегка побледнели», «он покраснел», «рука чуть-чуть дрожала» и тому подобных, чувства выдают себя внезапными и решительными жестами. В «Бэле» Печорин ударяет кулаком по столу, чтобы усилить слова «она никому не будет принадлежать, кроме меня». Через две страницы он уже ударяет себя кулаком в лоб (кое-кто из комментаторов расценивает этот жест как специфически восточный) при мысли, что он не сумел расположить к себе Бэлу и довел ее до слез. Грушницкий тоже ударяет кулаком по столу, поверив Печорину, что Мери с ним, Грушницким, просто кокетничает. То же проделывает и драгунский ка-

питан, требуя внимания: Кроме того, на протяжении всего романа герои друг друга постоянно «хватают за руку», «берут под руку» и «тянут за рукав».

«Топание ногою о землю» тоже в большой чести у Лермонтова, но это внешнее выражение эмоций было внове для русской литературы того времени. Максим Максимыч в «Бэле» топает ногою о землю в порыве раскаяния. В «Княжне Мери» Грушницкий топает ногой от досады, а драгунский капитан — от безразличия.

## 3

Здесь не место разбирать характер Печорина. Вдумчивый читатель без труда составит себе мнение о нем, прочитав книгу; однако о Печорине написано столько нелепостей людьми, смотрящими на литературу с позиций социологии, что уместно будет коротко предостеречь от возможных ошибок.

Едва ли нам стоит принимать всерьез, как это делают многие русские комментаторы, слова Лермонтова, утверждающего в своем «Предисловии» (которое само по себе есть искусная мистификация), будто портрет Печорина «составлен из пороков всего нашего поколения». На самом деле этот скучающий чужак — продукт нескольких поколений, в том числе нерусских; очередное порождение вымысла, восходящего к целой галерее вымышленных героев, склонных к рефлексии, начиная от Сен-Пре, любовника Юлии д'Этанж в романе Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) и Вертера, воздыхателя Шарлотты С. в повести Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774; в России того времени известна главным образом по французским переложениям, например, Севелинжа, 1804), через «Рене» Шатобриана (1802), «Адольфа» Констана (1815)<sup>16</sup> и героев байроновских поэм, в особенности «Гяура» (1813) и «Корсара» (1814), пришедших в Россию во французских прозаических пересказах Пишо, которые начали выходить с 1820 года, и кончая «Евгением Онегиным» (1825—1832) Пушкина, а также разнообразной, хотя и более легковесной продукцией французских романистов первой половины того же столетия (Нодье, Бальзак и т. д.). Соотнесенность Печорина с конкретным временем и конкретным местом придает, конечно, своеобразие плоду, возвращенному на другой почве, однако сомнительно, чтобы рассуждения о притеснении свободомыслия со стороны тиранического режима Николая I (1825—1856) помогли нам его распробовать.

В исследовании, посвященном «Герою нашего времени», нелишне было бы отметить: сколь бы огромный, подчас даже патологический интерес ни представляло это произведение для социолога<sup>17</sup>, для историка литературы проблема «времени» куда менее важна, чем проблема «героя»<sup>18</sup>. Что касается последнего, то молодому Лермонтову удалось создать вымышленный образ человека, чей романтический порыв и цинизм, тигриная гибкость и орлиный взор, горячая кровь и холодная голова, ласковость и мрачность, мягкость и жестокость, душевная тонкость и властная потребность повелевать, безжалостность и осознание своей безжалостности<sup>19</sup> остаются неизменно привлекательными для читателей самых разных стран и эпох, в особенности же для молодежи; восхищение «Герою нашего времени» со стороны критиков старшего поколения, по-видимому, есть не что иное, как окружаемые ореолом воспоминания о собственном отрочестве, когда они зачитывались романом в летних сумерках, с жаром отождествляя себя с его героем, нежели объективная оценка с позиций зрелого понимания искусства.

О прочих персонажах романа, в сущности, тоже почти нечего сказать. Самый трогательный среди них несомненно пожилой штабс-капитан Максим Максимыч, недалекий, грубоватый, чувствительный, земной, бесхитростный и совершенный невзрачник. Эпизод, когда обманувшая его ожидания встреча со старым другом Печориним заставляет его совершенно потерять голову, трогает сердце читателя как одно из самых психологически тонких описаний в литературе. Что до нескольких злодеев в романе, то Казбич с его цветистой речью (в передаче Максима Максимыча) весь вышел из литературной ориенталистики, а впрочем, не будет большого греха, если американские читатели перепутают черкесов Лермонтова с индейцами Фенимора Купера. В самом неудачном из всех рассказов, «Тамани» (который некоторые русские критики по непонятным мне причинам ставят выше остальных), Янко перестает нам казаться откровенно банальным только тогда, когда мы замечаем, что отношения между ним и слепым мальчиком возвращают нас, как приятное эхо, к разговору между героем романа и его обожателем в «Максиме Максимыче».

Другого рода переключку находим в «Княжне Мери». Если Печорин романтическая тень Лермонтова, а Грушницкий, как уже отмечалось в русской критике, гротескная тень Печорина, то на низшем уровне имитации находится слуга Печорина, Драгунский капитан, этот злой гений Грушницкого, едва ли поднимается выше заурядного комического персонажа, а постоянные напоминания о его тайных интригах довольно скоро начинают действовать на нервы. Не менее раздражают прыжки и пение дикарки в «Тамани». Вообще женские образы не удавались Лермонтову<sup>20</sup>. Мери — типичная барышня из романов, напроць лишенная индивидуальных черт, если не считать ее «бархатных» глаз, которые, впрочем, к концу романа забываются<sup>21</sup>. Вера совсем уже придуманная со столь же придуманной родинкой на щеке; Бэла — восточная красавица с коробки рахат-лукума.

Что же в таком случае составляет вечную прелесть этой книги? Отчего ее так интересно читать и перечитывать? Уж конечно не ради стиля, хотя, как это ни покажется забавным, школьные учителя в России всегда склонны были видеть в ней образец русской прозы. Этого нелепого мнения, высказанного (по утверждению мемуариста) Чеховым, можно придерживаться в том только случае, если понятиями общественной морали или добродетели подменять суть литературного творчества, либо надо быть критиком-аскетом, у которого вызывает подозрение роскошный, изысканный слог и которого, по контрасту, неуклюжий, а местами просто заурядный стиль Лермонтова приводит в восхищение как нечто целомудренное и бесхитрое. Но подлинное искусство само по себе не есть нечто целомудренное или бесхитрое, и довольно одного взгляда на отработанный до совершенства, до магического артистизма стиль Толстого (кое-кто считает его литературным преемником Лермонтова), чтобы стали очевидны досадные изъяны лермонтовской прозы.

И все же если мы взглянем на него как на рассказчика и если мы вспомним, что русская проза тогда ходила пешком под стол, а нашему автору было каких-то двадцать пять лет, тогда нам останется только поражаться исключительной энергии повествования и замечательному ритму, который ощущается не так на уровне фразы, как на уровне абзаца. Слова сами по себе незначительны, но, оказавшись вместе, они ожидают. Когда мы начинаем дробить фразу или стихотворную строку на составные элементы, банальности то и дело бросаются в глаза, а неувязки зачастую производят комический эффект; но в конечном счете все решает целостное впечатление, в случае же с Лермонтовым это общее впечатление возникает благодаря чудесной гармонии всех частей и частей в романе. Автор постарался отделить себя от своего героя, однако для читателя с повышенной восприимчивостью щемящий лиризм и очарование этой книги в значительной мере заключаются в том, что трагическая судьба самого Лермонтова каким-то образом проецируется на судьбу Печорина, точно так же как сон в долине Дагестана зазвучит с особой пронзительностью, когда читатель вдруг поймет, что сон поэта сбывается.

### Комментарий

Набоковское эссе представляет собой триптих, где раздел 1 посвящен композиции книги Лермонтова (в сопоставлении со стихотворением 1841 года «Сон»); раздел 2 — принципам перевода вообще и, в частности, применительно к прозе Лермонтова; раздел 3 — разбору характеров в романе и соотносении судьбы героя с судьбой автора. Предисловие построено как силлогизм, в котором раздел 1 с его позитивной оценкой композиционного мастерства Лермонтова является тезой; раздел 2 с его критикой языка и стиля автора становится антитезой; раздел 3, где рассмотрение в комплексе сильных и слабых сторон романа завершается признанием высокого искусства Лермонтова-рассказчика, представляет собою синтез. Наконец, предисловие Набокова в известном смысле это тень Предисловия Лермонтова к «Герою нашего времени»: та же полемичность при отстаивании своего кредо, тот же иронический тон в адрес читателя. У Лермонтова: «Наша публика так еще молода и простодушна... Наша публика похожа на провинциала...»; у Набокова: «с точки зрения читателя... этого послушного дурачка...» Последние слова, хотя они и приписаны гипотетическому издателю, на самом деле отражают позицию автора, его «все возрастающую насмешливую надменность по отношению к читателю» (З. Шаховская. В поисках Набокова, стр. 26—27).

Надо сказать, параллелизм этот выходит за рамки набоковского предисловия. В других его эссе мы также находим переключки с высказываниями Лермонтова, в ко-



торых тот обосновывал автономность художественного творчества от действительности и неутилитарный его характер, что совпадало со взглядами Набокова. Как Лермонтов смеется над теми, кто «тонко замечал», будто «сочинитель нарисовал... портреты своих знакомых», так Набоков в биографии «Николай Гоголь» посмеивается над «молодыми людьми» гоголевской эпохи, «отыскивавшими Хлестаковых и Сквозник-Дмухановских среди своих знакомых», а в заметках о «Лолите» выпучивает близкого друга, который искренно недоумевал, как может автор этого романа жить бок о бок «с такими гадкими людьми». То, о чем Лермонтов говорил с полупритворным ужасом (о перспективе сделаться исправителем людских пороков), для Набокова просто несоместимо с понятием писательства. Если слова Лермонтова о том, что автору «Героя нашего времени» было «весело рисовать современного человека», можно еще интерпретировать как игру с читателем, как этакую шутку с известной долей правды, то утверждение Набокова, что, дескать, литература существует для него лишь постольку, поскольку «она приносит» ему «эстетическое наслаждение», — это уже программная декларация (P. Stegner. *The Portable Nabokov*. New York, Viking press, 1968, p. 235).

<sup>1</sup> Перевод лермонтовского стихотворения «Сон» был опубликован в сборнике «Three Russian Poets» («Три русских поэта», 1944), где была представлена лирика Пушкина, Лермонтова и Тютчева в английских переводах Набокова. Сравним аналогичные рассуждения о стихотворении «Сон» у Вл. Соловьева в его статье о Лермонтове (Собрание сочинений в 9-ти томах. Спб., 1903, т. 8). Тема сна и связанного с ним «сдвига» реальности чрезвычайно занимала Набокова и с разными вариациями разрабатывалась им в своем творчестве.

<sup>2</sup> В данном случае интерес Набокова объясняется его собственным пристрастием к подобным построениям. Так, в романе «Дар» глава о Чернышевском начинается заключительной сестиний сонета, а заканчивается начальной октавой.

<sup>3</sup> Об этой особенности композиции почти в тех же выражениях сказано у Б. Эйхенбаума в статье «Герой нашего времени» («Статья о Лермонтове». М.—Л, 1961).

<sup>4</sup> Вопрос о внутренней хронологии достаточно сложен. Лермонтов нигде не называет точной даты, только месяц (с числом или без) либо еще более расплывчато: «раз, осенью», «недавно я узнал...». Версия Набокова — одна из попыток реконструкции.

<sup>5</sup> Вывод Эйхенбаума на первый взгляд несколько отличен: «Фаталист» следует за «Белой». Однако противоречия здесь нет. Осенью Печорин приезжает в крепость под начало Максима Максимыча (об этом мы узнаем на первых страницах «Белы»), в декабре он отлучается на две недели в казачью станицу (рассказ «Фаталист»), и по его возвращении происходят главные события, составляющие сюжетную основу «Белы». Таким образом, внутренняя хронология романа имеет, строго говоря, следующий вид: «Тамань», «Княжна Мери», «Бела» (начало), «Фаталист», «Бела» (продолжение), «Максим Максимыч» и «Журнал Печорина».

<sup>6</sup> Здесь чувствуются сомнения, и небезосновательные, в правомерности сделанных выкладок. Сравним: у Эйхенбаума: «такая расстановка повестей должна считаться предположительной: в тексте романа нет прямых указаний на связь этих отдельных моментов между собой именно в такой последовательности» (М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений. М. 1948, т. IV, стр. 463).

<sup>7</sup> Лермонтов мотивирует это, задним числом приводя слова доктора Вернера на месте дуэли: «Я не умею зарядить пистолета»; впрочем, через несколько страниц читаем: «доктор зарядил пистолет».

<sup>8</sup> В своем комментарии к «Евгению Онегину» в главе «О романтизме» Набоков дает одиннадцать разновидностей этого литературного направления. В данной классификации «Герой нашего времени» более всего соответствует восьмой градации, где понятие «романтический» определяется как стиль, который характеризуют яркие детали, будь то пейзаж, предметы быта, национальные особенности, индивидуальные поступки или эмоциональные проявления характера. В качестве примера приводятся Шатобриан и Гюго, чьи произведения резко контрастируют со «сплошным туманом сентиментализма» (P. Stegner. *The Portable Nabokov*, p. 284).

<sup>9</sup> Советские исследователи придерживаются иной точки зрения, согласно которой Лермонтов в «Герое нашего времени» так же решительно раздвинул границы русской прозы, как это сделал Пушкин в поэзии своим «Евгением Онегиным».

<sup>10</sup> Если уж быть абсолютно точным, то девять. На вечеру у княгини после короткой пикировки между Печориным и Мери по поводу его гастрономических воззрений на музыку он подслушивает «сентиментальный разговор» княжны с Грушницким.

<sup>11</sup> Скрытый смысл этой фразы становится понятным в контексте отношения Набокова к названному писателю. Оно всегда было (если не считать одного вполне лояльного юношеского стихотворения) резко негативным. В «Ответе моим критикам» Набоков называет Достоевского «посредственностью», чьи книги полны «мелодраматической чепухи и дешевой мистики» (P. Stegner. *The Portable Nabokov*, p. 324). Тем курьезнее на первый взгляд звучат слова Жана Поля Сартра, назвавшего Набокова эпигоном Достоевского, однако если согласиться с З. Шаховской, которая в уже цитированном исследовании привела несколько убедительных параллелей между этими двумя авторами, то антидостоевские выпады Набокова можно интерпретировать как желание

спрятаться за очередной «маской» с целью затемнить вопрос о литературных влияниях на его творчество.

<sup>12</sup> Точность, о которой здесь и выше говорит Набоков, не имеет ничего общего с так называемым буквализмом, разрушающим идиоматичность языка. В статье по поводу своего перевода «Евгения Онегина» Набоков приводит строки Лермонтова «Соседка есть у них одна... Как вспомнишь, как давно расстались!..» из его «Завещания» в двух английских переводах; в обоих случаях интонационное «как вспомнишь» передано переводчиками как обращение к близкому другу (P. Stegner. *The Portable Nabokov*, p. 303).

<sup>13</sup> О добросовестном воспроизведении солецизмов (неправильное с точки зрения нормативной грамматики построение фразы) Набоков не без гордости говорит также применительно к своему прозаическому, предельно точному переводу «Евгения Онегина».

<sup>14</sup> Не случайно в своем письме к Эдмунду Уилсону (14 августа 1956 года) после посещения Великого Каньона Набоков пишет: «Розоватые, терракотовые и лиловые горы создавали чудный фон к Кавказским горам Лермонтова в „Герое нашего времени“» (*The Nabokov — Wilson letters: 1940—1971*. Ed. by S. Karlinsky. New York, Harper & Row, 1979, p. 300).

<sup>15</sup> Сравним с письмом к тому же Уилсону (23 февраля 1958 года): «Что до цвета, который все время меняется, как у хамелеона, то тут у автора явно перебор, а впрочем, в те годы, думается мне, люди куда чаще менялись в лице, чем сегодня» (*The Nabokov — Wilson letters: 1940—1971*, p. 322).

<sup>16</sup> Год написания «Адолфа» на самом деле 1807-й. Набоков указывает дату первого лондонского издания.

<sup>17</sup> Предубежденность Набокова против так называемой ангажированной литературы имела устойчивый характер. Это нашло свое отражение в книге «Николай Гоголь». В предисловии к собственному роману «Под знаком незаконнорожденного» Набоков высказывается совсем определенно: «Меня никогда не интересовала литература, которую принято называть социально направленной» (*V. Nabokov. Bend Sinister*. New York, McGraw-Hill, 1947, p. VI).

<sup>18</sup> Продолжение мысли об асоциальности литературы. В несколько парадоксальной форме вопрос о связи художественного текста со своим временем сформулирован Набоковым в упомянутом предисловии к роману «Под знаком незаконнорожденного»: «...влияние эпохи на мою книгу столь же ничтожно, как влияние моих книг, по крайней мере этой, на эпоху» (*V. Nabokov. Bend Sinister*, pp. VI—VII).

<sup>19</sup> Портрет Печорина, каким его рисует Набоков, есть скрытый парафраз описания героя, которое мы находим в рукописи Лермонтова и которое не вошло в беловой текст: «Если верить тому, что каждый человек имеет сходство с каким-нибудь животным, то конечно Печорина можно было бы сравнить только с тигром; сильный и гибкий, ласковый или мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушению минуты, всегда готовый на долгую борьбу, иногда обращенный в бегство, но не способный покориться, не скучающий один в пустыне с самим собою, а в обществе себе подобных требующий беспрекословной покорности...» (*М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах*. М.—Л. 1957, т. VI, стр. 568).

<sup>20</sup> Сравним: у З. Шаховской: «Главные персонажи у Набокова всегда мужчины. Женщины... не имеют собственной ярко обозначенной личности...» (*З. Шаховская. В поисках Набокова*, стр. 74).

<sup>21</sup> Здесь Набоков лукавит. В его английском романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941) есть персонаж, хозяин отеля, которому автор «подарил» те самые черные бархатные глаза.

Перевод и комментарий СЕРГЕЯ ТАСКА,



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЕКАТЕРИНА МЕЩЕРСКАЯ



## ТРУДОВОЕ КРЕЩЕНИЕ

**М**ой отец А. В. Мещерский первым браком был женат на Елизавете Сергеевне Строгановой и имел от нее единственную дочь Наталью (Лили). Она вышла замуж за герцога Фабрицио Руффо, уехала в Италию, зажила там в своем дворце и родила трех дочерей: Эльзу, Марусю и Ольгу. Их дед (мой отец) остался жить вдовцом в России.

Родившись в годы царствования Александра I, отец проходил военную службу в лейб-гвардии гусарском полку при Николае I, а затем не снимал военного мундира при Александре II, Александре III, участвуя во всех войнах, которые вела Россия со своими врагами. Имея бесконечное количество орденов (в том числе и самый высший — орден Андрея Первозванного), как царский сановник он имел чин шталмейстера двора и входил в кабинет государя без всякого доклада (таким было право шталмейстера).

Встретив мою мать, которая была одного возраста с его старшей внучкой и была на сорок восемь лет его моложе, он понял, что жениться на ней он может только тайно, чтобы затем уже поставить всех перед совершившимся фактом. По своему положению и чину жениться без согласия государя он не имел права, а тот, конечно, этого брака не допустил бы. На свадьбе был самый узкий круг друзей и близких. Венчались ночью, при закрытых дверях, в Замоскворечье, в военном храме при Александровских казармах — для того чтобы тут же оставить Москву и навсегда переселиться на Украину в наш полтавский дворец, но... Не только высший свет, но все слуги, у которых на глазах родилась, выросла и вышла замуж Лили, тотчас дали ей в Италию обо всем знать.

Герцогиня (как и большинство людей) сочла маму авантюристкой. Ведь она так спокойно жила в Италии, уверенная в том, что ее три дочери имеют в холодной, заснеженной России три имения, два дворца, картинную галерею, конный завод, молочную ферму, — и теперь их приданое пропало? Кому достанется? И, узнав о польской крови Подборских, бешенству ее не было границ: «Там, где поляк, там и еврей», — и в своем слепом «русизме» она зовет к Николаю II: «Ваше величество! Помогите! Спасите от ограбления и бесчестия! Возьмите под опеку моего потерявшего рассудок отца. Девчонка — польская еврейка из кафепантана женила его на себе».

Государь рассвирепел. Ничего не проверив, он лишает моего отца звания и всех чинов. Отцу это было совершенно безразлично. Он был счастлив. И долго ли ему еще оставалось жить?.. Мама упраскивает его начать писать свои мемуары, и он увлекается этим. Никакая опала не может омрачить тенью их светлые, радостные дни. Однако мамин отец, П. С. Подборский, оскорблен до глубины души. Он надевает свой мундир генерала в отставке и едет в Петербург, добивается приема у государя. С ним все документы и нужные бумаги. Подборские (поляки из Литвы) имеют графский титул, и в их гербе лента короля Гедимина. Его дочь Катя окончила филармонию в Москве, у одного профессора (Бежевича) с Леонидом Витальевичем Собиновым, на выпускном экзамене пела с ним сцену рассвета на балконе из оперы «Ромео и Джульетта», затем дебютировала в Милане на сцене «Ла Скала». Николай II, поняв, что введен в заблуждение, передает Подборскому личное письмо А. В. Мещерскому, зовет его в Петербург для представления ко двору его молодой жены, пишет, что сам накажет герцогиню, оклеветавшую своего отца, и адресует своею собственной его величества рукой на конверте: «Шталмейстеру двора его сиятельству князю...» — и т. д. Опала снята и почести возвращены. Но не таков был наш отец. «Кто вас просил ездить к государю?! — негодует он на деда. — Я, кажется, вас об этом не про-

сил». «Я ездил в Петербург не для того, чтобы возвращать вам царские милости,— отвечает дед,— я ездил, чтобы снять ту грязь, которую надела на себя вместе с вашей княжеской короной моя дочь». И оба старика, еще недавно такие неразлучные друзья, делаются до самой своей смерти врагами. То дерзкое письмо, которым ответил наш отец государю, как и весь наш архив, было у нас изъято, но это письмо столько раз прочитывалось вслух, что, мне кажется, пересказывая его, я ничего не искажу: «Ваше императорское величество! Вы четвертый государь моего отчества, которому я служу, позвольте же мне уйти на полный покой и доживать мои последние годы в Полтаве в моем имени. Моя жена слишком правдивое и чистое создание, она не создана для сложной и полной тайных интриг жизни двора. Что же касается моей дочери, то не вы, государь, а сам Господь на том свете будет ее судьбою. Я же, ее отец, проклинаю ее и прошу не подпускать ее к моему гробу, когда я умру, и не решаю ей присутствовать на моем отпевании».

Одним словом, мой отец сделал все, чтобы людей разных слоев общества восстановить против себя. В книге воспоминаний на странице 93 он пишет, что князь Долгорукий, писавший «весьма почтенный труд о русских дворянских родах», совершенно не упомянул рода Мещерских (который по Гербовнику значится с 1198 года). Это была месть Долгорукого за то, что сестра отца (наша тетя Елена) не приняла его предложения и не вышла за него замуж. Не знаю, кто после смерти отца заканчивал его воспоминания (то есть округлял их отрывки) и почему там напечатано, что отец умер в 1902 году. Думаю, что всей этой камарильей заправляла все та же Лили, за спиной которой стояла вся аристократия. Она все время утверждала, что мой брат и я — дети Паоло Трубецкого, сделавшего в бронзе скульптуры отца и нашей матери на лошади. Он был без памяти влюблен в маму и, едва кончился год траура, приехал просить ее руки, на что она тут же звонком вызвала лакея и просила подать лошадей, чтобы отвезти князя обратно на станцию. Так же точно она обошлась с пожилым поэтом графом Голенищевым-Кутузовым, на чьи стихи писали музыку такие композиторы, как Танеев и Мусоргский. «Я не могу принимать вас под крышей моего дома,— говорила она,— если вы, бывая у меня, могли допустить мысль, что я могу стать чьей-нибудь женой».

И эта участь постигала каждого.

Смертельная болезнь подкосила отца после того, как он, объезжая не знавшую еще узды лошадь, провалился с ней вместе под лед, который не успел на реке окрепнуть. Очаговое (или, как тогда его называли, ползучее) воспаление легких открывало все новые и новые очаги в его когда-то дважды простреленных легких. В те месяцы мама была беременна мною. Она не отходила от отца, и голова умирающего все время лежала на ее коленях. Как только сердце отца слабело и ему делали инъекции, он стонал, а я начинала биться в животе своей матери. «Что вы делаете? — негодовали врачи.— Подумайте о ребенке!!!» «Он мне не нужен»,— отвечала мать. Когда отец скончался, мама впала в беспамятство, и ее унесли. Очнувшись, она потребовала, чтобы ее проводили в зал, где в гробу лежал отец. Ее ввели под руки. Увидев мертвого, она упала. У нее отнялись ноги. Врачи бросились прослушивать, билась ли в ней новая жизнь. Но биения моего сердца не было слышно. На свет я появилась с незаращенным баталловым протоком<sup>1</sup>. Но сначала консилиум врачей поставил маме ультиматум: «Ребенок мертв. Надо делать кесарево сечение и вынимать его частями. Иначе матери грозит заражение крови». «Это прекрасно,— ответила мама,— я жажду смерти» — и, дав врачам расписку в том, что от кесарева сечения она отказывается, и расплатившись с докторами, мама уехала в полтавский дворец. Всем известно, что ребенок в утробе матери плавает в особом пузыре; а так называемые воды прошли у мамы в день паралича, так что ребенок должен был задохнуться. Мой отец умер 22 декабря 1903 года, а я родилась в начале апреля 1904-го. Оказывается, я была защищена двумя пузырями, и первый, лопнувший, был надет на мне. Иначе говоря, я родилась в рубашке. Паралич у матери был нервный (однажды он вернулся в революцию, когда мы сидели в женской Новинской тюрьме).

Вся моя жизнь прошла в том, что я только и делала что удивлялась странностям нашей советской печати. В 1955 году издана огромная толстая книга в 349 страниц — «Архитектура подмосковных усадеб» Н. Я. Тихомирова. Снимки, план и фото нашего петровского дворца. Вся его история — сплошная выдумка. По этому труду, дворец соз-

<sup>1</sup> Врожденный порок сердца.

дал Баженов и на куполе дворца стояла (из чугуна) статуя Екатерины. Кончается словами: «Но дворец кажется слишком большим и ненужным князьям Мещерским, последним его владельцам, невероятно запускается ими и доводится чуть ли не до разрушения».

На самом же деле в 30-х годах (когда взрывали храм Христа Спасителя) под наш дворец пять раз закладывали динамит, чтобы, добыв кирпич, свозить его в деревню Бурцево, где было намечено строить парники для огурцов и помидоров. Но... «фокус не удался», потому что кладка кирпича была на желтках, как соборы в Кремле.

В книге «Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры», изданной в 1955 году четырьмя мудрецами: академиком С. Веселовским, кандидатом архитектуры В. Снегиревым и профессором Н. Коробковым,— на странице 273 снимки нашего дворца, построенного... Казаковым, который на купол дворца поставил... Аполлона (?). Повесть о нашем дворце оканчивается печально: «Упадок усадьбы начался еще в 50-е годы XIX века», потому что князья Мещерские «не сумели должным образом оценить художественное значение своего владения»...

На куполе никто никогда не стоял! Возмущенная этими вымыслами, я пишу в «Крокодил», предлагаю напечатать карикатуру: на куполе дворца дерется (за свое место) греческий бог с царицей (в кринолине), замахнувшейся на него скипетром. Предлагаю назвать карикатуру «Кто кого?» и пишу в журнал, что укажу на два противоречащих друг другу труда. Получаю из «Крокодила» поздравление к Новому году и благодарность за внимание к этому журналу. (Все документы имею налицо.)

Всю свою жизнь я читала невероятные истории, напечатанные в наших газетах о моей матери и обо мне.

Вот как на самом деле повернулась наша жизнь. 1917 год. Падение самодержавия. Предчувствуя отделение Украины, моя мать через нашего знакомого князя Львова<sup>2</sup> обращается к Временному правительству с просьбой дать возможность вывезти в Москву бесценное полотно Боттичелли и хотя бы несколько самых ценных картин. Ни о каких большевиках аристократия еще понятия не имела. Керенский дает целый товарный вагон, и наш управляющий в особых раздвижных рамах привозит в Москву «Мадонну» и еще 16 самых ценных картин (см. мою статью в «Литературной России» от 4 июня 1965 года). По имеющимся у меня фото нашей квартиры № 5 на Поварской, все ее стены были украшены фарфором, саксом и картинами. Наши многолетние друзья Прянишниковы согласились развесить все привезенные шедевры в особняке, в своей гостиной (Старокошопенный переулок, дом 36). Все привезенные 16 картин были увезены ЧК и до сего дня пропали неизвестно куда. В начале июня 1918 года, когда еще не сравнялось и года советской власти, моя мать передала Боттичелли Ф. Э. Дзержинскому, а с 1960 года репортеры, зарабатывая на моей жизни и на моем паспорте свои авторские гонорары, выдумывали что только приходило им в голову и писали:

газета «Труд», 9 декабря 1960 года: «Давно миновали годы военного коммунизма. Мещерскую мучили угрызания совести. Она с дочерью ходила на советскую службу, а Боттичелли-то все еще был спрятан в тайнике»;

«Известия» — «Декрет о Мадонне», 18 февраля 1963 года: только одна ошибка — моя мать никогда не была сиротой и «воспитанницей» князя А. В. Мещерского. У нее были отец, мать, две сестры и три брата, то есть семья, в которой она жила;

«Вечерняя Москва», 7 апреля 1965 года: «Мещерской предложили передать музеям ценные картины», находящиеся в подвалах и на чердаках нашего дома. Когда княгиню спросили, где Боттичелли, она объяснила, что «несколько лет назад картина где-то затерялась». Жаргон статьи был площадной, например: «на смерть перепуганная княгиня...»;

газета «Ленинское знамя», 8 апреля 1965 года: снова «чердаки и подвалы», откуда мы выволакивали спрятанные шедевры;

газета «Крымская правда», 11 апреля 1965 года («Флорентийская Мадонна») — теперь выдумана новая версия, вклеенная в прежние события: уже не Ленин, а Дзержинский указал Ленину, что такая картина существует, и, добыв ее, Дзержинский звонит Ленину по телефону и говорит: «Владимир Ильич, «Мадонна» доставлена в целостности. Она передо мной, на моем письменном столе (?). Если хотите, могу прислать ее вам». А Ленин отвечает: «Спасибо, Феликс Эдмундович, специально присы-

<sup>2</sup> Он был родственник князя Львова, члена Временного правительства.

ать не следует. Но при случае я непременно взгляну на нее...» — и т. д. Вранье и вранье...;

газета «Вечерний Киев» на украинском языке — «Флорентийска Мадонна», 8 квітня 1966 року. То же вранье в изложении Штепселя и Тарапунки.

К 50-летию органов ВЧК — КГБ по этому случаю был состряпан следующий рассказ («Рассказ о том, как была спасена картина Боттичелли»). Имя моей матери совершенно не упоминается, и всюду фигурирую я, тринадцатилетняя девочка: «Княжне Мещерской предложили передать музеям находящиеся в подвалах и на чердаках ее дома картины и другие произведения искусства. Она отдала знаменитые работы Тициана и Мурильо, Ван Дейка и Брюллова и т. д.» («Московский художник», 1968 год).

Потом в «Советской культуре» 29 июня 1973 года Е. Кончин писал «биографию» экспоната: «А картину спрятали в московской княжеской квартире» (?).

Какую же точность вы хотите от наших энциклопедий? Никогда мой отец не мог бы назвать себя «другом Лермонтова». Он относился к нему как к гению — коленопреклоненно; это было бы дешевым амигошонством. Да Михаил Юрьевич по своей замкнутости и недоверию к людям близких друзей и не имел (по письмам наших родственников — семьи Карамзиных).

В своей жизни я 13 раз сидела в тюрьме и у нас было 23 обыска. Можно было вообще все пере забыть, а по моим годам и просто впасть в старческий маразм. Так что почему нет точной даты смерти отца, я сама не знаю и, по правде сказать, этим до сих пор не интересовалась.

Дочь моего отца меня признал А. А. Игнатьев, написав на своем фото, мне подаренном: «Моей молодой тетушке» — и т. д. Княжна Вета (Елизавета Мещерская) — моя племянница, которая в возрасте девяноста шести лет живет в США, в штате Иллинойс, — в своем письме пишет мне: «Ты у нас осталась старшая в роду» (то есть в России).

Между прочим, когда Леша (А. А. Игнатьев) умер, право на его похороны оспаривали писатели и Советская Армия. Помирились на том, что гроб с его телом стоял на улице Воровского в Доме писателей, где проходила гражданская панихида, а на Новодевичьем кладбище был у разрытой могилы сооружен помост, покрытый ковром, и на нем поочередно выступали большие чины Советской Армии. Вокруг была выстроена военная часть, за ней оркестр. А через десять лет все об Игнатьеве забыли, и литераторы и военные. С огромным трудом я хлопотала о вечере его памяти. Мне давали только Малый зал на сто человек. Тогда я сама отпечтала 60 конвертов (на билеты) тем его знакомым, которых знала. «А где же поместятся военные и международники?» — спросила я, и тогда мне дали Большой зал. Я просила (ныне уже покойного) В. Г. Лидина быть председателем. Просила И. С. Козловского петь. Словом, весь вечер был устроен мной, и среди воспоминаний об Игнатьеве чтец Яков Смоленский должен был прочесть мои воспоминания «Мой племянник А. А. Игнатьев». Вечер прошел блестяще, но из газеты «Вечерняя Москва» мы узнали, что весь вечер устроила Волкова, то есть ЦГАЛИ. Причем газета перечисляла все номера, мои же воспоминания, так же как и их чтец Яков Смоленский, совсем не упоминались. Когда присутствовавшие на вечере с возмущением написали письмо в «Вечернюю Москву» и спросили, что это значит, пришел казенный ответ: «Простите, это ошибка, и сотрудник газеты, виновный в этой ошибке, больше у нас не работает»...

Все, что я здесь пишу, пишу с полной ответственностью и ни от одного слова не отступлю.

К сожалению, я не могу, подобно многим другим, припомнить точно тот миг своего детства, когда вдруг впервые осознаешь себя существующей. Обрывки моих воспоминаний как-то не связаны между собой, но я знаю, что самое раннее детство я провела во дворце в нашем имении Веселом Полтавской губернии Хорольского уезда. Это было любимое имение нашей матери, потому что там прожила она первые годы своего счастливого замужества.

От просторных помещений дворца, в котором было сорок пять комнат, я сохранила в памяти блестящую гладь узорно выложенного натертого паркета, потоки яркого света, льющиеся из многочисленных окон, и где-то вдали, за распахнутыми настежь рамами, раскинувшуюся синь озера. В его неспокойных, сверкающих на солнце волнах то взлетают, то пропадают, точно ныряя, острые белокрылые паруса яликов.

Из первых ощущений ясно помню приятное прикосновение мягкого бархата к моему подбородку и к моим локтям. То был красный бархат длинных скамеек, тянувшихся вдоль стен бального зала. Мне хочется пересчитать их все моим подбородком, но я слышу строгий окрик. Кто-то тянет меня за руку, отвлекая от такого занятия. Поскольку я могла класть локти и подбородок на сиденье скамьи, едва его доставая, думаю, что в ту пору я была еще очень мала.

Потом та же рука то волокла меня, пряча от няни Пашеньки или от нашей гувернантки, в шкафную за ряды душистых платьев, то ставила меня за высокие столбы скатанных в рулоны ковров, хранившихся в буфетной, то под переходы круглых дворцовых лестниц, а иногда даже запикивала меня в одну из большущих собачьих конур, где было жарко, пахло разогретейшей звериной шерстью, а большой, голубоглазый, пушистый волкодав гостеприимно лизал меня прямо в нос своим влажным розовым языком; уцепившись за его белую с рыжими пятнами шерсть, притайвшись, я замирала за его широкой спиной.

Эта властная рука повелителя моей детской судьбы принадлежала моему старшему и единственному брату Вячеславу. Требуя от меня безоговорочного подчинения, он учил меня всевозможным проказам, учил обманывать взрослых и затем молчать «на смерть» при их допросах.

Огромный парк, оранжереи с редкими видами растений, цветов и плодов, зимний сад под крышей дворца да и сам дворец предоставляли нам, неутомимым проказникам, широкое поле деятельности. Но все наше детское любопытство было сосредоточено на башне дворца. Из-за ее высоты нам, детям, было запрещено входить в нее и подниматься без сопровождения взрослых. Ах эта башня! Она влекла нас, как неизведанная тайна, она казалась нам украшением всего дворца. Высокая, в четыре этажа с небольшим пятым, где была оборудована маленькая обсерватория, помимо длинной передвижной подзорной трубы она была уставлена какими-то непонятными для нас, детей, приборами и стеклами.

В готическом стиле, с четырьмя башенками, украшавшими ее по бокам, башня устремляла вверх свою остроконечную крышу. Ее увенчивал шпиль с железным, вращающимся по ветру флажком. Башня стояла, словно гордый страж с гербом Мещерских на груди.

Но разве можно было запретить что-либо Вячеславу?! Кроме кованой двери из передней дворца, которая бывала обычно на запоре, в башню существовал еще и потайной ход. Небольшой подземный переход прямо из оранжереи выводил к маленькой, незаметной дверце в густых зарослях вьющегося хмеля. С помощью сына нашего кузнеца подростка Осипа Вячеслав уже давно подобрал к этой дверце второй ключ, дав Осипу в уплату свой большой перочинный нож. Никто этого не заметил, потому что никому и в голову не приходило пользоваться потайным ходом, неизвестно зачем прорытым князьями Кочубеями, прежними владельцами дворца. Заветный ключ Вячеслав из осторожности никогда с собой не носил и прятал его в одной из ваз, украшавших террасы. Очень, очень редко, только в отсутствие старших, а главное в отсутствие своего гувернера-француза Дюдана, проникал он в башню, и, конечно, еще реже он брал с собой меня. В башне был зал для фехтования — с рапирами и эспадронами, с решетчатыми масками и толстыми кожаными нагрудниками. Была там и гимнастическая комната с трапециями, лесенками, деревянной кобылой для прыжков и вращающимся чучелом для бокса. На другом этаже была бильярдная. Комната с камином, круглая рыцарская комната, украшенная фигурами рыцарей в доспехах, развешанное по стенам оружие, старинные седла, чучела каких-то животных и птиц и многое другое, чего не удержала моя детская память.

Брат всегда сожалел, что после него родился не мальчик, а я. Но раз так случилось, он считал своею обязанностью заниматься моим воспитанием. Иногда оно было очень жестоким. Но он любил меня по-своему, и я старалась быть такой, какой он хотел меня видеть. Он навеки искоренил во мне трусость и беспомощность, столь свойственные девочкам. Вот как преподавал он мне свой первый урок.

Тот памятный июльский день был душен. С самого раннего утра все взрослые, включая наших немку и французенку, выехали в экипажах и верхом к нашим соседям по имени графам Милорадовичам. Меня из-за малого возраста не взяли, а Вячеслав оставили дома в наказание за какие-то очередные проказы. Я была отдана на попечение няни Пашеньки, а Вячеслав остался под наблюдением своего гувернера. Он

должен был перевести с русского языка на французский целую главу из «Робинзона Крузо».

Солнце в тот день палило нещадно, дышать было невозможно — парило. Все предвещало грозу. Шелковые гардины были опущены, отчего в комнатах воздух казался золотистым. Дворец опустел, и в парке было безлюдно. От нестерпимой жары и непривычной тишины становилось скучно. На озере вместо обычных волн мерцала какая-то рябь, делавшая его поверхность похожей на старое мутное зеркало. Ялики стояли у причала со спущенными парусами.

До завтрака я играла в тени перед террасой в куклы, а няня Пашенька, располжившаяся около меня с рукоделием, утомленная жарой, впадала в дрему. Вячеслава не было: он послушно сидел над переводом в классной комнате под наблюдением француза. Потом на террасу подали завтрак: яйца всмятку, творог со сметаной и варенец из сливок прямо со льда.

После завтрака всегда бывал час полуденного отдыха. Няня Пашенька уложила меня в детской, а сама пошла спать в свою комнату. Я проснулась оттого, что меня тихо дергал за плечо брат. Он сделал мне знак молчать, помог одеться и застегнул пуговицы моего платья на спине. «Где же Дюдан?» — спросила я шепотом.

Брат не ответил на мой вопрос и, как всегда, потянул меня за руку.

— Они забыли впопыхах запереть дверь в башню, — скорее прошепел, нежели прошептал он. — Гроза собирается. Мы проникнем в обсерваторию и будем смотреть на разряды молний в подзорную трубу. — От страха и оттого, что мы бежали по коридорам, то и дело прячась от слуг за углом или за дверью, дыхание у меня прерывалось. — Не дыши, как паровоз, — снова прошепел Вячеслав.

А я действительно сопела, готовая расплакаться. Мне было очень страшно. Я боялась увидеть грозу. Я никогда еще не видела ее, так как все предыдущие грозы моей детской жизни няня Пашенька тщательно от меня скрывала. Так уж было почему-то заведено. Она вводила меня в нашу уютную детскую, закрывала тяжелые дубовые ставни, и от теплящейся перед китом лампы детская погружалась в приятный полумрак. Няня торопливо зажигала перед образами пасхальную, от святой заутрени, свечу и истово шептала молитву. Потом она садилась в кресло и прятала мою голову у себя на коленях, при ударах грома закрывая своей теплой ладонью мое ухо. Было уютно и совсем не страшно, хотя я и знала, что за окном бушует ветер и льются потоки дождя. Платье няни пахло корицей, кардамоном, мускатным орехом, и я знала, что вот сейчас она вытащит из своего кармана домашний пряник и даст мне. Даст потихоньку от гувернантки и взрослых, так как это ей запрещалось. От такой маленькой тайны мне становилось радостно, а от уютного света лампы, отражавшегося в стекле кювета, охватывала приятная дрема...

А сейчас? Что за ужас ожидал меня? Но Вячеслав тащил меня неумолимо, тащил вперед и вперед...

Как оказалось впоследствии, гувернер-француз вместо полуденного отдыха в тот день сказал, что идет купаться. Это была его обычная уловка, он пользовался любым предлогом, чтобы уйти к флигелям, где помещались слуги. Там стоял отдельный домик, так называемая девичья, и француз, плененный красотой украинских девушек и их пением, простаивал часами под их окнами. Не один раз он бывал с головы до ног облит из этих окон холодной водой. И теперь он снова ускользнул туда же...

Пока мы с братом добирались до заветной двери, в комнатах потемнело так, словно наступил вечер. Небо затянулось тучами, неизвестно откуда налетел порывистый ветер. Когда мы поднимались по лестнице, я решила спросить брата:

— А если они вернуться? Тогда что?

— Убежим через потайной ход, — ответил Вячеслав, — ключ со мной, скажем, что были в саду.

— А если... — Я хотела спросить, кто же поверит, что в грозу, под дождем мы очутились в парке, но брат насмешливо оборвал меня:

— Если, если... Ты что, трусишь?

Карабкаясь вслед за ним по ступенькам, я стала утешать себя, что гроза, может быть, нас и не убьет и что Вячеслав, как обычно, поднимет меня на руки и посадит на зеленое сукно бильярдного поля. Я буду катать бильярдные шары, стараясь загнать их в подвешенные по углам стола сетки, а Вячеслав будет примерять рыцарские доспехи или крутиться на трапеции в гимнастическом зале — так мы обычно про-



водили время, когда удавалось проникнуть в башню. Но не тут-то было! Поднимаясь все выше и выше по лестницам, я видела уже тревожный полет стрижей и ласточек, рассекавших воздух. Раскаты грома приближались. Зловещие молнии освещали розовато-сиреневыми бликами стены башни. Когда мы остановились на одной из площадок, я увидела в окно, как густые ветви деревьев мотаются из стороны в сторону, словно мохнатые руки великанов, взывая о помощи. Даже тополя, гордые и прямые, раскачивались, не то укоряя кого-то, не то угрожая...

Я обезумела от страха: в неверных вспышках молний мне показалось, будто шевелится и оживает фигура рыцаря. Очередной раскат грома оглушил меня. Дождь хлестал, подбрасываемый порывами ветра: со всех сторон точно выливались ушаты воды... Перед дверью, ведущей на пятый этаж, новый удар грома заставил меня присесть. Я вцепилась в руку брата и во все горло завизжала: «Не пойду дальше! Вернемся! Я боюсь!» Брат попробовал тащить меня силой; сопротивляясь, я укусила его за руку и, продолжая орать, затопала ногами.

В одно мгновение Вячеслав подбежал к окну и с силой распахнул его, потом, словно рысь, прыгнул ко мне, схватил под мышки и вместе со мной быстро вскарабкался на подоконник. Не в силах вырваться из его стальных рук, я продолжала орать. Он встал во весь рост на подоконник и сделал легкое движение, точно хотел выбросить меня в окно. Я повисла над бездной на его сильных руках.

Надо мной в небе рвались клочья черно-сизых туч. Дождь заливал мне лицо, хлестал в уши, в глаза, стальные тиски, сжимавшие меня под мышками, причиняли невероятную боль... Захлебнувшись от воды, я смолкла, в глазах у меня потемнело...

Я очнулась сидящей на полу перед все еще открытым окном. Склонившись ко мне, брат вытирал своим носовым платком мое лицо и мокрые волосы. Он улыбался и время от времени высасывал кровь на своей руке — след моего укуса.

— Ну что? Скисовала? Ну отвечай: будешь еще трусить и бояться грозы? — Он погребал меня по щекам.

Я не могла произнести ни слова. Мокрое, прилипшее к телу платье не давало мне пошевелиться. Кругом все дрожало и гремело по-прежнему, то и дело вспыхивали молнии, но мне было уже совершенно не страшно. Я наблюдала, как около меня на паркете увеличивалась лужа из струек, стекавших с меня.

Вячеслав, словно щенка, приподнял меня за шиворот с пола, но видя, что я плохо держусь на ногах, быстро посадил меня к себе на спину.

— Держись крепче за шею, — сказал он.

Я обняла обеими руками его шею и прижалась к его щеке. Он стал медленно спускаться по лестнице.

— Сейчас няня Пашенька тебя переоденет, разбудим ее. Хотя она наверняка уже бегает, всюду ищет нас. Скажешь ей, что мы с тобой вышли на террасу и что ты сама захотела постоять под дождем. Поняла? Она все равно нас не выдаст. А ты, если хочешь, чтобы я тебя любил и считал своей сестрой, будь смелой. Запомни: постыднее трусости порока нет. Жаль, что мы не дошли до обсерватории, но ничего... зато сегодня было твое первое испытание на храбрость.

И я никогда больше не боялась грозы.

Когда через несколько лет мы получили из-за рубежа первое письмо Вячеслава, у моей матери не дрогнула рука навеки отказаться от родного сына, и она написала ему несколько страшных, исчерпывающих слов: «Ты забыл о любви к родине — ты оставил родную землю, так забудь же и о том, что на ней ты оставил мать и сестру...» Компромиссы любого рода были чужды моей матери.

Революция... Меньше всего к ней была подготовлена аристократия. В большинстве своем она не интересовалась и не занималась политикой. Конечно, знали о том, что существуют революционеры, которые время от времени бросают в кого-то бомбы. Существовало мнение, что «готовится конституция, при которой власть царя будет ограничена парламентом», — и это было все. Именно потому для таких людей «революция грянула»... Они почувствовали себя застигнутыми неожиданной бурей; казалось, гроза разразилась над их головой в чистом поле, и теперь, под проливным дождем, оглушенные раскатами грома, они разбежались в разные стороны кто куда, ища убежища и спасения от смертельных, сжигающих молний.

— Никуда я не уеду,— решила наша мать,— не буду я, как бедная приживалка, сидеть там, у порога иностранных посольств, прося помощи и защиты от моей собственной родины...

Не было семьи, которую бы не расколола революция. Порывались многолетние, самые, казалось бы, верные и крепкие узы дружбы, рассыпалось кровное родство. Такая драма коснулась и нашей семьи: гордость матери, мой единственный старший брат, ее любимец, первенец, оставил родную землю.

Конечно, нам было нелегко; нелегко мне даже и сейчас писать о нашей жизни; когда человек пишет о том, что его волнует, он должен быть беспристрастен, должен быть предельно точен, чтобы не сгустить краски и не исказить истину. Нам было тяжелее остальных потому, что, кроме нашего богатства и дворянства, над нами несмываемо реяла княжеская корона Мещерских семисотлетней давности. И все недоверие, вся злоба, которую заслужил наш класс у народа, лежали черным пятном. Этого пятна не побоялась моя бесстрашная мать.

Ведь многие из аристократов замкнулись в себе, озлобились, отгородились от всего и от всех. Они продавали на черном рынке из-под полы свои драгоценности, не думая, на сколько этого хватит... И несколькими годами позже, продав последнее, неряшливые, грязные, опустившиеся, они стояли в Столешниковом переулке и на прекрасном французском просили милостыню. Это зрелище было постыдным и отвратительным.

Так обнажалось человеческое нутро.

Когда окружавшие нас так называемые свои с возмущением нападали на мою мать, упрекая ее в готовности принять все новое и в желании во что бы то ни стало шагать в ногу с «этими», моя мать отвечала:

— Я не умею еще понять новой жизни и новой власти, но этого хотел народ, это его воля. Вот то, во что я верю.

А народ тех дней был какой-то особенный, и его горячая душа окрашивала первые годы революции удивительной романтикой. Дни мчались, и сколько красочных картин, никем не запечатленных, промелькнуло и ушло в забвение!

Когда было объявлено о национализации банков, вскрытие сейфов представляло большую трудность для тех неопытных людей, в чье ведение эти богатства попали. По этому случаю было опубликовано обращение ко всем гражданам, имевшим свои сейфы в банках. Владельцев просили явиться, имея на руках ключ от сейфа. Говорилось также и о том, что какую-то часть из «носильной мелочи» (с цветными камнями) будут выдавать владельцам на руки. В те дни нужна была валюта, ценилось только золото, а драгоценные камни ничего не стоили.

Что за волнение поднялось! Возникла масса толков, кривотолков, и родилась масса самых страшных опасений.

— Ишь ты! Нашли дураков! Чтобы я сам, своими руками им свое добро отдал!— говорили одни.

— Знаем мы, чем это пахнет,— подмигивали другие.— Пойдешь, ключик принесешь да там и останешься!

— Это очередная большевистская удочка! Вот это что! — шептали третьи.

И большинство людей в банк не пошли и ключей от своих сейфов не отдали.

— Пусть ломают, проклятые! Пусть весь банк исковеркают! — злорадовались они.

Моя мать была из тех немногих, кто подчинился и пошел. Мне кажется, присущее ей чувство порядочности побудило ее поступить так. К сожалению, в тот день она не взяла меня с собой и я не могу рассказать точно, как все это происходило, поэтому не буду измышлять, а передам только то, что неоднократно рассказывала людям моя мать.

Уже на улице здание банка было оцеплено солдатами. Пропускали только при предъявлении документов и при наличии ключей от сейфа. По всем этажам стояла вооруженная охрана, и на каждом этаже банка работала своя оперативная группа.

Национализацию золота в отделении, где находился наш сейф, возглавлял человек, одетый в форму матроса, прибывший, как говорили, из Петрограда. Никаких специалистов или ювелиров при этой операции почему-то не присутствовало. Грудь матроса украшала надетая наискось пулеметная лента, сбоку — кобура, из которой торчала потемневшая рукоятка револьвера. Молодой, широкоплечий, большеглазый, от сознания, что на него возложено серьезное и ответственное дело, он старался хму-

рять свое открытое, доброе лицо. О ценностях он имел смутное понятие, знал главное: государству нужно золото. Между сейфами на широких столах стояли весы всех размеров. Из открытого матерью сейфа матрос прежде всего стал захватывать пригоршней и складывать на весы все изделия из золота: мужские и дамские часы, цепи к ним, портсигары, медальоны на цепочках, медали. Матрос был, очевидно, осведомлен о том, что шифры придворных фрейлин были бриллиантовыми, а потому на другие чашки весов попали шифры всех фрейлин, которые были в нашем роду. Потом на третьи весы были брошены все нательные кресты, все цепочки к ним и все обручальные кольца. Затем уже последовали именные золотые чашечки, чарки и бокалы. Помощник матроса, пожилой, худой, часто кашлявший человек в штатском, но при оружии, находился при этой операции, наверно, по случаю своей грамотности, был весь поглощен гириями, весами, время от времени он записывал в большую канцелярскую книгу баснословно растущие цифры, тщательно подкладывая под свои вычисления копирку. Золото как таковое совершенно не привлекало его внимания. Что касается матроса, то он с чувством глубокого удовлетворения посмотрел на внушительные горки, которые образовались из взвешенных им вещей. Затем сгреб в кучу все оставшиеся драгоценности, осыпанные камнями, и сдвинул на край стола перед онемевшей от изумления матерью.

— Давай забирай эту мелочь... — Он сделал нетерпеливый жест, чтобы она поскорее очистила стол, и протянул ей бумагу для подписи.

Как жаль, что я, в те годы глупый еще подросток, никогда не интересовалась этой бумагой и потому не сохранила ее! Много лет спустя я поняла всю ценность этого интереснейшего исторического документа... Помню только, что он содержал в себе цифру реквизированного у нас золота, а ниже стояла пометка, гласившая, что «мелочь с осыпью камней — носильные безделушки, — как не представляющие валютной ценности, отданы на руки гражданке Е. П. Мещерской».

Особое раздражение вызвало у матроса ожерелье «Отелло». То была тонкая золотая сетка, на которой рубины скреплялись между собой маленькими жемчужинами. Все ожерелье было создано для миниатюры редчайшей красоты, изображающей Отелло, величиной не более пятнадцатикопеечной монеты. Внизу ее украшала всякая удлиненная, слезой, жемчужина.

Внимательно рассмотрев Отелло, матрос со злобой изрек: «Вот до чего барыни были бесстыжие! Негра на шею вешали!!!» — и, искренне сплюнув, швырнул ожерелье в кучу остальной «носильной мелочи». В числе этой «мелочи» мы получили наш фамильный мещерский бриллиант (греческий, голубой воды) в двадцать каратов. В форме ромба в платиновой оправе, осыпанной бриллиантами, он висел на тончайшей платиновой цепочке.

С этим мещерским бриллиантом была связана следующая история. В Большом театре идет «Жизнь за даря», поет Ф. И. Шаляпин. В царской ложе присутствует сама здовствующая императрица (мать Николая II) Мария Федоровна. В ложе бенуара № 13 (всегда нами абонируемой) сидят мои родители. В тот вечер моя мать не надела никаких драгоценностей кроме одного этого бриллианта на шее. В первый же антракт в ложу к родителям вошла ближайшая из фрейлин Марии Федоровны. Очень мягко, вполголоса она просила мою мать о любезности: снять с шеи бриллиант. В тот вечер, одеваясь в театр, императрица не надела бриллианта подобной величины. Послушная этикету, мать отстегнула цепочку и опустила мещерскую фамильную реликвию в сумочку. Родители тут же были вынуждены встать, покинуть ложу и уехать домой. Другой придворный этикет диктовал: декольтированная дама не могла появиться на вечеру с обнаженной шеей без драгоценностей. Это считалось дурным тоном. Позднее этот бриллиант был у нас выкраден.

Подписав бумагу, протянутую матросом, моя мать все еще стояла в изумлении и смотрела на отданную ей груду драгоценностей. Она растерялась, к тому же ей некуда было их положить. Матрос, видимо, понял ее замешательство: он подвинул ей стоявший около нашего сейфа пустой цинковый сундучок, из которого только что были вынуты шифры фрейлин. Этот сундучок размером не более ручного чемоданчика имел три отделения и был очень вместителен.

— А ну сыпь сюда, — добродушно сказал матрос. — А бумагу вместе с документами предъявишь при выходе.

В те дни, получив этот сундучок, полный драгоценностей, мы даже не представляли себе его настоящей стоимости. Потеряв свои три имени, два дворца, пере-

дав «Мадонну» Боттичелли (полуторамиллионной ценности) Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому<sup>3</sup>, мы, казалось, освободились от всего, что имели. Тем более что эти материальные потери ничего не стоили против того одиночества, которое мы испытывали, лишившись всех родных как со стороны отца, так и со стороны матери. Вскоре мы были лишены и нашей квартиры на Поварской улице (сейчас улица Воровского) в доме моей крестной Александры Александровны Милорадович. Затем ввиду нашего княжества нам стала запрещена и прописка в Москве. Все наши родные, которые уцелели, а также и наши друзья, бежавшие за кордон, бежали не только для того, чтобы спасти свою жизнь. Большинство из них теперь двигались обратно, вступив в иностранные войска. Они шли на свою родину с оружием в руках. Отряды оккупантов распухали от подобных «добровольцев», и среди иностранного говора часто звучала изысканная петербургская речь...

Как же могли относиться большевики к бывшей княгине и бывшей княжне?.. И мы ходили, бездомные, ища ночлега у знакомых. Многие из них, помнившие и на себе испытывавшие доброту моей матери, пускали нас под свою крышу. Но постепенно таких мест становилось все меньше и меньше, а лица наших друзей делались день ото дня мрачнее. Никто не хотел рисковать, каждый боялся за себя.

— Соседи все замечают...— говорили одни.

— Нам ведь не места жаль,— рассуждали другие,— ночуйте хоть каждый день. Но всем известна русская пословица: скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты..

— Мы любим вас, верим вам,— чуть ли не со слезами в голосе заверяли третьи,— но ведь вы — князья!!! Вам бежать отсюда надо без оглядки, бежать, пока еще не поздно... И нас-то из-за вас арестуют, а ведь у нас дети...

И так, ища ночлега, идя от одной двери к другой, мы снова оставались на улице со своим сундучком. Мы продолжали наш путь по знакомым, родным улицам Москвы. Когда нам всюду было отказано, мы стали скитаться по вокзалам. Наши драгоценности никому не были нужны: голод и сыпняк свирепствовали на русской земле. За пшено и за картошку отдавали рояль. За подушки, за одеяла и за простыни можно было обменять у мешочников, курсировавших на поездах взад и вперед, каравай душистого украинского черного хлеба, но у нас ничего из этих вещей не было... Был только небольшой сундучок с никому не нужными «побрякушками»...

— Мама,— спрашивала я,— почему вы не хотите написать о нашем положении Феликсу Эдмундовичу? Ведь он же обещал помочь нам.

— Потому что у него есть дела поважнее, нежели устройство нашей с тобой жизни,— строго ответила мне мать.— К нему обращаешь только в самую страшную минуту, в крайнем случае. А с жизненными трудностями надо самим справляться.— И она объяснила мне новое наше положение примерно так: колесо истории повернулось, мы оказались под ним и будем неминуемо раздавлены, если не найдем своего места в новой жизни, а найти его мы можем только трудом.

Советская литература (и, в частности, автор «Кремлевских курантов») показала нам саботаж московской интеллигенции тех дней, которая не желала идти «работать на большевиков». А ведь работы было — непочатый край, и в особенности ощущался недостаток в людях с образованием. Но напрасно моя мать ходила на биржу труда, напрасно уверяла, что может принести пользу, так как знает французский, немецкий, итальянский, говорила, что имеет законченное образование певицы, что дебютировала в Милане, в «Ла Скала»...

— Князьям у нас работы нет,— отвечали ей,— и на учет биржи труда мы княгиню не поставим...

С продолжением моего образования было тоже покончено раз и навсегда. Я училась в Москве, в дворянском институте у Красных ворот. Это было здание дворца, которое Александр III отдал под дворянский институт и основал его в память Екатерины II. Сейчас это здание одели серым камнем. В первые годы после революции в нем помещался НКПС.

Нашей начальницей была Ольга Анатольевна Талызина, а попечителем Александр Дмитриевич Самарин — предводитель московского дворянства. Наш институт назывался также и патриотическим, потому что только мы одни носили форму цветов национального русского флага: белые кофточки, красные кушаки и васильковые юбки.

Падение самодержавия и отречение Николая II от престола прозвучало в стенах

<sup>3</sup> Подробнее см. «Огонек», 1987, № 43.

нашего института очень своеобразно. Всех институток собрали в большом, парадном зале, на стенах которого висели в тяжелых золотых рамах царские портреты. К нам вышла Ольга Анатольевна, вслед за ней все наши классные дамы, и, наконец, шествие завершил наш попечитель А. Д. Самарин, несший в руках какую-то бумагу. Вздволнованным старческим голосом, останавливаясь на каждой фразе и борясь с подступающими слезами, он прочел отречение Николая II от престола. И оттого, что строгая, чванливая Ольга Анатольевна плакала и наши грозные и придиристые классные дамы прижимали к глазам кружевные платочки, всем нам было очень интересно, весело и радостно.

Еще веселее стало нам, когда институт оказался покинутым всем обслуживающим персоналом и когда нас, институток, послали на кухню помогать варить обед. Мы с восторгом объедались сырой морковью и сырой капустой, которую нам велели резать. Мы были счастливы, что уроки идут кое-как, что все взрослые перепуганы и что все непоколебимое, установленное и неопровержимое летит кувырком... Потом в здание нашего института пришли толпы матросов Балтфлота и масса вооруженных людей...

Так с нашим образованием было покончено.

Более дальновидные родители, в особенности те дворяне, которые носили простые русские фамилии, скрыв дворянство, отдали своих дочерей в новые, только что открывшиеся советские школы. Очень небольшую часть девочек, в число которых попала и я, педагоги согласились обучать бесплатно, и тогда московский богач Базилевский отдал под нашу так называемую гимназию общества преподавателей свой чудный особняк в Гранатном переулке (сейчас Дом архитектора).

Но вскоре не стало ни Базилевского, ни учителей, а особняк был национализирован. Меня же, бывшую княжну, с моей фамилией ни в одну советскую школу не принимали. Такова была наша с матерью судьба осенью 1918 года, когда моя мать с присущим ей спокойствием, терпением и твердостью снова (уже в который раз!) отправилась на биржу труда.

— А можете ли вы зачислить меня на биржу труда как черноработчую?

Ей ответили, что это возможно, и в один из дождливых холодных вечеров моя мать пришла ко мне на Курский вокзал (где в ту ночь мы собирались ночевать), пришла оживленная, с блестящими от радости глазами, с румянцем на щеках.

— Я получила работу! — объявила она мне. — Буду кухаркой на Рублевском водопроводе. Завтра едем. Грузовик в Рублево отправляется каждый день в восемь часов утра с Театральной площади.

— А где же мы будем жить?

— Как где? Там, где все рабочие живут, — не задумываясь ответила мать. — Живут же они где-нибудь...

Это сообщение наполнило меня радостью. Неужели кончатся наши скитания? Как надоели эти ночевки где и как попало...

Стояла поздняя осень. Намокнув за день под морозящим дождем, наша одежда просушивалась на нас самих и только ночью. Спали мы не раздеваясь, сидя рядом на какой-нибудь вокзальной лавке, тесно прижавшись друг к другу. И вдруг такое счастье! Оказаться под крышей, иметь свой угол, куда можно прийти, закрыть за собой дверь и знать, что тебя уже никто не прогонит...

Мы покидали Москву. День был холодным, низко над городом нависли свинцовые тучи. Дождь моросил безостановочно. Я старалась казаться спокойной, но в сердце моем, словно этот дождь, лились невидимые слезы. Я любила Москву, и если при первом известии о том, что моя мать получила работу и какой-то кров над головой, я обрадовалась, то теперь, покидая Москву, я думала, что расстаюсь с ней навсегда. Сознание, что в родном, любимом мною городе ни матери, ни мне не нашлось места, удручало меня. Эта незаслуженная обида стояла в горле комом еле сдерживаемых слез.

С матерью я не смела поделиться. Не смела даже выразить ей своего мнения. Это было следствием аристократического воспитания: с рождения оторванная от матери, вскормленная кормилицей, а затем отданная на попечение чужим людям, я с детства была одинока. Один день у нас начинался с француженкой, другой — с немкой. Когда исполнилось шесть лет, посадили за рояль, в семь — балетмейстер и первые уроки на нашем просторном, светлом манеже в детском седле на небольшом по-

ни. Уроки давал на ломаном русском языке англичанин-берейтор. Потом закрытый институт. Нашу красивую строгую мать мы видели редко. Отсюда и обращение к ней на «вы» — почтительное и холодное.

Разговорилась со мной мать по-настоящему только в 1917 году. Все, что мы с ней пережили, сблизило нас, но все же... между мной, неуравновешенным, порывистым подростком, и этой спокойной, уверенной в своей правде твердой женщиной лежала еще глубокая пропасть. Ни строгое воспитание, ни железная дисциплина не могли изменить моей сущности: я была рождена самолюбивым и беспокойным бунтарем, а поэтому вопросы «почему? зачем? по какому праву?» так и бурлили во мне, в особенности после пережитой моей первой трагедии.

Было у меня в жизни самое дорогое — музыка. Я сравнительно легко смирилась с тем, что меня не приняли ни в одну из открывшихся советских школ. Но когда на моем заявлении, поданном в консерваторию, я увидела сделанную наверху вкось размашистым почерком жестокую резолюцию: «По своему происхождению не имеет права на высшее образование. Отказать», — это нило во мне, как большой зуб...

Перед моими глазами стояло милое, доброе лицо профессора Константина Николаевича Игумнова, которого я незадолго до того встретила на улице. С шести лет я была ученицей его друга — профессора Василия Николаевича Аргаманова. На музыкальных детских вечерах четыре раза в год Константин Николаевич проверял занятия учениц, и я имела от Игумнова личную награду — «12 месяцев» Чайковского в тисненном золотом переплете. На первой странице этой толстой тетради рукой Константина Николаевича было написано: «За отличные успехи по музыке Китти Мещерской». Его незабываемое длинное худое лицо, похожее на лицо мудрого египтянина, нарисованного на древнем папирусе, просияло улыбкой, и он взглянул на меня с высоты своего гигантского роста, как на знакомую маленькую букашку.

— Китти! — воскликнул он. — Тотчас же подавайте заявление в консерваторию. Я приму вас. Устрою в общежитие, может быть, если будете идти первой, выхлопочу вам стипендию. Будете пианисткой. Ведь я, между прочим, назначен директором консерватории. — «Между прочим» было в стиле этого скромного, доброго, светлого человека и замечательного пианиста...

Лягившись последнего крова, мы оказались на улице, не зная, куда идти, мать держала в одной руке небольшой узел с несколькими носильными вещами, в другой — цинковый сундучок с драгоценностями, а я обеими руками прижимала к груди толстые папки маминых и моих нот... Это был мой мир, эти маленькие черненькие кружочки нот, напечатанные на пяти линейках. Я могла, смотря на них, слышать музыку, и это было мое царство. Его нельзя было у меня ни реквизировать, ни национализировать.

Обо всем этом я не смела сказать матери, так как она, по-видимому, была совсем другого мнения и, увидя в моих объятиях толстые папки нот, сказала осуждающе и холодно:

— Зачем это? У тебя всегда в голове все шиворот-навыворот. Всегда дикие фантазии. В нашей новой жизни это не нужно.

— Но я не перестану любить музыку, — ответила я твердо.

Мать промолчала, а я, видя спокойную решимость на ее лице, терзалась сотней вопросов: мама — кухарка? как же это будет выглядеть со стороны? а что же будет со мной? останусь недоучкой? чем же я буду в жизни? как буду зарабатывать на хлеб? тоже буду кухаркой? Но ведь я ненавижу кастрыли!!! Что стало с нами и как все это могло случиться? Может быть, все это только мне снится?..

В то дождливое утро мы были единственными пассажирами рублевского грузовика, и когда он, черный, мокрый, неуклюжий, появился вдруг из-за поворота и выехал на площадь, я посмотрела на него со страхом и неприязнью.

— Значит, в поварихи к нам? — весело спросил мою мать шофер, рыжий малый, и легко бросил в грузовик наш узелок с вещами.

Мать с сундучком в руках села в кабину, я, прижав к груди папку с нотами, встала на черную надутую шину огромного колеса, и шофер ласковым шлепком помог мне перепрыгнуть через высокий борт, велел сесть спиной к кабине: ее высота должна была в дороге защищать меня от ветра. Он закрыл меня большим широким брезентом, который был весь промаслен и сильно пах бензином. Но я чувствовала

себя под ним очень уютно и, повернувшись вбок, могла сквозь стекло кабины видеть лицо моей матери.

Шофер долго мучился, стоя перед грузовиком и заводя его, как мне тогда показалось, каким-то гигантским штопором. Мотор никак не хотел работать. Потом он вдруг оглушительно затарахтел. Некоторое время, стоя на месте и невероятно трясясь, грузовик продолжал еще упрямиться, выпускал клубы серого дыма, громко и оглушительно стреляя и наконец тронулся в путь. Он уносил нас в новую, совершенно нам неведомую, полную какой-то страшной тайны жизнь...

Натянув на голову брезент, я все время поворачивалась и смотрела на мать. Косынка, которую она повязала на голову, скрыла все богатство ее пышных, уложенных узлом каштановых волос, и теперь мне был виден только профиль матери, странно чужой в этой впервые надетой ею косынке. Я так любила этот безукоризненный профиль камеи. Она сохранила его до старости, даже лежа в гробу.

Я была с детства влюблена в красоту моей матери. Я гордилась ею. Мне вспомнилась мать, какой она бывала, когда ехала в театр или на концерт: в вечернем платье, с жемчужной матовостью обнаженных, чуть покатых плеч. На белой, тонкой коже вокруг шеи переливалось, играя разноцветными огнями, ожерелье.

Я вспомнила мать, затянутую в черный шелк амазонки, со стеклом, в дамском седле, на ее любимом Ладном — вороном жеребце арабских кровей. Она любила показать высший класс верховой езды и с необыкновенной легкостью брала препятствия и барьеры...

Среди так называемой золотой молодежи Петербурга выделялся в те годы знатностью рода и непрезойденной красотой офицер лейб-гвардии гусарского его величества полка князь Николай Барклая де Толли. Он был прямым потомком героя 1812 года. Его успеху в свете завидовали многие товарищи, а все девушки и женщины, за малым исключением, были к нему неравнодушны.

Меня он страшно интересовал: я никак не могла понять, почему все от него без ума. Я все время наблюдала за ним, незаметно для него следовала за ним по пятам и совсем не находила его красивым, какие-то писаные, сладкие черты лица. Я старалась вслушиваться в то, о чем он говорил, и снова и снова испытывала недоумение и досаду. В его речах не было блеска, не было ни порыва, ни вдохновенности, даже природный юмор и тот отсутствовал. Банальные любезности и вежливые, штампованные фразы — все было скучно и бесцветно.

Сама не знаю почему, он меня раздражал. Мне казался неестественным его вкрадчивый, мягкий голос. Его нежный, словно девичий, вишенкой, рот. Белые холеные пальцы, когда он, окруженный старыми дамами, раскладывал голололомный пасьянс, всегда искрились огнем перстней. «Почему он какой-то не настоящий?» — спрашивала я себя. Хотелось его как следует подковырнуть, чтобы все ненастоящее с него слезло, и тогда посмотреть: какой он на самом деле?..

Надо было ждать удобного случая. И вот однажды в час раздумий у меня родилось стихотворение. Конечно, оно относилось все к тому же «петербургскому льву». Стихи получились не первосортные, и я это отлично сознавала, но безумное желание досадить красавцу князю было сильнее меня. И вот наступил большой долгожданный вечер с ужином и танцами. Меня, как маленькую, из этого веселья исключили, я должна была в девять часов вечера выпить свое молоко с кусочком черного хлеба, а затем ложиться спать. Каково было мне все это пережить?

В зале уже давно танцевали. Девушки, взволнованные и радостные, выбегали из зала к зеркалу, чтобы поправить растрепавшиеся волосы. Дамы, разгоряченные танцами и флиртом, проходили из зала на балкон. Все томно обмахивались веерами, и со всех концов только и слышались восторженные гимны на французском языке, воспевавшие красоту и неотразимость Барклая де Толли, и среди фамииама снова и снова имя все того же князя... Нет! Это уж слишком! Они положительно все сопли с ума. Вот он, этот долгожданный миг! Лучшего не придумаешь. Я должна именно сегодня во что бы то ни стало преподнести ему свои стихи.

Прежде всего я старательно переписала свое произведение. Свернув стихи в маленький билетик и спрятав его в руке, выскользнула из детской. Затем вслед за лакеем вошла в столовую, где накрывали стол для ужина. Лакеи сновали взад и вперед, меня во всеобщей суете никто не заметил.

По всей середине стола на белой скатерти тянулись длинные хрустальные вазы с сырым песком. В них стояли только что срезанные левкой, резеда, розы всех сортов. Перебегая от стула к стулу, прочитывая карточки с золотым обрезом, на которых написаны имена и фамилии гостей, жадно ищу глазами. Наконец-то! Вот он, его прибор, его место. На карте золотыми витиеватыми буквами его имя, отчество, фамилия, увенчанные княжеской короной.

Отойдя в сторону, я выждала, когда ни одного лакея в столовой не оказалось, и быстрым движением всунула билетик со стихами в середину белой накрахмаленной салфетки, стоящей пегушком. Затем так же быстро выбежала из столовой и, постояв в углу коридора с минуту, чтобы отдышаться, степенной, спокойной походкой вошла в детскую. К великому изумлению няни Пашеньки, я молча залпом выпила свое молоко и, послушно раздевшись, юркнула в постель под одеяло.

Но разве до сна мне было? Я лежала тихо, закрыв глаза, старалась ровно дышать, чтобы няня Пашенька подумала, что я заснула. Так я представлялась для того, чтобы Пашенька поскорее ушла. Вскоре я услышала шелест ее платья и легкий скрип закрывшейся двери.

Сердце мое громко стучало, и с каждым ударом в голове выстукивались строчки моих стихов:

Вы красивы — я не спорю,  
 Всем соперникам — гроза;  
 Принесли немало горя  
 Ваши черные глаза.  
 Вы красивей всех на свете,  
 Кивер набекрень надев,  
 И попало в ваши сети  
 Много жен, невест и дев.  
 Все удивлены ужасно:  
 Что за дьявольский успех?  
 Чем? Осанкой ли прекрасной  
 Побеждаете вы всех?  
 И глядят, развесив уши...  
 А под маской красоты  
 Скрыты: глупость, равнодушие  
 И так много пустоты!

Я ворочалась с боку на бок. Представляла себе плавно движущийся круг танцующих, и сердце мое сжималось завистью. Счастливые! Танцуют! Они большие — им все можно! Я ожидала первого перерыва в танцах. Тогда все пойдут ужинать в столовую, и, может быть, я услышу взрывы смеха, когда князь найдет мои стихи и начнет в гневе их читать. А может быть, он так рассердится, что никому их не покажет?.. Но сон подкрался ко мне, и незаметно для себя я уснула.

Проснувшись я оттого, что перед моей постелью стоял Вячеслав и безбожно тряс меня за рукав ночной рубашки. Лицо у него было бледное и очень злое.

— Дрянная девчонка! — шипел он. — Сейчас же одевайся, и идем!

— Что случилось? Где мама? — сразу не поняв, в чем дело, спросила я.

— Мама... мама... — передразнил меня брат, дрожа от ярости. — Натворила бед, а сама в кусты? Дрянь! Исподтишка! Я тебя проучу. Из-за твоих идиотских стихов князь со светлейшим Горчаковым хотя бы дуэли драться! — И брат стал швырять мне в лицо мое белье, чулки и платье. — Живо! Одевайся! И — марш за мной!

Услышав слово «дуэль», спросонья начав дрожать от страха, я мигом оделась.

— Где же мама? — снова пролепетала я.

— Она за картами, наверху, и никакая мама тебя не спасет! Тебя будет судить гусарский суд чести, он уже собрался, а потом я сам тебя выпорю! Иди же, мерзкая девчонка!

Он почти волоком потащил меня по коридору, стучая об углы стен мою несчастную голову, и наконец здоровым пинком втолкнул меня в офицерскую комнату.

Ах... В эту минуту ни боли вспухавших на моей голове шишек, ни обиды на грубость Вячеслава, ни страха — ничего я не чувствовала. Все было забыто, я не верила своему счастью. Подумать только, ведь я находилась в офицерской комнате, куда девушкам вход был запрещен, куда входили и где проводили время только военные. А я ведь так мечтала обречь голову, надеть мундир, пойти в денщики к Вячеславу, когда он будет офицером! И вот сейчас я здесь наравне с военными! Вот оно — счастье!..

Я с любопытством оглянулась и тут же закашлялась. Комната плавала в густых об-



лаках сиреневого дыма. Потом я стала постепенно различать ковры, оружие по стенам, круглый стол, на нем пепельницы с окурками. Вдали ломберный стол, на нем разбросанные колоды карт. На серебряных подносах много пустых и полных бутылок вина среди бокалов и рюмок. В углу на угасающих углях камина офицеры на скрепленных саблях варили жженку. В центре сабель стояла голова сахара, на нее медленно с двух сторон капали из разных бутылок ром. В большой серебряный ковш, стоявший внизу на углях, стекала вместе с растопленным сахаром душистая влага. Пахло горячим пуншем и еще каким-то пряным ароматом.

Некоторые офицеры сидели, развалившись, в креслах, другие стояли, разговаривая, но все взгляды были направлены в тот миг на дверь, в которую мы с братом вошли.

И сразу настала мертвая тишина.

— Сознаться сейчас же, что эти стихи написала ты,— повелительно сказал брат, подталкивая меня потихоньку в спину кулаком.

— Да... Эти стихи написала я,— еле выговорила я.

Снова наступила тишина. Я заметила, что на всех лицах появилась плохо скрываемая улыбка. Я опустила глаза и увидела: один мой чулок, сморщившись штопором, спускался с ноги. Платье я впопыхах надела наизнанку, и все пшвы торчали наружу.

От группы офицеров отделился князь. Он подошел ко мне. Да... теперь я увидела, что я наделала и как я его «подковырнула». Он стал совсем некрасивый: весь красный, потный. Нервным движением он беспрестанно вытирал лоб носовым платком.

Вдали возле камина, насупившись, стоял высокий бледный Горчаков и тоже смотрел на меня с удивлением.

— Вы?! Вы? — повторил князь изумленно, подходя ко мне все ближе, будто впервые меня увидел.— Вы? Но зачем?!

— Просто так...

Выражение его лица смягчилось и потеряло напряженность. Он взял меня за руку.

— Ну-с, маленькая княжна-поэтесса, тогда скажите, за что же вы меня так ненавидите?

— Я не ненавижу.

— Ну, просто не любите. Объясните, чем я вас прогневал?

— Ничем. Это шутка. Мне захотелось написать эпиграмму, как во времена Пушкина.

— Для эпиграммы немного длинновато. Но за что же, милая поэтесса,— продолжал он, не выпуская моей руки,— за что же вы невзлюбили все-таки меня?

— За что? — вдруг осмелев, переспросила я.— Извольте, скажу: за то, что в вас все влюблены, вот за что!

— Кто же, например?

— Ну, первая княжна Биби, конечно... да вы и сами знаете всех прекрасно, зачем притворяетесь?

Тут все офицеры стали громко смеяться. Молчал и оставался серьезным только Горчаков; вдруг он приблизился ко мне и к князю.

— Дитя,— сказал он, строго на меня глядя,— вы даже не подозреваете, насколько для меня важны ваши слова. Вопрос идет о чести мундира... Понимаете?! Прошу вас дать сейчас, здесь, при всех честное слово, что никто из взрослых, понимаете, никто, а главное, из присутствующих здесь офицеров не помогал вам писать эти стихи. Может быть, кто-нибудь натолкнул ваши мысли на эту шутку?

— Даю честное слово, что никто. Я написала их ото всех потихоньку и никому не показывала.

— Что же, выходит, вы написали их экспромтом?

— Нет... я написала их давно.

— Где же вы их хранили до сегодняшнего бала?

— В моей кукольной комнате, на полу под ковром...

На этот раз со всеми засмеялся и Горчаков. Князь поцеловал мою руку и, улыбаясь, сказал:

— Если бы вы были офицером, я вызвал бы вас на дуэль.

— Когда мне исполнится шестнадцать лет, Вячеслав научит меня стрелять...

— Нет, нет! — прервал меня князь.— Я не буду ждать ваших шестнадцати лет, княжна, я накажу вас сейчас же и при всех, да еще как! Я вас поцелую!

И он хотел привлечь меня к себе, я рассердилась, стала упираться ему в грудь руками и как только возможно отстраняться от него, но моих силенок не хватило, и он все-

таки поцеловал меня в щеку. От обиды я собралась было заплакать, но тут все офицеры стали подходить и целовать меня, а потом все по очереди стали катать меня на себе. Тут я очень развеселилась. Потом на меня надели гусарский кивер и дали выпить горячего пунша. Офицеры встали вокруг меня.

— За нашу поэтессу, ура! — кричали они хором.

Потом кто-то поднял меня и поставил на самую середину стола. Все наполнили чарки и, стоя вокруг стола, запели хором гусарскую песню:

Где друзья минувших лет, где гусары удалые?  
Председатели бесед, собутыльники лихие!

Я с упоением пела вместе с ними, и, прежде чем чокаться, каждый из них просил меня пригубить его чарку. Вот когда я почувствовала себя гусаром!.. Потом меня в торжественном шествии унесли обратно в наши комнаты. Опьяненная жженкой и своим успехом, я, счастливая, заснула.

Утром все офицеры хранили гробовое молчание, и никто из старших ничего не узнал. Я была горда. Некоторое время я даже смотрела на Вячеслава немного свысока, а он, улыбаясь, повторял:

— Ну и рыжая Рагуа! (Так он называл меня.) Ведь твое стихоплетство могло окончиться трагически. Все указывало на то, что эти стихи написал Горчаков, хорошо, что я, взглянув на билетик, сразу узнал твой почерк, а то было бы дело... Но, в общем, ты — пуля!

И это было его первой похвалой.

Потом перед моими глазами встал наш большой, сияющий огнями зал. В полукруге мягких кресел сидят приехавшие из Петербурга гости. Среди них великий князь Михаил Александрович, крестный отец моего брата Вячеслава. Всегда сопутствующий ему адъютант Джонстон, как всегда встав сбоку у рояля, перелистывает страницы нот. Я на коленях у моей обожаемой крестной матери Александры Александровны Милорадович. Она, как обычно, во всем сиреновом и в своих любимых аметистах. Ее некрасивое, но необыкновенно светлое, подвижное и умное лицо от волнения чуть побледнело. Глаза устремлены на нашу мать.

Теплый летний вечер. Высокие окна дворца распахнуты в парк. Ветерок колеблет пламя зажженных свечей, играет в подвесках хрусталя; он приносит из парка нежный запах резеды, белых звезд табака и сладостный аромат левкоя. Полукошачьи рояли «Бехштейн» раскрыты. За ним художавая, чуть угловатая фигура Игумнова. Точно высокий черный парус, вскинута вверх крыло рояля. И в самой его середине, в выемке, стоит наша мать. Она поет, ее голос льется, и мое детское сердце наполняется радостью и волнением. Я боюсь передохнуть. Я почти не дышу от восторга. Она поет, чуть-чуть опустив ресницы на свои искристые глаза. На губах не видится, а скорее угадывается полуулыбка...

Я очнулась... В ушах треск и грохот: грузовик уже миновал окраины Москвы. Подпрыгнув на нескольких ухабах и поворотах, он выехал на широкое шоссе и понесся что есть духу. Ветер с яростью рвал с моей головы брезент, холодный дождь хлестал в лицо. Свист ветра и грохот грузовика — все сливалось в невыразимый шум. Одной рукой натягивая на голову брезент, я другой прижимала к себе папку с нотами, чтобы она не намочилась, чтобы не погибли мои любимые, заветные страницы. Время от времени, высунувшись из-под брезента, я старалась удерживать наш узел с вещами — от быстрой езды и тряски он, подпрыгивая, скатывался в угол грузовика, где образовалась лужа.

«Как выглядит этот водопровод?» — спрашивала я у самой себя, и мне мерещилось что-то вроде большой водяной мельницы. Это «что-то» стояло на самой середине Москвы-реки и, шипя и пыхтя, вращало гигантскими колесами, сосало воду, которая по трубам текла прямо в Москву. А где же все-таки мы будем жить? — мучил меня вопрос. И тогда мне чудилась пустая, сырая комната, в которой пахнет баней, а по стенам тянутся водопроводные трубы, длинные-предлинные... Мысли мои становились все более нелепыми, фантастические картины все более невероятными, и вскоре я впала в забытие. Холодный ветер сковал меня, я больше не могла удерживать подпрыгивавший узел...

Меня разбудил сильный толчок. Грузовик остановился. Конец нашего пути. Мы приехали в Рублево. Если, собираясь в путь, я легко взобралась на грузовик, то теперь еле-еле выпрямилась. От сырости и оттого, что все на мне промокло до нитки, все

члены окоченели и теперь ныли. Меня бил озноб, зуб на зуб не попадал. Рыжий быстро встал на шину колеса, подхватил меня под мышки и, словно прозябшего мокрого котенка, осторожно поставил на землю. Я не успела сказать спасибо, как он также быстро достал наш узелок, не обращая на меня внимания, поднял капот грузовика и принялся в нем копать.

Мать сказала, чтобы я никуда не отходила, а сама отправилась в дирекцию водопроводной станции, чтобы, как говорят, «явиться по начальству». Дрожа от озноба, я силилась пошире открыть слипавшиеся глаза, с трудом удерживая папки. Проходившие мимо рублевцы не обращали на меня внимания, за что я была им благодарна: с тревогой в душе я так и ждала взглядов — недружелюбных, подозрительных, насмешливых, которыми нас награждали знавшие, кто мы такие, какое позорное слово «бывшие»...

А шофер возился в моторе, надув щеки, что-то продувал, что-то протирал, схватив грязную, черную от масла тряпку, и при этом, несмотря, казалось бы, на полную погруженность в работу, кивал то в одну, то в другую сторону и знакомил меня с Рублевым. Я увидела вдали, около Москвы-реки, главное здание — сердце водопроводной станции. Оно походило на большую, невысокую, далеко вытянувшуюся фабрику с превысокими трубами. Ее мерный шум походил на дыхание сказочного великана, на его беспрерывные вздохи. Как ни странно, шум этот мне сразу понравился. Шофер указал на двухэтажное здание — театр и клуб Рублевского водопровода. Симметрично расположенные дома из веселого красного кирпича, в которых жили рабочие водопровода, назывались почему-то казармами, хотя это военное строгое слово не соответствовало их внешнему виду. Вообще Рублево походило на маленький, очень чистенький городок. Позже я узнала, что старые, так называемые кадровые рабочие-рублевцы жили в отдельных домишках из серого бетона, окруженных садиками; многие из рабочих имели корову. Рублево украшали аккуратно проложенные аллеи с густыми подстриженными деревьями. Чем я больше проникалась мыслью, что здесь будет наша новая жизнь, тем все вокруг становилось мне милее. Казалось, мы попали в приветливый и добрый городок, хотя где-то в самой глубине души уже шевелилась знакомая тревога: «А вот как узнают, кто мы, так и возненавидят». Но я старалась гнать от себя это все отравлявшее опасение.

Вернулась мать, ее сопровождал высокий, крепкий человек, комендант общежития. Он позвал нас в одну из казарм и, когда мы поднялись на второй этаж, распахнул перед нами дверь небольшой, светлой, с одним окном комнаты. Пахло сухим теплым воздухом и запахом крашеного пола. Во всем здании было паровое отопление. В комнате был водопроводный кран, а под ним белела чистая фаянсовая раковина. У стены стояли две железные кровати. Сквозь сетку просвечивал блестящий, чисто вымытый пол.

— Вон там,— показал в окно комендант,— прямо против нас, видите, красное здание? Там круглосуточно кипит большой куб. Можете сейчас же взять чайник и послать дочку за кипятком. Попьете чайку, согреетесь с дороги... Если будут вопросы, обращайтесь прямо ко мне,— закончил он радушно и с этими словами вышел, а я, развязав узел и достав из него большой чайник, побежала в здание, которое указал комендант.

Небольшая, быстро двигавшаяся за кипятком очередь встретила меня довольно приветливо:

— Это дочка нашей новой работницы...

— Из Москвы они...

— Да, кажись, в поварики к нам ее мать определилась.

Так со всех сторон я слышала беззлобные реплики.

Зато чайник наш не только привлек к себе всеобщее внимание, но и вызвал явное неодобрение. Мы захватили его впопыхах, когда нас высылали, потому что другого у нас не было под руками. Когда-то он возглавлял тот серебряный сервиз Мещерских, который, по семейным традициям, подавали только один-единственный раз: молодоженам в первое утро после свадьбы. Причудливый, в стиле рококо, в изящных завитках, с выпуклыми фантастическими растениями и цветами, с медальоном, по которому летели два беспечных амура, чайник таил в себе какую-то помпезность, праздничность и будил воспоминания об ушедшей роскоши, о «ничегонеделанье»...

— И где только такой чайник купили?

— Ишь, искусственный какой...

— Это кому, делать неча... его и в час не вычистишь... право слово...

Я наливала кипяток и, следя за горячей льющейся струей, заливалась краской стыда и считала секунды. Как бы осудили меня эти люди за чайник, если бы узнали, что его и кипятить-то нельзя, потому что он из чистого серебра...

Возвращаясь в казарму медленными шагами, думала о том, что нам с матерью предстоят трудные дни. А мы сами?! Ведь и в нас, в живых людях, много, наверное, всяких вычурных завитков и ненужных навыков. Если мы не переделаем себя, то будем смешны, а что именно надо сделать, чтобы не остаться чужими для этих людей, этого я не знала. Не знала, наверно, потому, что не понимала разницы между ними и собой. Потому что хотела узнать их ближе, хотела подружиться с ними...

Войдя в комнату, я постаралась сделать самое веселое, беззаботное лицо.

— Первое время я, наверное, будем путать и наш дом и нашу комнату, — улыбаясь, объявила я. — Сейчас мне все дома кажутся совершенно одинаковыми.

— Наш дом? Нашу комнату?.. — медленно, точно стараясь вникнуть в смысл этих слов, повторила мать, и голос ее странно пресекся. Она подошла и крепко обняла меня. От неожиданности ее прикосновения вся моя сдержанность исчезла. Слезы брызнули из глаз.

— Что будет с нами дальше? — спрашивала я с отчаянием. — Я боюсь этих людей, боюсь этой жизни... я ничего не понимаю... что надо делать?

— Надо только одно, — сказала мать, — надо верить в то, что нам поверят. Только этой надеждой мы можем жить.

Я подняла голову, поцеловала ее руку, вытиравшую мои слезы, и посмотрела матери в глаза. Глаза были совершенно сухими, но я в первый раз за все время заметила, как постарело ее нежное и милое лицо.

Я не могу припомнить, по какой причине Рублево, этот для того времени благоустроенный, приятный городок, имевший школы первой и второй ступени, клуб, свою баню, свой театр, к моменту нашего приезда не имел помещения для столовой. То ли оно было занято чем-либо важным, то ли оно строилось, но столовая Рублева в те дни, когда моя мать приступила к своей работе, была не чем иным, как длинным-предлинным бараком из наспех сколоченных досок. Стоял этот барак вдали от всех зданий, на самом ветру, среди чистого поля. Пахло в нем свежим, мокрым деревом, а его фанерная дверь от внутренних испарений набухла и плотно не закрывалась.

Кухня тонула во влажном дыме. Сквозь него чернели выпуклые бока огромных темных котлов, в которых варилась пища... Если бы не стук ножей и звон посуды, не переключки кухонного персонала, то человеческие головы среди клубов белоснежного плотного пара напоминали бы головы ангелов, плывущих в плотных крутых облаках. Правда, выражения лиц этих «ангелов» не были ни задумчивыми, ни безмятежными. Лица были красные, потные, а иногда слишком веселые от отпущенной кем-нибудь непристойной шутки.

Я была поражена картиной, которая представилась моим глазам в то утро, когда я с любопытством просунула голову в полуоткрытую дверь кухни, желая взглянуть на мать. Там среди непрерывного шума, напоминавшего гул в бане, в сырости, в парах, в невыносимом чаду и ужасающей жаре около котлов начала моя мать свою трудовую жизнь.

Заметив меня, мать выскочила мне навстречу, схватила за руку и вытолкнула назад на улицу.

— Никогда! Слышишь? Никогда не смей сюда показываться! — с непонятным для меня раздражением прошептала она над самым моим ухом. — Твой приход поймут неправильно: налью тебе по-своейски тарелку супа, сунут в руку кусочек хлеба. Подумают: девочка пришла, дочь кухарки, надо ее накормить. А страна голодает, взять крошку — это преступление...

— Но, мама... — перебила я и оскорбленно начала отвечать ей по-французски, но тут лицо моей матери исказилось таким страхом и ужасом, что я умолкла.

— Невыносимая девчонка, — зашептала она, — забудь французский и забудь навсегда немецкий, слышишь? Навсегда! Дай бог, чтобы мы с тобой смогли на своем родном русском объяснить ту правду, ради которой мы здесь остались. И уходи сейчас же! Сиди дома. Вечером я принесу тебе твой, мой ужин.

Я быстро побежала прочь от столовой. Лицо горело от стыда, но самое ужасное было то, что я ничего не понимала. В чем мы виноваты? Кого мы обидели? Почему нельзя говорить ни по-французски, ни по-немецки?..

Только что мы провели первую ночь в Рублеве. Она была похожа на пытку. Так как все наше платье и белье промокло, мы развесили их на веревке, которой в несколько раз были перевязаны нотные папки. Мы протянули веревку через всю комнату, гвозди с большим трудом достали из стен, заколачивать их пришлось камнем,

принесенным со двора; и мать и я сильно отбили себе пальцы. Лечь спать было не на чем: ни тюфяков, ни одеял, не говоря уж о подушках или постельном белье. Ложиться прямо на железные прутья кровати было невозможно. Тогда мы решили лечь на полу. Но надо было что-нибудь подложить себе под голову. А что?.. Мы вспомнили о досках, которые лежали сложенными около нашей казармы, они бросились нам в глаза, когда мы впервые с комендантом проходили по двору в свое новое жилище. Мы надели пальто и вышли. Доски оказались мокрыми от дождя. С трудом мы стали снимать их одну за другой и, добравшись до середины, выбрали несколько чуть влажных, даже почти сухих. Остальные доски аккуратно в прежнем порядке сложили обратно. Потом мы вернулись в казарму, легли с матерью прямо на голый пол, а под голову вместо подушек — три положенных одна на другую доски.

Эту ночь я провела почти без сна и только под утро забылась тяжелой дремотой. Очевидно, когда я металась полусонная, неосторожно и порывисто повернувшись, успела занозить себе ухо: оно распухло и покраснело. Спасли мамини карманные маникюрные ножницы, с которыми она никогда не расставалась. Мать ловко вынула занозу. Я горько плакала, даже не потому, что мне было больно; плакала от нашей нищеты, причина и смысл которой были мне непонятны, плакала потому, что наше будущее представлялось мне безнадежным.

— Я не знала, что у меня дочь такая плакса,— почти равнодушно сказала мать (всякое сюсюканье было чуждо нашей семье).— Откуда такое малодушие?.. Чтобы я больше никогда не видела ни одной твоей слезы...

Но я знала, я чувствовала сердцем, что и матери моей было несладко.

Потянулись тягостные дни: я была в полном подчинении у своей матери и не смела ни в чем ее ослушаться, а она строго-настрого запретила мне выходить из казармы и с кем-либо разговаривать. Почему? Спросить я не смела, ее авторитет был незыблем и непогрешим.

Утром я убирала комнату и затем была обречена сидеть в ней целый день как затворница. Это были дни вынужденного тяжкого безделья. Тогда я раскрывала наши папки с нотами. Перелистывала страницы. В ушах звучали мелодии одна за другой. Вот последнее, что я играла перед Игумновым: соната для фортепьяно, или просто соната Грига. Пометки, сделанные карандашом Константина Николаевича, он проставлял мне удобную перемену пальцев в пассажах левой руки... Нет! Это было выше моих сил. Казалось, я брожу памятью по цветущим аллеям потерянного рая. Я захопывала свои ноты и раскрывала мамини. Но это оказывалось еще мучительнее: в ушах звучал ее голос. Ее любимые арии и романсы. Здесь тоже в некоторых местах пометки, сделанные ею для меня карандашом. Они мелькают кое-где и на трудных технических местах аккомпанемента романсов Рахманинова, состоят всего из одного слова: «Вьгучить!» Это означало, что я в таких местах ошибалась. Я давно уже выучила и знала почти наизусть, а вот ее размашистый, рассерженный почерк остался... И мы тоже зачем-то остались жить... Зачем?!

Вечером приходила мать, чтобы принести мне свой ужин: кусок воблы и две ложки холодной чечевицы без масла в жестяной кружке. Это было мое единственное питание — один раз в день. Этого, конечно, было слишком мало, но самое главное — в этом было что-то постыдное и унижительное. Рожденная в роскоши, слыша с детства со всех сторон разговоры о нашем богатстве, привыкшая к большому штату слуг, вежливых и предупредительных, не знаю почему, я не впитала в себя идей, приписываемых нашему привилегированному сословию, и ни у меня, ни у брата, ни у моих сверстников не было в крови той иждивенческой психологии, которую я впоследствии встречала и сейчас иной раз встречаю у нашей молодежи.

И когда в первый же вечер, придя с работы, моя мать принесла мне свой ужин, мне показалось, что я получила звонкую пощечину. Но я ела этот мамин ужин. Ела давясь, презирая себя. Ела потому, что мне все время хотелось есть.

А через две недели моя мать пришла какая-то особенно возбужденная: она рассказала мне, что в ее работе произошла перемена, понадобилась заведующая столовой, и, узнав, что она грамотная, эту должность дали ей. На ее же место, поварихи, взяли дородную, высокую, черноволосую и широкоплечую женщину по имени Пелагея. Мне она своей величественной осанкой очень напоминала царевну Софью, сестру Петра Первого.

Пригодилась не только мамина грамотность, очень понадобились неожиданно проявившиеся у нее способности администратора. Но все осталось по-прежнему. Ее

главным рабочим местом осталась столовая. Она не могла покинуть котлов, не могла не участвовать в приготовлении завтраков, обедов и ужинов, необходимых для рабочих ночной смены. Теперь я почти не видела матери. Вся ее жизнь сосредоточилась в том, чтобы улучшить обеды и разнообразить меню. Мне начинало уже казаться, что это было единственным ее призванием.

Я вспомнила о событии, которое произошло в нашем любимом подмосковном Петровском. Трудно себе представить место более красивое и чудесное. Архитектор Тихомиров назвал его уникальным памятником ансамбля усадебной архитектуры, поместив пять фотографий, в том числе и внутренний план петровского дворца.

Вся усадьба располагалась на возвышенности, отчего парк в двадцать семь десятин был всегда пронизан солнцем. Парк был разделен большой, главной аллеей, украшенной, как и в полтавском имении, статуями, вывезенными Мещерскими из Флоренции и Рима. В конце главной аллеи на пригорке стояла огромной величины статуя Аполлона; его стройный торс из черновато-зеленой меди очень красиво оттеняли белоснежные лилии, окружавшие клумбой пьедестал греческого бога.

Правая часть была строгим французским парком с прямыми перекрещивающимися аллеями из столетних разросшихся лип, цветение которых наполняло все вокруг медовым благоуханием. Левая часть парка (так называемая дикая) изобиловала таинственными тропинками, затерянными аллеями с уютными скамьями. Все там напоминало настоящий лес: был там и овраг с зарослями сладкой лесной малины, на склоне оврага бил чистый ключ. Где-то повыше в густом ельнике сохранилось несколько барсучьих нор.

У пригорка, где стоял Аполлон, у его ног красиво извивалась речка — приток Десны. Вдоль ее берегов склонялись серебристые ивы, в береговых кустарниках всю ночь напролет заливались соловьи, а дальше, за поворотом реки, пряталась в деревьях купальня.

Петровское было таким солнечным и прекрасным, что каждый день, прожитый в нем, был радостью.

Недаром Петровское названо уникальным: в центре его стоял редкой красоты дворец, сложенный из белого камня. Он был украшен шестнадцатью большими колоннами и — на своих четырех портиках — восемью малыми. Летом и зимой ослепительно сиял его купол, покрытый белой медью. К главному входу подводили с двух сторон широкие веерообразные лестницы. Их, точно стражи, охраняли фигуры сфинксов и разъяренных львов с поднятой лапой.

Дворец был предназначен для балов и больших приемов. На первом этаже — балльный зал, наверху его в виде длинной ложи балкон для оркестра. Внизу вокруг балльного зала в комнатах помещались музей и архив Мещерских. Нас, детей, больше всего в музее занимали два экспоната: клык мамонта, найденный когда-то на том месте, где впоследствии построили дворец, и под высоким хрустальным колпаком на подушке из темно-малинового бархата скульптура из бронзы — ножка цыганки-плясуньи Насти. В Настю без памяти влюбился, выкупил из табора и с ней обвенчался брат нашего отца — Иван Васильевич Мещерский. Он был вынужден покинуть лейб-гвардии конный полк, в котором служил.

В музее сохранялось также оружие, жалованное Мещерским за боевые подвиги, и многие ордена. Архив Мещерских был ценным не только из-за множества древних бумаг, свитков и грамот далеких времен, но и интереснейшей перепиской со всей семьей Карамзиных — наших близких родственников. Дядя отца, Петр Васильевич Мещерский, был женат на дочери историка Карамзина. Это была та Екатерина Николаевна Мещерская, которой Пушкин посвятил свое стихотворение «Акафист». Она была его большим другом и впоследствии описала похороны поэта. Были в архиве и несколько писем Лермонтова моему отцу, а также листок с написанным рукой поэта стихотворением «Скажи мне, ветка Палестины...». Сбоку на листке, как это любил делать Лермонтов, — нарисованная им ветвь, похожая на пальмовую. Чернила этого листка выцвели, порыжели...

Синие майоликовые печи, увенчанные такими же синими майоликовыми вазами, украшали комнаты петровского дворца. Одна из печей была такой величины, что в ней свободно могла поместиться танцующая пара. Вдоль всей печи тянулся длинный толстый вертел. На нем когда-то жарились подвешенные вниз головой туши диких ка-

банов и лосей. Отдушина печи сохраняла еще следы копоти тех дней, когда звуки рога созывали всех на царскую охоту.

На втором этаже дворца в его двусветном зале располагался зрительный зал с просторной сценой.

В то лето, которое я вспоминаю, у нас побывала масса гостей: во дворце пел знаменитый тенор Леонид Витальевич Собинов, кончавший когда-то вместе с матерью Московскую филармонию, играл Константин Николаевич Игумнов, заезжала к нам, будучи на гастролях в Москве, Заньковецкая, друг матери, сыгравшая нам несколько сцен из «Наймички».

И все до последнего человека находились под обаянием нашего волшебника повара-кондитера, выпisanного из Петербурга, где он служил при царской кухне у государя и был выгнан за пьянство, а кое-кто утверждал, что и за буйный нрав. У нас он занялся своим искусством с большим трудолюбием и вел себя образцово.

Каждый день все с нетерпением ожидали обеда, а садясь за стол, с любопытством ожидали сладкого блюда. И оно появлялось. То это был пломбир, окутанный паутиной золотых волос Венеры из жженого сахара; волосы были заколоты гребнем невиданной красоты, тоже из темно-золотистого леденца, и украшен он был драгоценными камнями из разноцветных цукатов и фруктов. Или на подносе вдруг вносили пудинг, пылающий синим огнем винных настоек. А один раз лакей внес большую вазу из разноцветного леденца; внутри на волнах шоколадного крема плавали из песочного теста гондолы с шоколадными неграми. Одним словом, повар всех покорила, а меня, маленькую сладкоежку, поразил в самое сердце.

День и ночь я ломала голову, что бы такое сделать для повара; первой моею мыслью было разбить детскую копилку, высыпать все содержимое и через кого-нибудь из слуг передать ему мои сбережения. Но... с детства я была отчаянным романтиком и идеалистом. Материальные блага мне всегда казались ничтожными и бесильными. Деньги?.. Какая пошлость! Я побоялась оскорбить повара.

И тогда я подумала о самом прекрасном... о моей матери... Ведь каждый ребенок считает свою мать красавицей, а я имела на то основание: разве об этом не твердили все вокруг? И я решила, что должна сделать что-то необычайное от маминого имени, и это вознаградит его на всю жизнь. Но что бы это могло быть, я еще и сама хорошо не знала. Смутные догадки всплывали, но тут же угасали в моей душе.

Лето было в самом разгаре. Приближался Ольгин день. По случаю именин моей тети Оли был торжественный обед. На сладкое повар сделал мое любимое безе. Оно хрустело, таяло во рту и пахло ванилью. После обеда с сердцем, переполненным благодарности к повару, я выбежала на террасу. И вдруг! Вижу: три темно-пунцовых розы лежат на перилах! Тетя Таля любила украшать свои темные волосы живыми цветами; это она сорвала их в оранжеее и, видимо, забыла здесь перед обедом.

Розы! Розы и мама!!! Смелый план тотчас созрел в моей безумной голове: схватив розы, я стремглав помчалась с ними по дорожке от служебных построек к усадебному дому. Волнуясь, я торопилась отстегнуть и снять детский браслет — подарок моей крестной Александры Александровны Милорадович: в золотой обруч среди тончайшей резьбы была вделана крупная персидская бирюза. Это был мой талисман, я никогда его не снимала, но имело ли это значение, если я делала повара счастливым?..

Вот по дорожке от дома к кухне идет в белокурых кудряшках лакей Николай. Нет. Этому я не доверю — он фискал. Я пропустила еще нескольких человек, ненадежных, как мне казалось, и наконец увидела идущего по дорожке Микитку, как его все называли. Это был добродушный и немного глуповатый чистильщик фонарей и ламповых стекол.

— Никитушка, пожалуйста, прошу вас, передайте эти розы и браслет в руки повару-кондитеру и скажите, что это ему посылает сама... — на этом слове я сделала ударение, — сама княгиня Мещерская!

Затем с легкой радостью на сердце я побежала на площадку играть в крокет. Я чувствовала, что мой долг исполнен: я сделала все что могла. Обожая мать и считая ее совершенством красоты, я была уверена, что сделала повара самым счастливым из смертных, пойдя на столь невинный, с моей точки зрения, обман. Я и не подозревала того грандиозного скандала, который не замедлил разразиться.

Все темные страсти, которые волей и трудолюбием сдерживал столько времени несчастный кондитер, вырвались наружу. Получив три розы и золотой браслет «от самой княгини», кондитер обезумел — вся молодая кровь и все честолюбие бросились

ему в голову. Он принял подарок как знак благоволения княгини и, вообразив себя без пяти минут фаворитом, сошел, как говорится, с рельсов. От предчувствия неожиданного перелома в своей судьбе, предвкушая какую-то блестящую, открывающуюся перед ним карьеру, несчастный тут же вдребезги напился. Он сорвал с головы свой высокий поварской копака, сбросил фаргук и на глазах у всех слуг кинул их в пруд, где они, будучи сильно накрахмалены, вздулись пузырями, ко всеобщему изумлению, и поплыли белым ворохом. Вдвѣ одну из роз себе в петлицу, размахивая оставшимися в воздухе, кондитер дико горланил песню о «Ваньке-ключнике и молодой княгине» и пытался в таком виде предстать перед нашей матерью. Он рвался к ней. «Она меня ждет!» — рывкал он, награждая зуботычинами каждого, кто преграждал ему путь. Особенно возмущали и озадачивали всех двусмысленные слова нахальной песни кондитера о Ваньке-ключнике: там была какая-то тайна, о которой ведали только «перина пуховая да княгиня молода»... Сдерживавшие кондитера слуги никак не могли понять причины его внезапного сумасшествия. Он выпал в буйство, его связали, и вот тогда неожиданно из его кармана выскользнул и упал на пол детский золотой браслет.

Пошло дознание. Браслет был всем известен, но я и не думала отпираться. Я была ошеломлена происшедшим и понимала одно: корень зла был во мне. Самое тяжелое было, что мне не позволили даже объяснить, чем был вызван мой поступок. Ну что же, к жестокости взрослых я уже успела привыкнуть...

Целую неделю я была лишена солнечного света и сидела в комнате со спущенными шторами. Еду мне приносили не только без сладкого, но даже без белого хлеба. Никаких книг, даже учебников, читать не разрешили. Передо мной на столе лежало только Евангелие. Я должна была все семь дней размышлять о содеянном мною преступлении.

Когда я вышла «на свободу», я узнала, что моя верховая лошадь, мой любимый друг, мой рыжий пони Ами отдан в подарок в зоологический сад.

Вячеслав, как всегда, отчитал меня коротко и ядовито:

— Скажите, какая нашлась маркиза Помпадур! Дарить на память свой браслет! Ро-о-жал! — При этих словах он многозначительно сплюнул в сторону.

Повара-кондитера, конечно, тут же рассчитали, но самое обидное было для меня то, что у него отняли мой браслет. Увидя его в руках у матери, я горько заплакала и была даже рада тому, что она немедленно, у меня на глазах подарила его другой девочке (дочери нашей белошвейки).

Так мои самые искренние чувства принесли только горе человеку, которого я никогда не видела и которому так желала самого большого счастья.

Водопровод работал круглосуточно. Круглосуточно должна была работать и столовая. Казалось, мать ухватилась за эти обстоятельства: зачастую она не приходила ночевать, иногда среди дня забегала отоспаться, умудряясь урвать редкие часы днем, когда ей становилось совсем уж невмочь.

Я понимала ее: ей было тяжело валяться со мной на жестком полу, ей даже тяжело было видеть меня, — и иногда мне казалось, что ей было бы легче, ежели бы я и вовсе не существовала. Часто она отводила от меня взгляд. Но в работе, среди людей, в неустанном труде она забывалась.

Мать обладала огромным мужеством, к тому же ведь она хотя и в юности, но была актрисой. В нашей новой жизни, которую она сама, по своей воле и по своим убеждениям выбрала, ей удавалось казаться спокойной. Она была в меру оживлена, даже улыбалась, но эта игра давалась ей нелегко.

Однажды, видя через окно, что она идет домой, я бросилась к двери и приоткрыла ее, но взглянув на мать, тотчас закрыла. Не веря себе, я продолжала смотреть теперь на мать из засады сквозь маленькую щель. Она поднималась по ступеням лестницы словно на ощупь, не видя ничего перед собой. Ее тонкие пальцы скользили по перилам, и она шла вверх с открытыми, но ничего не видящими глазами, будто сомнамбула. Это оцепенение походило на сон с открытыми глазами или на состояние транса. Какие картины, какие воспоминания проходили в эти минуты перед ее внутренним зрением?.. Закрыв дверь, я отошла от нее с сильно бьющимся сердцем. Мне казалось, я поступила дурно — подсмотрела что-то недозволенное...

Через несколько минут мать вошла; улыбаясь, она обратилась ко мне с каким-то вопросом, и мы заговорили о чем-то постороннем. Теперь, когда я смотрела на нее



внимательнее, я заметила, какие коричневые тени легли под ее всегда прекрасными глазами и волосы ее у самого лба и на висках чуть-чуть посеребрились.

И на плечи этой женщины свалилась тяжелая обязанность меня кормить?.. Сидя в нашей комнате в часы вынужденного одиночества, раздумывая над своим безвыходным и унижительным положением, я все чаще стала думать, что мать может ошибаться. Какое право имела она делать из меня бессловесную рабу и бездеятельного трутня?.. Я стала замечать, какие странные взгляды бросали на меня рабочие, когда я с чайником прибегала к кубу за кипятком. В этих взглядах было и сожаление и любопытство. Но жалости в них было больше. По нескольким долетевшим до меня обрывкам фраз я убедилась, что дочь кухарки считают психованной и какой-то недоделанной: «Оттого и людей боится, оттого взаперти сидит»... Это было последней каплей. Во мне все бушевало; рождался бунт против всех и против всего, а главное, против собственной матери. «Так продолжаться не может, не может,— шептала я сама себе,— я что-то должна сделать». А что именно, еще осознать не могла.

В ясный, холодный день поздней осени, когда мою мать послали в Москву за инвентарем для столовой, я вышла из казармы. Сердце мое было переполнено решимостью, хотя я по-прежнему не знала, к кому мне следует пойти. Куда обратиться? Я остановилась в просторном дворе, вдыхая холодный воздух, полный запахов перепревших листьев. Посмотрела на облетевшие деревья, окаймлявшие рублевские аллеи, увидела вдали двор, заполненный детьми, и большое здание школы. Оттуда доносились веселые детские голоса, смех, выкрики. Видимо, то был час большой перемены, поэтому все ученики и высыпали во двор.

Меня потянуло к ним, потянуло непреодолимо. Мне тоже захотелось смеяться, бегать, играть в салки, захотелось сесть за парту, увидеть перед собой белую глады раскрытой тетради, захотелось взять в руку перо, я даже на какой-то миг почувствовала знакомый запах чернил, но... подавила в себе все эти ненужные чувства и воспоминания.

Быстрым шагом я направилась к школе. Подходя к ней, я заметила на крыльце пожилого человека с длинными седыми усами, внимательно и выжидательно на меня смотревшего.

— Здравствуйте,— сказала я.

Старый учитель ответил молчаливым кивком и продолжал смотреть на меня вопросительно.

— Не нужно ли вам в школе подметать полы, стирать пыльные тряпки, мыть чернильницы или вообще что-нибудь делать? Дайте мне какую-нибудь работу за школьный обед,— выпалила я все, что было у меня на уме, замечая со страхом, что лицо учителя не только не потеряло своего строгого выражения, а, наоборот, стало еще суровее.

— Откуда ты? — спросил он. — Почему до сих пор не приходила?

— Я дочь поварихи, мы приехали из Москвы,— с трудом проговорила я.

— Ну и что же? А почему не приходила? Ты что, не знаешь разве, что учебный год уже начался? Где училась раньше? — забросал он меня вопросами.

— Нигде не училась,— солгала я, заливаясь краской. — И учиться нигде никогда не буду. Я пришла узнать насчет работы. — Мне показалось, что этими словами я ответила на все вопросы старика.

— Ах вот ты как? — Он поправил на носу очки. — Ты кто? Лентяйка или дурочка? — уже зло спросил он. — Вырастешь, тогда найдешь по сердцу работу, а пока иди домой и подумай над своим глупым ответом. Когда надумаешь учиться, придешь, а до тех пор не приходи... Теперь я тебя вспоминаю: это ты весь день шмыгаешь взад и вперед по двору с чайником? И свою мать ко мне приходи. Слышишь? Ишь какая уборщица выискалась...

Быстро повернувшись, я, не оглядываясь, зашагала обратно к казарме, чувствуя спину сверлящий и недоумевающий взгляд старого педагога, который в душе своей был ко мне полон благожелательства и иначе отнестись к моей просьбе не мог...

Эта неудача остро ранила меня, и я почти весь день сидела безвыходно в казарме и в первый раз отказалась пойти за кипятком, когда вернувшаяся из Москвы мать послала меня за ним.

— Почему ты не слушаешь меня? — удивилась мать.

— У меня болит голова.

Мать почти машинально коснулась рукой моего лба, но убедившись, что у меня нет жара, больше ни о чем меня не расспрашивала.

На другой день я снова отправилась в школу. Если в первый раз я пошла наугад и попала к крыльцу школы второй ступени, где встретил меня сам заведующий, он же, как потом оказалось, и учитель математики, то теперь я надеялась встретиться с кем-нибудь из учительниц. Их было много, все они были молодые, и мне хотелось верить, что женщины отнесутся ко мне мягче. Но ничуть не бывало! И другое крыльцо не принесло мне удачи. Результат был тот же. Сконфуженная я стояла в большой, просторной учительской.

— Работы для подростков у нас нет. Подростки у нас учатся, а в твоём возрасте кончают школу второй ступени...

Такой ответ услышала я от учительницы, которая сортировала и просматривала груду лежавших перед ней на столе тетрадей. И по безапелляционному тону, по строгому звучанию ее голоса и даже по тому не совсем искреннему рвению, с которым она продолжала заниматься своим делом, я поняла: надежды нет!..

— Извините,— тихо сказала я и медленно направилась к дверям.

Я шла мимо пестрых географических карт, развешенных по стенам, мимо каких-то расписаний... Все кончено! все для меня кончено! — отбивало мое сердце. А на больших окнах с широкими подоконниками стояло множество цветущих растений, мелькали яркие огоньки герани, распластались блестящие, точно влажные, широкие листья бегонии. В маленьких горшочках сидели всевозможные виды кактусов, а поверх них протягивало свои пахучие листья лимонное дерево. Здесь было светло и чисто, щедро обласкано солнцем, здесь все росло вместе с той веселой беззаботной гурьбой ребят, что, смеясь, прыгали и кричали во дворе. Но мне здесь не было места... Вдруг я поравнялась с роялем. Войдя в учительскую, я в волнении его не заметила. На его черном полированном хвосте лежали разбросанные ноты. Я невольно остановилась. Это было мое любимое, родное, но я не смела дотронуться до нот, тщетно пытаюсь хотя бы прочесть заглавия на обложках.

— Любишь музыку? — раздался за моей спиной вопрос учительницы. Я кивнула.— Может быть, ты играешь?

Я снова кивнула, потому что слова застряли у меня в горле. Услыхала за спиной звук отодвигаемого стула. Затем легкие шаги. Учительница встала и подошла ко мне.

— Садись сыграй что-нибудь.— Она подняла крышку и указала мне глазами на белевскую клавиатуру.

Я села и заиграла первое, что пришло мне в голову. Это были «Три контрданса» Бетховена. Видя улыбку поощрения на лице учительницы, я прервала контрдансы бравадным «Свадебным шествием» Грига.

— Да ты нам позарез нужна! — воскликнула учительница.— А можешь ли ты подбирать по слуху? Ну, например, «Интернационал»?

Стараясь не ошибаться, я стала подбирать много раз слышанный мотив.

— Это слишком низко,— прервала учительница,— попробуй в другой тональности, повыше. Но только чтобы наверху было не выше верхнего фа.

Подбирая удобную для хора тональность, мы обе увлеклись, обе пели, и я даже на какой-то миг забыла о том, зачем я сюда пришла. Учительница сама прервала наше занятие. Она обняла меня за плечи.

— Ты будешь учительницей пения,— сказала она.— Будешь каждый день наравне с нами иметь школьный завтрак... это пока... а там увидим... Теперь ответь по-честному: почему не хочешь учиться? — Спрашивая так, она взяла меня за плечи и, крепко держа перед собой, испытующе смотрела мне в самые глаза.

— Если по-честному,— так же прямо, не отводя взгляд, ответила я,— то на этот вопрос я ответить не могу. Не хочу лгать. С учением у меня покончено навсегда, а работать мне надо. Понимаете?

Она тут же отпустила меня. Отошла и села вновь на свое прежнее место за столом. Теперь она смотрела на меня понимающе и, будто не придавая значения моему ответу, спросила:

— Это твоя мать устроилась работать в нашей рублевской столовой?

— Да.

— Вы приехали из Москвы?

— Да...

С минуту учительница молчала, что-то соображая.

— Хорошо! Я постараюсь уладить вопрос с тобой в нашем школьном совете. Думаю, что все будет хорошо. Ты нам очень нужна. Может быть, в дальнейшем удастся провести тебя на эту должность. Конечно, заглазно... если выйдет...— И, словно спохватившись, быстро заговорила:—Сегодня же после четырех, когда окончатся занятия, приходи ко мне сюда, надо подобрать несколько песен. Надо еще посмотреть, справишься ли ты. Будем петь «Смело, товарищи, в ногу», «Мы — кузнецы», «Вихри враждебные»... Я подготовлю тебя к первому уроку.

Александра Николаевна Ивакина — так звали эту милую, навсегда запомнившуюся мне молодую женщину. Чуть-чуть курносая, с густыми пепельными волосами и большими темно-кариими глазами, она обладала прекрасным сочным контральто; впоследствии я аккомпанировала ей много раз на концертах в Рублеве. Она пела арию Любавы из «Садко», песни Леля из «Снегурочки» и классические романсы. Я не знала, что именно подумала Ивакина обо мне и о моей матери, но больше никогда никто из учителей меня ни о чем не расспрашивал и поступить в рублевскую школу мне не предлагал.

Когда в вечер этого памятного дня моя мать пришла из столовой, принесла мне, как обычно, свой ужин, меня не оказалось. Комната была пуста. Вернулась я только в девять часов вечера. Мать встретила меня тем негодующим взглядом, от которого у меня раньше застыла бы кровь в жилах. Но на этот раз я, ничуть не испугавшись, радостно бросилась ей на шею и бессвязными словами пыталась рассказать о моей удаче.

— Все-таки ты посмела меня послушаться! — сказала мать, холодно освобождая свою шею от кольца моих сомкнутых рук. — Ты все-таки поступила против моей воли!

— Да! И буду так делать всегда, если вы окажетесь неправой! — воскликнула я решительно, сама не веря своим ушам и не узнавая звука своего голоса.

— Я могу быть неправой? — медленно повторила мать. — Так ты сказала? — Она поблдевала от гнева.

— Да!!! — еще раз непозволительно громко ответила я, чувствуя, словно во мне говорит кто-то другой. Потом я уже много тише продолжала: — Не сердитесь на меня, прошу вас! Вы все еще считаете меня ребенком, а я ведь все, все вижу! И ваши страдания. Ну поймите вы меня: я сама должна зарабатывать себе на хлеб!

Мать посмотрела на меня с удивлением и опустила глаза. Когда она подняла их вновь, я увидела, что в них стояли слезы. О, как захотелось мне снова броситься к ней на шею! Но я сдержала свой порыв и, сделав вид, что ничего не заметила, молча отвернулась...

Возможно ли описать, какой прекрасной стала моя жизнь? Я бросилась в работу с такой радостью, с какой измученный жарой человек бросается в прохладные волны многоводной реки. Теперь каждый новый день не был для меня пустым днем. Я была взята на месяц испытательного срока, но я уже регулярно получала питание. Это был хотя и очень жидкий, но суп из пшена, а затем мороженая, но все же картошка. Все это было горячим и казалось бесконечной роскошью в те голодные годы, но самым главным был кусок, маленький кусок сероватого, полусырого хлеба, моего собственного, трудового. Этот паек получали все трудящиеся люди, и я получала его тоже наравне со всеми. Он наполнял мое сердце радостью, неизменной гордостью, и я больше не боялась будущего: я знала — работы хватит... Я знала и другое: я тоже была нужна!..

Но с первого же дня работы встали на моем пути и первые трудности. Дело в том, что школьники, точно сговорившись, не желали видеть во мне педагога, держали себя со мной запанибрата. Никто не хотел меня слушаться, а некоторые начали с того, что стали меня изводить. В большинстве случаев это были ученики старших классов, у которых уже начинали звучать по-мужски голоса и появлялся над губой первый пушок.

На хоровых занятиях, когда сама Александра Николаевна пела с нами густым, сочным голосом, все шло благополучно, но едва начинался урок теории — нотной грамоты — и я оставалась с моими учениками с глазу на глаз, как поднималось что-то невообразимое. Предметом их бесконечных насмешек был мой (очевидно, от больного сердца) румянец и завивавшиеся с юности волосы, которые я никак не могла пригладить щеткой.

— Катерина в класс пришла — накружилась. И висюльки себе навела — накружилась! — орала они хором.

Продолжалось все это безобразие до тех пор, пока я в ярости (чего они только и дожидались) не вскакивала со своего учительского места и мы всем гуртом, к их великому удовольствию, не отправлялись в умывальную. Там, чтобы доказать им, что они ошибаются, я при них мочила волосы, которые еще больше вставали дыбом, и терла водой щеки, отчего они краснели до безобразия...

Конечно, для учителей это не прошло незамеченным; они решили мне помочь: теперь на уроках теории музыки присутствовал для порядка тот самый заведующий школой, к которому я пришла в первый раз. Сама не знаю почему, но я навек сохранила по отношению к нему чувство непреодолимого страха. Боялась я его ужасно: настороженный, с грозным взглядом поверх очков, с огромными усищами, он безмолвно сидел на уроках, и мне казалось, что усищи его шевелятся... Мел прыгал в моей руке, нотные линейки, которые я рисовала на доске, выходили кривыми, а кружки нот — кособокими. Зато в классе царил полная тишина.

Несмотря на первые трудности, мой испытательный срок прошел хорошо, и я получила от школьного совета направление в Москву, в МОНО. В Москву поехал сам председатель школьного совета. Мое назначение состоялось заглазно. Так я стала учителем пения.

— Ты теперь педагог, — улыбнулась снисходительно мать, — пожалуйста, веди себя солиднее: не бегай по двору за кипятком вприпрыжку, не скачи, как коза, через лужи. Я дам тебе шпильки и покажу, как надо закалывать косы на затылке.

Проходя свое трудовое крещение после первых арестов и потери близких, мы обе шли на ошупь, шли в поисках любого труда. Только нехватка в людях (я говорю о тех, которые могли быть полезными, но еще раздумывали и взвешивали: стоит им идти работать на большевиков или подождать какого-то «другого времени»?) сделала мою мать сначала кухаркой, потом заведующей столовой, а меня, несовершеннолетнего подростка, педагогом.

Сейчас почти все дети поют и учатся музыке. Если не профессионально, то дома или в вечерних музыкальных школах. Дома они слушают радио, по слуху поют запомнившиеся песни, многие носят на ремне веселый играющий и поющий транзистор. А в те далекие годы, какими были 1918-й и 1919-й, ничего этого не было. Тяга же к музыке была огромной. Вот почему вся молодежь Рублева хлынула ко мне, когда узнала, что я играю на рояле.

В благоустроенном зрительном зале Рублева теперь ни один показ кинокартин не обходился без меня. Ведь в те дни кино было немым и все фильмы шли под рояль. Усевшись на эстраде, за экраном, я видела всю картину и происходящее на экране сопровождала музыкой, которая подходила к тому или иному эпизоду. Сначала это было для меня очень трудно и мне даже казалось, что я никогда с такой работой не справлюсь. И выходило у меня все неважно: я спотыкалась, а иной раз вовсе от страха умолкала. В таких случаях в зале раздавались беспощадные свистки.

— Эй, Катя! Музыку давай! Чего застряла? — кричали мне.

В особенности было трудно, когда шли кинокомедии с Фэрбенксом, с Максом Линдером и Чарли Чаплином: они требовали совершенно диких темпов. Мой классический репертуар в таких случаях абсолютно не подходил. Но вскоре все трюки, гонки и бешеную погоню на автомобилях я стала сопровождать быстрыми техническими этюдами, и тогда дело пошло на лад. Я до сеанса просила прогнать мне всю ленту в пустом зале и таким образом заранее подготавливала музыкальное оформление. Теперь возникла новая трудность: соединять один музыкальный отрывок с другим, приходилось придумывать какую-то отсебятину, чтобы они склеивались незаметно. Но и эту трудность я одолела, и некоторые экспромты, придуманные мною, мне самой даже нравились...

Теперь вместе со мной на эстраду позади экрана забиралась целая компания рублевской молодежи. Все смотрели кино и с восторгом слушали мою игру, считая меня настоящей пианисткой. Конечно, в душе я краснела: что сказал бы мой профессор музыки, услышав весь «музыкальный салат», автором и исполнителем которого я была!..

Зато мой престиж среди рублевской молодежи рос не по дням, а по часам. Я даже стала получать записки. Тексты их были приблизительно такими: «Катя! Поче-

му ни с кем не гуляешь? Давай гулять со мной»; или: «Катя, выходи гулять на фильтры. Я давно по тебе страдаю»; и еще одна, которую я сохранила и сейчас в моем архиве: «Катя! Я влюбился в тебя, как свинья, сам не знаю, что со мной. Выходи гулять на танцы...»

Когда я показала эти записки моей матери, она очень на меня рассердилась.

— Этого еще не хватало! — воскликнула она. — Ты во всем сама виновата! Слишком много поешь и много смеешься! Держись серьезнее и отвечай всем, что ты педагог, это во-первых, а во-вторых, тебе еще по годам ни с кем гулять не положено. Слышишь?

Но на фильтры я все-таки ходила. Ходила, когда все уже спали, когда встречала мою мать в перерывах ее круглосуточного дежурства. Это замечательное место: большое гладкое пространство, на котором были разбросаны выходявшие из земли круглые углубления подземных фильтров. Крышки иных были закрыты, у других полуприподняты над землей. Я уходила в мир фантастики: эта снежная даль, простиравшаяся передо мной, начинала мне казаться брошенным полем древних русских битв, а круглые крышки фильтров — щитами витязей, сраженных на поле брани. Зимняя вьюга в те снежные ночи звучала симфоническим оркестром. Я слышала арию Руслана из оперы Глинки: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»

Я любила бродить густо заснеженными ровными аллеями Рублева. Черные узоры оголенных ветвей качались над моей головой на фоне бесцветного зимнего неба, и мне казалось, что это шумят деревья родного Петровского, его густого парка, родной земли, на которой промелькнуло мое короткое детство.

Когда моя мать дежурила всю ночь напролет, я позволяла себе запретную роскошь. Так как я теперь вела всю клубную работу, мне для подготовки к занятиям был доверен второй ключ от клуба. Днем не хватало времени заниматься на рояле, и иногда я посвящала этому ночные часы. Я входила в пустое здание, запиралась на ключ. Ощупью пробиралась на сцену, включала небольшую лампочку, потом доставала тетради с нотами, всегда хранившиеся около рампы, и садилась за рояль. Зрительный зал тонул во мраке. Я представляла себе, что он ярко освещен и все ряды заполнены публикой. Я играла вещь за вещью, забывая обо всем на свете. Я воображала себя пианисткой, слышала аплодисменты: в те дни я была еще глупым подростком и фантазеркой.

Но вскоре жизнь, жизнь реальная и требовательная, оторвала меня от всех моих девчоночьих грез. Ночью надо было спать, для того чтобы потом весь день трудиться. А работы было по горло. У меня не бывало минуты свободной. Все вокруг меня хотели петь, и каждому я аккомпанировала. Школьные спектакли тоже не проходили без музыки. Если я играла в клубе, сопровождая картину, то и после ее окончания меня не отпускали домой. Все хотели танцевать. Я должна была играть вальсы, краковяк, падеспань, польку и без конца русскую. Конечно, не обходилось и без лихой цыганочки...

В Рублеве жил застрявший каким-то образом после первой мировой войны не то немец, не то австриец. Звали его Вальтер. Он был чудесным скрипачом-самоучкой. К нему примкнули рублевские парни, игравшие на мандолине, гитаре и балалайке. Недоставало только концертмейстера, который и появился в моем лице, когда я по их просьбе села за рояль. На радость не только Рублеву, но и многим окрестным деревням, оркестр очень быстро заслужил большую популярность и любовь.

На нашем «культурном фронте» не все было гладко: несколько раз я была свидетельницей самых отчаянных побоищ. Дело в том, что в рублевский клуб на зрелища приходило немало молодежи из окрестных деревень — Павшина, Захаркина и других. В то время многие в Подмоскowie гнали самогон, и вот бутылки с так называемой ханжой молодежь приносила с собой на гулянье в Рублево. Тут же украдкой их распивали. После кино или спектакля обычно бывали танцы, и с них-то и начиналось ухаживание за девушками. Подбодренные ханжой, парни придирались друг к другу по всякому поводу. Конечно, причиной ссоры обычно бывала ревность, и затевалась драка. Да еще какая! Начиналось с рукопашной, а кончалось дикими побоищами, причем в ход пускались финки.

С тех пор как в клубе участились вечера и концерты, молодежь проводила здесь все свое свободное время. Многие приходили из окрестности со своими инструментами, чтобы вступить в рублевский оркестр.

Конечно, рояль есть рояль, без него нет работы в клубе. Но в данном случае мне, неопытному подростку, никаких заслуг приписано быть не может. Если в хоровой работе школы меня всецело вела и во всем помогала учительница Александра Николаевна, то в организации оркестра моим наставником стал Вальтер — первая и единственная во всем оркестре скрипка. Благодаря этим людям я все увереннее и увереннее себя чувствовала, а музыка объединяла всю молодежь и стирала существовавшую ранее вражду: «Наши девушки, рублевские, — не ваши, мы свои, а вы пришлые, чужие».

Откуда же я, подросток, учившаяся в закрытом институте, могла что-то смыслить в струнном оркестре? Дело в том, что уже в девятилетнем возрасте я играла на аккомпанирующей балалайке в нашем струнном домашнем оркестре. В нашем доме огромное место занимало искусство, был свой театр. Музыкой же были заняты все: мать пела, брат играл на скрипке, я — на рояле. Однажды брат вместе с товарищами организовал струнный оркестр. Он тут же засадил меня за вторую, огромную для маленькой девочки, балалайку. Она еле умещалась на моих коленях. Видя, как мне трудно с ней справиться, брат подбодрил меня:

— Не кричи и не сопи. Выше голову! Ты здесь одна девчонка. Тебе выпала высокая честь. Гордись!

Мне действительно от этих слов становилось радостнее на душе, но на деле было неважно: на балалайке было три струны, и одна толще другой. Аккомпанемент был несложен, всего два-три аккорда, но я никак не могла усвоить, в каких местах надо менять аккорды...

— Откуда у меня сестра такая тупица? — восклицал брат, давая мне исподтишка подзатыльник. — Если тебе медведь на ухо наступил, то смотри на меня: как я тебе подмигну, так и меняй аккорд!

От толстых проволочных струн у меня болела кожа на пальцах и натирались воддыри.

— Я не могу больше... мне больно... — хныкала я.

— На войне хуже бывает, — отвечал брат и подкреплял мою волю более внушительным подзатыльником.

Вскоре я освоилась и музыкальным чутьем угадывала смену нужного в том или ином музыкальном обороте аккорда.

Потом я уже играла на первой балалайке и даже на мандолине. Позднее мне вменялось в обязанность самой настраивать по роялю все инструменты перед каждой репетицией или выступлением. Многому меня научил и наш домашний театр, которым я была так увлечена в детстве.

Театр... Им увлекались не только люди нашего класса, им увлекались все. Поэтому спектакли игрались где только было возможно. В старых сараях, недостроенных помещениях, в беседках парка, на террасах больших дач, не говоря уж о специально построенных любительских театрах.

Наш театр со зрительным залом на двести человек находился, как я уже говорила, на втором этаже. В подвальных помещениях в трех огромных сундуках хранился театральный гардероб. Открывались сундуки большим, красивым, резным медным ключом, при повороте которого начинали звучать мелодии, походившие на игру музыкальных шкатулок. Один сундук хранил военные старые мундиры, треуголки с перьями, кавалерийские сапоги с огромными смешными шпорами, изящные тонкие рапиры, неуклюжие грозные эспадроны. Другие сундуки хранили древние кокетливые кринолины, кружева, тальмы, платья давным-давно умерших царских фрейлин и много старинных вечерних дамских туалетов с разноцветными веерами из кружев, из райских перьев, расписанных художниками.

Как я, маленькая девочка, рвалась на сцену! Как завидовала взрослым, игравшим пьесы, водевили, ставившим шарады! Но для меня не находилось ни одной роли, а брат пресекал все мои попытки одной и той же жестокой фразой: «Эта абрикоса не для твоего носа!» — за этим я получала по носу легкий, но все-таки обидный щелчок. Затаив обиду, я бежала за кулисы, чтобы, спрятавшись, услышать читку очередной пьесы или смотреть репетицию.

И вдруг обо мне вспомнили! Понадобился маленький негритенок. Я была счастлива без границ!

Но когда мне вздумали измазать сажей все лицо и руки, а на рот наклеить из

толстого красного сукна вывороченные негритянские губы, я расплакалась и отказалась.

Негритенок же был нужен позарез! Тогда мне на голову натянули черный шерстяной нянькин чулок, для глаз вырезали дырочки, а вокруг них нашили большущие глаза с круглыми белками. Для рта прорезали небольшую щель, а на эту щель, тоже прикрыв ее, нашили все те же вывороченные, из сукна, негритянские губы. Все это мне даже и понравилось бы, если бы не мой сильно расплющенный чулком нос. Вместо того чтобы измазать мне сажей руки, на них надели мамины черные лайковые перчатки.

И вот миг счастья! Мягко зашелестев, обе части занавеса раздвинулись. Красавец Султан (конечно, Вячеслав) в расшитом камнями тюрбане полулежал на парчовом ложе под шелковым багдахином. Толпа только что купленных рабынь толкалась у входа, и при каждом ударе старого Визиря в ладоши два евнуха выводили одну за другой невольниц.

Я усиленно помахивала опахалом, которое, кстати сказать, оказалось тяжело-ватым. От каждого движения шерсть нянькиного чулка отчаянно щекотала лицо, и от моего затрудненного дыхания маленькие шерстинки вползали в ноздри. Стараясь освободиться от них, я сделала глубокий вдох, думая, что они вылетят, но вместо этого они уже целым вихрем вползли мне в ноздри. Случилось самое ужасное: я громко чихнула, чуть-чуть подпрыгнула, опахало задело багдахин, его шнуры сначала натянулись до предела, а затем лопнули — и огромный багдахин, шурша шелком и звеня бисерными кистями, рухнул вниз...

Невольницы с визгом разбежались, а одна, зацепившись за что-то, разорвала свой газонный хитон и под веселый хохот зрительного зала полуобнаженная убежала за кулисы.

Так, чихнув, я провалила всю сцену красоты Востока и покрыла себя несмысленным позором, но в душе своей сохранила ненасытную страсть к театру. Запах кулис, шорох раздвигавшегося занавеса, черная бездна зрительного зала, погруженного во мрак, заморозили, заколдовали мою детскую душу.

И вдруг снова обо мне вспомнили! Вспомнили потому, что кто-то из взрослых увидел, как высоко я люблю взлетать на гигантских шагах, в особенности когда меня заносило.

Во дворце шли репетиции к отрывкам из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Была необходима ведьма, пролетающая на помеле по небу (в то время как она же в образе красавицы Панночки лежит бездыханная на лугу в траве).

В самом верху над сценой на металлическом тросе висело и двигалось нечто вроде маленького креслица, напоминавшего корзинку. Креслице это было металлическое, и через него была проткнута большая метла. Казалось, что я сижу верхом на метле, в полете кресло скрывалось в складках моей широчайшей черной юбки, развевавшейся по-ведьмински. Уродливая маска Бабы Яги с длинным крючковатым носом и темный платок, из-под которого развевались по ветру пряди белой мочалки, — все это сделало свое дело: ведьма была налицо.

Пролетая по небу, я должна была, дико визжа, переходить затем на низкий собачий вой, а потом снова на визг и снова на вой. Репетиции проходили блестяще: я оглушала всех актеров, с хохотом они затыкали уши, потом аплодировали мне, и гордость моя росла, но... на премьере ретивые механики перестарались и слишком сильным рывком запустили мою корзинку по тросу. Меня спасло только то, что первый толчок получила ручка метлы, отчего деревянная ее часть с треском разлетелась, но лоб мой был разбит в кровь, а ведьминский вой сменился отчаянным детским криком и ревом.

С этого дня с театром было покончено. Мама запретила мне не только слушать репетиции, но и присутствовать на спектаклях. Гувернантка не спускала с меня глаз и ходила за мной по пятам. Я почти все лето проходила с забинтованной головой, а зажившие ссадины долго еще держались на моем лбу синеватыми пятнами.

Потом прошло еще лето, а за ним еще одно... И наконец наступило то самое, когда мама скрывала у себя трех приговоренных к ссылке студентов.

Хотя мои злополучные выступления на сцене были давно забыты, однако один человек их помнил и даже задумал снова выпустить меня на сцену. То был учитель

греческого языка моего брата Степан Николаевич Мелисари и его близкий друг, приехавший к нам из Афин в Россию погостить, Панайот Георгиевич Концаппоуло.

Юность всегда тянется к юности: Мелисари с Панайотом, часто заходя во флигель управляющего, познакомились, а затем и сблизились с так называемыми бывшими каторжниками, о которых я расскажу позже, а те в свою очередь сдружились с сыновьями управляющего — молодыми студентами.

Дневного чая я всегда ждала с радостью: после него обычно моя гувернантка читала какой-нибудь роман, лежа в гамаке, или писала письма на родину, или просто удалялась к себе в комнату поспать часок-другой.

У меня же в эти часы был урок верховой езды на моем любимце пони Амишке, и я переходила на манеже в руки нашего берейтора Смэтта. Это был человек небольшого роста, седой, добродушный, но строгий в правилах верховой езды. Он мне очень нравился, потому что никогда на меня не жаловался. Если Смэтт бывал занят, то я имела право, взяв свои игрушки, уйти в самые отдаленные места парка. Там я часто встречалась с Мелисари, Панайотом и со всеми обитателями флигеля. Обычно они подзывали меня к себе и, усевшись на первую попавшуюся скамейку или в беседке, просили меня прочесть им какие-нибудь стихи. В памяти моей их было множество, декламировать я очень любила. Правда, к сожалению, это был не зрительный зал, но... остальное дополняла моя пылкая фантазия.

И вот однажды Мелисари сказал:

— Не горюй. Ты у нас обязательно выступишь на сцене, и очень скоро.

От волнения у меня даже дыхание перехватило.

— А что скажет мама? А Вячеслав? Кто меня допустит?

— Все должно готовиться в полной тайне.— Тут Мелисари перешел на шепот заговорщика.— Никому ни слова! Полная конспирация. Мы тебя переоденем, а потом, когда узнают, будет поздно. Тебе будут рукоплескать, как Ермоловой. Всем, кто тебя не признавал, мы натянем длиннющий нос! Выше голову, рыжая Pугal Мы теперь все заговорщики! Смотри же не проговорись!

Тщеславие всегда было моим пороком. Это предложение я сочла большой честью. Взрослые прекрасно знали, как поймать меня на удочку: жажда славы вскружила мне голову, я горела одним желанием — отомстить маме за ее всегдашнюю ко мне строгость и натянуть нос моему брату-командиру.

Уже прошли те времена, когда я прятала свои запретные писания в кукольной комнате на полу под ковром. Теперь я хранила их в шкафу в моей детской библиотеке за книгами. Туда я положила и вырванный из хрестоматии лист со стихотворением Плещеева «Все люди—братья». Этот лист, сложенный вчетверо, мне передал Панайот.

После двух-трех свиданий с заговорщиками в парке стихотворение было выучено наизусть; но тут я узнала нечто очень для себя неприятное. Дело в том, что в нашем зрительном зале первый ряд кресел почти весь был персональным и одно из кресел в самой середине принадлежало предводителю московского дворянства, известному государственному деятелю царской России Александру Дмитриевичу Самарину. Он был попечителем дворянского института у Красных ворот, где я впоследствии училась. Этот седой, благожелательный ко всем старик пользовался всеобщим уважением и был к детям необычайно добр и ласков, и вдруг теперь, произнося фразу: «Богатый! Ты носишь нарядные платья!!!» — я должна была, вытянув вперед правую руку, злобно погрозить указательным пальцем перед самым носом Самарина... Ведь это же означало оклеветать нашего друга, опозорить его, указав на него всему зрительному залу!

— Этого я не могу! Не могу... — зашептала я.

Но тут Панайот с досадой взъерошил пятерней копну своих черных кудрей и вытаращил на меня свои зеленые кошачьи глаза.

— Значит, мы все ошиблись в тебе — ты не актриса. Актриса не должна иметь своих собственных чувств, личных симпатий и антипатий. Она должна перевоплощаться. Ты играешь оборвыша, нищего мальчишка, о котором написал стихи Плещеев. Твои родные, замученные помещиками, умерли. И вот этот нищий, без крова, бродит по дорогам.

— Но ведь крепостного права больше нет! И Александр Дмитриевич не имеет никаких крепостных! — возмущилась я.

— В том-то и дело, что ничего этого нет! — с улыбкой вмешался в наш спор



Мелисари. — На то и театр: театр умеет воскресить Любую эпоху. Если ты актриса, то должна понять, что Китти Мещерской нет, а есть несчастный мальчик-нищий. Самарина тоже нет. Это к нему лично не относится. Он предводитель дворянства и является представителем того класса, который ненавистен несчастному, голодному оборвышу, понимаешь?! В этом ты и должна убедить всех зрителей; это твое выступление — экзамен твоему таланту, понимаешь? Ты услышишь, как весь зал будет тебе аплодировать...

И зал действительно гремел рукоплесканиями. Крики «браво», «бис» взлегли высоко, под самый купол дворца, падая на мою детскую трепещущую душу волшебным дурманом. Правда, где-то глубоко в памяти моей запечатлелись удивленное и несколько даже растерянное лицо Самарина, бледный от гнева Вячеслав, закусивший нижнюю губу, что всегда было признаком его волнения, и красивая рука бабушки, слишком быстро обмахивающая разгоряченное лицо черным кружевным веером... Но до этого ли мне было! Я так всегда мечтала быть мальчишкой! Я была в восторге оттого, что мою косу запрятали в большущий картуз. Он был выпетший от дождя, с черным сломанным лаковым козырьком. На моих ногах были подвязанные веревками грязные лапти. А когда я устала выходить на сцену и раскланиваться, Мелисари схватил меня, поднес к самой рампе, поднял высоко в воздух, повернул спиной к зрительному залу и показал всем огромную четырехугольную ярко-рыжую заплату на моих темных штанах. Эффект был невообразимый: зал завыл от восторга.

Нужно признаться, что в тот миг я в душе своей даже немного обиделась, так как поняла, что вид этой огромной рыжей заплаты затмил мое драматическое выступление. Наступил момент отрезвления, и я начинала понимать, что мне грозит немалое наказание. Однако, как ни странно, его не последовало.

На то было много причин: в те дни у нас гостили чопорные Горчаковы и Мещерские из Петрограда. На гастроли в Москву приехала «украинская Ермолова» — Мария Заньковецкая. Из чувства гостеприимства мама не могла закрыть двери перед главным инициатором и зачинщиком моего выступления Панайотом Концамполоу: он был не только другом детства Мелисари, но и племянником архиерея Арсения, жившего в Афинах, многолетнего духовника нашего покойного отца.

Мое выступление поэтому рассматривалось как экспромт-шутка фрондирующей молодежи.

Вячеслав дипломатично молчал, наказывая меня своим полным презрением, но однажды гнев его прорвался. Он преградил мне путь на одной из дальних аллей парка. То был час отдыха, когда я после дневного чая пошла с книгой в одну из беседок.

— К флигелю пробираешься? К своим друзьям? Новые стихи собираешься читать?

Я стояла перед братом молча, ожидая обычного подзатыльника.

— Эх ты, дура набитая! Ловко тебя использовали революционеры! Нашла себе друзей, нечего сказать... — И, повернувшись на каблуках, насвистывая кавалергардский марш, быстро пошел в другую сторону.

На работе у моей матери были свои трудности. Дело в том, что предыдущие заведующие столовой никогда долго не задерживались на своем посту, все они были родом из окрестных деревень и не могли удержаться от соблазна «сэкономить» на рабочем питании. В результате у такого работника столовой появлялась то телочка, то корова, а иногда покупался и пелый сруб. Затем неожиданно нагрянувшая ревизия обнаруживала недостачу в деньгах и продуктах, провинившаяся увольнялась, а рублевская столовая опять оказывалась без заведующей. Моя мать всей душой отдалась незнакомому делу. В ней неожиданно обнаружилась талантливая кулинарка — даже при всем скудном ассортименте продуктов тех лет. Очень скоро завтраки, обеды и ужины стали улучшаться за счет прежде списывавшихся и разбазаривавшихся из-под полы «остатков». Кроме того, в это голодное для всей страны время у рабочего стали меньше вычитать за питание, и каждый из них был благодарен за это. Пообедав, люди зачастую приходили к матери, пожимали ей руку, благодарили.

Все было ясно: человек работал честно. И вот тогда моя мать стала получать анонимные письма. Ее предупреждали, чтобы она «немедля убиралась, пока не поздно», чтобы «уезжала, откуда приехала», иначе получит «нож в бок». Мать ничего не го-

ворила об этих письмах, но я сама находила их подсунутыми под нашу дверь. Я тоже делала вид, что не придаю им значения, хотя и видела встревоженное лицо матери. Но она никогда не была трусихой и продолжала по-прежнему ходить глухой ночью через поле в барак столовой, чтобы проверить очередной ужин ночной смены. Я так и не узнала, как она справилась со своими анонимными врагами. Наверно, ей в этом помогли сами рабочие, которые очень хорошо к ней относились.

Воскресенье было для нас тяжелым днем. Поскольку обе мы имели питание на своих работах, этот день был для нас днем голода. Поэтому я согласилась давать уроки музыки двум детям инженера в Рублеве. Плату я взяла за уроки я получала от них мо-локом, так как у них была своя корова. Потом я взяла еще один урок — его мне оплачивали картошкой. Теперь мы были сыты по горло, а мать, смеясь, говорила, что по воскресеньям она была моей иждивенкой. Хотя это и была шутка, но в ней была доля правды, и сердце мое переполнялось гордостью...

Словно сговорившись, мы избегали рублевскую интеллигенцию; даже у себя в школе я никогда ни с кем из учительниц ни о чем постороннем не говорила, хотя часто ловила на себе их молчаливые взгляды. Нас больше тянуло к рабочим, с ними нам было легче и проще.

Лишь теперь я столкнулась лицом к лицу с тем народом, который прежде из-за моего происхождения был отгорожен от меня непроходимой стеной. Ведь в детстве крестьяне были для меня толпами, которые с песнями тянулись вдоль дороги к нашему имению. Приходили они то с первым снопом хлеба, то по случаю церковного праздника. На поляне перед домом им накрывали столы с угощением, давали денег, а иногда выкатывали из погреба бочку вина.

В подмосковном имении мы видели крестьян ближе: это бывало в морозные дни зимних каникул, когда, пройдя несколько верст на лыжах, мы заходили в первую попавшуюся избу передохнуть и натереть лыжи канифолью. Нас встречали приветливые лица: ставился медный самовар, в нем варили чисто вымытые яйца. Мы мазали свежесбитое масло на душистый деревенский, своего печения хлеб, и нам наливали полные блюда тягучего, ароматного темно-золотистого меда...

Было бы неправдоподобно услышать из моих уст рассказ о том, что у моей матери были хорошие отношения с крестьянами, хотя об этих отношениях, не прерывающихся и сейчас, уже не с матерью, а со мной, ее дочерью. О чувстве глубокой дружбы и уважения, об этой связи с простыми крестьянами из нашего прошлого я бы могла написать целую книгу. В продолжение всей моей жизни я видела от них очень много добра и помощи.

Но я ограничусь только теми фактами, которые можно проверить. В нашем подмосковном Алабине границей парка служила река. За водопой крестьяне постоянно платили управляющему наших имений определенную мзду. Посоветовавшись между собой, крестьяне пришли к матери. Они просили разрешения раз и навсегда оплатить эту землю, то есть просили продать им кусок земли.

— Возьмите эту землю совсем, — сказала мать и с этими словами написала крестьянам дарственную.

Наша мать единственная из всей округи открыла дополнительные школы, чтобы после четырехклассного церковноприходского училища дети крестьян довершали образование в объеме восьми классов. Много семейным учителям моя мать дарила корову. Таким был Сергей Иванович Астахов.

В Петровском было два здания прекрасной кирпичной кладки времен Демидовых. (Петровским когда-то владели Демидовы, потомки кузнеца Демидова, а расположенным рядом имением Покровским владели Мещерские. Когда один из Мещерских женился на соседке по имени Демидовой, то и Петровское перешло в родовые земли Мещерских.) Это были две оранжереи, в которых выписанный из Греции садовник Габикоста выращивал диковинные фрукты. В особенности у нас в Петровском славились розовые перски — сорт, которым Мещерские любили поражать своих гостей.

В те годы вместо быстрых и бесшумных электропоездов Киевской дороги по вечно ремонтируемой одноколейной «брянке» тащился пыхтящий паровик, переживавший на всех разъездах встречный поезд. Ехал этот паровичок сорок пять верст два часа по расписанию, но на самом деле имел всегда не меньше еще одного часа опоздания. Поэтому большинство помещиков, в том числе и мы, предпочитали возить своих гостей одиннадцать верст на лошадях по шоссе на Голицыно, по Александровской (теперь Белорусской) железной дороге — тут поездов ходило гораздо больше и шли они чаще.

Ни в Покровском, ни в Петровском не было никаких магазинов, кроме аптеки, а крестьяне не имели ни времени, ни денег, чтобы часто ездить в Москву. «Проживем и без розовых персиков»,— решила наша мать. Она наградила Габикоста деньгами и отправила его обратно в солнечную Грецию, а сама затеяла переоборудование обеих оранжерей. Вскоре они обратились в прекрасные магазины, которые, имея всевозможные товары, получили от крестьян название потребительской лавки. Оба эти здания, а равно и всю землю, ими занимаемую, наша мать передала крестьянам, подписав дарственную. В самом начале революции в одном из этих зданий помещался первый волполком.

С первого дня революции и все последующие годы никто из крестьян никогда, как говорится, пальцем нас не тронул. Наоборот, иногда в голодное время, разыскав нас в Москве, кто-нибудь из крестьян привозил нам молоко, хлеб, а то и кусок мяса. Голод был ужасающий, и этот кусок крестьянин отрывал от своей семьи.

Но история есть история, и если наша мать была в какой-то степени исключением, то на наших глазах с подобными нам крестьяне жестоко расправлялись. Простые люди предъявляли счет своему бывшему хозяину-обидчику, и тот, предчувствуя, что по этому счету придется расплачиваться, может быть, своей головой, спешил как можно скорее скрыться, замести следы, затеряться на окраинах огромной России, раствориться, а если это не удастся, то махнуть и за рубеж, в чужие страны.

Я глубоко чту память моей матери, я благодарна ей за ту ее честную, светлую жизнь, которая дала мне возможность прожить все мои дни «на старых камнях», не боясь никаких неожиданных встреч из прошлого, и смотреть смело каждому в глаза.

Но тогда, в 1918—1919-м, волны народного гнева горячо бурлили. Народ сверг самодержавие, мало-помалу он расправлялся с дворянами и в конце концов должен был уничтожить и нас. Так по крайней мере думала я в тот день, когда впервые приехала в Рублево. Но все обернулось совершенно по-другому: как только мы с матерью с головой ушли в работу, которая теперь стала нашей жизнью, мы невольно очутились в самой сердцевине рублевской трудовой семьи. Со всех сторон к нам стали протягиваться дружеские руки. Их поддержку мы тотчас почувствовали.

С первых же дней к нам часто заходили рабочие: конечно, всегда по какому-нибудь делу. От их взгляда не могли ускользнуть те условия, в которых мы тогда жили. Забота проявилась тотчас же. Так как нашу комнату в казарме мы запирали только для виду и каждый знал, что ключ от нее лежит на площадке лестницы на батарее, к нам мог проникнуть любой человек. Однажды, возвратясь домой в казармы, мы увидели два матраса, набитых душистым сеном, спитых из чисто выстиранной мешковины. Вслед за ними появились так же таинственно простыни из желтоватой бязи, потом две небольшие подушки, набитые пером, и наконец все довершилось двумя пестрыми, чудесно подобранными из ситцевых лоскутов одеялами. Напрасно мы допытывались, кому мы обязаны этими замечательными подарками. Все отмалчивались, отнекивались и улыбались, а мы никак не могли догадаться: кого же нам благодарить? И потому благодарили всех. Думаю, что в этом мы не ошиблись, так как каждый из окружающих делал для нас то, что мог...

— А что это у вас за железный сундучок всегда в углу стоит? — спросил однажды мою мать один из таких случайных посетителей.

— А это все, что у нас осталось,— просто ответила мать.

— А ежели все, так надо спрятать,— был ей мудрый совет.— Свои-то, рублевские, не возьмут, а вот из округа тут всякий люд ходит... и всяко бывает... одно слово, казармы...

Приняв какое-либо решение, моя мать всегда тут же его без всякого колебания выполняла. Так поступила она и теперь.

Чтобы поверить дальнейшему моему рассказу, надо понять психологическую настроенность тех лет, когда вообще ничто не ценилось, когда некому было что-либо продать и когда многие миллионеры умирали с голоду, а под подушкой у них лежали их драгоценности и царские рыжик с изображением Николая II. Надо также понять читателю и психологию моей матери, которая, потеряв всех родных и оставшись без крова, меньше всего думала об этом чисто случайно оказавшемся в ее руках сундучке. Цену ему мы узнали намного позднее, когда так же неожиданно и так же случайно оказались снова в Москве.

Отпуская рабочим в столовой обед, моя мать видела лицо каждого из них через полукруглые, вырезанные в дощатой перегородке окошечки. Ее внимание остановило

на себе лицо пожилого, серьезного человека с открытым взглядом небольших серых глаз. Она попросила его зайти к нам в казарму после дневной смены. Так как нас знали все, то этот человек пришел к вечеру того же дня.

— У меня к вам просьба,— обратилась к нему мать.— У нас здесь нет никого знакомых, мы с дочерью приехали из Москвы, где у нас не оказалось крова, и все, что у нас осталось, заключено здесь, в этом сундучке. Я бы очень просила вас как здешнего жильца взять его к себе на сохранение.

— А что в нем есть? — задал пришедший вполне естественный вопрос.

Вместо ответа мать взяла ключик, отперла сундучок и показала все, что в нем лежало.

— Откуда это у вас? — удивился пришедший.— Как оно к вам попало? И это все настоящее?!

— Вот бумага, ее мне выдали в банке при реквизиции нашего сейфа. Я сама не ожидала, что мне столько отдадут... но цветные камни реквизиции не подлежат... Пожалуйста, прочтите бумагу. Здесь моя фамилия, имя, отчество...

— Куда же мне его поставить? — как бы сам себя спрашивал рабочий.— Или спрятать его, что ли? Я просто и сам не знаю...

— Куда-нибудь... куда найдете нужным. А может быть, мне попросить еще кого-нибудь?

— Да нет уж... давайте... ладно,— словно над чем-то раздумывая, произнес пришедший и вдруг широко улыбнулся.— А почему вы именно меня выбрали?

— Да я не выбирала,— искренне ответила мать,— просто так почему-то к вам обратилась. К тому же мне посоветовали прибрать его куда-нибудь к месту...— И она остановилась на полуслове.

— Эх вы! — сказал пришедший и посмотрел на мать не то с жалостью, не то с удивлением.— Жизнь будто прожили, а сами как все равно дитя малое. Ведь у нас в Рублеве у многих сады: яблони, вишни... Осенью бывает, что сюда целой оравой цыгане погадать приезжают, и бывает, что со двора белье с веревок снимают, а то и по казармам шуруют... Ну что же,— прервал он себя, протягивая матери руку для пожатия,— будем знакомы, зовут меня Иваном Ивановичем, мой домик бетонный, четвертый с краю, если идти по аллее к школе.

С этими словами он взял под мышку все, что мы имели, и пошел к выходу.

И снова замелькали дни. Мы с матерью ушли с головой в новую жизнь. То лихорадочное волнение, которое моя мать так старательно скрывала под маской напускного спокойствия, прошло. В свободное время она теперь сидела в казарме в нашей комнате, штопала чулки, занималась починкой нашего скудного гардероба.

Прошли и те пустые часы глубокой ночи, когда воспоминания недавно пережитого мучили нас. Когда каждая из нас чувствовала, что другая не спит. Когда я до боли кусала себе язык, когда стоило огромных усилий, чтобы не заговорить и не расплакаться в жалобах...

Благожелательность, приветливость рублевцев, их забота, которую мы встречали на каждом шагу, успокаивали нас, давали силы. Сознание, что мы нужны, мы трудимся наравне со всеми, вселяло в нас уверенность, теперь мы спали крепко и встречали каждое утро с радостью. Куда делось прежнее ощущение давящего одиночества? Мы жили и работали в новой, доселе нам незнакомой, дружной, большой семье.

Позже я поняла значение того, что с нами происходило в те дни: бессознательно для самих себя, благодаря труду, мы, конечно, менялись, и окружавшие нас люди стали иначе к нам относиться. Молодежь Рублева стала мне близкой. Никогда не забуду я Мефодия Фирсаева с его прекрасными зелеными глазами, черноволосого Петю Константинова, веселого шутника Шуру Мельникова, Мишу Макарова, игравшего на первой мандолине в нашем оркестре. А Сережа Еремин, голубоглазый светловолосый слесарь! Как я плакала, когда нечаянно разбила раковину умывальника в нашей комнате, а он тут же пришел, поставил новую и уверил меня, что просто списал ее как негодную, а потом оказалось, что он оплатил ее, будто сам разбил... О замечательных девушках Рублева я бы хотела когда-нибудь написать особо.

Иногда меня по школьным делам посылали в Москву. Эти поездки были для меня очень тяжелы. В те дни Рублево непосредственно с Москвой сообщения не имело. Надо было ехать или на курсирующем между Рублевым и Москвой грузовике, или же садиться на рублевский паровичок, который по своей, рублевской ветке-одноколейке довозил до Немчинова Поста, а оттуда уже пересаживались на обычный поезд, идущий

щий в Москву. Так как зимой на грузовике в легком пальто я бы окончательно замерзла, я предпочитала рублевский паровичок.

Чтобы поспеть к семи часам утра в открытое вьюжное поле, надо было выходить в полной темноте. Там на узкие рельсы, похожие на игрушечную железную дорогу, рублевский парень по прозвищу Володя-паровоз подавал свой поезд. Состоял он из допотопного смешного паровозика с невообразимо высокой дымящей трубой и двух старых-престарых товарных вагонов; они были настолько ветхими, что в их щели можно было наблюдать за мелькавшими мимо пейзажами. Ветер с яростью гулял по вагонам.

Я приходила в это поле на место посадки пассажиров в своем пальтишке, прошагав по колено в снегу в коротких кожаных ботинках. Вся закоченев, вскарабкивалась в этот продырявленный со всех сторон вагон, а Володя-паровоз, короткорукий приземистый парень, блестя белками голубых глаз на вымазанном сажей лице, весело подпрыгивая от мороза, кричал взбравшимся на ходу пассажирам:

— А ну садись веселей! А ну веселей, не задерживай!

Я приезжала в Москву, разлуку с которой только что так тяжело пережила, но теперь она казалась мне чужим, мрачным городом: трамваи не ходили, тротуары были занесены сугробами, а нескончаемые вереницы пешеходов с узелками в руках и с мешками за спиной уныло тянулись вдоль мостовых. Все ехали куда-то за хлебом, а обратно в Москву привозили тиф. Город был охвачен эпидемией. В нетопленных квартирах с мигающими коптящими светильниками, с замерзшими кранами водопровода, в холоде лежали люди с брюшным и сыпным тифом.

Набегавшись за целый день по учреждениям, я наконец попадала в Александровский вокзал, в когда-то благоустроенный зал ожидания для пассажиров дальнего следования. От прежнего комфорта здесь остались теперь только несколько мягких кресел и один диван. Устроившись, если повезет, в одном из кресел, я не отрываясь следила за стрелкой на циферблате круглых настенных часов. Я рвалась всей душой обратно в милое Рублево, ставшее мне домом. В теплую, сухую комнату казармы, к вечно кипящему кубу — источнику нашей жизни. Ведь даже если не было чая для заварки, не было сахара, было столько горячей воды, что можно мыться сколько душе угодно. Я думала о своей работе, о новых друзьях, которые заменили мне семью, и Москва не манила меня больше...

Так шло время, пока не наступил день, который сыграл решающую роль во всей нашей последующей судьбе.

Это было ранней весной, зима еще не сдавалась, обильные тяжелые снегопады наметали высокие сугробы, делая все дороги либо кривыми, либо сравнивая их со снежным полем. Намеченный в Рублеве вечер с артистами из Москвы был сорван. Кто говорил, что жонглеры, эквилибристы вместе со своей сложной аппаратурой и лентой нового фильма застряли на подороге и вынуждены были вернуться обратно в Москву. А кто утверждал, что артисты сами отказались, нашли себе для выступления место поближе и всю вину за срыв вечера свалили на бездорожье. Одним словом, узнали мы об этом всего за три-четыре часа до начала вечера, объявленного в заранее расклеенных по Рублеву афишах. Что делать? Народ из окрестных деревень Павшина и Захаркина, любивший прийти заранее, чтобы занять получше места, уже понемногу стекался. Молодежь толпилась у входа в клуб, несмотря на сильный ветер, прогуливалась попарно и группами по расчищенным от снега аллеям. Организаторами вечеров, всей просветительской работы в клубе, конечно, были учителя. Они и теперь решили спасти положение. Забрав меня с собой, педагоги отправились в школу, в учительскую комнату, к роялю. Концерт решили устроить собственными силами.

Вскоре в дверь постучались несколько жен инженеров, желавших тоже принять участие в этом вечере самодеятельности, и одна девушка из рублевской конторы, бухгалтер, у нее был довольно приятный голос. Как я уже говорила, учительница Александра Николаевна Ивакина имела в своем репертуаре арию Любавы из «Садко» и две песни Лея из «Снегурочки». Другая учительница, неплохо игравшая на скрипке, стала со мной репетировать «Баркаролу» Мендельсона. Самая молодая, кажется, ее звали Валерия Александровна, своим чистым, нежным голосом решила спеть «Сирень» Рахманинова, а жена одного инженера, жгучая, эффектная брюнетка, приготовилась выйти на эстраду в сверкавшем платье, затканном золотым бисером, и спеть цыганские романсы «Ну, быстрее летите, кони», «Где бубна звон, гитары стоны» и даже песен-

ку из оперетты «Гейша»: «Если рыбка плеск, плеск, плещет...» Седоусый заведующий школой взялся прочесть несколько смешных рассказов Чехова. Но все же для того, чтобы заполнить два отделения, исполнителей не хватало.

— Моя мама могла бы что-нибудь спеть! — вдруг воскликнула я, совершенно не подумав, какие последствия может иметь мое предложение.

Члены культкомиссии с удивлением на меня посмотрели.

— Она поет? — спросил кто-то.

— Наверно, какие-нибудь русские песни? — слегка улыбаясь, спросила жена инженера, исполнительница цыганщины; голос ее звучал насмешливо, в самом тоне было превосходство.

Вопросы посыпались на меня со всех сторон. Что-то горячей волной захлестнуло мою душу, я была оскорблена за мою мать.

— У моей матери классический репертуар, она певица, — ответила я, стараясь казаться спокойной.

— Она где-нибудь училась? Какой у нее голос? Почему же мы до сих пор об этом не знали?

— В свое время моя мать окончила Московскую филармонию вместе с Леонидом Витальевичем Собиновым. Они учились у профессора Бежевича, и на выпускном концерте моя мать исполняла с Собиновым сцену рассвета на балконе из оперы «Ромео и Джульетта!» — выпалила я и уже понеслась закусив удила, ни о чем не думая и ничего не соображая. — Потом моя мать совершенствовалась вокальное мастерство в Италии. Первые ее дебюты были в Милане, в «Ла Скала». Она пела Микаэлу в «Кармен» и партию Тоски. Моя мать давала свои первые концерты в Палермо...

Никакая разрывная бомба не могла бы произвести такого действия, как этот мой монолог. Но назад дороги не было. У меня уже вырвались эти невозвратимые слова!

Моя бедная, застигнутая врасплох мать не могла противостоять просьбам всех тех, кто пришел за ней в барак рублевской столовой. Худенькая и прямая, как тростинка, стояла она в своем белом халате около котлов, энергично отмахиваясь от просьб, походя на какую-то большую белую птицу, машущую крыльями. Но никакие отговорки не помогали, и она вынуждена была сдать.

Потом моя мать стояла в казарме в нашей комнате, а я ползала на коленях по полу и закалывала на ней одно из ее уцелевших черных платьев, которое мы привезли с собой в узле. Когда-то в 1914 году, во время первой мировой войны, мать работала в нем сестрой милосердия, надевая поверх белый халат. Оно вышло из моды и было несколько длинно. Я быстро его подколола прямо на матери, прикрепила к вороту белый кружевной воротничок — получилось скромно и прилично. Как пригодился этот завалившийся где-то на самом дне узла воротничок! Всю работу я делала под неумолкаемый выговор моей матери, не смея поднять головы и посмотреть ей в глаза.

— У тебя нет совести, — укоряла она меня, — и как только ты посмела вынудить меня на это выступление? Ты, не окончив образования, заделалась педагогом. (Она так и сказала — «заделалась».) Я бы не удивилась, если бы ты вздумала ходить на эстраде по канату или встала перед всем честным народом вниз головой, от тебя я жду всего. Всего! Но какое право ты имела распоряжаться мной?

И она говорила еще много, много, вспоминая все мои провинности в детстве (вроде тайно устроенных цирковых трапедий на чердаке и моих кульбитов вниз головой), и под конец назвала меня источником всех своих несчастий. Но тут я уже не выдержала:

— Вы все время твердили мне, что наш долг — приносить пользу всюду и везде, где только она нужна. Разве я прошу о том, чтобы вы пели для развлечения на квартире какого-нибудь рублевского инженера, на его семейном торжестве? Надо выручать из беды, вам известно, что артисты из Москвы подвели нас и не приехали? Известно вам, что вечер сорван? Клуб — это не частное предприятие. Вы будете петь для всех.

— Хорошо. Хорошо, умолкни. Я давно уже убедилась в твоих юридических способностях, — улыбнулась мать. Больше она меня не бранила.

Мы пошли с ней репетировать, до концерта оставалось полчаса. Я очень хорошо знала, что после такого длительного перерыва и после многих переживаний петь в совершенно необычной обстановке моей матери будет нелегко. Сев за рояль и взяв первые ноты обычных вокальных упражнений, я была испугана и матовым звуком ее голоса, и каким-то полным ее внутренним равнодушием. «Неужели, неужели же все-

му конец?» — думала я, и мне казалось, что ей уже никогда больше не петь так, как она когда-то пела... Мать перешла на арпеджио: первое, второе, третье, все выше, выше по тональностям идет ее голос, и вдруг неожиданно он очистился, заиграл прежними красками, вот уже он, ее собственный голос, овладел ею, и она сама в плену этих звуков, с загоревшимся румянцем на щеках, помолодевшая, с блестящими глазами. Волнение мое улеглось. И я уже спокойно и уверенно раскрыла папку нот маминного репертуара.

Рублевцы были разочарованы. Еще бы! Вместо настоящих артистов из Москвы на сцене стали появляться давно знакомые и примелькавшиеся лица педагогов. Но мало-помалу зрители успокоились и увлеклись программой. Зал дружно покатывался со смеху, когда строгий заведующий школой мастерски в лицах изображал персонажей чеховских рассказов.

В конце первого отделения на эстраду вышла моя мать. Ее встретила гробовая тишина, выражавшая недоумение. Затем с разных концов зала словно искры стали вспыхивать смехи. Рефлекс был естественным: ведь моя мать ассоциировалась в представлении рублевцев только с их столовой, с ворохом грязной и стопками чистой посуды около обеденного меню. И что это? Вдруг она осмелилась, набралась храбрости...

Я неуверенно заиграла фортепианное вступление к романсу Калининкова. «Остро секирой ранена береза... по коре сребристой покатались слезы...» — зазвучал голос матери. В то время как голос ведет широкую мелодию, аккомпанемент звучит то мерными ударами стали, то растворяется в плавных, широких аккордах. «Ах, не плачь, береза, бедная, не сетуй! Рана не смертельна, вылечишься к лету...» — поет мать, и голос ее плавно и уверенно звучит в абсолютной тишине. Зал притих.

После грома аплодисментов словно гимн радости врывается в тишину зала романс Рахманинова «Вешние воды». «Весна идет! Весна идет! Мы — молодой весны гонцы, она нас выслала вперед!» — поет мама, и голос ее на грудных нотах льется широкой, мягкой, горячей волной, а поднимаясь ввысь, звучит упруго, верно, чисто. Потом романс Глиэра «Жить! Будем жить!». В музыкальной фразе «В неведомую даль свободные пойдем!» ее высокий, чистый голос затопил весь зал. Мне стоило большого самообладания не сбиться с такта, в самом конце меня спасли только мощно льющемся волны голоса, в которых потонули кое-как сыгранные такты аккомпанемента... Слезы застлали мне глаза. Это были слезы счастья.

Не бурные аплодисменты и крики «бис» были тому причиной, а радость за мою мать. До этого дня, до этого часа она казалась мне мертвой, выжженной страданиями, опустошенной. И как могла она найти в себе такие силы, такую радость, такой огненный подъем!.. Измученная, усталая, изнуренная, она на моих глазах возродилась точно из пепла, она предстала передо мною светлая, сияющая, молодая...

Наблюдая за бурей в зрительном зале, я старалась вникнуть в причину восторга, который вызвала моя мать. Может, это было всего-навсего изумление? Как это она, с виду такая незаметная и немолодая женщина, которая в столовой отпускала им обеды и была всегда такой сдержанной и молчаливой, — как это она вдруг вышла на сцену и запела «вроде» артистки! Может быть, только удивление могло родить такие бурные проявления восторга?..

Но во втором отделении концерта я убедилась, что ошибаюсь. Эти простые люди, рабочие, прекрасно чувствовали настоящее искусство, чутьем угадывали его. Они сразу поняли, что на фоне самостоятельности перед ними выступает, поет настоящая певица, они оценили и голос и выразительность драматического исполнения. Потом мать пела арию Маргариты («За прялкой, прялкой...») и арию Тоски («Сцене и любви посвящала я жизнь...»). За кулисами ее обступили, из зрительного зала нахлынула рублевская интеллигенция, жены инженеров целовали ее, все хотели пожать ей руку, спрашивали, почему же она до сих пор молчала. Все наперебой звали нас после концерта к себе выпить чашку чая. Но мы отказались, так как ни разу ни у кого из них не бывали.

Никогда не забыть мне того памятного вечера.

Наконец мы вернулись домой, в казарму, в нашу комнату. У моей матери было то выражение лица, которое я помнила в детстве, на ее щеках еще не погас взволнованный румянец. Но, конечно, как всегда, она была мною недовольна.

— Надо же было тебе все это затеять! — повторяла она. — Зачем? Прекрасно бы обошлись и без меня... И что ты только наделала! Вот теперь и пойдут разговоры, вопросы... всякие догадки. Жили мы тихо, работали, и все было хорошо...

— Мама! Мама! — целуя ее, говорила я. — Не волнуйтесь, все будет хорошо! Вот увидите. Не может быть плохо! Не может!!!

А в груди у меня не унималась радостная тревога, точно я только что присутствовала при чем-то чудесном, неожиданном, замечательном. Отблеск этого чуда я еще видела отраженным на мамином лице, и я боялась, что с каждой минутой это чудесное исчезает и что вновь я увижу перед собой уставшую, измученную женщину...

Мы принялись за ужин: маленький котелок заранее сваренной картошки, завернутый в газету и прикрытый одеялом, стоял на нашем матрасе из сена. Мороженая, в черно-розовых пятнах, она была скользкой и все время старалась выпрыгнуть из рук, в то время как ее чистили. Из котелка шел приторный, сладковатый запах. Эту картошку мы запивали «чаем», который состоял из кипятка с кусочком сушеной, совсем черной свеклы — она заменяла сахар вприкуску. Но нам в те голодные дни это казалось настоящим пиром, и мы были счастливы, что завоевали свою жизнь собственным трудом.

На другой день моя мать была вызвана в рабочий комитет Рублевской насосной станции.

— Каким образом вы попали к нам в Рублево? — спросили ее, когда она, взволнованная, пришла по этому вызову.

— Меня направила к вам биржа труда.

— Это я и без вас, сам знаю, — сказал председатель. — Насколько мне помнится, вы приехали к нам сюда оформляться даже не на должность заведующей столовой, а на должность старшей поварахи?

— Да.

— Почему? Что вас, человека с образованием, заставило устраиваться на подобную должность? Ведь она совершенно вам не соответствует.

— Другой для меня на бирже труда не было.

— Почему?

Мать молчала.

— Почему? — повторил свой вопрос председатель. — Объясните откровенно. Я спрашиваю вас не как начальник, я спрашиваю как товарищ. Ответьте, почему?

— Такова моя анкета. Другую работу мне не хотели доверить.

— Но, насколько мы понимаем, вы прежде всего певица, — с непонятной строгостью сказал председатель. — Ваше место совсем не в столовой. Вы показали себя хорошим, честным работником, отличной кулинаркой, и мы готовы дать вам лучшую характеристику. Сейчас крайне необходимы работники искусства, и наш вам совет: поезжайте в Москву, мы дадим вам направление в Рабис<sup>4</sup>. Пройдете экспертизу, станете советским педагогом и будете учить нашу молодежь петь так, как поете вы... Наш долг вам в этом помочь. Подумайте и решайте!

Милое Рублево! Нам уже было трудно оторваться от него сердцем. Мы обжили его, оно стало нам родным. Мы завоевали его.

Мать долго медлила с ответом. Молчала и я. Наверно, в нашем желании покинуть Рублево решающим было то обстоятельство, что после маминого выступления на вечере к нам со всех сторон стали проявлять повышенный интерес. Кто мы? Где раньше жили? Чем занимались и так далее... Это любопытство шло от интеллигенции Рублева, которая до того дня с нами даже не кланялась.

Так дальше продолжаться не могло, и однажды вечером, возвратясь с работы, мать мне сказала:

— Надо ехать. Председатель рабочего комитета еще раз сегодня говорил со мной, и направление мне в Рабис дают. Не знаю, справлюсь ли я с новой работой...

— Мне кажется, она будет для вас во сто крат легче рублевской столовой, — ответила я. — Но вот как мы будем расставаться с нашими друзьями?..

Теперь каждый день, проведенный в Рублеве, был для меня полон печального значения. Я не знаю, к кому из молодых рублевцев я больше всего была привязана, я любила всех и со всеми обещала обмениваться письмами, обещала писать и никогда, никогда не забывать...

Тут мы с матерью вспомнили о нашем сундучке с драгоценностями, и мать, встретив в столовой Ивана Ивановича, с семьей которого мы сошлись очень близко, попросила его принести сундучок к нам в казарму.

<sup>4</sup> Профсоюз работников искусств.



— Я его для сохранности в сарае у себя закопал,— ответил Иван Иванович,— пол-то у меня там земляной. Ладно, ужо вечером принесу...

День нашего отъезда приближался, мы отрабатывали последние дни нашей службы, «ужо» все длилось. То ему было некогда, то он забывал нашу просьбу, то находился еще какой-нибудь предлог.

— Конечно,— вздохнув, сказала мать,— разве возможно было так искушать человека? Да кто бы выдержал подобное испытание? За это и винить его нельзя. И семья у него большая... Ну, значит, сама я и виновата, и нечего об этом жалеть.

И в тот самый вечер, когда мама это сказала, к нам в казарму пришел Иван Иванович. Под мышкой он держал сундучок.

— Ведь вот проклятый! — сказал он, улыбаясь и передавая сундучок матери.— Ведь он, подлец, словно живой! Взял да под землю и ушел! Право слово! И место я отметил, как его закапывал... а он взял да исчез! Вот оказия-то! Не нашел его, пока весь пол не изрыл. Только когда лопата моя о крышку стукнулась, а он тут! Вот чудеса! Право слово, чудеса!

Да, это было действительно чудо, необыкновенное живое чудо, этот стоявший перед нами человек, отиравший пот со лба, уставший и радостный. Он смотрел нам прямо в глаза своим хорошим, открытым взглядом, и мы с матерью с невольным стыдом опустили перед ним глаза.

— Нет, нет, постойте! — вдруг серьезно, почти строго заговорил Иван Иванович, потянувши из рук матери назад в свои руки наш сундучок.— Как вы мне его тогда отдавали и все три полочки в нем показали, так и сейчас при мне отпирайте и смотрите, все ли цело.

При этих словах мама обрадовалась, просияла:

— Ну конечно, конечно! Очень рада этой вашей просьбе, садитесь, пожалуйста.

Она подвинула Ивану Ивановичу табуретку, а сама, достав ключ, стала отпирать злосчастный сундучок.

Тут последовала долгая взволнованная сцена между матерью и Иваном Ивановичем. Мама хотела во что бы то ни стало что-то ему подарить, а Иван Иванович стал не на шутку сердиться. Вскоре он стал уже повышать голос и рваться к двери, но тут мама нашла какие-то живые, хорошие слова, и он, смягченный ими, остановился и выслушал ее.

— Поймите меня,— говорила мама,— ведь если бы я вас просила об услуге, то я, еще отдавая вам этот сундучок, сразу подарила бы что-то. В первом отделении сундучка лежит бумага, выданная мне из банка. Вы читали ее и убедились, что не от советской власти я его прячу. Приехала я сюда, в Рублево, с дочерью, чтобы здесь жить и работать, а вот видите, как все сложилось. Теперь Рублево отсылает меня обратно в Москву. Вы все стали нам родными, сколько вечеров мы провели в вашей семье, и неужели же в минуту нашей разлуки я не имею права оставить вам что-нибудь на добрую память! Никто не знает, как сложится наша судьба, что нас ожидает в самом недалеком будущем. Я надеюсь, что вы не обидите меня отказом.

Прошло много, много лет. Прошла вся жизнь. За эти годы по всяким причинам погибло очень много важных для нас с мамой документов и только случайно кое-что уцелело. О нашем первом трудовом крещении в Рублеве на руках у меня осталось две справки.

Первая. Обращение в Москву, в МОНО. Это был отзыв школ первой и второй ступени Рублевской насосной станции о том, что в 1918 году я провела пробные занятия педагога по пению, что моя кандидатура желательна и что они просят об утверждении меня на эту должность. С этим обращением в Москву ездили сами учителя, прося провести меня за г л а з н о, перепечатаваю конец фразы дословно: «...так как школа № 5 Пресненского района находится в 15 верстах от Москвы и частые отъезды школьных преподавателей в город вредно отзываются на занятиях». Бумага эта помечена штампом Рублева от 17 ноября 1918 года, а заглазно провели «педагога» потому, что нельзя было им показать несовершеннолетнюю девочку с растрепанными косами...

Вторая справка — из художественно-профессионального Союза музыкантов-педагогов,— выданная в августе 1920 года при возвращении моей матери реквизированного у нас рояля, оканчивается следующей фразой: «Инструмент рояль за № 107480 фабрики Бехштейн по Поварской 22 кв. 5 составляет необходимую принадлежность профессиональной деятельности, ввиду чего реквизиции не подлежит».

Уцелевшие люди нашего класса, спрятавшиеся по своим щелям, хихикали, пожимали плечами: «Подумайте только! Это просто анекдот! В двадцатом году большевики вернули княгине Мещерской ее рояль!»

Да, в их искаженном, злобном восприятии это могло звучать только так. Дело же в том, что едва только моя мать со всей искренностью включилась в общую трудовую жизнь, ее оценили, поверили ей, и она смогла приносить пользу. И непонятная для обывателей сила заключалась лишь в одном, в нашей полной искренности. Нельзя плодотворно работать, если прячешь чувство притупленной злобы и мести в душе. Этот скрытый от людей злобный огонь, тлея внутри человека, постепенно деформирует его и приводит к полной опустошенности. Когда искренно и горячо отдаешься труду и желаешь принести пользу другим, смолкают личные обиды и личные счета, а труд становится радостью.

Мы с матерью были не единственными, многие, многие, как и моя мать, остались на родной земле, и наш общий путь был далеко не легким.

Первая рублевская бумага (о моем назначении педагогом) хранит на себе еще и другой штамп, поставленный на ней через пятнадцать лет. Это штамп совсем другого советского учреждения. Штамп этот длинный и узкий, на нем два слова очень крупными буквами: «ПАСПОРТ ВЫДАН» — и стоит год — 1933. Год первой советской паспортизации. Она проходила для большинства быстро и легко. По алфавиту, автоматически человек протягивал свое удостоверение личности, получая тут же в обмен первый паспорт Советского Союза. Но так было не со всеми. Мы с мамой были заранее уволены с работы, лишены свободы и находились в одиночках, даже не видя друг друга.

И тот, кому пришлось поставить на последнем допросе свою подпись, оказался одним из трех ссыльных, нашедших убежище в нашем доме весной 1914 года.

Наш помещичий дом в Покровском был окружен огромным тенистым парком, настолько густым, что издали он казался лесом. Ночью спускали с цепей собак, и три сторожа с винтовками за плечами и с деревянной колотушкой в руках всю ночь обходили парк. Мы, дети, любили засыпать под стук этой то приближающейся, то удаляющейся колотушки.

И вот однажды в свежую, темную, безлунную ночь мы были разбужены громким лаем собак и неоднократными выстрелами. В нашем парке поймали трех неизвестных. К счастью, сторожа обычно стреляли в воздух, больше для острстки, зато собаки, фактически задержавшие неизвестных, во многих местах покусали им ноги.

Управляющий доложил маме, что задержаны беглые каторжники.

Ночью, как впоследствии оказалось, шел товарный поезд, который вез ссыльных. Три смельчака, воспользовавшись тем, что их везли в последнем вагоне, оторвали от гнилого пола две доски, а затем, уловив минуту, когда поезд медленно проезжал железнодорожный мост, через отверстие пола один за другим выскользнули и легли на полотно между рельсами. Вагон был последним, и их ничем не задело, а конвоир-часовой сидел на площадке последнего вагона и мирно дремал под стук колес.

Блуждая в темноте, беглецы увидели вдаль густой лес; они направились к нему. Он оказался обнесенным высокой оградой. Не задумываясь они перелезли через нее, очутились в нашем парке и были тотчас пойманы.

Наш домашний врач оказал им первую помощь: дезинфицировал, перевязал покусанные собаками ноги. Затем беглецов заперли в пустой бане и поставили у ее дверей сторожа с винтовкой.

Беглецы вызвали во всем доме необычайный переполох. Несмотря на то, что баня стояла на заднем дворе, все боялись выходить из дома, а если это необходимо было сделать, то перебежали через двор, дико озираясь и крестясь. Во всем доме зажгли огни и не тушили до самого утра; никто уже в эту ночь не ложился, и рассвет все встретили на ногах. Все разговоры были только о злоумышленниках.

— Что прикажете с ними делать? — спрашивал управляющий, стоя в кабинете перед мамой. — Вызвать сюда урядника или везти их к самому земскому начальнику?

— Да кто же они такие? — озадаченно спросила мать. — Вы их спрашивали?

— А чего их спрашивать? Жуликов-то? Известно кто — каторжники. Власти их передать надобно, вот что!

— И думать не смейте! — рассердилась мать. — Прежде всего никому ни слова, ни одного слова. И давать о них знать тоже никому не смейте. Забудьте об этом.

— А что же с ними делать прикажете? — изумился управляющий. — Что же делать-то?

— Как что? Прежде всего истопить баню, надеть на них все чистое, а казенное снять и сжечь. Затем накормить как следует, а потом... — Тут мама немного помедлила, но затем твердо приказала: — А потом привести их сюда ко мне, всех троих...

— Сюда?!

— Да, очень просто, сюда вот, в мой кабинет. Ну чего вы ждете?

— Ваше сиятельство! — возопил управляющий. — Да что же это вы задумали? Да где же это видано? Против закона-то? Да их немедленно властям передать надо, ведь это не люди, а каторжники! Страх-то какой!!!

— Вот и отлично, что каторжники, — уже совершенно спокойно и весело сказала мама, — я их никогда в жизни не видела и хочу посмотреть, какие они бывают...

Приказание матери было выполнено. Она была очень удивлена, когда через несколько часов в ее кабинет вошли трое юношей; двое из них были русские, третий — еврей. Они остановились на пороге и смотрели на нее враждебно.

— Вы должны извинить меня, — волнуясь и не зная, с чего начать, заговорила мать, — я не собираюсь учинять вам допросов, они без того, наверно, вам надоели. Не буду я также спрашивать ваших имен и фамилий; вы все равно себя не назовете, а мне это совершенно неинтересно. Мне бы хотелось знать только одно: какое преступление совершил каждый из вас? За что вас приговорили к ссылке?

Сначала было гробовое молчание. Потом один из всех ответил:

— Мы подпольщики.

— П о д п о л ь щ и к и? — протянула мама.

Увидев выражение полной растерянности и непонимания на ее лице, один из троих пояснил:

— Мы, собственно, студенты Московского университета, а сосланы были потому, что мы политические.

— А-а! Ну так бы сразу и сказали, — обрадовалась мама, и разговор быстро завязался.

Через каких-нибудь пять минут любопытные, подглядывавшие в замочную скважину, увидели, что мама с тремя каторжниками сидит на диване и все четверо погружены в интересную беседу.

А студенты между тем рассказывали, что народ готовит свержение самодержавия, что потом будут отбирать все земли у помещиков и будут уничтожены все классы. Мама задумалась.

— Ну что же, — сказала она, — все может быть. Боритесь за свои идеи, если считаете их правильными, но мне-то что с вами делать? У меня вы, конечно, в полной безопасности, здесь никто не посмеет вас искать. Да и кому придет в голову, что княгиня Мещерская укрывает политических, к тому же еще приговоренных и бежавших? Но что дальше? Я не могу помочь вам в самом главном, в самом необходимом: достать вам всем троица паспорта. А в остальном — живите сколько хотите, и даю вам слово, что здесь никто вас не предаст.

— Ну что ж, и на этом спасибо, — ответили беглецы. — Поживем сколько нам нужно, а потом и в путь. Исчезнем один за другим.

— Только уж, пожалуйста, перед исчезновением зайдите ко мне и скажите, — попросила мама. — А о вашем устройстве я позабочусь.

Таким образом, политические остались у нас жить до самой глубокой осени. Никто на них не донес. Это было возможно только при том уважении, которое испытывали окружающие к такому человеку, каким была моя мать. Она распорядилась, чтобы политическим были отведены комнаты во флигеле управляющего, где они расположились со всеми удобствами. На другой же день они попросили книг. Мать предложила им составить список, и книги были им немедленно доставлены. Но этим они не удовлетворились, и зачастую мы заставляли то одного из них, то другого стоявшим на лестнице и отыскивавшим какую-нибудь книгу в нашей домашней библиотеке. Все трое тотчас завели самую деятельную переписку с Москвой и Петроградом, причем всем, конечно, было совершенно ясно, что получали они свою корреспонденцию на вымышленные фамилии.

На меня «каторжники» произвели огромное впечатление, так как в моем детском воображении все они отождествлялись с Жаном Вальжаном. Несмотря на самые строгие замечания гувернантки, упрекавшей меня в неприличном поведении, я разгля-

дывала их во все глаза, когда они нам встречались в парке, да еще к тому же беспре-  
станно оборачивалась им вслед, вытягивая шею, как гусь. Моя жадная до романтики  
душа ждала необычайного. Конечно, подсвечников серебряных они красть не станут,  
поскольку об этом уже написал Виктор Гюго, но они могут, например, взять и украсть  
мою препротивную гувернантку, и тогда я буду свободна, пока найдут другую. Няня  
Пашенька всем своим поведением подтверждала мои догадки. Завидя еще издали  
кого-нибудь из беглецов, она менялась в лице и, истово крестясь, повторяла:

— Спаси, господи! Помилуй, господи, спаси и защити!

В часы позднего вечера, в полусвете лампы, сидя возле моей кровати, няня Па-  
шенька шептала как бы про себя, качая своей белоснежной головой:

— Зло по миру ходит невидимо, оно от глаза человеческого хоронится, найдет  
себе местечко да в нем и приютится...

Няня говорила это, устремив взгляд на киот с образами. В ее больших светло-  
голубых глазах, увлажненных набежавшей слезой, отражался красноватый огонек лам-  
пады, вокруг головы поблескивали серебряные нити тонких, отделившихся от про-  
бора волос.

— Согрешила наша княгинюшка,— продолжала няня,— согрешила перед госпо-  
дом и царем, грех на свою ангельскую душеньку взяла: приютила белая голубка чер-  
ных коршунов. Быть беде... быть беде...

Наступало утро следующего дня, и я снова и снова жадно рассматривала «чер-  
ных коршунов» и разочаровывалась. Это были самые обыкновенные юноши, и в них  
не было ничего таинственного и страшного. Вскоре я перестала ими интересоваться.

А политические тем временем чувствовали себя неплохо; по вечерам мама часто  
беседовала с ними, сидя в парке на скамейке, а иногда, когда у нас никого не бывало  
из гостей, все трое пили с нами вечерний чай. Они подбирали матери книги для чте-  
ния, помню, в те дни я увидела книгу, лежавшую в нашей гостиной, и прочла загла-  
вие по складам: «Что делать?», роман Чернышевского.

День Петра и Павла был большим храмовым праздником в Петровском. Как  
обычно, в этот день у нас после обедни в церкви бывал большой обед для духовенст-  
ва и местных властей. Перед чаем, гуляя по аллеям парка, земский начальник столк-  
нулся нос к носу с политическими, которые читали, сидя в беседке около пруда.

— Княгиня,— почтительно спросил земский,— кто эти молодые люди? Я не за-  
метил их за вашим столом.

— И неудивительно,— спокойно ответила мама,— к сыну моего управляющего  
приехали племянник и два его товарища.

На том разговор и кончился.

Поздней осенью перед самым отъездом в Москву политические скрылись. Каж-  
дый из них пришел проститься с мамой. Мне неизвестно, как происходило это про-  
щание, и я не хочу придумывать их последнего разговора. Знаю только, что каждый  
получил на дорогу еду, одежду и по 250 рублей деньгами. Мама велела каждому из  
них увязать в портилед одеяло и подушку, но они запротестовали:

— Это совершенно невозможно! Мы должны походить на дачников и не воз-  
буждать никаких подозрений.

В тот год осень была на редкость неприветливой и хмурой. Ясных дней почти не  
было. Аллеи парка были усеяны мертвыми мокрыми листьями, которые не шуршали  
под ногой, а лежали ржавым влажным пластом. Мама в те дни была задумчива, груст-  
на. Время от времени в доме топили печи. Наступали длинные осенние вечера, и мы  
все часто собирались у камина. Но не было больше неисчерпаемых веселых вечер-  
них рассказов, разговор не клеился.

О политических было запрещено говорить с первого дня их появления в нашем  
доме, и теперь о них тоже никто не упоминал, но каждый про себя вспоминал этих  
людей, так неожиданно появившихся, соприкоснувшихся с нашей жизнью, а затем так  
бесследно исчезнувших...

Прошло очень много лет, и кто бы мог предположить, что случай с «каторжника-  
ми» будет иметь столь важные последствия в нашей жизни, что именно он явится  
нашим спасением!

То был суровый, самый роковой год для всех «бывших», живущих в Москве.  
Было известно, что ни один из «бывших», тем более титулованных, не получит пас-  
порт и не будет иметь права жительства в столице. Те, кому были предъявлены какие-

либо обвинения, арестовывались заранее, а остальным предстояло получить сто первый километр от Москвы, конечно, если к личному его делу не прибавилось каких-либо доносов. Как известно, для некоторого сорта людей подобное действие являлось возможностью свести личные счеты и выслужиться. То было время многочисленных, в большинстве случаев дутых доносов.

Феликса Эдмундовича, помнившего историю с «Мадонной» Боттичелли и не раз выручавшего нас из беды, не было уже в живых, а потому нас постигла участь многих.

Сначала нас с матерью уволили с работы. Затем домоуправление вывесило наши фамилии в списках «лишенцев» нашего дома. Всего нас было трое: известный бывший золотых дел мастер М. В. Кишиневский, имевший когда-то на Арбате ювелирный магазин, затем моя мать и я.

В назначенный день клуб при домоуправлении стал наполняться народом. Люди толпились даже во дворе у самого входа. Комиссия по выдаче паспортов заседала не в зрительном зале, а за сценой в артистической. Оттуда и показывался помощник секретаря, вызывавший по фамилии следующего. Отобрав удостоверение личности, комиссия тут же взамен выдавала первые советские паспорта.

Прошел долгий, мучительный день. Подошел вечер. Давным-давно уже прошла и буква «К» и буква «М», нас все еще не вызывали. Мы сидели все трое в опустевшем душном, прокуренном помещении и ждали своей участи.

Вдруг дверь, ведущая в зрительный зал, распахнулась. Вошли двое в военной форме и, поднявшись на эстраду, скрылись за сценой, где заседала паспортная комиссия.

Вслед за пришедшими нас тут же вызвали. После двух-трех кратких вопросов сидевшие за столом отобрали наши удостоверения личности и, ничего не дав нам взамен, приказали следовать за военными. Нас вывели через запасную пожарную дверь на заднюю часть двора, где дождалась уже давно знакомая всем черная закрытая машина, так называемый черный ворон.

Мы еле держались на ногах от усталости. К тому же от волнения мы целый день не могли проглотить куска хлеба. Когда машина тронулась, я поняла, что мне никогда больше не ходить по улицам Москвы и не видеть любимого города.

Я миную многие подробности, так как не хочу многого вспоминать и тем более не хочу оставлять этого написанным на бумаге. Скажу только, что на этот раз мы оказались не в Бутырках, не в Новинской женской тюрьме, не на Таганке, а нас привезли в само здание Лубянки и посадили в его подвал. С мамой меня разлучили, и это было самым тяжелым для нас обоих...

Сидела я в одиночке. Допросы шли ночью. Спать совершенно не давали. Почему нас на этот раз посадили на Лубянку, мне было ясно: первый советский паспорт должны были получить строго проверенные люди. Все, кто был недостаточно понятен и возбуждал малейшее недоверие, отменялись, вернее, выметались из советской столицы. С Лубянки нам была одна дорога — ссылка, а для того чтобы создать «дело», в те дни требовалось не так много времени. Предъявленные мне обвинения были настолько же нелепы, насколько и чудовищны: я агитировала против советской власти и призывала к восстанию; я имела связь с границей и хотела посадить на трон какого-то уцелевшего за рубежом родственника Романовых; я состояла членом какой-то тайной «пятерки», существующей в Москве, об этом я многим рассказывала, и есть свидетельские показания, кроме того, часть моих сообщников уже арестована, все они сознались и назвали мое имя... Сначала я только улыбалась, слушая эту ни на чем не основанную клевету, но через несколько бессонных суток мне стало казаться, что я схожу с ума. Когда после очередного перекрестного допроса (меня допрашивали сразу три следователя) я отказалась подписать предъявленный мне список моих «преступлений», которых я никогда не совершала, мне было сказано, что я буду выслана по 58-й статье и еще по целому ряду параграфов на Крайний Север сроком на десять лет.

— Срок будет вам немного снижен, если вы сознаетесь, — криво усмехнулся следователь, поднося мне ручку.

Я отказалась. С невозмутимым спокойствием он поднес ручку к своим глазам, посмотрел, насколько чисто перо, потом обтер край пера о пресс-папье и уже без улыбки, с немим приказанием во взгляде протянул мне его снова. Я вновь отказалась дать свою подпись.

Тогда следователь, шумно отодвинув стул, встал и нажал кнопку звонка. Явился конвойный. Забрав мое «дело», следователь движением головы приказал вести меня вперед, а сам пошел сзади. Подойдя к лифту, он спустил конвойного и вместе со мной

поднялся на какой-то высокий этаж. Кабина мягко остановилась. Мы вышли. Нога моя скользнула по ярко натертому паркету. Окна широкого коридора ослепили меня потоком солнца и света.

Мы вошли в большую комнату, походившую на зал. Пол ее был устлан ковром, вокруг стояло много густых зеленых растений. За большим, широким письменным столом сидел, низко склонясь над бумагами, военный. Мельком я увидела ромбы на его воротнике, но не обратила внимания, сколько их, и отвела от него взгляд. Тупая усталость и полное безразличие сковали меня. Я понимала, что все кончено, что судьба моя уже решена и что теперь дело только за пустыми формальностями.

Чтобы не упасть, я старалась почаще закрывать глаза; пол комнаты уплывал к потолку, а потолок наползал на пол. У меня начинались головокружение и тошнота — признаки сердечного приступа. Сквозь туман я видела, как сидящий за столом поднял голову, скользнул по мне взглядом и обратился к следователю:

— Можете идти. Надо будет — позвоню.

Вытянувшись в струнку, словно испуганный рядовой, следователь быстро положил мои бумаги на стол, четко щелкнул каблуками, повернулся и вышел.

— Садитесь,— услышала я тот же голос.— Итак, вы не сознаетесь... отказываетесь подписать... не даете чистосердечного признания... отрицаете свою вину.— Он говорил медленно, с расстановками, совершенно безразличным и даже немного усталым голосом, в то время как глаза его быстро и зорко пробежали по моим бумагам.

Но вот глаза его внезапно остановились, точно загнулись, потом снова заскользили по строчкам.

— Да садитесь же! — уже почему-то раздраженно бросил он.

Стараясь не упасть, стараясь не показать дрожи пальцев, я ощупью нашла кресло и опустилась в него. Оно было огромное, кожаное, мягкое. На какую-то долю секунды я утонула в давно забытом ощущении сладкого покоя, но тут же мысль, точно игла, пронзила меня: все кончено, последние минуты... а где же мама? где? что с ней?..

— Ну,— заговорил сидящий за столом,— расскажите-ка мне, из кого состояла ваша семья. Мать? Отец? Какие родственники? Где они?

Я твердо решила не отвечать. Моя судьба была мне совершенно ясна: я погибну, не доехав до Севера. У меня не было ни шубы, ни валенок, ни теплого платка. На ногах у меня были открытые туфли. Пальто холодное, выношенное, сшитое из старого военного одеяла. Все уже решено. Зачем эти вопросы? Зачем он мучает меня?

— Вы что? Не желаете отвечать?

— Я уже дала в анкете письменные ответы и не однажды повторяла все это устно. Чуть прищурившись, он смотрел на меня, потом еще строже произнес:

— Теперь спрашиваю вас я. Живы ли ваши родители?

— Только мать,

— А отец?

— Я родилась после его смерти.

— Как имя и отчество вашей матери?

Я ответила. Он почему-то нервно дернулся в своем кресле и сжал руками подлокотники.

— У вас были имена?

— Я же не владела ими, я была ребенком... Зачем это?

— Зачем, не зачем! Я спрашиваю, было ли у вас имя? Где? Как называлось?

— В Полтавской губернии...

— Здесь, под Москвой, было? Как называлось? — перебил он меня.

Я подняла на него глаза. Он явно волновался.

— Здесь, по Брянской дороге, были два: Петровское и Покровское.

— Покровское... Покровское,— точно припоминая, повторял он.— Там где-нибудь протекала речка? Над ней был железнодорожный мост?

Пораженная его странным любопытством, очнувшись от тяжелого полузабытья, я начала говорить, и сердце мое встрепенулось от неосознанной надежды. Я рассказывала, а его жесткий взгляд, так присущий людям допрашивающим, смягчился, глаза стали совсем человеческими, и мне даже показалось, что где-то в самой их глубине прячется улыбка. Он остановил меня движением руки.

— Помните, был ли случай, когда ваша мать скрывала у себя политических?

— Да.

— Ну-ну, как это было? Рассказывайте! Рассказывайте поподробнее все, что помните.

То, что произошло потом, может вполне сойти за сказку.

— Так, значит, вы и есть та самая девочка, которую вечно наказывали за шалости? — спросил он уже совсем по-хорошему, засмеявшись всем лицом. — А где же ваша мать?

— Ее уже нет в Москве... На допросах мне говорили, что она выслана на Соловки.

— Глушости. Это вас просто пугали. — Он снова улыбнулся. — У нас это бывает. Она здесь же, в другой камере. Хотите крепкого чаю с лимоном? — уже совершенно неожиданно предложил он, продолжая улыбаться каким-то своим мыслям. Подойдя ко мне, он положил мне руку на плечо. — Видите, как довелось встретиться.

Засунув руки в карманы, он несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, искоса разглядывая меня. Я сидела окаменевшая, изумленная, не веря ни глазам своим, ни ушам... Потом, низко опустив голову, он стал мерить большими шагами свой огромный кабинет. Он шагал неутомимо, словно заведенный. Я не видела выражения его лица, но чувствовала, что он во власти воспоминаний, что перед ним проплывала жизнь, годы его тревожной, полной опасностей юности.

Мы вспоминали с ним одно и то же время.

Я вздрогнула и несколько мгновений не могла понять, где я... Потом осознала, что сижу в особом отделе на Лубянке, а незнакомый человек с ромбами продолжает оборванный разговор, который я не совсем понимаю и начало которого так тщетно ловит моя измученная память.

— Итак... итак... — медленно повторял он, как будто что-то обдумывая и про себя решая. В то же самое время он нажал черную кнопку звонка на письменном столе. — Сейчас вы будете пить чай с лимоном и бутербродами, а я тем временем займусь вашими бумагами. Может быть, попадется что-нибудь для оформления вашего паспорта... И маму вашу найдем... Обязательно найдем... А на трамвай у вас есть, чтобы домой доехать?

Такую бумагу он быстро нашел. Отобранная при аресте, она лежала одна из первых среди моих документов.

— Вот! — показал он мне ее. — Берегите ее как зеницу ока! Помните, что это не только ваше оправдание, но это ваше право на существование в нашем пролетарском государстве. — С этими словами он положил бумагу на стол. Потом выдвинул ящик, вынул из него длинный узкий штамп и, коснувшись мягкой чернильной подушечки, плотно прижал его к листу бумаги.

— Подождите немного, — улыбнулся он, — по этому документу вам выдадут паспорт.

Мою судьбу решила бумага от 17 ноября 1919 года, адресованная в МОНО, та самая, в которой школьный совет рублевской школы № 5 просил назначить меня преподавательницей пения, поскольку я уже провела месяц испытательных занятий и кандидатура моя, поддержанная школьным советом, оказывалась желательной.

Через всю мою жизнь пронесла я этот драгоценнейший документ, никогда с ним не расставаясь. В дни войны во время бомбежек я хранила его на своей груди.

Но это все было позднее, а тогда, в 1919 году, мы вернулись из Рублева в Москву, которую нам предстояло еще завоевать. Наша квартира № 5 на Поварской, в доме 22, была заселена. Нежилой оставалась только холодная, неотапливаемая кухня. В ней мы и поселились. Нашей двупалатной кроватью с мамой стала широкая, окаймленная черным тяжелым чугуном палита.

Так свершилось наше первое трудовое крещение. Для Рублева мы мелькнули кратким, незначительным эпизодом, но для нас Рублево открыло своей первой записью страницу всей нашей последующей трудовой жизни.

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СВЕТЛАНА ОВЧИННИКОВА

★

## ПОД ВЗГЛЯДОМ СОФИТОВ

Сколько же мы успели за последние без малого три сезона! Прокричать дружное «ура!», театру, мгновенно услышавшему и выразившему время, когда еще не сделались обиходными понятия «перестройка» и «гласность». Театр первым из искусств вводил их в жизнь. Публицистические спектакли сезона 1985/86 года — «Серебряная свадьба» и «Говори...», «Статья» и «Диктатура совести» — воспринимались как откровения, да и были ими: примерами остроты, страстности, неприглушаемой боли, неретушируемых проблем в диалоге с залом... Они были одновременно и порождением и актом гласности.

Минул сезон. Всего лишь сезон — минимальная величина измерения театрального времени. И произошла если не переоценка, то дооценка ценностей: на фоне беспощадной обнаженности газетной публицистики, в нарастающем потоке обнародованных фактов, судебных документов уже не столь острым казалось слово, которое было вначале, слово, произнесенное со сценических подмостков. Оно не утратило правдивости, просто встало в ряд с другими словами, набранное тем же шрифтом, складываясь в общий монолог, произносимый временем: монолог трагический, исповедальный, покаянный.

Но, произнеся первые слова в этом монологе, театр словно не нашел, что говорить дальше... Он продемонстрировал как бы новый стиль исповеди, звучащей с трибуны; исповедь ошарашила, но позже — озадачила... Почему так быстро этот стиль исчерпал себя? Словно высказавшись разом, взалхав, выплеснув все накопившее, прокричав о наболевшем, театр охрип, а то и вовсе потерял голос?..

А может быть, не голос? Может быть, дар речи? Пьес-то нет... Снимаем с полки «Кабанчика» и «Седьмой подвиг Геракла», открываем шлюзы для изрядно постарев-

шей драматургии абсурда, «вспоминаем» некогда «забытые» прекрасные пьесы Эрдмана и Олеси... В пьесах, там, где пишется: «время действия», исчезло слово сегодня. «Спортивные сцены» — и те 1981 года...

Что же случилось? Почему вчерашнее «ура!» сегодня заменилось в большинстве критических статей на «караул!»? Разговор о взлете театра — констатацией его кризиса, подкрепленной реальными выкладками, доказывающими, что во время застоя театр работал куда продуктивнее, чем сегодня, когда ему все разрешено.

И очень просто в ряде статей трактуется ситуация: раньше, мол, неудачи списывали на вездесущих и всемогущих чиновников, которые не давали развернуться, а сегодня, получив волю, театры очутились в незавидной роли Остапа Бендера, не сумевшего воспользоваться миллионом...

Есть доля истины в таком объяснении ситуации? Есть. Прикрывавшиеся демагогией некоторые короли, как и предполагалось, оказались «голыми». Но и у истинных художников что-то не ладится: не удалась, мне кажется, Олегу Ефремову премьера «нового старого МХАТа» «Перламутровая Зинаида» М. Рощина. Два сезона не ставит в театре Марк Захаров.

Молчать честнее, чем работать на потребу кассы. А пьес, повторим, нет. Плохо, что их нет. И хорошо, что их нет. Потому что профанировать драматургию эстрадным «утром в газете, вечером — в куплете» не позволяет совесть времени. Похоже, жанр политического шпаятера с последующими за постановкой регалиями и почестями за тему канул в Лету. И слава богу. Не надо торопить драматургов.

Пьес нет. Однако есть проза. Написанная десятилетия назад, а пришедшая к нам сегодня; и только что вышедшая из-под



пера... Она всегда питала театр. В нынешней ситуации жизнеспособность сценического искусства едва ли не полностью обеспечивается ею.

И не в том дело, что сложное наше время потребовало особенно скрупулезного и пристального осмысления прошлого и настоящего во имя будущего. Осмысления явлений порой противоречивых, переплетенных в сложный клубок, имя которому — история, судьба, жизнь. А многоплановость легче поддается языку прозы с ее нерегламентированным размером, чем строгим временным канонам драмы... Предположений может быть сколько угодно. Важно для этого разговора — о бытии прозы на сценических подмостках то, что вот так счастливо случилось: в сегодняшнем искусстве есть мощный отряд прозаиков, хороших и разных. И закономерно, что мыслями и чувствами, будоражащими читателя, грешно обделять зрителя.

Вопрос «быть или не быть» литературной прозе на сценических подмостках давно уже звучит архаично. Посмотрим афишу любого театра: патриарха, как Малый, — «Выбор», «Берег», «Игра» Бондарева, «Накануне» Тургенева, «Сон о белых горах» Астафьева, «Картина» Градина, «Фома Гордеев» Горького, «Вызов» Маркова, «Беседы при ясной луне» Шукшина. Или афишу театра совсем маленького, как «Сфера», — «Театральный роман» Булгакова, «Прощай, Гульсары!» Айтматова, «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Живи и помни» Распутина, «Там, вдали» Шукшина, «Письма к незнакомке» Моруа и Моравиа...

Очевидно: процесс превращения романов, повестей, рассказов в пьесы идет настолько бурно, что настала пора приглядеться, как чувствует себя лидер в новом амплуа.

Вообще-то прозе менять амплуа привычно: телесериалы, киносценарии создаются на ее основе постоянно. Но практика показывает, что труднее всего литературе приходится в театре. Где неизбежно сокращение сюжетных линий, эпизодов, действующих лиц. Вездесущий прутковский афоризм «нельзя объять необъятное» сцена возводит в ранг закона. Но театр, призывая прозу к жертве, щедро одаривает ее чудом зрелищности.

Если проза является как бы зеркалом, которое лучшие наши литераторы умеют удивительно точно расположить в интерьере жизни, то театр делает это зеркало увеличивающим стеклом. Однако мощ-

ному дару, который приносит театр прозе, дано обращаться и в оружие, направленное против нее: все зависит от того, насколько интонация автора обогащается и усиливается арсеналом средств театрального воздействия, или, напротив, девальвируется им.

Воистину: если ты ударишь ногой о землю, тебя никто не услышит, а если ты топнешь на сцене — раздастся грохот, как заметил Эдуардо де Филиппо.

Художнический азарт театра, а сегодня и просто фатальная необходимость говорить о самых важных и самых разных проблемах бытия с помощью могучей нашей прозы — понятен. Но одно дело желание, другое — умение говорить... Перевод с языка прозы на язык драмы требует и безупречного вкуса, и способности определить главное, и умения, убирая побочные линии, не задеть вен и артерий, по которым пульсирует живая кровь произведения.

Потери, конечно, неизбежны, когда за три часа надо показать рассказанное на сотнях страниц романа. Да и театральная сцена, где описания действия становятся самим действием, словесные портреты — зримыми, нюансы — слышимыми, во многих словах прозы не нуждается. Хотя и жаль их как самостоятельную художественную ценность...

Но куда существеннее потери другого рода.

Говоря о первенстве идеи в спектакле, Станиславский с непривычной для него резкостью восклицал: «Изъян в идее пьесы нельзя ничем закрыть. Никакая театральная мишура не поможет». Идеи прозаика порой искажаются в инсценировке. И это — беда.

Приведу пример достаточно давний, но существенный в контексте нашего разговора, потому что связан с талантами мощными: и автора романа и автора спектакля... Здесь не разведешь руками: ну что спрашивать, коли бог не дал... И не воскликнешь: надо, чтобы близкие по мировосприятию и значимости художники интерпретировали прозаиков! Со значимостью и равностью все в полном порядке. Шукшина интерпретировал Ульянов. Кто достойнее? В каком творческом тандеме единомыслие полнее?

Но в спектакле театра имени Вахтангова жил не тот Степан Разин, о котором Василий Шукшин писал: «...в глубине этой души есть жалость к людям, и живет-то она, эта душа, и болит-то — в судорожных движениях любви и справедливости, и не-

ту в ней одной только голой гадкой страсти — насытиться человеческим унижением...» Основой трактовки Разина в спектакле стала другая характеристика, данная этому герою тоже Шукшиным: «Разин — сам человек, разносимый страстями... сам он не всегда умеет владеть характером, безумствует...» И за исключением редких сцен: беседы с Фролом или утешения скомороха Семки — жил на сцене более разбойник Стенька Разин, нежели окруженный ореолом легендарности один из самых яростных народных заступников, каких знала русская история.

Стирание ореола, вполне вероятно, являлось одной из задач, поставленных и Шукшиным и театром. Но между стиранием и низвержением есть разница. Ее-то на стадии инсценирования упустили.

При этом в инсценировку все события были взяты из романа Шукшина. И слова — тоже из романа. Но некоторая тенденциозность выбора сцен, интонационная неточность, помноженные на острую зрелищность, родили спектакль противоречивый, огорчивший смещением исторических и авторских оценок.

Роман В. Шукшина «Я пришел дать вам волю» жесток. Но в жестокой своей откровенности, глядя пристальным взглядом на болезненную Стенькину яростностью, Шукшин видит и показывает и щемящую человеческую трогательность своего героя: в сценах с пасынком, в мечте о синей птице... Они ушли из инсценировки. Зато оставлена и поставлена была, к примеру, сцена казни воеводы; и шмякалась о деревянные подмостки сброшенная с колокольни кукла... Натурализм и жестокость, которыми изобилует спектакль, шли под заливчатую скоморошью круговерть, в улюлюкающем ритме которой Разину — Ульянову просто не дано было времени задуматься...

Изыян в идее был особенно ощутим потому, что М. Ульянов относится к той прекрасной категории актеров, которые расслачиваются за каждый выход на сцену полной мерой духовных и физических сил. Актер и в этой работе «истекал кровью». Тем горше был ответ на вопрос: во имя чего? Во имя чего метался Стенька, воюя с неприкаянной, озлобленной своей душой?..

А откуда следующий вопрос: что хотел сказать театр этим спектаклем? Что хотели инсценировщики романа Шукшина сказать залу? Ведь ответственность перед автором, которого уже нет в живых, многократно тяжелее...

Ответственность перед автором... Она, как видно из практики, не в старательном следовании каждой букве произведения, а в абсолютном понимании и воплощении основной его идеи, в сохранении уровня духовности, в угаданности интонации.

Еще пример не из сегодня. Но уж больно яркое.

Даже при самом приблизительном сравнении литературного первоисточника — повести В. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы» и пьесы, сделанной по нему для Ленинградского Большого драматического театра имени Горького и жанрово определенной как воспоминание в двух частях, — видна изрядная смелость в обращении с прозой. Театр ввел новое действующее лицо — взрослого Евгения Тулупова, который не просто наблюдал за происходящим и комментировал его, являясь как бы «действующим лицом от зала», но и вступал в острую полемику с Женькой Тулуповым, главным героем повести и спектакля, в полемику со своей молодостью, со своим прошлым. Он знал о жизни вообще и о своей жизни в частности то, чего еще не мог знать Женька. Но молодость, наивная и бесконечно чистая, не научившаяся дипломатическим компромиссам, предъявляла свой счет умудренной взрослости. Если повесть — о нелегком, голодном, отчаивающемся и яростном в своей попытке выжить последнем годе войны, то спектакль — о сегодняшней ответственности перед подвигом тех лет. Можно сказать речью и определеннее: об ответственности нашего благополучия перед трагическим и стойким самопожертвованием тех лет.

Напрашивается вывод о необходимости авторизованного перевода прозы на язык драмы, создания пьес «по мотивам», а не «по следам» литературного произведения. И это не призыв к избению театрами литигуентов, к прикрытию писательским именем режиссерской самодемонстрации. У подлинных художников творческое осмысление прочитанного может достигать непредсказуемых ассоциативных высот, но никогда в основе и в результате работы над спектаклем по прозе не будут пспираться авторские имя и помыслы.

Ставя по документальной повести В. Елисейевой «Так оно было», напечатанной в «Новом мире», свой спектакль «Квадрат», молодой литовский режиссер Эймунтас Некрошюс, казалось, почти ничего не сохранил из текста произведения. И в программке обозначено: варна-

ции в одном действии по мотивам... Зрителю предлагается фантазия на тему были. Но какими-то ему одному ведомыми путями, ему одному присущим даром придумывать «говорящие» бессловесные мизансцены Некрошос сумел зримо, осязаемо воплотить то ощущение, которое остается по прочтении повести. Его спектакли, как хлеб, оставляют послевкусие...

Алгеброй не поверить гармонии. Тем более сложную, полифоничную гармонию спектаклей этого очень самобытного режиссера, к тридцати пяти годам увенчанного званием заслуженного деятеля искусств и государственными премиями, облаканного — и постоянно недовольного собой. Марк Захаров отметил с удивлением: «Космический уровень режиссерского мышления». Не только по высоте. По таинственности, загадочности, необъяснимости. И все-таки, перечитывая первоисточник, видишь, как именно от автора идет в своих вариациях этот мастер необузданной фантазии.

У В. Елисейевой основную площадь повести занимают письма. Если просто прочитать их вслух — а это самый распространенный прием инсценирования, — возникло бы неловкое ощущение подглядывания в замочную скважину. Повесть — для чтения наедине с журналом, а не с залом. И потому в спектакле, торопясь и захлебываясь, читаются Ею и Им лишь несколько не самых значительных писем... Эпизод — знак общения героев: с «воли» — в лагерь и обратно... И запоминается не текст, а то, как судорожно продаираются через эти письма друг к другу два человека. Отсюда и торопливость. Отсюда перебивание друг друга. Все — не случайно.

И музыка не случайная — она воплощение не звучащих со сцены слов ее писем: «Музыка, да, это действительно такая вещь, которая переворачивает в душе все. Музыка почти каждый день разрывает мою душу на части, уносит меня далеко-далеко отсюда, и я забываю обо всем, и вдруг музыка обрывается, и тебе приходится спуститься на землю и осознать, что все это был лишь только сон».

И пролог, который вовсе не написан в повести, не случаен и не чужд ей. На перроне выпускницу пединститута провожают по распределению, и она выступает и читает стихи: восторженно, старательно... Так режиссер показывает предельную институтскость, чистоту, светлость героини — ту, что видна во множестве писем.

А многократно описанный эпизод их первого свидания в тюрьме: ведь нет этого в повести — испуга, отчуждения, а потом одарения кусочками сбереженного сахара: один кусочек — день, другой — еще день, потом горсточка — неделя, потом горсть — месяц, потом сахарный дождь — годы... Годы ожидания, голода, надежд и — любовь, «Вечная весна». Серый тюремный сахар как белоснежная скульптура Родена. Он, так зовут в спектакле героя, приручает Ее, героиню, сахаром, извиняется перед ней — сахаром, объясняет себя — сахаром.

Но почему понадобилось приручать, извиняться, объяснять? Читаем в одном из Его писем: «...я считал тебя неземной, я боялся спугнуть тебя слишком смелым движением, а когда убедился, что ты земная, у меня не выдержали нервы, слишком велико было напряжение».

И сама молчаливость героя, позволяющая решать его образ более всего пластически, — из повести: «Почему Толька может так много говорить на бумаге и почти постоянно молчит, когда мы вместе?»

Как же внимательно надо было вчитаться в произведение, чтобы из мимолетностей «сочинить спектакль».

Именно сочинить — театрально, броско, неожиданно для трагического повествования: а Некрошос поставил трагедию. У В. Елисейевой в повести в основном письма героини. Автора спектакля больше заинтересовала судьба героя, он решил заглянуть за горизонт опубликованного, выплеснув и свое понимание жестокого времени долгих сроков «без права переписки»... И он заканчивает спектакль слепотой героя. Счастье Толи и Жени — исключение. Некрошос поставил спектакль о типичном. Не в ущерб главному в повести — сильным подлинным чувствам героев. Он сконцентрировал эти чувства на квадрате сценического пространства, прямоугольнике нар. Он сжал их в кулак — до боли, до следа от впившихся в ладонь ногтей. Но при этом малейший повод к радости использовал вдохновенно: долгожданное письмо сбросили с поезда — и он пролетает по сцене, кружась в танце. Поезд! Его играет актер в шинели. Он же — часовой. Он же — врач. Он же — митингующий оратор. По программе просто — Ведущий.

Танцующий поезд — не слишком ли? Нет.

Вот что доказывает и этот и другие спектакли Некрошоса: поэтическое ос-

мысленно, самое смелое, даже рискованное одаряет прозу, а «чтение по ролям» — при-нижает ее.

И снова подтверждается: перевод на язык драмы должен быть авторизованным. Только авторы и литературного и сценического произведений требуются талантливые. Залог удач и неудач бытия прозы на сцене в том, кто является «крестным отцом» при ее появлении на театральном свет.

А не везет прозе часто. Причем защиты от самых грубых, бесцеремонных посягательств нет. Из статьи в статью В. Каверин повторял, что спектакль «Перед зеркалом», поставленный по его одноименному роману Е. Еланской (она же автор инсценировки) в театре-студии «Сфера», нельзя показывать из-за низкого художественного уровня, — в театре оставались глухи...

В «Сфере», пожалуй, чаще, чем в любом другом театре, обращаются к прозе. Одними и теми же приемами решая и Шукшина и Айтматова. Всюду микрофоны — в маленьком-то зале на полтора места, всюду — песни. Только Шукшину повезло больше: к его повести «Там, вдали» подмонтировали Высоцкого. А в философскую притчу Айтматова «Прощай, Гульсары!» врубил шлягеры Е. Бачурина. К примеру:

И не облако парит над стадом сел,  
А уснувший от усталости орел...

Или:

Был бы мир увиден заново  
Среди света несказанного,  
И сквозь слезы, и сквозь смех  
Прошлогодний вспомнить снег.

Цитировать можно долго. Подряд. И возникает вопрос: если повесть «Прощай, Гульсары!» кажется театру недостаточно сценичной, зачем брать ее в репертуар? Зачем стилистику Айтматова забивать ширпотребом? Что надо думать о зрителе, которого приманивают таким образом? И где не шлет даже, но хотя бы элементарное уважение к тексту, если, произнося трагичнейший монолог, Танабай, обливаясь слезами, вынужден по воле режиссера шарить руками в поисках пресловутого микрофона? И на микрофоне, как на козе, выпущенной когда-то в балете «Эсмеральда», сосредоточивается внимание зала: дотянется или потеряет, нащупает или нет? «Я все вижу, Гульсары, как рвешься ты на поводу, как лупцует тебя Ибрагим с потягом с плеча!.. Отдать Гульсары! Нет, это слыше сил!.. Осиротел

табун. Осиротела душа. Унес иноходец вместе с собой и ее. Все унес. И солнце не то, и небо не то, и сам вроде не тот...» Вот такой произносится текст. Вот так ломается судьба: с хрустом, жестоко, страшно...

Но зрителям не до переживаний Танабая, не до дум Айтматова. Видимо, потому, что не до этого было создателям спектакля.

Искусственный зритель, придя на «Прощай, Гульсары!», замечает в наличии зонгов, в стиле игры актера, исполняющего роль иноходца, в массовках «табуна» прямое заимствование из «Истории лошади» Г. А. Товстоногова. Без ссылок на цитирование.

Но можно ли одними и теми же приемами воплощать на сцене прозу таких разных авторов, как Толстой и Айтматов? Это вопрос театроведческий. Вопросы этические оставим пока за скобками... Впрочем, они так смыкаются в трудном деле перевода прозы на язык драмы, что вряд ли можно судить о них порознь.

К примеру: творческий или этический это просчет, когда в зале, амфитеатре со сценой-ареной посередине, зрительские ряды загромождаются мостками и изрядной части публики часто не видно лиц героев (художник В. Солдатов)? Думается, и тот и другой. Такое изобразительное решение в спектакле «Прощай, Гульсары!» попросту дискредитирует прозу Ч. Айтматова. А ведь оно могло бы одарить ее провозительным и глубоким сценическим образом.

Вспомним, например, «А зори здесь тихие» Б. Васильева в Театре на Таганке. Лаконичное и простое решение нашел Д. Боровский: грузовик со зловещим номером «ИХ 16-5» (так закодировано в повести противостояние фашистов и наших девушек-зенитчиц в неравной и трагической схватке). Грузовик этот мгновенно разбирается на деревянные щиты, трансформируясь то в баню, то в землянку, то в дот... А в финале кружатся в вальсе пять пустых щитов, на которых только что были распяты войной героини спектакля.

А. Боровский в Театре сатиры просто и выразительно оформил повесть М. Роцина «Роковая ошибка». Череда школьных досок да несколько обычных стульев. На досках этих мелом пишется все, что угодно: объявления — в сцене с телефонами, где дурачатся девчонки-пегушницы, героини повести, разыгрывают звонками незнакомых людей, соревнуясь в лихости и бесцеремонности.

«Записки» — кто кого где ждет, обозначения места действия... И когда в финале действующие лица стирают надписи и — по огромной букве на каждого — пишут: конец, — возникает пронзительный образ города, опустевшего без главной героини, его нежизненности без таких вот девченок...

А до того момента город живет, двигается, томится. То в череде спешащих ног, что видны в просвете между полом сцены и досками, то в обозначающем конкретное место действия приеме, когда отодвигается с грохотом и криком: «Руки!» — одна из досок, а за ней — масса голов и рук, держащихся за воображаемые поручни в воображаемом метро... Черные доски. Серый город — деловой: драмы и розыгрыши в нем случаются равно автоматически, буднично... Как бы за спешкой и будничностью не потерять поколение? Об этом повесть Рощина. Об этом спектакль. Очень простой и емкий по форме, которая подчеркивает непростоту содержания, смысла, пафоса произведения. В которой угадан взгляд автора на рассказываемые события.

Для обращения прозы в равнозначный ей спектакль важно все, все компоненты, составляющие многоцветие театрального искусства, потому что в прозе ее создатель действует только словом. В театре... А чем не действуют в театре? Самое синтетичное из искусств, впитавшее, аккумуляировавшее в себе все прочие: от живописи, архитектуры, музыки, литературы — до лишь ему присущего лицедейства. Когда все это дарится театром прозе — она обогащается. Когда прозу обращают в повод для демонстрации этих богатств, она страдает.

Естественно, что и щедрость одаривания требует меры, ибо, как утверждал еще Гёте, «нет ничего ужаснее силы воображения без вкуса».

Печально, когда прозу превращают в либретто. Еще печальнее, когда ее обращают в индугенцию, оповещая об избранном сюжете по красным дням красной строкой афиши.

Казалось бы, времена эти прошли. Но быстро сказка сказывается...

Роман Ю. Бондарева «Игра» вызвал бурную полемику в печати. Малый театр словно вступил в эту полемику, поставив «Игру» на сцене.

Но в нашем разговоре важно другое: понять, про что оказался заявленный к 70-летию Октября спектакль? Почему в литературном отделе театра премьеру

окрестили «версией для жены в двух частях»? И почему, судя по такой интерпретации, В. Бондаренко, ныне завлит Малого театра, не усмотрел в процессе ли, в результате ли работы над спектаклем «Игра» неадекватности «перевода на язык драмы» прозаического первоисточника? Ведь именно литературные отделы театров призваны стать посредниками между прозаиком и драматургом, проводниками между книгой и сценой...

Мне могут возразить: в данном случае драматург и прозаик — одно лицо. Это так. Но различны жанры. Как известно, Бондарев сначала написал не для сцены. В бесхитростном процессе «перевода» внутренний монолог романа-исповеди обратился в монолог произносимый. И все. Диалоги мимолетны, конфликты смикшированы...

Если желание ставить это произведение было неодолимо, а только тогда и стоит и правомочно, думается, браться за прозу, — следовало бы проявить и такт и твердость, но создать произведение, отвечающее художественной взыскательности дня. А кажется, грешным делом, что в литературном отделе театра понадеялись прикрыть свои недоработки именем автора...

Боже упаси давать рецепты.

Хочу лишь привести совсем недавний пример: в театре имени Ленинского комсомола одаренный режиссер поставил «Царь-рыбу». Но премьеры не было. И не будет. Затраченное время, силы, средства списаны в графу убытков. Хотя в этот театр зритель ломится на любой спектакль, лопился бы и на этот. И актеры были заняты первоклассные. Но не получилось, как объяснил заведующий литературным отделом театра Ю. Махаев, произведения, адекватного прозе Астафьева, спектакль «мельчил» автора...

Я намеренно называю в разговоре имена завлитов. Потому что не только Павлу Александровичу Маркову, открывшему для театра роман «Белая гвардия», повезло в работе с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым над «Днями Турбиных». Думается, и Булгакову повезло в том, что завлитом МХАТа тогда работал Марков...

Сегодня именитых театроведов, а тем паче драматургов (как было когда-то: у Мейерхольда — В. Маяковский, в Ленком — К. Симонов) на завлитской должности почти не встретишь. Люди случайные или просто пробивные попадают куда чаще. И из работ над инсценированием литературного произведения выпадает

серьезное звено: адаптация к творческим возможностям, принципам, традициям данного театрального коллектива. Завлит призван быть одновременно и представителем автора и представителем театра. Но чаще работу вынужден, как в «Игре», взваливать на себя режиссер. К этому так привыкли, что и за просчеты спрашивают тоже с режиссера... А сами режиссеры берутся за работу с инсценировщиком, не задумываясь, что делают не свое дело. Хотя случается, делают хорошо: нужда выучила.

Конечно, ответственность литотделов или литчастей не заменяет ответственно-родительской, то есть авторской, за судьбу своего произведения. И нередки случаи, когда автор сам становится «переводчиком» своей прозы на язык драмы. И переводчиком блестящим. Вспомним, например, как когда-то вахтанговцам пришла «счастливая мысль заказать Юрию Олеше пьесу на тему его романа «Зависть». Счастливая мысль привела к счастливым результатам. Олеша не просто инсценировал роман, но создал блестящее драматургическое произведение, еще более острое и волнующее, чем сам роман». Это из «Дневника театрального критика» П. А. Маркова.

Вот более поздний пример: приглашение театром имени Ермоловой для инсценировки повести «Деньги для Марии» Валентина Распутина. Автор и ставивший спектакль В. Андреев учли простую истину: читая, всегда можно отложить книгу в сторону, чтобы поразмыслить над прочитанным, вернуться на сколько-то страниц и вновь перечитать заинтересовавшее. Спектакль такой возможности не дает: действие стремительно движется. И В. Распутин, готовя инсценировку, написал героям яростные монологи, адресованные себе, друг другу и в конечном и главном счете залу.

«Непонятно, кто кем теперь уже крутит: мы деньгами или они нами? И кто для кого создан? Как получилось, что мы их из-под надзора своего выпустили, как допустили мы такое? Да ведь это те же самые люди, которые в войну и в голодовку последнюю картошку друг другу несли, ничего не жалели» — это из монолога Кузьмы.

«Видал ты кого, чтобы согласился с плохой славой жить? Нету таких, а если есть, это люди ненормальные. Хорошими считаться мы любим, а хорошее делать не просто... Хорошим быть — от себя отдавать надо. Деньги, время, сердце ли...

кому что» — это говорил председатель колхоза.

«Что мы за люди, что к чему угодно привыкаем? Хорошо нам — привыкли... и забыли, вот как мы с тобой, что было хорошо» — это слова Марии.

Их нет в повести. Но они появились в пьесе. Мысли эти существуют в обеих ипостасях произведения, сделав спектакль публицистически, мировоззренчески равным повести.

В этом случае В. Андрееву удалось то, что не получилось в «Игре». Хотя, повторяю, не режиссерская это была обязанность.

За судьбу «перевода» литературного произведения на язык драмы отвечает множество людей. Режиссер, которому доверена его, произведения, стилистика, художник, передающий образ и облик, актеры, ищущие внешнее и духовное соответствие. Но все это не отменяет ответственности «родительской».

Скажем, нужно родителю, чтобы ребенок его говорил по-французски... А сам он знает только английский да немецкий с итальянским. Что делают в таком случае? Приглашают педагога. Профессионала в преподавании французского.

Хочет, к примеру, прозаик, чтобы произведение его увидело не только свет настольной лампы, но и рампы, а также дивов и софитов. А сам он пишет только романы, повести да рассказы. Что делать в таком случае?

Виктор Сергеевич Розов в своей недавно вышедшей книге «Путешествие в разные стороны» недоумевает по поводу присуждения ему Государственной премии за... инсценировку «Обыкновенной истории» Гончарова. Я, мол, не Волчек, Козаков или Табаков, не создатель спектакля. Создатель, Виктор Сергеевич! Первый из создателей: вначале было слово.

Очень важно, кого приглашает театр для написания инсценировки. Порой это бывает «человек со стороны», причем не ясно — с чьей. Ни к прозаику, ни к театру, для которого создается пьеса, он не имеет отношения. А ведь дело это не может, не должно быть побочным промыслом, подсобной ремесленной работой. Оно — творчество, возведенное в степень двойной ответственности: за свое имя и за имя автора прозаического произведения. Вот тогда, когда «Обыкновенную историю» или «Братьев Карамазовых» инсценирует Розов — полнокровность драматургии рождает произ-

ведения подлинной художественной ценности, какими стали спектакли «Современника» и театра на Малой Бронной.

В опыте Розова существенно и то, что драматург не пытался, инсценируя, скажем, Достоевского, объять необъятное. Он выбрал одну сюжетную линию произведения и назвал пьесу «Брат Алеша». Можно привести и пример, ставший давно хрестоматийным: во МХАТе «Братья Карамазовы» шли два вечера, а в перечне действующих лиц одно из главных мест занимал Автор.

Понятно, что, инсценируя, можно следовать одной выбранной сюжетной и философской линии или пытаться поднять максимально широкий пласт тем и проблем, объятых произведением. Непременное лишь то, что подход этот должен быть бережным и творческим. Одно без другого нелегко.

Розов — драматург. Проза у него получается хуже. И нет в этом никакой вины или ущербности: у каждого свой талант, каждый — мастер своего мастерства.

Конечно, перевод из одного жанра в другой всегда в какой-то степени компромисс. Но талант и мудрость постановщика, порядочность, наконец, заставляют забыть о компромиссе, когда смотришь результат.

Какое мне, скажем, дело до того, что Ганичев в трилогии Льва Додина по Федору Абрамову — это собирательный образ: Ганичев, да Подрезов, да Новожилов и, может быть, чуть-чуть Ося? Если вижу я на сцене человека — мучителя и мученика, который по роду работы своей — upholstery — отбирает у голодных последний кусок, но и сам с семьей, с шестерыми детьми голодает? Если слово «надо» для него прежде всего. До фанатизма. Если ненавидишь и жалеешь этого тощего, с железными зубами и железной хваткой мужичка и не на него только залишься — на время...

И какое мне, зрителю, дело до того, что лишь три фрагмента из «Братьев и сестер» и шесть из «Путей-перепутьев» вошли в более чем пятьдесят эпизодов спектакля «Братья и сестры», а остальные — из романа «Две зимы и три лета». Если вся боль Абрамова, надежда его, поразительная индивидуальность и интонация — не только книг интонация, но и тех подлинных людей, о которых они писались, — живут в спектаклях. Если «задача писателя — поддерживать в духовной форме

свой народ», как считал Абрамов, стала и задачей театра.

Спектаклях о Доме, хотя впрямую: «Дом» — названа финальная часть трилогии.

«Для меня вся страна домом была», — скажет старый коммунар Калина Иванович Дунаев.

«А страна, она из домов состоит, да, из деревянных, которые человеком рублены», — припечатает Михаил Пряслин.

И сцена будет состоять из домов: от птичьих — пустых скворечников на тонких пестях в глубине до крепкой выщербленной бревенчатой стены дома, которая станет трансформироваться по ходу спектакля то в киноэкран, то в платформу, то в забор...

Спектаклях о душе человеческой, тоже связанной корнями с домом, потому что, по словам режиссера, «душа человеческая... должна иметь корни, а не место для прописки; для исполнения своего предназначения должна питаться верой и иметь поле духовного применения, а не просто место работы и штамп в паспорте».

Спектакль о хлебе. И слова критика И. Дедкова, очень точные слова: «Для Абрамова хлеб насущный и хлеб духовный растут на одном поле жизни» — можно поставить эпиграфом к трилогии.

«Хлеб насущный и хлеб духовный» — не только в сюжете произведения, они сочетаются и в художественной стилистике спектакля. Быт спрессован здесь до натурализма: натурален запах вареного мяса в сцене празднования «обсеного», и настоящее зерно сыплется прямо в зал, и баня показана натуральная, но этот же быт и опозтизирован театром. В каждой сцене: трагичной ли, лукавой ли... Впрочем, трагедия плотно смешана здесь с радостью бытия, жизни вот на этой земле...

Михаил Пряслин возвращается с лесоповала в дом, где шесть голодных ртов да фотография отца... «Что это?» — звенит вопрос детей, впервые увидевших буханку хлеба... Трагедия. Пронзительная. А вот садятся они рядом, стелют вдоль многочисленных — в ряд — коленок чистое полотенце, режет старший буханку, передают ломти из рук в руки — бережно, торжественно, счастливо... Былина? Быль и символ одновременно. И времени и людей в нем... В этой же сцене примеряет Лизка настоящие башмаки, а близнята подкладывают валенки под каждый шаг, чтобы поберечь обувку.

Где здесь ценности материальные смыкаются с духовными? Бог его знает! Но уже в этой, не считая пролога, первой сцене спектакля «Братья и сестры» возникает понятие нерасторжимости тех ценностей, которые мы сегодня разделили: нравственной и материальной.

Но это понимаешь потом. А в долгие, но незаметно пробегающее время спектаклей, в три театральных вечера, не думалось, только сочувствовалось, только сердце болело, только радость охватывала, только под зерно протягивались ладони...

Додин поставил абрамовские спектакли безоглядно и бесстрашно: не сторонясь ни натурализма, ни символизма, ни буйства фантазии, ни аскетичной строгости; не рассчитывая эмоциональной нагрузки на зал — как время не рассчитывало ее для своих героев; не задумываясь, кажется, о ритмической выверенности сценического повествования: полчаса в «Доме» будет говориться монолог (в спектакле — не на тчетком концерте), и будет зал слушать загнипнотизированно исповедь Евдокии-великомученицы со всеми подробностями...

Почему будет слушать? Сюжет захватит? Да не обделила нас литература сюжетами!

Где разгадка такого воздействия этой работы?

Помню, в Доме актера давно, когда нынешние участники спектакля были еще студентами, шел долгий, явно перенасыщенный номерами и именами вечер. Под конец объявили сцену из студенческого спектакля. Это после чтения Юрского, после зонгов из «Истории лошадей», после бог вестей каких сюрпризов. Так вот объявили усталому залу, уже несколько опустевшему. Вышли девочки и мальчики. Заговорили каким-то непривычным слуху говором — словно заклинание произнесли, исчезло все вокруг: лишь их пекашинская жизнь властно притянула взгляд, слух, душу... Как притягивает она и сегодня, десять лет спустя.

Общеизвестна, много раз описана работа над этим спектаклем. И нежелание Абрамова, и пришедшую потом любовь его к сценическому воплощению романов, и сотрудничество с курсом, потом — театром, и дружба, и восхищение спектаклями и людьми, их сотворившими.

И дни, прожитые режиссером и будущими исполнителями в Верколе, о которой сам Додин рассказал: «Конечно, в глубины их жизни за то время, что мы

там были, погрузиться было невозможно, да и не в этом была наша цель. Удивиться ей, ощутить ее особую, я бы сказал, эпическую ясность, строгость, мужественность, неожиданно соединенную с чувствительностью, даже сентиментальностью, — вот к чему мы стремились».

Все это было. Все это в биографии спектаклей. Как была студенческая песня: «Кто это мы, что нужно нам в Пекашине?.. Ищем мы соль, ищем мы боль этой земли...»

Как вживались в эту работу ее участницы — известно. Но в каждом истинном художнике, в каждом талантливом произведении живет загадка.

Можно пересказать мизансцены.

Можно описать, как в прологе первой части на бревенчатой стене идут кадры кинохроники: возвращаются солдаты с войны, а на авансцене пекашинские бабы тревожно всматриваются в зал, ожидая и надеясь... И как в финале первого спектакля, столько о муках и тяготах войны рассказавшего, как бы материализуется их мечта — проходят сквозь ряды на сцену их оставшиеся в братских могилах мужья...

Додин часто использует этот прием сценической материализации мечты, когда, к примеру, разлученный с любимой, Мишка думает: был бы жив отец, — и появляется Иван Пряслин, и играет сцена свадьбы с Варварой. Нет, это не желание сказать: мечта помогла выжить — слишком простое толкование для непростого этого спектакля. Скорее здесь контраст, узор просветов между вязаными нитями, которыми и ценится оренбургская шаль. Контраст жизни, какой она могла и должна была быть, — и то, какая выпала на долю... Отчего еще горше воспринимается выпавшая.

Но и такая версия не объясняет всей полифонии этого спектакля-симфонии. Потому что Додин подчеркивает и трагедию военного времени, и просветленность его, идущую от человечности пекашинцев, их внутреннего, не позволяющего жалеть себя достоинства. Их готовности извлекать радость из малейшего намека на нее. Она — в звонкости сцены сева, в эпизоде, где бабы устраивают кучу малу, по-довоенному озорную, с военной горчинкой, с неизбежаемым никакими тяготами жизнелюбием...

В инсценировке нет дописанных слов, но есть придуманные сцены, говорящие без слов. Это и те, где наяву показывается мечта, и пролог второго спектакля: просмотр колхозниками кинофильма «Ку-



банские казаки», после которого прямо с экрана на них сыплется поток зерна... И снова не только светлая надежда той поры будет в сцене, а и диссонанс действительности с ее воплощением в искусстве. И — мечта авторская: чтобы так, именно так было.

Но было иначе. И классической стала сцена, когда председатель колхоза Лукашин не по воле своей — по приказу свыше потребует сдать такое долгожданное, заработанное сверх нормы, для себя, на трудодни и трудоночи зерно: сдать надежду впервые перезимовать без голодухи... И бревенчатая стена, трансформируется в платформу, на нее погрузят мешки с хлебом, и уплывет она вверх, и будут эти мешки сваливаться куда-то туда, где обитает «государственная необходимость». И изголодавшиеся люди будут смотреть на все это...

Таких сцен в трилогии много. Вернее — вся она состоит из них. Додин, его ученики и коллеги много придумали в этом спектакле. Но в придуманном нет ничего лишнего, необязательного, неоправданного и неправдивого.

Казалось бы, Абрамов создал совершенное эпическое полотно. Театр смело стал писать по нему своими красками — и не навредил (первая заповедь врача, которую так уместно применить к тем, кто пишет и ставит). А создал мощный триптих, конкретизировав наше представление о героях романов, наделив образы обликами, речь — интонацией, мысли — образностью.

Сам Федор Александрович Абрамов очень любил спектакль. Самостоятельное художественное произведение, истово проповедующее мысли автора, так чутко хранящее и обогащающее его интонацию: в романах, например, почти нет, дабы не утяжелять чтения, живой говорной северной речи, которая пленительно и естественно звучит в театре.

А режиссер утверждает следующее: «У театра должно быть кредо веры. Для нашего театра (Ленинградского Малого драматического. — С. О.) — это Абрамов. Безбрежный мир его страстей. Античная всеохватность жизни».

Додин по-новому решил вопрос о сценичности прозы. Он вообще любит инсценировки: не только трилогия по Абрамову, но «Господа Головлевы», «Кроткая» — известные его работы. Режиссер считает, что в драматургии нет той стихии действительности, которая есть в прозе. И в этой связи обратил внимание на такого

участника театрального действия, как зритель: «Проза в театре — это и для зрителя новое испытание. В последнее время мы приучили публику к коротким спектаклям, к одному антракту, к легкому досугу. Проза на спектакле требует другого. Спектакль обязательно становится длинным, по мысли и по чувству сложным, емким. Зрителю в нем надо пожить, пострадать. И уйти из театра не с легким сердцем. Проза в театре требовательна. И к режиссеру, и к актеру, и к зрителю».

И снова вспоминаю, какое острое чувство приобщения к подлинному искусству, высокому от помысла до малейших нюансов его воплощения, охватывало каждого, кому удавалось увидеть в Театре на Моховой спектакль Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии «Братья и сестры». Для того, чтобы вызвать катарсис в зале, юным артистам, еще дипломникам, самим надо было пройти через него. Романы Федора Абрамова сыграли неоценимую роль в воспитании молодых актеров, научив их сочувствию и сопереживанию, высокой серьезности и беспощадной самоотдаче. Только на таком материале, говорящем о вещах вечных, библейских и вместе с тем языком житейски конкретным о ситуациях исторически реальных, и можно научить актера высокой сути его профессии.

Так что не только зрителю нужна такая литература.

Театр растет вместе с прозой. И удачи случаются, когда в соавторстве отвага сочетается с бережностью. Талант предполагается априори.

Но бережность бывает разная.

Как в двух спектаклях по одному роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».

Эймунтасу Некрошюсу удалось в одном произведении раскрыть всю поэтику айтматовской прозы. Прозы многомерной, с космическим охватом событий и судеб, с мощным синтезом быта и притчи. Инсценировки по своим романам писатель не пишет. Хотя произведения его ставятся на сцене часто и популярность приобретают прочную и заслуженную. Можно вспомнить и спектакль Опского театра «Пегий пес, бегущий краем моря» (режиссер И. Рыскулов), и Якутского театра имени Ойунского «Желанный голубой берег мой» (режиссер А. Борисов). И десятилетия не сходящий с афиш знаменитый спектакль Казахского академического театра драмы имени М. Ауэзова

«Материнское поде» (режиссер А. Мамбетов).

Литовский молодежный театр поручил написать пьесу по роману «И дольше века длится день» известному драматургу Григорию Кановичу. Текст уместился на... 30 страницах. Охват страстей и размышлений измерению не поддается. Сценические метафоры Некрошоса рождают в зале те же мысли и чувства, что и роман Айтматова. В жертву приносится только объем информации.

Вот как объяснено это в программке спектакля: «Роман и инсценировка вовсе не состоят в таком близком родстве, как это может показаться на первый взгляд, и соотносятся друг с другом, как река и море, нежели как исток реки и устье... При всей рискованности таких аналогий бесспорным остается одно: сценический вариант прозы не есть механический слепок, лишаящий оригинал полнокровной жизни, не есть буквальный перевод с языка литературы на язык театра, авольное переложение, вольное, но не своевольное, верное оригиналу по духу, а не по букве, по сути, а не по количеству сто процентных совпадений... Река не может соперничать с морем, ее удел — влиться в него, не исчезнув бесследно и оставаясь в его берегах».

Влиться — то есть дополнить собой, своими театральными средствами прозу. Оставаться в берегах — не подменять самовыражением выраженное автором.

В сценическом изложении романа исчезли многие мифологические мотивы: нет ни птицы Доненбай, ни белой верблюдицы Акмаи, ни легенды о Раймалыаге и Бегимай... Нет паритет-космонавтов... Но сама космическая тема сохранена — в блестящем заборе, построенном из рельсов и огораживающем космосом, взлете света, напоминающего старт ракеты, и, главное, в неподдающейся лопате земле — символе забетонированной космическим веком памяти, олицетворяющейся старинным кладбищем Ана-Бейит...

Оставлена легенда о манкурте — пленнике, в котором убили память, сыне, убившем мать... Здесь увидел режиссер главную мысль Айтматова: «Ведь земля — это не шапка манкурта, она все помнит». Мысль, которая стала главной темой спектакля.

Везет Едигей от начала спектакля и до финала хоронить Казангапа, и печальная дорога эта становится дорогой его воспоминаний...

Они реальны, осязаемы — и при этом небытовы, как сам этот путь.

Лишь в прологе режиссер позволяет, а точнее повелевает зрителю ощутить особую атмосферу жизни на Буранном полуострове: несуетно и молча будет Едигей делать свои обычные дела... И сцена, затянутая войлоком, напомнит огромную юрту, и рельсы протянутся сквозь все долгое и пустое пространство, и костер будет гореть тихо и делово...

И прибежит лисица. Мы не увидим ее. Ее увидит Едигей. И спугнет — чтобы не попала под поезд. И вспомнит, что души людей переселяются после смерти в зверей. И узнает о том, что не стало Казангапа...

Быт кончится.

Метафоры, то злые, то поэтичные, то трагические, то философские, будут рассказывать судьбу Едигея.

Вот отпрашивается он у начальства на похороны. Не у человека — у мигающего пульты. У машины, решающей судьбы...

Вот растет Каранара: принесут на сцену канат, Едигей опустит пушистый, завязанный большим узлом конец его в ведро — пей! Потом поднимут — он и Укубала — канат на руках, и два горба нарисуют абрис верблюжонка. А вот уже четыре актера на рогатинах «едва удерживают» выросшие эти горбы, и морду, и хвост... А потом набросят на канат попопу с колокольчиком — и отправится Каранара в путь, везя гроб Казангапа...

Вот положит Едигей в гроб парадный костюм железнодорожника Казангапа и долго, тщательно будет выбивать блестящими гвоздями даты его жизни на обычной дощечке — и заблестит она впереди процессии, как ордена...

Вот под ликование жителей влезет на самую верхушку столба учитель Абуталип — приколачивать скворечник. И в весеннюю эту радость ворвется сцена ареста. Жизнь для счастья обратят в смерть, шест для птичьего жилья — в распятие...

Вот выстроит Едигей вдоль рампы всех жителей Буранного и заставит высунуть языки: нет на них следа чернильного карандаша, не подписывали они донос! И лишь один из соседей останется с закрытым ртом. И высветится в этой сцене детская наивность порядочных людей. И их будет большинство.

Вот обезумевшая Зарипа начнет замерзать в степи. И накинет на нее Едигей все: шинель, шарф, рубаху. Не поможет. И он осторожно и целомудренно при-

кроет ее собой, чтобы согреть своим теплом, своим дыханием. И расскажется о любви все, недоступное словам.

Вот в столовой услышат они о смерти Сталина, и все встанут и пойдут долгой процессией за женщиной в черном, принесшей весть, пойдут под мелодию «Судлико», зазвучавшую траурным маршем. И чуть повернется стол, а на нем, обеденном, обыденном, под скатертью — портрет вождя.

Вот Едигей проникнет вопреки роману на Ана-Бейит, откроет заветный сундучок, и посыпается сквозь пальцы то ли земля, то ли белый песок Арала. И начнет старик отрывать клочки от рубахи и заворачивать в них горсти земли: для каждого. И последнюю, уже заготовленную, достанет из кармана для себя... И встретит свою лилицу...

Каждая сцена прошита мыслью о сохранении человеческой души: вопреки зависимости от начальствующих роботов, в потребности отдать последний долг, в единении с природой, в соприкосновении с низостью предательства, в горечи неразделенной любви, в сопротивлении подлости, в сбереженном достоинстве последних минут бытия. Мыслью писателя, выраженной устами своего героя: «Запомни, сын... Только на бога не может быть обиды — если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рожден, — а за все остальное на земле есть и должен быть спрос!.. Добро отберут у тебя — не пропадешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого ничем не загладишь...»

Сильный спектакль поставил Э. Некрошос. Но сам он считает: «Театр никогда не может сравниться с хорошей литературой. Ничего страшного, если мы немного отстаем. Литература достойна большего уважения. Мы стараемся, насколько возможно, приблизиться к ней в отношении качества».

Лидеры театра — а именно к ним относятся сегодня и Лев Додин, и Эймунтас Некрошос — не считают зорным признавать первенство литературы. И это уважение, возможно, более всего помогает им создавать адекватные по значению произведения искусства.

Некрошос берег душу Айтматова, так распахнутую в «Буранном полустанке». Азербайжан Мамбетов, известным казахский режиссер, инсценируя роман Айтматова, старался максимально сохранить и слово.

Потому что ставил он спектакль в теат-

ре имени Вахтангова, ставил «на Ульянова».

Ульянов играет и Едигея и «человека от автора». Страдает — и комментирует страдание, совершает поступки — и одновременно рассказывает о них. Задача архисложная: она может быть рассчитана только на актера такого масштаба. Иному — не справиться.

Вот узнает Едигей — Ульянов об отъезде Зарипы. Учиняет в порыве почти безумия расправу над Каранаром. И бежит, бежит — от себя, от судьбы. И вертящийся круг сцены уходит, как земля из-под ног. И объясняет артист залу: «И пылая Земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг Солнца и, вращаясь вокруг оси своей, несла на себе в тот час человека, коленопреклоненного на снегу, посреди снежной пустыни. Ни король, ни император, ни какой иной владыка не пал бы на колени перед белым светом, сокрушаясь от утраты государства и власти, с таким отчаянием, как сделал то Буранный Едигей в день разлуки с любимой женщиной... И пылая Земля...»

Какая сцена, рассказывающая о любви Едигея, ближе Айтматову? Та, без слов, где обогревает Едигей Зарипу своим дыханием, или эта, где звучит притчевый текст романа?

Я не усматриваю в них полемики. Там — моноспектакль режиссера. Здесь — актера (не случайно Едигею — Ульянову отданы даже слова и мысли ученого Елизарова). Но в обоих случаях авторское сохранено с максимальной бережностью. И в обоих — учтены возможности и стилистика театров.

Увы, в сегодняшнем буквально буме инсценирования прозы подлинные удачи, какими стали рассказанные здесь спектакли, — редкость. Чаще даже у способных режиссеров мы наблюдаем обескураживающую самонадеянность в обращении с литературными произведениями.

Так в Театре имени Моссовета «Печальный детектив» В. Астафьева просто напросто... был «дописан» режиссером Г. Тростянецким. Я имею в виду не пластическое написание сцен детских воспоминаний Сошнина — в них как раз присутствует облик времени, людей, столь милых и автору, и герою, и режиссеру — тети Лины, Грانی Мезанцевой... Но сцены эти — спектакль в спектакле. Спектакль по Астафьеву в спектакле по Тростянецкому.

Уточню: упоминая «Три мешка сорной пшеницы» в БДТ, я призывала к «автори-

зованному» переводу прозы, рассказав, как инсценировщиками был дописан новый персонаж. И сейчас речь идет лишь о недопустимости вторжений в авторский текст, искажающих мысли писателя, то-нальность его повествования, его помыслы.

«Печальный детектив» — драма. Отражающая время с болью и гневом. И малейший перекося в замысле, одна, но иначе взятая нота могут стереть грань между болью и ненавистью. Здесь она не стерта — снесена.

Постановщик ужесточает и без того отважную в живописании свинцовых мерзостей жизни повесть. Причем самым незамысловатым, нетрудоемким образом — взяв в руки карандаш.

Так появляется в спектакле «черный зек» — чудовищный потомок репрессированных родителей, исчадие ада, воплощение философии человеконенавистничества. Так в один персонаж «слиты» порядочный человек Володя Горячев с проходимцем Пестеревым, причем под маской и именем последнего.

Лиха беда начало — режиссер все смелее навязывает себя в литературные соавторы и пишет роль сына Урны, текст — для Тамары, супруги Федора Лебеды, коллеги и антипода Сошнина.

Перекося в сценической транскрипции авторского взгляда на мир способствует и исчезновение персонажей повести, высветленных добротой: Паши Силаковой, написанной с юмором и симпатией, бабки Тутышихи.

Спектакль лишается многоплановости, полифоничности повести. И за счет замены персонажей Астафьева персонажами Тростянецкого, и за счет упрощения мотивов поступков многих героев: режиссер ампутирует судьбу Сырковасовой, оставляя функцию, пародию на редактора, веселящую разве что неудачливых литераторов, и эти «семейные радости» свидетельствуют о той свободе обращения с прозой, которую скорее можно считать вольностью, а то и своеволием.

Он «приписывает» биографию, достаточно банальную, отпрыска фешенебель-

ных родителей, покрываемого отчима чинами, шоферу, который у Астафьева совершает наезд случайно и в шоке от ужаса содеянного несется напролом, все сметая на страшном своем пути. Он «спрямляет» характеры и линии судеб тещи и тестя Сошнина... Зачем? За что такое обращение с произведением не навязанным — выбранным? Вот так зовут театры прозу замуж, а потом давай ее лупить... Может, сделать наоборот: пусть прозаики выбирают себе сцены и режиссеров? А может быть, Г. Тростянецкий счел индугенцией письмо Астафьева, что читает артист В. Соломин залу, еще не обратившись в Сошнина. О разрешении, вернее — о непротивлении автору попытке инсценировать «Печальный детектив»?

Но не может быть в этом деле индугенций. И иной позиции, кроме той, что высказал Некрошус: «Литература достойна большего уважения».

Я не призываю к подобострастию. Но если взгляды на жизнь писателя и режиссера не совпадают — не надо переливания крови чужой группы. При единой «группе крови» — и только — возможны удачи в трудном деле бытия прозы на сценических подмостках. Единой — всех, к делу этому причастных.

Проблема достижения духовной, эмоциональной, гражданской адекватности первоисточника и его сценического варианта стоит очень остро. Ни звания, ни регалии не могут служить гарантией от просчетов. Заведомых успехов тут быть не может — имя прозаика усиливает ответственность, но не освобождает от нее.

Сегодня напомнить об этом особенно важно, потому что обнародованы многие не публиковавшиеся ранее произведения и обнародованы уже планы театров, в которых и Булгаков, и Пастернак, и Дудинцев, и Рыбаков...

Лидерство прозы в контексте сегодняшнего творческого бытия заманчиво для изголодавшихся театров. Но как-то она будет чувствовать себя под пристальным взглядом софитов?

# КНИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Е. Невзглядова. Сюжет для небольшого рассказа.— А. Немзер. Новый Эйхенбаум.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Дрейцер. Анатомия «чуда».

## Литература и искусство

### СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА

Людмила Петрушевская. Три рассказа. «Аврора», 1987, № 2.

Л. Петрушевская. Три рассказа. «Нева», 1987, № 7.

Петрушевскую долго не печатали. Рассказы, о которых пойдет речь, были написаны в конце 60-х — начале 80-х годов. «Слишком мрачно», — говорили в редакциях журналов. В одном рассказе — самоубийство («Грипп»), в другом — помешательство («Бессмертная любовь»), в третьем — проституция («Дочь Ксении»), в четвертом — прозябание несчастной семьи запрещенного и забытого писателя («Козел Ваня»).

В 1984 году «Аврора» опубликовала рассказ Петрушевской «Через поля». И только в 1987-м «Аврора» и «Нева» представили ее читателю подборками из трех рассказов.

Подозреваю, что, если бы Петрушевская рассказывала о жертвах культа личности, о темных судьбах тех времен, ее вещи с удовольствием принимались бы сейчас всеми толстыми журналами и ходко шли с печатного станка к читающей публике. Но вот беда: ничего такого в них нет. Казалось бы, в рассказах нет виновных, никто не обвиняется, а «активная позиция» автора каким-то удивительным образом ведет «не туда». Петрушевская описывает современную жизнь, далекую от благополучных квартир и официальных приемных. Ее герои — незаметные, замученные жизнью люди, тихо или скандально страдающие в своих коммунальных квартирах и неприглядных дворах. Автор приглашает нас в ничем не примечательные служебные конторы и на лестничные клетки, знакомит с разнообразными несчастьями, с безнравственностью и отсутствием смысла существования. Нет нужды долго объяснять, что изображение распада еще не несет в себе распада, что отрицательные стороны действительности, описанные достоверно и талантливо, со-

держат активный заряд гуманности и сострадания, побуждают пересмотреть образ жизни в гораздо большей степени, чем открытые призывы и высказанное автором осуждение. Так всегда было в русской классической литературе.

Настоящее искусство не бывает безнравственным. Безнравственно и безграмотно переносить тень от изображаемого на художественный смысл произведения. Художник не может быть свободен от совести, но должен быть свободен в выборе ситуации, сюжета, характеров и метода — иначе он не художник.

А мы? Что-то случилось с нашим слухом, возможно, испорченным конъюнктурным печатным словом. Он засорился, он забит «нужным материалом», написанным на заданные темы. Читатель сам стал просить прозы, которая воспитывает. Он требует ее как лекарство, в которое уверовал, не замечая, что от него никакого проку нет. Значит, дело зашло далеко, и литературный стереотип занял то место в общественном сознании, которое должно оставаться вакантным, — место для новизны. Мы ведь многое теряем, ленясь проявить непредвзятое любопытство и в некоторых случаях прибегнуть к умственному усилию, чтобы оценить то, чего еще не знавали, с чем куда не встречались.

Проза Людмилы Петрушевской представляется мне именно таким случаем. Своё объяснение особенностей этой прозы я хочу предварить несколькими замечаниями.

Известно, что писатель должен писать грамотно; плохим стилем не пишутся хорошие вещи. Но и литературно правильная речь, построенная в соответствии с норма-

тивной стилистикой, не обеспечивает еще качество прозы. Норма — лишь эталон, от которого отталкивается писатель. Более того, по словам А. В. Щербы, художественные достоинства таятся в обоснованных отступлениях от нормы.

Петрушевская на каждом шагу пренебрегает литературной нормой, и если у Зоценко, например, автор выступает от имени внелитературного рассказчика, а Платонов создал собственный язык на основе общенародного, то тут мы имеем дело с модификацией той же задачи. Петрушевская при отсутствии рассказчика пользуется языковыми нарушениями, встречающимися в разговорной речи. Они не принадлежат ни рассказчику, ни персонажу. У них своя роль. Они воссоздают ту ситуацию, при которой возникают в разговоре.

На необычном построении и звучании держится ее проза. Если бы Гоголь не был Гоголем, все давно позабыли бы трагикомическую историю какого-то замшелого Акакия Акакиевича. И в своей знаменитой статье «Как сделана «Шинель» Гоголя?» Б. М. Эйхенбаум, разбирая стиливое устройство повести, в сущности, говорит о том, что такое Гоголь (чем он отличается от всех прочих писателей). Это очень важно. Дайте этот сюжет кому-нибудь другому — и все пропало.

Я говорю банальные вещи? Теоретически — да. Они настолько общеизвестны, что всегда выносятся за скобки. И практически выходит, что то, как написано произведение, как звучит фраза, предложение, как они построены, выпадает из поля зрения. Внимание на этом не задерживается, оно спешит скорее достать смысл и второпях, относясь к языку лишь как к посреднику мысли, проносится мимо нее, мимо мысли, рабски зависимой от слова. Смысла, именно смысла передается стилистическими средствами и приемами построения повествования. Нельзя ни прибавить, ни убавить слова, чтобы не изменить смысла предложения.

Петрушевская пишет короткие рассказы. Среди них есть такие, что занимают двести машинописных странички. Но это не миниатюры, не этюды или зарисовки, это рассказы, которые и короткими-то не назовешь, если учесть объем входящего в них жизненного материала. Рассказы столь необычны, что некоторые из них при первом прочтении могут вызвать недоумение: неясно, о чем они написаны. Только лирические стихи непересказуемы. Сюжет прозаического произведения чаще всего нетрудно пересказать.

Рассказ «Дядя Гриша» написан от первого лица. Молодая женщина снимает на лето часть сарая в подмосковном поселке и невольно наблюдает жизнь своих хозяев: дяди Гриши, тети Симы и их взрослых детей. И вот странность — она о них не рассказывает, а только упоминает. Может быть, потому не рассказывает, что ничего не происходит? Да нет, происходит, еще как происходит — дядю Гришу убивают. Но об убийстве мы узнаем от нее почти случайно, из попутного, сделанного вскользь замечания. О чем же ведется речь?

Задавшись этим вопросом, с любопытством обнаруживаем, что чуть ли не в каждом абзаце обсуждается опасность одинокого проживания на отшибе, вступающая в противоречие с чувством безопасности, которое испытывает героиня и которому, удивляясь, она придает какое-то преувеличенное значение. «Множество опасностей подстерегало одинокую женщину на пути от станции до дому, по улице без фонарей. Позднее именно в нашем закоулке и погиб мой хозяин, дядя Гриша, но я всегда странным образом верила в безопасность и в то, что никогда и никто в конечном счете меня не тронет». Мотив опасности (безопасности) звучит на протяжении всего рассказа. Так основательно исследуется этот вопрос, что вырастает почти в проблему. Зачем — не сразу разберешь, но именно он формирует сюжет.

Поскольку фабула подается как нечто маловажное, не рассказывается, а выясняется попутно, по частям, непоследовательно и беспорядочно, никак нельзя сказать, что ради нее предпринято повествование. Но и сюжет сам по себе на удивление мало о чем говорит: кто находился в опасности, остался невредим, а тот, кто ее не ждал, сражен своевольным роком. Что-то водевильное, анекдотическое содержится в капризе обстоятельств, несмотря на убийство. Коварство судьбы, только впервые явившееся человеку, вероятно, поразило его ум. Слишком известное, чтобы служить темой для размышлений, оно привычно становится объектом насмешки. Отсюда устойчивые иронические словосочетания вроде «игра фортуны», «причуды судьбы» и т. д.

А рассказ грустный. Что именно вызывает горькое чувство мужественно сносимой безысходности? Невесть откуда пришедшее, оно возникает как-то вне фабулы и сюжета. Дядю Гришу убивают, но мы узнаем об этом так, что смерть не возбуждает ни страха, ни жалости, как бы «из равнодушных уст» — и равнодушно ей внимаем. Разнородные элементы сюжета незаметным, уди-

вительным образом подготавливают то чувство, что появляется в конце рассказа.

Находя странности, я не даю рассказу оценку. В дальнейшем я постараюсь связать обнаруженные особенности с тем глубоким впечатлением, которое производит на меня проза Петрушевской. Пока же прошу следовать за ходом рассуждений.

У Чехова есть рассказ «По делам службы», где главное событие (самоубийство) вынесено на периферию сюжета, а иллюзию действия производит душевное состояние персонажа. Все же последовательно, один за другим в рассказе сменяются моменты фабулы: приезд следователя в деревню, его пребывание на месте происшествия, поездка в гости к помещику фон Тауницу и возвращение назад. Последовательность этих событий, не важная в сюжетном плане, тем не менее соблюдена. Она определяет характер повествования, делает его развернутым во времени. Читатель имеет возможность как бы участвовать в описываемом, сопереживать.

Сюжет в рассказах Петрушевской возникает из неупорядоченных частей фабулы, события и факты предстают в разрозненном виде, непоследовательно; как будто разбит на мелкие черепки сосуд, и, собирая разбросанные осколки, мы не сразу, с усилием восстанавливаем его форму. Смысл складывается из разнородных элементов, из обрывков и повторов, топтания на месте, проходных сценок и отступлений, сплошного, можно сказать, отступления, ибо отсутствует диктуемая фабулой сюжетная линейность.

На что это похоже? На стихи. «В стихах сверкает смысл, как будто перестрелка», иногда он возникает помимо логико-грамматических конструкций, поэтическая мысль — алогическая мысль, ритм устанавливает в стихах перекрестные связи. Сюжет в поэзии строится иначе, чем в прозе, — свободно, ассоциативно, непоследовательно. Поэтическая мысль растекается по древу, это ее природное свойство, и, начиная стихотворение, поэт может не знать, о чем пойдет речь в следующий миг. Смысл возникает ассоциативно по подсказке ритма и рифмы.

Автор рассказа обычно с самого начала представляет себе предмет описания. И Петрушевская, конечно же, во всех рассказах заранее знает, что она будет описывать. Она знает это, но... не описывает! Она обходится без описания так, будто пишет стихи. Эта разорванная фабула, читаемая по складам, собираемая по клочкам!

Вместо того чтобы развиваться, сюжет у Петрушевской концентрируется вокруг какого-то одного момента или эпизода. Обыч-

но у нее к началу рассказа действие уже завершилось и ситуация получила определенность. Читателю предстоит внезапно увидеть то, что приковывает внимание автора и что автор не может передать вдруг, хотя всеми силами к этому стремится.

Но так как рассказывать надо постепенно, хотя и не обязательно последовательно, автор сосредоточивается на какой-то одной точке, не самой важной, и подтягивает к ней все, что относится к данной ситуации, те остальные части, о которых надо знать, чтобы представить себе целое.

В рассказе «Дядя Гриша» эта боковая точка ситуации, ставшая центральной точкой сюжета, — проблема опасности-безопасности. Рассказы обычно посвящены коллизии, замершей при разглядывании, с прилепившейся к ней предысторией и массой попутных подробностей, характеризующих картину. И часто смежные обстоятельства влияют на наше понимание происходящего в гораздо большей степени, чем эпизод, оказавшийся в фокусе внимания.

Например, «Удар грома». Само название концентрирует внимание на одном моменте. Внезапное вмешательство в телефонный разговор третьего лица, очевидно, по параллельному телефону, было воспринято героиней как удар грома и положило конец и телефонному разговору и вообще знакомству. Между делом выясняется характер восьмилетних отношений действующих лиц — некоего Зубова и его приятельницы Марины, их семейные обстоятельства и служебное положение, но согласно строению сюжета все эти сведения предстают как дополнительный материал к минутной ситуации телефонного разговора.

В рассказе «Милая дама» описан момент отъезда. Человек сидит в такси на заднем сиденье и посылает прощальную улыбку снизу вверх, адресованную молодой женщине, «милой даме», с которой расстается навсегда. То, что читателю сообщается о нем и о ней, пристегнуто к этому моменту: в центре сюжета — одна прощальная сцена.

Не развертывая, а наоборот, сворачивая жизненное событие, Петрушевская вычлениет в нем проходной эпизод, неитоговый результат: телефонный разговор, отъезд в такси. Но в сочетании с подробными деталями, дорисовывающими ситуацию, создается ощущение всей полноты жизни, потому что по прочтении рассказа с внезапной startling ясностью, которая изредка посещает в миг прозрения, мы постигаем сжатое сюжетом жизненное пространство в сопровождении яркого и колючего, как ком в горле, эмоционального порыва.

Так бывает в стихах.

У читателя лирики нет условий для обдумывания и переживания смысла речи. Он сразу при помощи ритма подключается к авторскому лирическому волнению. Не случайно в лирике господствует, как заметил поэт, настоящее время, причем не present continuous и не present indefinite (настоящее продолжающееся и настоящее повторяющееся), а некое мгновенное настоящее, это специфически лирическое время, когда чувство достигает высшей степени интенсивности, на которой оно не в силах надолго задержаться, подобно тому как на доли минуты выжимает штангу тяжелоатлет.

Свернутость сюжетов объясняется необычно сильным для прозаика волнением души, ее «тяжелым напряжением». Словно оно не позволяет вести последовательный рассказ, не дает возможности спокойно излагать вещи по порядку. Как шутя говорил о себе М. М. Зощенко, для полного блеска описания не было у него «такого, что ли, нужного» спокойствия духа.

В прозе Петрушевской душевным волнением сжата каждая неподвижная ситуация, каждый на бегу застывший сюжет, именно по этой причине оставляющий впечатление стремительного движения («Так яркий ток, оледенев, над бездною висит, утратив прежний грозный рев, храня движенья вид»).

Вид движенья, который хранит поток авторской речи, тем более удивителен, что эмоциональная волна, поднимающаяся со дна души автора, до речевых форм доходит в измененном, почти неузнаваемом виде.

Автор, и это еще одно свойство прозы Петрушевской, всеми силами скрывает, подавляет и сдерживает свои чувства. Как будто в выражениях их есть что-то сомнительное, спекулятивное, чего нельзя допустить. Эта проза представляет собой сказ особого вида с характерными чертами вне-литературного рассказчика. Два языка, протокольно-канцелярский и разговорно-бытовой, образуют устную, с неправильными оборотами речь, прикреплённую к официальной, деловой ситуации.

И авторская эмоция, таким образом, вынужденно находится в строгих рамках, давая о себе знать лишь речевым напором, выражающимся грамматически: всеми этими «именно», «таким образом», «самое главное» и т. п. Огромную роль тут играют повторы, создающие впечатление упорной сосредоточенности, которая владеет автором до забвения формы, до пренебрежения «правилами хорошего стиля».

Вот пример из рассказа «Удар грома»: «Затем эти странные отношения продолжа-

лись уже совсем неизвестно по какому поводу, поскольку факт переезда исчерпал себя, исчерпали себя другие факты, такие, как смерть древней матери Зубова, на похороны которой Марина пошла по собственной инициативе; а других существенных фактов не было — то есть у Марины и Зубова были какие-то факты, но принадлежащие уже к другой плоскости, не к плоскости отношений Марины с ее бывшим мужем и не к плоскости вопроса приобретения мебели для зубовской квартиры». Четыре раза слово «факт» и три раза — «плоскости» в одном абзаце! Видно, заинтересованность в предмете речи совершенно переключила внимание рассказчика с формы речи на суть дела. Надо сказать, что в предыдущих трех абзацах шесть раз фигурирует слово «люстра». В следующем же — протяженностью в семь строк — трижды употреблено слово «квартира» и трижды слово «беседовали». В начале этого абзаца встречаем знакомое слово «пустовать», на которое мы наталкивались несколько раз прежде. Не будет преувеличением сказать, что весь текст буквально пропит повторяющимися словами и словосочетаниями, которые изредка разбавлены выпадающими из стиля и потому особенно красноречивыми выражениями вроде «нежные лепестки» — о люстре.

Так выдает и одновременно прячет себя воодушевление. Автор говорит путано и страстно, с одной стороны, прикрываясь канцеляризмами вроде: «трудности финансового и жилищного характера»; «с разрешения руководства», «очередной приход»; «как и в предыдущем месте», с другой — впадая в смешные нелепости разговорной речи: «в особенности знаменательной была в этом отношении жена»; «никто бы в мире не взялся за такое дело, говорить, что все это плохо кончится» и т. п. Эта речь напоминает выступление на собрании месткома, разбирающего персональное дело, она ограничена пределами официальной ситуации и окрылена чисто человеческими страстями, стоящими за мероприятиями такого рода.

Нет, не кого-то, какой-то персонаж, смеясь над ним, изображает Петрушевская. Это мы так говорим, нас и себя, «не делая проблем из разности слепой меж кем-то и собой», имеет она в виду. Мы сами не знаем, что вырывается из наших уст, когда обстоятельства берут за горло. Если не дома, то на работе, применяясь к казенному этикету, бьемся мы, применяясь истинно и справедливо, и в надежде договориться с враждебным официозом заговариваем ему зубы на его языке. О, как спотыкается тогда, корчась в корявых оборотах, наше уязв-



ленное достоинство и «продрогшая честь», которые хотят непременно по правилам, как положено, не выдав тайного жара души, догнать, достичь, доказать, уличить, настоять на своем и добиться!

А разве не то же самое происходит в частных, внеслужебных отношениях, не тот же трепет в тисках неблагоприятных условий, при отсутствии проезжих путей друг к другу, даже среди близких людей («...и пробиться друг к другу никому не дано»)?

В этих попытках пробиться действуют те же тщетные погуги привлечь на свою сторону логику, и та же страсть, и то же самолюбивое сокрытие страдания. Страстное разбирательство — вот что такое жизнь в рассказах Петрушевской. Претерпевшие наказание ищут состав преступления и не находят.

О чем бы ни был рассказ, авторская речь независимо от содержания часто служебными грамматическими средствами разворачивает драматическое препирательство с жизнью, тяжкую тягбу с судьбой. Автора нет, но его речь — и герой, и обстоятельство, и само действие.

Петрушевская — лирик, и, как во многих лирических стихах, в ее прозе нет лирического героя, нет фабулы и не важен сюжет. Ее речь, как речь поэта, сразу о многом.

Конечно, не всегда сюжет ее рассказа непересказуем и незначителен, но главное в ее прозе — всепоглощающее чувство, создаваемое потоком авторской речи. «Сюжет для небольшого рассказа» оказывается погружен в него и полностью в нем растворен.

Волнение автора возбуждается жизненными перипетиями, далекими от того, что принято считать поэтическим. И выясняется, между прочим, что поэзия не в одних средствах выражения — ритме, рифме и необходимости писать столбиком — и не только в предмете речи, а в характере отношения к нему — взволнованном, одушевленном. Вол-

нение и нуждается в звуковой организации, определяя способ мышления.

Поэзия давно обращается к прозе за материалом. С тех пор как Пушкин шутил просил современников простить ему «ненужный прозаизм», она далеко продвинулась навстречу прозе, не забывая, однако, откуда явилась, помня свое родство с заклинанием, заговором, молитвой.

В свою очередь проза тянулась к поэзии, одалживая у нее атрибуты: ритм, метр, даже рифму и, конечно, метафору, — но, заходя на чужую территорию, кажется, напрасно увлекалась несвойственными ей забавами и по этой причине изменяла своей природе — особому неметафоричному характеру мысли. Ведь для поэзии звуковая организация — жизненно важное условие, вовсе не игрушка.

Соединить поэзию с прозой удавалось только большим художникам. Старания в этом направлении шли по двум путям: вовлечения поэтического предмета в сферу прозаического описания и, как уже говорилось, заимствования формальных поэтических средств. Петрушевская подошла к задаче с неожиданной стороны. Она внесла в современную прозу присущее лирике волнение как бы со служебного хода, изгнав эмоцию из прямых обозначений речи, препоручила ее вспомогательным средствам — грамматическим и сюжетно-композиционным.

Особый синтез поэзии и прозы создает новое качество письма Петрушевской, ее необычную манеру, которая, если в ней не разобраться, способна оставить читателя равнодушным. Ее рассказы можно пробежать глазами, ничего в них не заметив, и даже вовсе не понять. В том-то и дело, что неожиданная лирическая проза, или, лучше сказать, прозаическая лирика, Петрушевской требует от читателя встречного движения мысли, усилием добытого понимания.

Но, открывшись, она широко вознаграждает за труд.

Е. НЕВЗГЛЯДОВА.



## НОВЫЙ ЭЙХЕНБАУМ

Б. Эйхенбаум. О литературе. Работы разных лет. М. «Советский писатель». 1987. 542 стр.

Что такое новая книга? Книга, которая вышла в свет недавно. А если написана она давно? А если нет в ней ничего нового, то есть новых смыслов, будящих у читателей новые мысли? А если?..

Много таких «а если» можно придумать, куда рассуждаем мы о новой книге вообще. Всякое определение рискует оказаться неполным или неточным. Между тем оцени-

вая книгу конкретную, мы, как правило, знаем, новая она или нет.

Видели нового Эйхенбаума? — это не только частый, но и верно поставленный вопрос. Рецензируемая книга действительно новая, хотя самая поздняя из помещенных в ней работ датируется 1958 годом (самая ранняя — 1913-м) и всего лишь две статьи — «О художественном слове» и «О «простых ве-

цах» и азбучных истинах» — да фрагменты конспекта речи о Манделъштаме — относятся к числу первопубликаций.

Новизна обусловлена не только тем, что составившие первую часть тома монографии «Молодой Толстой» (1922) и «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» (1924), успев прославиться, давно стали раритетами. (Что уж говорить о статьях 10—20-х годов, таящихся большей частью в газетных подшивках и известных узкому кругу специалистов?) Новой делает книгу ее научный аппарат, благодаря которому читатель впервые может всерьез приобщиться к «трудам и дням» одного из крупнейших литературоведов XX столетия — Бориса Михайловича Эйхенбаума (1886—1959).

Новаторство рецензируемого тома особенно наглядно на общем фоне нашей издательской практики. Читатель (в том числе и специалист) настолько не избалован переизданиями трудов писателей, философов, эстетиков, литературоведов, по тем или иным причинам задвинутых в запасники культуры, что готов радоваться самому факту выхода в свет новой старой книги. Если говорить об отечественной литературоведческой классике XX века, то стоит напомнить: статьи Г. А. Гуковского, Л. В. Пумпянского, Б. В. Томашевского, Д. П. Якубовича после смерти ученых не были собраны ни разу; не переиздаются монографии тех же Томашевского и Гуковского или, скажем, Н. И. Мордовченко; далеко не полностью представлено в сборниках (тоже давно не переиздававшихся) наследие М. К. Азадовского, В. В. Гиппиуса, Ю. Г. Оксмана, А. П. Скафтымова, М. А. Цявловского. В сущности, достаточно полно изданы только труды В. М. Жирмунского и В. В. Виноградова (издание продолжается), которых судьба одарила академическими привилегиями, М. М. Бахтина (хотя книга о Рабле не переиздавалась с 1965 года) и Ю. Н. Тынянова<sup>1</sup> (здесь

тоже нужно оговориться — «Проблема стихотворного языка» в последний раз увидела свет в том же 1965 году). Если же отступить в век девятнадцатый, то картина будет еще печальней: мы только-только приступаем к воспроизведению фундаментальных работ ученых прошлого столетия; больше века понадобилось для того, чтобы переиздать «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» П. В. Анненкова!

Помня о такой бедности, понимаешь, почему попытки говорить о качестве переизданий (увы, не всегда высоком) часто встречаются в штыки. Как правило, в ответ слышишь: «Да что вы! О чем толковать! И так спасибо — нам не до жиру...» Многое стоит за этим «нам не до жиру»: привычка довольствоваться фрагментами в хрестоматиях вместо целого, привычка относиться к комментарию как к излишеству, привычка мыслить вступительную статью в качестве паровоза, что должен вытянуть неблагонадежного автора. Подобная постановка вопроса (не побоюсь резкого слова) развращает всех — и издательских работников, что режут и режут объемы комментариев, и чиновников от науки, создающих свои «разоблачительные» предисловия-прикрытия не только ради гонораров, но и ради славы в околелитературных кругах («без него никогда бы не издали!»), и читателей, нередко воспринимающих даже серьезное слово компетентного профессионала как досадную нагрузку, перестающих уважать любых гуманитариев. Самое же главное — глухие книги (без комментария вовсе или с минимальным, зато с тяжеловесным предисловием, где монотонно исчислены все «заблуждения» писателя, критика или ученого былых времен) искажают, и существенно, издаваемого автора.

Гуманитарная мысль требует контекста порой даже более настоятельно, чем творение художественное. Литературоведческие идеи тысячами нитей соединены с социокультурной ситуацией, они, как правило, полемичны по отношению к предшествующей научной традиции и идеям других школ (периоды всеобщего согласия в науке суть периоды ее застоя). Наконец, в силу особой гибкости и образности языка лите-

гда книга вышла: „Такое можно сделать только один раз в жизни“» («Вопросы литературы», 1987, № 9, стр. 16—17). Рецензируемое издание, подготовленное тем же авторским коллективом, опровергает грустный тезис собеседника М. О. Чудаковой. Впрочем, и к сожалению, комментарий к Эйхенбауму гораздо... не беднее (и слово-то это здесь неуместно), но, скажем, аскетичнее, чем в случае с Тыняновым.

<sup>1</sup> О том, как делалось это издание (Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М. 1977), хорошо рассказала недавно М. О. Чудакова: «...с 1973 по 1976-й с немислимыми, совершенно непостижимыми для кого-либо, кроме соотечественников, усилиями мы, трое соавторов (Е. Тоддес, А. Чудаков и я), волокли к печатному станку — что именно? Пучок прокламаций, подрывающих основы? Нет, всего лишь сборник историко-литературных и критических статей Ю. Тынянова... Десятки, сотни замечаний разных инстанций на 17 печатных листах нашего научного комментария, построенного... в основном на архивных источниках, и все эти замечания — только о степени «лояльности» одного, другого, третьего из упоминаемых нами деятелей культуры. Понимающий коллега сказал, ко-

ратуроведческой науки ее термины и формулы могут с ходом времени серьезно модифицироваться, менять смысл на едва ли не противоположный. Формулировка «искусство как прием» в 20-х и 60-х годах наполнялась отнюдь не одним и тем же смыслом.

Интерес к поэтике, отчетливо заявившей себя в начале 60-х годов, стимулировал тогдашнее обращение к литературоведческой мысли 20—30-х годов. Произошло второе рождение трудов Ю. Н. Тынянова и М. М. Бахтина, В. Б. Шкловского и В. Я. Проппа, Андрея Белого и О. М. Фрейденберг, В. В. Виноградова и Г. О. Винокура, В. М. Жирмунского и Г. А. Гуковского. При этом акцент делался не на расхождении в позициях ученых, но на том, что их объединяло; старые концепции воспринимались как готовые к употреблению, от века существующие, а потому и незбылемые. То была естественная и закономерная радость знакомства, приобщения к подлинной филологической культуре.

Говоря о таком отношении к литературоведческому наследию как о необходимом, хотя и преодоленном этапе, нельзя упускать из виду два побочных и очень влиятельных обстоятельства. Во-первых, еще недавно официально законодателями литературоведческих норм продолжали числиться лица, скажем мягко, иного творческого масштаба, чем Эйхенбаум, Бахтин или Виноградов. Во-вторых, не замедлила проявиться тенденция решительного противопоставления одних исследователей другим. Речь идет именно о противопоставлении, в подтексте которого установка на принижении одного ученого за счет другого, побивание авторитетом, а не поиск закономерностей, обусловивших творческое многоголосье филологической мысли 20-х годов. Чаще всего в качестве своего рода тарана использовались (и продолжают использоваться, причем все менее и менее квалифицированно) работы М. М. Бахтина, созданные в полемике с «формальной школой»<sup>2</sup>.

В такой ситуации спокойно заниматься историей филологической науки очень трудно. Если на всех перекрестках кричат, что Тынянов и Эйхенбаум формалисты, которые в лучшем случае не понимали того, что ясно и первокурснику филфака, а в худшем — злобно унижали русскую литературу и культуру, то по-человечески понятно желание встать на защиту, не уточнять оттенки, а кричать в ответ что-нибудь лозунговое. Путь этот соблазнителен и неверен: хуле, какие бы скандальные формы она ни принимала, должно противопоставить не оголтелую хвалу, но понимание. Понимание же — результат восстановления духовного мира ученого и контекста, в котором существовало его творчество.

Хорошо ли мы знали до сей поры наследие Эйхенбаума — одного из лидеров «формальной школы», одного из основоположников советской текстологии, блестящего критика и эссеиста, автора серьезнейших работ о Лермонтове и Льве Толстом? Как посмотреть. Вроде бы и неплохо. Изданные в 1969 году однотомники «О поэзии» (предисловие Вл. Орлова) и «О прозе» (составление И. Ямпольского, вступительная статья Г. Бялого) ввели в оборот ряд принципиальных исследований. Недавно эти книги совместились в одну (Б. Эйхенбаум. О прозе. О поэзии. Л. 1986), разумеется, без существенных потерь. Доступны читателю «Статьи о Лермонтове» (М.—Л. 1961) и «Лев Толстой. Семидесятые годы» (Л. 1974), другие части исследования о Толстом, к сожалению, не переизданы. Не так уж мало. И существенную лауну закрывает новый том.

Тут-то и возникает проблема. Надо, с одной стороны, дать максимально точный портрет ученого, а с другой — избежать повторов, ввести забытые тексты. Издатель Эйхенбаума были попросту обречены на компромисс и сделали все, дабы найти выход. Состав книги принципиально нов: лишь

деть силу и слабости этой книги и понять, что в ней от Вахтина, а что от стиля полемики конца 20-х годов. Во-вторых, стоит напомнить, что поздний Вахтин считал нужным подчеркивать высокую значимость работ своих былых противников: «...у нас есть высокие научные традиции, выработанные как в прошлом (Потебня, Веселовский), так и в советскую эпоху (Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум, Гуковский и другие)», — писал он в 1970 году, отвечая на вопрос редакции «Нового мира». В-третьих, абсолютизация отдельных тезисов Бахтина (вне попыток осмысления его драматической судьбы, особенностей его духовного мира, его сложных связей с эпохой) способна лишь упростить до неузнаваемости наследие выдающегося мыслителя.

<sup>2</sup> Здесь необходимы как минимум три оговорки. Во-первых, книга «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику» (Л. 1928), вышедшая под именем П. Н. Медведева и отражающая взгляды М. М. Вахтина, до сих пор не только не переиздана, но и закрыта от читателя, видимо, потому, что автор ее имел неосторожность упомянуть Л. Троцкого. (В аналогичном положении, кстати, и книга Эйхенбаума «Литература» (Л. 1927), этим же, вероятно, следует объяснить отсутствие в посмертных изданиях Эйхенбаума ряда его важных выступлений, в том числе статьи «Ораторский стиль Ленина».) Когда это ненормальное положение будет исправлено, серьезный читатель сможет уви-

один текст — заметка «О Маяковском», позволяющая осветить в комментарии важный сюжет отношений Эйхенбаума с поэтом, — входил в сборник «О поэзии». Составители — дочь ученого О. Б. Эйхенбаум и Е. А. Тоддес — шли на риск, представляя литературоведа без ряда методологически важных трудов, даже без статьи «Как сделана «Шинель» Гоголя?» — своего рода визитной карточки Эйхенбаума. Страховали их, видимо, надежда на читательскую память и уверенность в действительности вступительной статьи (авторы — М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес) и комментария (авторы — они же и А. П. Чудаков).

Облик ученого возникает в результате сложного взаимодействия его публикуемых текстов, статьи и комментариев, насыщенных интереснейшим архивным материалом, и читательской памяти о прежних изданиях, отсылки к которым (равно как и к изданию Тынянова 1977 года) приобретают особый смысл. Книга рассчитана на читателя квалифицированного; тому же, кто Эйхенбаума прежде не читал, а о «формальной школе» знает только из вузовских учебников, работать с новым изданием будет подчас трудно. Таковы парадоксы нашей издательской практики, и стыдливо замалчивать их было бы, на мой взгляд, недобросовестно.

Поняв сложности, с которыми столкнулся авторский коллектив, делавший «О литературе», читатель правильно оценит стратегию, избранную во вступительной статье «Наследие и путь Б. Эйхенбаума». Логическое ударение в заголовке падает на слово «путь». Иначе было в книгах 1969 года, композиция которых имела отчетливо антихронологический характер; статьи, разведенные по жанрово-тематическим разделам, внутри их выстраивались не в соответствии с эволюцией автора, а... в соответствии с историей литературы. Два десятилетия назад стоял вопрос не о «пути», а о «наследии». Ныне ситуация изменилась — и это закономерно.

Знакомясь с фрагментами дневниковых записей и эпистолярия Эйхенбаума, понимаешь, сколь важным для ученого было чувство истории, включенность в нее и единорство с ней. Все повороты духовной биографии Эйхенбаума продиктованы стремлением уловить ритм истории, расслышать ее гул, стремлением, казалось бы, чуждым для человека академического склада. Так было в 1917—1918 годах — в момент вхождения Эйхенбаума в ОПОЯЗ, что ощущалось им «как нечто большее, чем только научный выбор». Так было в 1925 году, когда

ученый переживал новый перелом и ясно осознавал: «То, чем я жил в годы 1917—1922, кончено. Научная работа прежнего типа не привлекает — скучно и ненужно... Во всей остроте и простоте стоит вопрос — что мне дальше делать в жизни? Куда направить свой темперамент, ум, силы?» (дневниковая запись от 2 декабря 1925 года). Так было в 1928 году, когда Эйхенбаум нашел новый выход, ощутив необходимость сближения литературоведения с литературой. Так было в блокадные дни, когда шла упоенная работа над четвертым томом монографии о Толстом (рукопись его пропала в марте 1942 года). Так было в 1945 году, когда люди поколения Эйхенбаума видели, говоря словами поэта, «горизонты с перспективами», надеясь на «новизну народной роли» (Б. Пастернак. «Зарево», 1943). Короткий фрагмент об этом периоде, «когда Эйхенбаум попытался сблизить опозовский и последующие пласты своей работы», представляется одним из важнейших мест во вступительной статье. Весьма важны и публикации статьи «Надо договориться» и проведенный в комментарии к ней анализ полемики Эйхенбаума с Гуковским — все это напоминает о той высоте, на которой стояла наша литературоведческая мысль в преддверии ее тотального разгрома, начавшегося осенью 1946 года. Так было и в «трудный сезон» (1946—1953 гг.), когда Эйхенбаум, изгнанный с работы, лишенный возможности печататься, но сохранявший душевную и умственную бодрость, был вынужден (по слову Щедрина в «Современной идиллии») годить. Так было и позже, когда официальное признание вернулось, но диалог с теми, кто хорошо усвоил уроки конца 40-х годов, давался мучительно. Характерна дневниковая запись от 10 марта 1958 года об обсуждении «теоретического сборника», о «своеобразии русского реализма» в Пушкинском Доме: «Мне предлагается в этом сборнике статья под заглавием «Психологический анализ в реализме Лермонтова». Видели что-нибудь подобное? Полный распад сознания и науки».

История всегда мыслилась Эйхенбаумом как серьезная сила, лишь в диалоге с которой существует его творчество. Это объясняет и переломы в судьбе ученого и то постоянство, с которым Эйхенбаум оставался самим собой. Как исследователь, отдавший немало сил изучению жизни и творческого дела Толстого и Лескова, Эйхенбаум прекрасно понимал диалектику изменчивости и внутреннего единства, характеризующую по-настоящему крупных людей.

Поколение ученых, создавших отечествен-

ную филологию XX века, знало себе цену, как бы горько ни приходилось каждому или всем вместе. Эти люди понимали, что такое ирония истории и что такое «ценностей незыблемая скала». Потому и мог Ю. Г. Оксман написать в 1949 году Эйхенбауму: «Тебе бы надо было жить во времена Пушкина или московских салонов эпохи Чаадаева, Герцена, Белинского. Тогда ты бы уже давно был предшественником революционных демократов, а не папою ОПОЯЗа. Впрочем, история разберет, что лучше, а что хуже!» Потому и должен был написать Эйхенбаум Шкловскому 26 апреля 1955 года после доклада И. П. Еремина «Об изучении художественной формы древнерусской литературы»: «Он — академический ученый в лучшем смысле этого слова, но без твоих работ не было бы и этого доклада».

Они это знали. И мы знаем, что без ранних книг Эйхенбаума о Лермонтове, Толстом или мелодике русского стиха мы размышляли бы (и не только об этих писателях или этих проблемах) совсем иначе. Прослеживая путь Эйхенбаума, мы восстанавливаем родословную сегодняшнего литературоведения. Чтение любых родословных — будь то родословные людей или идей — наполняет душу не только гордостью, но и печалью. Прогресс в литературе (и — убежден — в литературоведении) — понятие относительное: обретения неотделимы от утрат. Так в судьбе каждого ученого (и Эйхенбаума в том числе), так и в нашей науке в целом. Едва ли возможно повторение фигур, подобных Тынянову или Бахтину, Эйхенбауму или Гуковскому. Они не знали верных ответов на все возможные вопросы, но когда мы внимательно читаем их статьи и книги, перед нами нередко встают вопросы завтрашнего дня филологической мысли. Надо увидеть эти вопросы.

Конкретные положения работ Эйхенбаума вызывали и будут вызывать возражения. Это дело естественное. Но хочется верить, что после книги «О литературе», впервые воссоздающей путь и образ выдающегося ученого, литератора, человека, реже будут раздаваться беспочвенные и грубые обвинения в адрес «формалистов». Надо же наконец понять, что не пренебрегали они историей, что не были их теоретические построения оторваны от конкретного материала (ведь пишут же такое — и о ком? — о Тынянове, знавшем первую половину XIX века так, словно жил он тогда, о Томашев-

ском и Эйхенбауме, подготовивших образцовые издания стольких русских классиков!), что никогда не игнорировалась ими личность писателя и что не высокопарные слова, а реальная работа дает ответ на вопрос, для кого литературоведение было делом жизни, а для кого доходным, хоть и худо исполняемым промыслом.

М. Чудакова и Е. Тоддес завершают свою статью цитатой из стихотворения Баратынского «К чему невольнику мечтания свободы?..»:

Жизнь, в сердце бьющая могучею волною  
И в грани узкие втесненная судьбою.

Стихами этими закончил Эйхенбаум одно из писем к Шкловскому (от 5 октября 1947 года). Значимо перекликаются с ними размышления о Баратынском в газетной заметке 1944 года (к столетию со дня смерти поэта): «Принято было смотреть на Баратынского как на поэта интимного, камерного, лишенного «гражданских» тем, замкнутого миром личных чувств и впечатлений. Это не совсем так... даже в самых интимных и личных его стихах звучит голос поколения, голос истории, а вовсе не отъединенной от мира личности... Поэзия Баратынского строится на трагическом сознании вынужденной замкнутости и ограниченности. Тем самым эта ограниченность преодолена уже внутри его поэзии — строем мысли, характером языка, а часто и выбором тем». Так написал Эйхенбаум о Баратынском, вольно или невольно сказав очень многое и о себе.

Новая книга, надеюсь, навеет новые мысли тем, кому недостаточно было знакомства со статьями выдающегося филолога. Имеющий уши да слышит. Ну а если нет — не все потеряно. Не отпадает насущная необходимость в научном издании всего наследия Эйхенбаума, в том числе работ, оставшихся за бортом рецензируемого тома по венаучным причинам<sup>3</sup>, а также его дневников и эпистолярия. Возможно, что полный Эйхенбаум переубедит всех скептиков.

А. НЕМЗЕР.

<sup>3</sup> Я имею в виду прежде всего статью «Миг сознания» (1921), этапную для Эйхенбаума, подробно рассмотренную во вступительной статье к тому, но не опубликованную. Выше говорилось о книге «Литература». Крайне желательно переиздание «Моего временника» (Л. 1929) — уникального литературного памятника, книги, имитирующей журнал.

Политика и наука

## АНАТОМИЯ «ЧУДА»

Масанори Моритани. Современная технология и экономическое развитие Японии. Перевод с английского. М. «Экономика». 1986. 264 стр.

Вице-президента одной из самых крупных в США фирм как-то спросили, чем, на его взгляд, будет определяться развитие американской экономики в ближайшие десять лет. Ответ был несколько неожиданным. «На новом этапе,— заявил вице-президент,— техника, капиталовложения, контроль инфляции решающего значения иметь не будут. Все будет зависеть от того, как мы воспримем тот факт, что в Японии умеют управлять лучше нас».

Да! «Экономическое чудо» Японии не без основания впрямую связывают с особенностями и высокой действенностью ее управленческого потенциала (при несомненной значимости тех культурных традиций, что берут свое начало в глубокой древности).

«Одна из величайших и до сих пор не разгаданных тайн японской экономики,— пишет Масанори Моритани в предисловии к своей книге,— заключается в том, что освоение современной передовой технологии и производство новейшего ассортимента промышленных изделий соотносятся с культурной и социальной спецификой жизни нашего народа. Для среднего европейца и американца Япония — это страна, где господствует традиционная культура и восточный этикетика. Отсюда и все возрастающий интерес к принципам согласования национальных традиций с возможностями вступления в эру современной технологии».

Не случайно сегодня изучение японского управления, как зло сыронизировал один японский экономист, стало небольшой, но растущей отраслью западных экономик, переживающих спад.

Ошибкой было бы считать японское управление чем-то исконным, национально присущим. Вспомним: не так давно экономический взлет Японии строился на успешном использовании чужого творческого потенциала. Повсеместно признавалось, что технические нововведения рождаются в Европе, внедряются в промышленность в Соединенных Штатах, а отшлифовываются и доводятся до совершенства в Японии. Сейчас эта формула устарела. Многие исследователи сходятся на том, что последние успехи Японии в значительной степени связаны как раз с освоением новых технологий. Успех не у того, кто первым разработал, а у того, кто первым освоил, внедрил,— этим сейчас прежде всего определяется результативность науч-

но-технического развития и в конечном счете эффективность хозяйствования.

Сейчас высшие достижения наблюдаются, как правило, в наиболее наукоемких отраслях японской промышленности. Они покоятся на значительных объемах исследований и разработок. Как-то все удачно сошлось — особенности природных условий страны, специфика национального характера и культурных традиций. Страна, практически лишенная собственных природных ресурсов, завалила мир высококачественными разнообразными товарами.

Культурная и социальная специфика Японии, по мнению автора книги, играет существенную роль, усиливая эффективность выбранного курса развития экономики. В стране, скажем, непостижимо высокая по нашим (увы, не лучшим) меркам дисциплина поставок. Фирмы-субподрядчики, производящие исходные компоненты сложной современной техники, гарантируют отличное качество деталей. Это тот самый фундамент, на котором зиждется пирамида национальной технологии. Именно его имеет в виду Моритани, сравнивая возможности научно-технического развития Японии и США: «Не исключено, что технический потенциал Японии действительно мощнее. Возвышающийся американский небоскреб, может быть, более впечатляет, но устойчивость базы технического прогресса Японии, похоже, все-таки берет верх» (разрядка моя.— И. Д.).

Мы много говорим о необходимости более тесной связи науки и производства. В Японии это не модный лозунг дня, а норма, не нуждающаяся в обсуждении условие научно-технического развития. Для служащего японской фирмы работать в цехах престижно. Если, скажем, на «Хитаги» прикладными исследованиями заняты около 8 тысяч человек, то только 3 тысячи из них работают непосредственно в исследовательском центре корпорации. Остальные же распределяются по конструкторским и производственным отделениям.

Пути от идеи до машины или до коммерческой технологии у японцев сокращает и кадровая политика — то особое тщание, с которым ведется подготовка трудового потенциала страны (не только управленческого персонала, но и квалифицированных рабочих). Японский рабочий расходует на профессиональную подготовку в шесть раз

больше времени, чем американский. Ежегодный выпуск инженеров по электронике и электротехнике в Японии в начале 80-х годов превысил уровень выпуска таких специалистов в США.

Важная особенность состоит в том, как используются кадры. Лучшие исследовательские и инженерные силы Японии разрабатывают гражданскую технику, в то время как, скажем, в Соединенных Штатах так называемые застойные отрасли (черная металлургия, машиностроение и др.) не в состоянии конкурировать с военно-промышленным комплексом в борьбе за первоклассных специалистов.

Ну и, конечно, отношение японцев к качеству выпускаемой продукции. «Можно сказать, — пишет Моритани, — что повышение качества продукции сферы материального производства и услуг стало у японцев чем-то вроде национального идефикса. В этом смысле они не видят разницы между отраслями хозяйства, разделяя убеждение, что фирма «потеряет лицо», если не будет стараться повысить качество товаров и услуг».

Коэффициент брака в японской электронной промышленности, к примеру, приближается к уровню миллионных (!) долей выпуска (в американской господствуют сотые, про нас не говорю). Невероятно высокие параметры качества достигаются, отметим, не особо тщательным контролем, а путем перехода к системному обеспечению качества.

Прежде всего стоит упомянуть широко теперь известные кружки качества.

Наиболее привлекают здесь два обстоятельства: то, что в процессе обеспечения качества участвует практически весь персонал, включая работников, занятых на поточных линиях, и то, что забота о качестве сказывается на решении всех ключевых проблем предприятия — снижении издержек, повышении производительности труда и т. д.

Идея кружков качества очень быстро пересекла национальные границы. По данным Моритани, они уже внедрены примерно на 500 предприятиях США и 100 фирмах Западной Европы. Не худо бы, вероятно, и нашему Госстандарту проявить конструктивный интерес к этому опыту.

Японское «технологическое чудо» обусловлено еще и гибким финансовым механизмом. Скажем, японская система налого-

вых льгот хорошо ориентирована на ускорение научно-технического развития. Она позволяет компаниям уже в первый год возмещать до 45 процентов затрат на новое оборудование. Для фирм, внедряющих роботы и гибкие производственные системы, установлена дополнительная налоговая скидка. Иными словами, усилия, направленные на ускорение научно-технического прогресса, всячески поощряются государством.

Проведение столь активной инвестиционной политики позволило Японии достичь самого низкого в капиталистическом мире возраста промышленного оборудования.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы сильно зависят от масштабов рынков сбыта продукции. Япония давит массой и качеством ширпотреба, но оказывается слабой в тех областях, где рынок узок, а также там, где требуется осуществление долгосрочных программ без каких-либо перспектив быстрой экономической отдачи. Но и в этой сфере грядут перемены. С каждым годом в Японии все более щедро финансируются исследования и разработки (в некоторых компаниях ежегодный рост средств, выделяемых на эти цели, превышает 13 процентов). По такому показателю, как удельный вес расходов на науку в валовом объеме продаж, Япония уже превосходит США. А вот и самые новые тенденции: наиболее процветающие компании сегодня уделяют большое внимание не только прикладным, но и фундаментальным исследованиям. Рано или поздно это скажется и на тех областях, где Япония пока не впереди.

Японцы явно склонны отступить и от своего прежнего узконационального подхода к решению экономических задач. Мало того что им удалось пресечь столь болезненную для научного потенциала страны «утечку мозгов» — с начала 80-х к работе над наиболее перспективными проектами все чаще привлекаются иностранные ученые.

...Утверждают, и не без оснований, что японский опыт и японские технологические идеи будут играть заметную роль в формировании образа грядущего столетия. Масанори Моритани пытается в своей книге показать, как это произойдет, если, конечно, произойдет...

**И. ДРЕЙЦЕР.**

## ВАЖНЫЕ «МЕЛОЧИ»

Современная жизнь все строже наказывает специалистов разных отраслей народного хозяйства за экологическую некомпетентность. Неисчислимы урон, который мы повседневно, порой сами того не замечая, наносим природе. В этой связи выход в 1987 году в Агропромиздате справочника «Охрана природы» нельзя назвать случайностью. И тем печальнее констатировать, что книга эта во многом не отвечает сегодняшним потребностям в экологических знаниях.

Авторы справочника пишут: «Наряду с понятием охрана природы часто применяют выражение охрана окружающей природной среды или охрана окружающей среды, охрана среды обитания. Все эти термины принято понимать как синонимы, так как природная среда — это та часть природы, в окружении которой протекает жизнь человека и в целом общества». При этом совершенно упускается из виду, что природа едина, а человек — тоже ее часть. (Все это несколько напоминает анекдотичную формулировку из учебника «Охрана природы» для студентов сельскохозяйственных вузов, выпущенного Агропромиздатом в 1985 году, гласящую, что «созданные человеком предметы не входят в понятие окружающей среды, поскольку здания, автомобили и т. п. не окружают общество; они могут окружать лишь отдельных людей».) Наконец самое главное: природа и окружающая среда — отнюдь не синонимы. Большая Советская Энциклопедия, например, понимает под окружающей средой среду обитания и производственной деятельности человечества.

Перейдем к другому основополагающему понятию — экологии. С помощью этой науки, как известно, решаются проблемы охраны окружающей среды. Справочник расшифровывает термин следующим образом: «Экология (общая) — наука о закономерностях взаимосвязей и взаимодействий организмов и их систем со средой обитания. Занимается исследованием основ структуры и функционирования естественных и антропогенных экологических систем и биосферы в целом».

Между тем немецкий естествоиспытатель Э. Гекель, автор этого термина, понимал под экологией «познание экономики природы, одновременное исследование всех взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами среды, включая непременно неантагонистические и антагонистические взаимоотношения животных и растений, контактирующих друг с другом. Одним словом, экология — это наука, изучающая все сложные взаимосвязи и взаимоотношения в природе, рассматриваемые Дарвином как условия борьбы за существование». Э. Гекеля, таким образом, данная наука заинтересовала прежде всего в связи с экономикой природы. Об этом в справочнике — ни слова...

Под вредными воздействиями на природную среду авторы подразумевают лишь загрязнения от техники и технологии, как будто нет физических и химических разрушений природного потенциала, связанных с некомпетентными, безответственными действиями хозяйственных органов. Не нашлось в книге места для упоминания о процессах разложения, круговорота кислорода, углерода, азота, воды, а ведь в этом — основа плодородия почвы, база повышения продуктивности экосистем.

Авторы справочника исходят из предпосылки «охранять» природу в буквальном, примитивном понимании этого слова. Не случайно самые емкие главы посвящены правовым и административно-управленческим инструкциям, с помощью которых, по мнению авторов, можно осуществлять самые эффективные природоохранные меры. Однако это не так. Современная жизнь требует творческого, компетентного подхода к решению эколого-экономических проблем. Специалисты нуждаются не в призывах охранять природу, а в разработке комплексной схемы экологизации производства.

**М. СТЕПАШКИН,**

*кандидат экономических наук.*



## КОРОТКО О КНИГАХ



**ВИКТОР ПРОНИН.** Продолжим наши игры. Повесть. Роман. М. «Московский рабочий». 1987. 320 стр.

Грустные истории рассказал В. Пронин читателю в книге «Продолжим наши игры». Вроде бы и дело-то веселое, легкое — игра, а нет, ни радости, ни легкости не чувствуется. Герой «Игр» Василий Вороховин, шагающий по головам сослуживцев к административным вершинам, даже толком и не припомнит, когда смеялся в последний раз... Не до смеха и Вадиму Анфертьеву из романа «Кандибобер». Они похожи — Василий и Вадим, а потому схожи и их истории. Роман «Кандибобер», написанный много позже повести «Продолжим наши игры», генетически связан с ней, повторяя некоторые ее ходы вплоть до деталей.

Однако это не просто повторы. Повесть и роман рождены одной и той же мучающей автора мыслью, которая, тезисно прозвучав в «Играх», обрастает новыми смыслами и подробностями в романе о судьбе Анфертьева.

На что уходят часы нашей «единственной жизни»? Как спасти людям с «птичьими правами» от оборотов «Большого Маховика» жизни и как определить ту черту, за которой обычные вроде бы поступки становятся подлостью? Героя романа «Кандибобер» нельзя назвать циником или прохвостом, напротив — это в общем-то совестливый человек. И тем не менее переживая разлад с миром, возникший не только по его вине, он, может быть даже неожиданно для себя, оказывается вне морали. Распирительное толкование понятий совести и порядочности, к которому приводит жизнь Анфертьева, оборачивается опаснейшей иллюзией с трагическим исходом.

В странном мире, где с работы могут снять одновременно и «за развал работы, и за хорошую работу», живет фотограф Анфертьев в конце второго тысячелетия новой эры! В этом мире даже висящий в его квартире ковер оказывается символом победы «над временем и пространством, земными недрами и океанскими глубинами, над алкоголизмом, хандрой, старческим слабоумием, общественным транспортом, но, самое главное, — над соседями по площадке!». И однажды случится так, что алый отсвет ковра ляжет на думы Анфертьева и толкнет на дело неожиданное и опасное... Скромный заводской фотограф решится ограбить сейф в бухгалтерии, и проделает он это виртуозно. Более того, он ухитрится ввести в заблуждение следствие и переложить всю ответственность за преступление на своего начальника Кварда-

кова. В ожидании суда Квардаков покончит с собой в тюремной камере, а Анфертьев узнает от следователя, что покойный завещал ему свою машину — красные «Жигули».

Кстати сказать, красный цвет — главный цвет романа «Кандибобер». Лик Анфертьева скрыт красноватыми сумерками фотолaborатории. О чем он думает там в одиночестве, какие планы вынашивает? Когда ничего не подозревающий Квардаков расплачивается с буфетчицей подsunутыми ему преступником мечеными монетами, красный цвет захватывает все пространство эпизода. Красноволосяя с алыми губами буфетчица видит, как Квардаков мочет руки, пытаясь отмыть непонятно откуда взявшуюся краску: «Вода окрасилась. А ладони не становились чище, они делались все краснее, и вода, которая скапливалась в рукомойнике, тоже была красного цвета». Цвет становится метафорой, создает эмоциональный фон, на котором разворачиваются главные события и продумываются главные мысли.

Незримыми нитями связан «криминальный» роман об Анфертьеве с литературной традицией давнего и недавнего прошлого. Контуры «Пиковой дамы» и «Преступления и наказания», «Драмы на охоте» и «Зимы тревоги нашей» просвечивают сквозь канву истории, рассказанной автором. Что ж, в таком трудном деле, как разгадка тайны решившегося на преступление человека, без хороших помощников не обойтись — не только жизнь, но и литература, если вдуматься, не делается в одиночку.

Странных героев В. Пронина мучают внутренние голоса, их сознание расслаивается, раздваивается, дробится. Прибавим к этому голос автора и увидим, что с налету разобраться в этом многоголосии отнюдь не просто. Как не просто, например, понять, отчего могут уживаться в человеке готовность к преступлению с «искренней взволнованностью» при прослушивании гимна родины...

Мир романа одновременно призрачен и реален. Вслушайтесь в фамилии персонажей: Анфертьев, Подчуфарин, Квардаков, Сподгорятинский. В них что-то недоделанное или, наоборот, излишнее. Да и само название романа — «Кандибобер» — звучит столь же причудливо и странно. И в то же время реальность романного мира ощутима почти физически: его символ — огромный металлический Сейф, перекосивший своей тяжестью все заводоуправление: «со стороны было видно, что крыло, где располагалась бухгалтерия, примерно на полметра ушло в землю»... Тяжко земле, тяжело человеку — давит Сейф на его мыс-

ли и чувства, давит в нем человека. И до тех пор, пока эта тяжесть не исчезла, будут продолжаться «игры», о которых Виктор Пронин написал именно потому, что сам в них играть не желает. Да и другим не советует.

Леонид Карасев.



**ВСХОДЫ ВЕЧНОСТИ.** Ассиро-вавилонская поэзия. В переводах В. К. Шилейко. М. «Книга». 1987. 159 стр.

Когда открываешь книгу, первое, что бросается в глаза,— это иллюстрации Д. Терехова. Они удивляют. Мы видим какие-то архаизированные фигурки — богов или людей, зверей и насекомых, птиц и пальм,— словно вылепленные из глины, уже потрескавшиеся от времени, и не полностью сохранившиеся. Перед нами встает древность. Нас в нее вводят — мягко, постепенно. Далее мы погружаемся во вступительную статью, и начинается разговор уже о самом предмете издания — ассиро-вавилонской поэзии и ее прекрасном знатоке и переводчике Владимире Казимировиче Шилейко. Доктор филологических наук Вяч. Вс. Иванов рассказывает нам о поэзии древней Месопотамии, страны, лежащей между Евфратом и Тигром, одной из самобытнейших культур Древнего Востока, родине самой древней эпической поэмы человечества «Гильгамеш». Из статьи мы узнаем самые разнообразные сведения — и о культуре древних ассирийцев, и об их истории, и, наконец, об их поэзии. Составители (Т. И. Шилейко и Вяч. Вс. Иванов) включили в книгу «наиболее характерные образцы не опубликованных ранее поэтических переводов В. К. Шилейко с шумерского и аккадского». За этой сухой фразой скрыто огромное богатство. Здесь и фрагмент из эпоса «Гильгамеш», и древние жреческие заклинания, и обрядовые тексты, и любовные песни — огромный мир, космос мифа, населенный богами и богинями, героями и планетами, животными и насекомыми.

Но все же я думаю, что видеть в этой поэзии лишь черепки (а часто это действительно только части не дошедшего до нас целого), лишь мертвые осколки древнего сосуда с некогда живой влагой (вспомним иллюстрации) очень «непродуктивно». Не за этим ее переводят и издают. Не для того изучают. Поэзия эта прежде всего современна. «Далеко разносится жалоба. «Сын мой!» — далеко разносится жалоба. «Супруг мой!» — далеко разносится жалоба. «Жрец мой!» — далеко разносится жалоба». Нет, это не М. Цветаева, а фрагмент той, древней поэзии. «Перед Ану, святым и великим, чье веление уст неизменно, боги в послушной молитве согнулись, будто серпы...» Это не К. Бальмонт и не Вяч. Иванов, а все та же Древняя поэзия. «И веление всех богов утвердил он, обратился, коснулся, посылает он Зу. И когда он окончил, подошел к нему Бел. Сверкание чистой воды перед ним, на деянье владыки глядят его очи...» Нет, это

не В. Хлебников, а все та же Древняя поэзия. «Тебя прославляю я, дева, тебя величаю я песней! Масло, плоды, молоко, семь пирожков испеченных я тебе ставлю на стол Страны; черное пиво я наливаю, светлое пиво я наливаю, черное пиво...» Это не В. Соснора и не Г. Айти, а все та же Древняя поэзия. Но не только русский символизм, футуризм и акмеизм многим ей обязаны. «Ассирийские крылья стрекоз. Переборы коленчатой тьмы», как сказано под прямым ее влиянием у О. Мандельштама. Или у А. Тарковского — «глинобородые боги-народодубийцы», «прямоугольные каменные муравьи». Древняя поэзия Месопотамии живет и сейчас, уже опосредованно, в стихах молодых наших поэтов, многожды обвиненных в «зауми» и метафорической «ереси». «Ты — негодная дверь, не державшая ветра, ты — дворец, что погубит, развалившись, героя, ты — как слон, разодравший свои покровы, ты — как факел, ожегший факелоснца...» Это строки не из какого-нибудь постмодернистского стихотворения или же текста нынешнего рокера, но тоже взятые мной из книги «Всходы вечности». Ибо подлинная поэзия живет и оживает во всем.

О жизни, научной и поэтической судьбе Шилейко подробно рассказывается во второй статье книги, также принадлежащей Вяч. Вс. Иванову. В. К. Шилейко был не только ученым, открывшим и изучившим многие тексты древней Месопотамии и Вавилонии, но только их толкователем и переводчиком, но и русским поэтом. Он занимался оригинальным поэтическим творчеством всю свою недолгую жизнь. Стихи Шилейко приводятся в этом же издании. Их, наверное, нельзя назвать вполне «самостоятельными», в них чувствуется влияние и интонация его великих современников, но все-таки они живут — на фоне той культуры и традиции. Замечательно, что они напечатаны.

Илья Кутик.



**Е. СИДОРОВ.** Евгений Евтушенко. Личность и творчество. М. «Художественная литература». 1987. 206 стр.

В книге Е. Сидорова «Евгений Евтушенко» с горьким удивлением констатируется: первая премия за тридцать лет работы в русской поэзии присуждена Евтушенко в Грузии. Не менее удивительно и то, что первая книга о самом популярном поэте страны выходит в конце сорокалетия его печатания на родном языке.

Но многому еще нам предстоит удивляться на своем веку!..

Е. Сидоров написал не совсем обычную работу. Эта книга — спор с художником. Если положить любую монографию о современном писателе рядом с тоненькой книжечкой Е. Сидорова, окажется: ни одна из них не содержит такого напора критики, в полном смысле слова сокрушающей «портретируемого», — и это при симпатии к нему человеческой и гражданской. Читая, думаешь: если бы применить подобный принцип к большинству герцес

критических опусов, кто бы из них подвнялся с эстетического ринга не пошатываясь? Вопрос несправедливый. Евтушенко встает.

Может, так и надо писать о любимых поэтах и прозаиках?

Е. Сидоров пишет талантливо и зачастую не менее спорно, чем его герой. Это живая работа, вызывающая на ответную работу ума. Она демонстрирует умение критика понимать поэта, его замысел, его особенности. И при этом тактично и свободно, не без изящества отделяя замысел от воплощения. «Ему надо сказать больше, чем могут сказать хорошие стихи». Формула отличная, найточнейшая. Поэзия Евтушенко, говорит Сидоров, расположена в двух координатах — характера и рассуждения, его главные стилевые приемы — деталь и формула. Опять — прямое попадание в цель. И даже в моментах рискованных с точки зрения перехода на личности (когда речь, скажем, идет о «беззащитности» автора перед «противоречием между удельным весом своего слова и эхом своего имени») Сидоров во многом безупречно прав. Читатель скорее всего согласится и с тем, что Евтушенко силен в живом, конкретном ощущении истории, жизни, в общир же тысяч его не содержится большой новизны. Пыгается критик разобраться и в сложной диалектике жанровой, стилевой, языковой, образной стихии Евтушенко, нередко воспринимаемой нечеткими критиками как «эклетицизм»: «Эклетицизм этот порой оказывается значительней и интересней, чем рабское следование строгим канонам». Сидоров замечает: «...интонация. Она-то и скрепляет варварское, немалое ни у какого другого поэта скопление слов и лиц». Предельно точен Сидоров, высоко оценивая критические эссе поэта. Достойно внимания обобщение критика, явившееся итогом конкретного анализа стиля публицистики Евтушенко: «Афоризмы... эффектно обращают наше сознание к противоречию или к одной какой-нибудь яркой стороне предмета. Тем самым другие, не освещенные им, еще дальше уходят в тень».

Но парадоксы, заметим, тоже страдают односторонностью, разве что иного рода. Парадоксальны, на мой взгляд, и оговорки Е. Сидорова, который порою ведет спор с гонителями таланта Евтушенко на полу-согласии с их тезисами. А это консервирует противоречия творчества поэта, оставляя портрет... недорисованным: «Все рассудит время...» Время, конечно, рассудит все и вся. Но и сегодня кое-что ясно. Полагаю, например, что и о Некрасове говорили такое: «Тут больше прямой, грубой жизни, чем утонченного искусства...» А через много, много лет вышла книга К. Чуковского, который убедительно доказал, что время меняло само представление

об искусстве, что Некрасов — новатор и в области формы стиха, не только плакальщик народный. «Евтушенко — поэт пути, а не итогов, хранитель мига, а не вечности». Эффектно сказано и почти точно. Не совсем только точно. Не из этих ли миггов и состоит вечность? И так ли уж время Евтушенко не дало итогов? Одно то, что гонители поохрикли от проклятий, а голос Евтушенко слышен в мире — уже и то г. И, значит, его поэзия имеет силу и власть над людьми. «Кто измерит, в каких пропорциях жизнь и творчество становятся подлинным творчеством?» — без оснований сомневается Е. Сидоров, как бы рассуждая вслух после своего приговора: поэт ставит жизнь над искусством. Вот в этой точке рассуждения я и вижу начало ответа на вопрос, который должно рассудить время. Изменилось — на наших с вами глазах — понимание пропорций между жизнью и поэзией. Да и очень уж далекой от «канонов» оказалась сама жизнь. Евтушенко своей поэзией внес существеннейшие коррективы в «пропорции» эти. Многие из того, что говорится сегодня о поэте, приблизительно верно, но неполно без главного — признания своеобразной цельности художника и его «варварской» системы, самой в себе законченной и неповторимой. В глазах критики он рассыпается и распадается на тысячи красивых частностей и такие же тысячи несимпатичных черт, этот портрет. А время создало свое, быть может, парадоксально идеальное, совершенное подобие в лице именно такого художника. Гармонии мы все еще понимаем как согласие черт и признаков, «успокаивающихся» наконец в единстве. А век лепит свое подобие из таких противоречий, которые и кричащими не назовешь — вопиют они, а не просто кричат!.. Значит ли это, что гармонии нет? Есть своя гармония и в атональной системе музыки и в полотнах Пикассо. Есть она и в целиком сотканной из противоречий поэтики Евтушенко. Лучшее из созданного им лучшее не потому, что ближе к канону меры, вкуса и дальше от многословия, позы, самолюбования и тому подобных грехов, все эти «недостатки» есть, есть, конечно, а потому, что полнее раскрывает суть самобытной и новой поэтики художника, где в сложном сплаве (сплаве, а не в эклетицистской «сумме») соединились и сила и слабости, и свет и тени, и нравственные пики и нравственные же пропасти, и порыв к идеальному и падение в суету будней, и богатство разногласной языковой стихии и провалы ее, — иными словами, Евтушенко когда-нибудь будут судить по созданным им самим и его временем законам, а не просто по канонам вчерашнего дня, когда не было феномена Евтушенко.

Владимир Огнев.

## ПАМЯТИ МИХАИЛА ДАВЫДОВИЧА ЛЬВОВА

Умер Михаил Львов.

Он пришел в наш журнал вместе со своим фронтовым другом Сергеем Наровчатовым, чтобы поддержать его на новом поприще. Когда мы отмечали шестидесятилетие Михаила Давыдовича, Сергей Сергеевич сказал, что, по обыкновению, принято считать шестидесятилетнего человека стариком. А какой же Львов старик! Вопрос этот являлся не данью торжественному случаю — на самом деле было так. Как можно было совместить два эти слова: Львов — старик! Это без преувеличения можно было повторить и когда ему исполнилось семьдесят. И как невозможно и нелепо представить этого человека навеки успокоившимся!

Умер молодой человек, которому судьба отмерила семьдесят один год. За час до смерти он был в редакции «Нового мира», с которой связаны были последние пятнадцать лет его неутомимой и полной оптимизма жизни.

Имя Львова нельзя причислять к определенной должности, к определенному роду человеческой деятельности. Он как-то умел быть в с.е.м. И строителем Челябинского тракторного, и воином-танкистом на полях сражений Великой Отечественной, и поэтом, и сердечным воспитателем молодой литературной смены. Новомирцы — свидетели долгой и терпеливой работы Михаила Давыдовича с поэтами разных поколений. И не только с поэтами. К нему спешили с новой рукописью и прозаики, и публицисты, и критики. Шли за советом, за поддержкой, за добрым словом.

И в жизни и в творчестве Михаила Львова постоянно присутствовала прошедшая война. В юные годы она отняла у него не одного близкого, но он постоянно заботился о том, чтобы они были рядом, присутствовали в каждом нашем дне как живые. Кульчицкий, Майоров, Недогонов... Когда пули, летящие из той далекой войны, уносили до времени Твардовского, Луконина, Орлова, Симонова, Наровчатова, он метался как тяжело раненный, в те дни ничего не могло принести ему успокоения, и он писал о них стихи, строки воспоминаний. За час до смерти он взял из машинописного бюро журнала перепечатанную после исправления рукопись воспоминаний о Сергее Сергеевиче Наровчатове.

Михаил Давыдович Львов — ровесник Великой Октябрьской социалистической революции, провозгласившей братство между народами. Каждая его строка проникнута любовью к людям, чувством глубокого интернационализма и братства. Многие стихотворения Михаила Львова стали любимыми песнями нашего многонационального народа. Он славил революцию, наши победы, нашу веру в правоту справедливости.

Поклонимся великим тем годам...—

этой строкой начинается знаменитое стихотворение Львова, ставшее величавым реквиемом в память о погибших за дело революции.

Поклонимся поэту, нашему другу, товарищу по работе.

*Коллектив «Нового мира».*

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. Буянов.** Научное мировоззрение. Социально-философский аспект. 208 стр. Цена 85 к.

**Главные философские труды В. И. Ленина.** 288 стр. Цена 95 к.

**А. Лезиков.** Ищи себя, пока не встретишь. («Личность, мораль, воспитание») 352 стр. Цена 65 к.

**Советская интеллигенция.** Словарь-справочник. 222 стр. Цена 50 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Р. Будрис.** Под путеводной звездой. Путешествия. Перевод с литовского. 431 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Т. Каллас.** Городские голоса. Романы. Перевод с эстонского. 384 стр. Цена 1 р. 60 к.

**П. Кошель.** Такой, как есть. Стихи. 142 стр. Цена 40 к.

**С. Образцов.** По ступенькам памяти. 368 стр. Цена 1 р. 60 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Дильмурадов.** Каменный сокол. Повести, рассказы. Перевод с узбекского. 437 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. Кротов.** Несмотря ни на что. Повесть. 140 стр. Цена 45 к.

**В. Михановский.** Перекресток дальних дорог. Повести, рассказы. («Библиотека советской фантастики») 271 стр. Цена 80 к.

**Г. Семенов.** Чертоги любви. Рассказы. 397 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «РАДУГА»

**Г. Кант.** Остановка в пути. Роман. Перевод с немецкого. 455 стр. Цена 3 р. 30 к.

**В. Мысливский.** Камень на камень. Роман. Перевод с польского. 431 стр. Цена 3 р.

**Д. Уотен.** Памятные страницы. Роман. Рассказы. Перевод с английского. 335 стр. Цена 2 р. 10 к.

**С. Эсприу.** Избранное. Проза. Драматургия. Перевод с каталонского. 432 стр. Цена 2 р. 70 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**М. Беляев.** Огонь и цветы. Лирика, баллады. 119 стр. Цена 60 к.

**В. Богатов.** К своей подняться высоте. Повесть. 238 стр. Цена 1 р. 10 к.

**И. Жигалов.** Командарм Дыбенко. Повести. 432 стр. Цена 2 р.

**В. Степанов.** Повести. 560 стр. Цена 2 р. 40 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**Ф. Абрамов.** Слово в ядерный век. Статьи, очерки, выступления, интервью. Литературные портреты. Воспоминания. Заметки. («О времени и о себе») 447 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Т. Иванова.** Займемся делом! Poleмические заметки. («Диалог со временем») 175 стр. Цена 35 к.

**В. Крупин.** Вятская тетрадь. Повести. 367 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Ю. Рытхэу.** Остров надежды. Роман. 303 стр. Цена 1 р. 50 к.

## «ИСКУССТВО»

**А. Копит.** Конец света с последующим симпозиумом. Пьеса. Перевод с английского. («Современная зарубежная пьеса») 118 стр. Цена 65 к.

**Д. Пристли.** Избранное. В 2-х тт. Перевод с английского. Т. 2. Пьесы. Искусство драматурга 558 стр. Цена 1 р. 70 к.

**М. Ульянов.** Работа актером. 398 стр. Цена 2 р. 60 к.

## «НАУКА»

**Г. Галилей.** Пробринных дел мастер. («Популярные произведения классиков естествознания») 271 стр. Цена 75 к.

**Снифо-сибирский мир.** Искусство и идеология. 180 стр. Цена 2 р. 70 к.

**А. Формозов.** Наскальные изображения и их изучение. 109 стр. Цена 70 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Алексин.** Очень страшная история и другие повести. 272 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Гюго.** Девяносто третий год. Роман. Перевод с французского. 256 стр. Цена 90 к.

**Р. Джованьоли.** Спартак. Роман. Перевод с итальянского. 622 стр. Цена 1 р. 90 к.

**А. Минн.** Я был однажды в доме. Стихи. Перевод с английского. 110 стр. Цена 1 р. 10 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**А. Вознесенский.** 10, 9, 8, 7... («Библиотека «Огонек») М. «Правда». 47 стр. Цена 20 к.

**Вячеслав Шишкин** в воспоминаниях современников. Новосибирск. Книжное издательство. 292 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Г. Гегешидзе.** Глас вопиющего. Роман. Перевод с грузинского. Тбилиси («Мерани»). 350 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Молодая проза Черноземья.** Повести. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 446 стр. Цена 1 р. 70 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экзemplярах журнала обращать в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции. 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 21.01.88 г. Подписано к печати 03.03.88 г. А 02336.  
Формат бумаги 70X108<sup>1/8</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
27,14 уч.-изд. л.

Тираж 1.150.000 экз. (5-й завод 950.001—1.150.000 экз.). Зак.3645

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798 Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.  
Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Цена 1 р. 20 к.

70636